„ЗНАМЯ РАБФАКОВЦА“

(2-й год издания)

ЖУРНАЛ ОТДЕЛА И СТУДЕНЧЕСТВА РАБФАКОВ

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО КНИЖКАМИ

в 10 печатных листов

Журнал посвящен вопросам строительства рабфаков и новой школы, вопросам методологии и методам науки, выявлению нового типа студенчества.

К участию в нем привлечены широко все работники и студенты рабфаков и крупные научные силы.

Постоянные отделы: 1) Общий. 2) Научно-педагогический. 3) Общественность и культура. 4) Очерки и заметки. 5) Наше творчество. 6) Наука и жизнь. 7) Физическая культура. 8) Смесь. 9) Что читать. 10) Переписка с читателями.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

До конца года . . . . . 2 руб. 50 коп. зол.
На один месяц . . . . . 1 „
Цена отдельного номера . . . . . 1 „
При коллективной подписке не менее 10 экз. скидка 10%.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:

1 страница . . . . . 100 руб. зол.
1/2 страницы . . . . . 65 „ „
1/4 „ . . . . . 40 „ „

Розничная продажа журнала в магазинах Москвы и провинции

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Сретенский бульвар, дом 6, кв. 66 (подъезд 6)

Телефон: 1-91-22, доб. 160.

СКЛАД ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Книжный магазин «Коопрабфак», ул. Герцена (Б. Никитская), д. 10/2.

Телефон: 2-90-07, 1-35-61.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 8—9

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ 1923

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ“
МОСКВА

Главлит № 14.635 Тираж 6 000 экз.

„Мосполиграф" — 20-я типография „Красный Пролетарий". Пименовская ул., д. 1/16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин.—Маркс и Гегель 5

Б. Ваганян.—Г. В. Плеханов
II.—Плеханов и группа „Освобождение Труда" 21

И. Луппол.—Очерки философии Д. Дидро 53
Н. Карев.—Анри Леруа—материалист XVII века 97
Гр. Баммель.—Источники изучения Демокрита. Статья II. 120

В. Румий.—Ответ одному из талмудистов 145

Я. Пржеборовский.—Естествознание и диалектика 161
А. Тимирязев.—По поводу статьи Эддингтона 166
А. Эддингтон.—Внутренность звезд 169

Арк. А—н.—Страницы из пропаганды и деятельности Роберта Оуэна 187
С. Кривцов.—А. Бебель 210

А. Неусыхин.—Социологическое исследование Макса Вебера о городе 219

А. Мендельсон.—Средства обращения и капитал 252

Трибуна.

А. Уальцов.—К теории общественных классов 268

Сообщения и заметки. 273

Библиография.

Н. К.—София.—Проблемы духовной культуры и религиозной философии.—Ник. Бердяев—Смысл истории 276
Д. Фридланд.—Анналы. Изд. Российской Академии Наук 281
Материалист.—Н. Ленин и Г. Плеханов.—Против Богданова. Плеханов—Три письма против Богданова. 285
П. Л.—Хрестоматия по французскому материализму XVIII века 287
В. Семенченко.—Классики естествознания, вып. 4, 5, 7 и 8. 289
Д. Фридланд.—Ф. Энгельс. Сила и экономика в образовании Германской империи . 297
Н. Лещиер.—Р. Люксембург. Коалиционная политика или классовая борьба? 300

Маркс и Гегель.

В своем предисловии к „Zur Kritik etc.“ Маркс говорит: „Первым трудом, выполненным мною для разрешения осаждавших меня сомнений, был критический пересмотр философии права Гегеля, предисловие к которому появилось в Deutsch-Französische Jahrbücher, выходивших в Париже в 1844 году. Мои изыскания привели меня к следующим выводам: юридические отношения и политические формы государства не могут быть объяснены ни сами по себе, ни так-называемым общим развитием человеческого духа; корни их находятся, наоборот, в материальных взаимоотношениях жизни, которые Гегель назвал, идя по следам англичан и французов XVIII века, гражданским обществом, а потому анатомию этого последнего следует искать в политической экономии“.

Энгельс в своей статье об указанном произведении Маркса, напечатанной в Лондонской газете „Das Volk“ в 1859 г. [1]), указывает на то обстоятельство, что „со времени смерти Гегеля вряд ли была сделана попытка развить какую-нибудь науку в ее собственной внутренней связи“. Когда Маркс приступил к исследованию буржуазного общества, перед ним встал вопрос о методе. Положение в науке в этом отношении было таково, что, с одной стороны, господствовал метафизический метод мышления, при котором „неуклюжая кляча обыденного буржуазного разума растерянно останавливается перед рвом, отделяющим сущность от явления, причину от следствия“... Но, с другой стороны, существовала гегелевская диалектика во всей ее абстрактной „спекулятивной“ форме. И понятно, что только гегелевская диалектика могла служить, по крайней мере, отправной исходной точкой. „Против этого метода,—говорит Энгельс,—не было сделано серьезных возражений, он не был опровергнут; никто из противников великого диалектика не мог пробить бреши в его гордом здании. Он был забыт потому, что гегелевская школа не умела применять его. В первую голову поэтому надо было подвергнуть гегелевский метод систематической критике. Преимущество способа мышления Гегеля перед способом мышления всех других философов коренится в том огромном историческом чутье,

[1]) Статья эта в переводе на русск. яз. помещена в № 2—3 журн. „Под знаменем марксизма“, 1923 г.

которое лежало в основе первого". У Гегеля „ход мыслей развертывался всегда параллельно ходу истории, и последний должен был служить только проверкой для первого". „Гегель,—говорит далее Энгельс,—первый пытался доказать внутреннюю связь в развитии исторического процесса. И как бы причудливыми ни казались нам теперь кое-какие мысли его философии истории, основная концепция этого произведения своей грандиозностью может вызвать удивление и ныне, особенно если сравним Гегеля с его предшественниками или с теми, которые после него позволяли себе общие размышления об истории... Это делающее эпоху понимание истории явилось непосредственной теоретической предпосылкой ее нового материалистического понимания и уже благодаря этому была дана точка опоры для логической методы".

В основе марксовой критики политической экономии и материалистического понимания истории лежит материалистическая диалектика. Всякий марксист знает, что открытия Гегеля в области диалектики были использованы Марксом, освободившим ее от идеалистической шелухи. Но не все знают, что гегелевская социальная философия (его учение об обществе и историческом процессе) также послужила для Маркса исходной точкой в разработке им основ материалистического понимания истории и специфического учения об обществе и государстве.

На нижеследующих страницах мы намерены изложить социальную философию Гегеля в основных, по крайней мере, чертах с тем, чтобы показать, как Гегель пользовался диалектическим методом при исследовании определенной конкретной области науки, и к каким результатам он пришел.

Мы убедимся тогда, что не только метод Гегеля, но и определенные, необходимо связанные с методом, результаты его исследования в области общественных наук не прошли бесследно для Маркса. „Капитал" Маркса представляет собою, как выразился один автор, отрицание Гегелевой „Философии права". Это несомненно так. Выводы, к которым приходит Маркс в „Капитале", разумеется противоположны выводам Гегеля; однако Маркс приступил к „критическому пересмотру Гегелевой «Философии права»" потому, что „немецкая философия права и государства—единственная немецкая история, стоящая на уровне официальной новой современности,—как писал в 1844 г. Маркс.—Мы—философские современники действительности, не будучи ее историческими современниками. Немецкая философия—идеальное продолжение немецкой истории". Только революция может поднять Германию „не только до официального уровня передовых народов, но и на человеческую высоту, которая будет ближайшим будущим этих народов". Революция в Германии начинается в мозгу философа. Но для того, чтобы революция стала возможной не только в мозгу философа, но и в самой действительности, для того, чтобы превратить философию в действительность, необходимо, чтобы философия нашла в пролетариате свое материальное оружие, как и пролетариат в философии свое духовное оружие.

Так как немцы размышляли только о политике в то время, когда другие народы делали ее, то естественно, что в Германии до сих пор возможна была только спекулятивная философия права, для которого действительность нового государства остается только „потусторонним миром" или „идеальным продолжением немецкой истории", как выражается Маркс. Задача, которая стояла перед Марксом, заключалась в том, чтобы „потусторонний мир" превратить в действительность, чтобы „идеальное продолжение" истории превратить в реальное ее продолжение. При таких условиях спекулятивная философия права выдвигает задачи, разрешение которых возможно лишь посредством революционной практики. До сих пор Маркс разделял социальную философию Гегеля. Приступая к выработке собственного учения об обществе, он находит нужным прежде всего подвергнуть критике социальную философию Гегеля, так как „критика немецкой государственно-правовой философии" получила через Гегеля свою самую законченную формулировку.

I.

Прежде чем приступить к изложению основных идей социальной философии Гегеля, необходимо остановиться подробнее на методе мыслителя, как он применяется им при исследовании природы общества и государства. Кант, как известно, стоял в методологическом отношении на точке зрения абстрактного формализма. Классический немецкий идеализм с самого своего возникновения поставил себе задачей выработку нового научного метода, в противоположность старому рационалистически-метафизическому. Хотя Канту в этом отношении принадлежат известные заслуги, но в общем он не сумел преодолеть метафизический метод. Его учение представляет собою попытку соадания новой—трансцендентальной—логики в отличие от старой формальной, которая Канта не удовлетворяла. Но, как уже было сказано, Кант в общем оставался на почве абстрактного формализма. Основной грех Кантовского учения—его дуализм. Вещь в себе противопоставляется явлению, форма—содержанию, личность—обществу, идеал—действительности, категорический императив—чувственным наклонностям и т. д. Гегель выступил яром противником как нормативной точки зрения Канта, так и его дуализма вообще. Кант обособляет абстрактные моменты, как право, мораль и пр., от конкретного единства общественной жизни. Гегелевский же метод сводит абстрактные определения к конкретному единству. Диалектика есть для Гегеля движущий принцип понятия. При этом он различает два момента диалектики: отрицательный и положительный.

Отрицательная диалектика разрушает предмет, понятие путем обособления моментов всеобщего и выделения противоположных определений. Положительная или высшая диалектика понятия понимает определение не только как предел и противоположное, но и порождает из себя положительное содержание и результат, благодаря чему одному она есть развитие и имманентное движение вперед. Эта диалектика затем есть не внешнее движение субъективного мышления, а собственная душа содержания, органически порождающая свои ветви и плоды. Мышление, как нечто субъективное, лишь наблюдает это развитие идеи, как собственную деятельность ее разума, ничего не привнося со своей стороны. Рассматривать разумно какой-нибудь предмет означает не привнесение разума в этот предмет извне и обработку его таким способом; это означает, что предмет сам по себе разумен ..; дело науки состоит лишь в том, чтобы осознать эту самостоятельную работу разума вещи" [1]). Гегель таким образом различает низшую и высшую диалектику. Низшая диалектика имеет только разрушительный характер. Она разлагает понятие или предмет на его противоположные моменты или определения. Высшая же диалектика порождает из себя положительное содержание и составляет собственно развитие.

Гегель устанавливает различие между ощущением и рассудком. Ощущение или непосредственное созерцание воспринимает мир во всем его разнообразии. Рассудок же имеет по самому существу отвлеченный характер. Рассудок в этом отношении и противоположен непосредственному созерцанию, что он берет предметы в их отвлечении, в их существенных различиях. Без рассудка нельзя дойти ни до чего определенного. „Во-первых, чтобы узнать предмет, необходимо уловить его различия. С этой точки зрения, рассматривая природу, различают и разграничивают разные вещества, силы, роды и проч. Мысль, действующая таким образом, есть рассудок, и она руководствуется при этом началом тождества, или простого соотношения вещи с самой собою" [2]). В практической области, замечает Гегель, также нельзя обойтись без рассудка. „Чтобы действовать с успехом, необходимо иметь характер, и человек с характером есть человек с рассудком. Он полагает себе определенные цели и с твердостью преследует их. Кто хочет совершить великое, тот должен уметь ограничивать себя, как говорит Гете".

Непосредственное созерцание, хотя и представляет мир во всем его многообразии, именно поэтому является смутной и „туманной неопределенностью". Мир на ступени непосредственного созерцания представляется нам слепой действительностью именно благодаря полноте, т.-е. безграничному разнообразию. Рассудок производит над этой действительностью, составляющей непосредственную конкретность, определенные операции для того, чтобы притти к опосредствованной конкретности. Мы имеем вначале неопределенную конкретность, т.-е. туманную, серую действительность, где все сливается в безразличное и нерасчлененное единство. Рассудок и вносит в этот первозданный хаос определенный порядок, поскольку он выделяет из этого непосредственного единства отдельные сходные предметы, составляя из них классы и роды,—словом, классифицируя их. Деятельность рассудка,—а с нее-то и начинается наука—состоит в разобщении того, что слитно, в выделении целых групп предметов и явлений по признакам сходства и различия. Но такое разобщение и выделение носит отвлеченный характер, так как конкретное единство раскалывается и раздробляется на отдельные части. В этом и заключается разрушительный характер рассудка. Но „определения, принадлежащие рассудку, конечны и, доведенные до крайности, переходят в свою противоположность". В этом, собственно, и состоит диалектический момент. Первый результат или этап диалектики есть отрицание. „Диалектика в ее настоящем значении,—говорит Гегель,—составляет собственную и истинную природу определений рассудка, также как всего конечного и всех предметов вообще. Рефлексия (размышление) переступает за эти раздельные определения и связывает их между собою, т.-е. приводит их во взаимное соотношение; но она снова разобщает их и приписывает им абсолютное достоинство, в их раздельности. Истинная диалектика состоит, напротив того, в внутреннем и поступательном переходе одного определении в другое, в котором обнаруживается, что эти определения рассудка односторонни и ограничены, т.-е. содержат отрицание самих себя. Отличительный характер всего конечного составляет то, что оно снимается само собою. Диалектика есть, следственно, живая душа в движении науки; одно это начало вносит необходимость и внутреннюю связь в содержание науки; оно уже возвышает дух не внешним, но действительным образом, над конечным" [1]).

В первом „прибавлении" к этому параграфу имеется еще следующее чрезвычайно важное разъяснение. „Очень важно понять истинное значение диалектики,—говорит Гегель.—Она составляет начало (принцип) всякого движения, всякой жизни и деятельности в мир действительности. Точно так же, диалектика одна есть душа научного развития. Обыкновенно мы переступаем за предел отвлеченных определений рассудка, только как бы из снисходительности, по пословице: жить и жить давай другим, и на этом основании мы допускаем одни определения и также их в противоположные. На самом деле, все конечное неограничено только извне, но по своей собственной природе, снимается и переходит в свое противоположное. Например, мы говорим, что человек смертен, и приписываем смерть влиянию внешних условий, т.-е. признаем в человеке два качества:

[1]) Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Leipzig 1911, § 31.
[2]) Hegel, Encyclopädie, § 80; см. русск. перев. Чижова, стр. 130.

[1]) Hegel Encyclopädie, § 81; русск. перев., стр. 133—134.

жизнь и смертность. Но жизнь носит в самой себе зерно смерти, и, вообще, все конечное противоречит себе и потому уничтожается" [1]).

Гегель ссылается на опыт в подтверждение истинности диалектики. „Все, что нас окружает, может служить примером диалектики. Мы знаем, что все конечное изменяется и уничтожается; его изменение и уничтожение есть не что другое, как его диалектика; оно содержит в себе свое иное и потому выходит за предел своего непосредственного существования и изменяется... Мы говорим, что все вещи, или все конечные предметы, обречены гибели, и это означает диалектику, как всеобщую неотразимую власть, которой все должно покориться, как бы оно ни было, повидимому, независимо и прочно" [2]). Далее, Гегель приводит примеры в пользу того, что диалектика свойственна всем „сферам и формам естественного и духовного мира". Итак, диалектика есть принцип всякого движения, всякой жизни и деятельности в мире действительности. Далее, диалектика составляет душу всякого научного развития; она есть изменение и уничтожение всего конечного, и, наконец, диалектика означает гибель и уничтожение всех конечных предметов. Говоря, однако, о диалектике, мы уже вступили в область разума. Рассудок, как мы уже видели, отвергает диалектику. Он устанавливает прочные определения и фиксирует их в их отвлечении и раздельности. Но эти определения рассудка, застывшие формы и предметы растворяются разумом. Разум диалектичен. Он одновременно и отрицателен, и положителен. Это принцип разрушения и восстановления. Таким образом диалектика есть не только уничтожение и гибель всего конечного, но она составляет также и принцип движения и жизни. „Результат диалектики есть отрицание; но это отрицание есть в то же время утверждение, потому что оно содержит в себе то, из чего оно произошло, и не существует раздельно от него. Это единство двух противоположных определений составляет уже третий момент мысли, именно спекулятивный, или положительно разумный момент ее" [3]). Разум составляет высшую ступень познания. Он не отрицает роли и значения низших форм познания—ощущения и рассудка, а превращает их в движение научного познания в его моменты. Сама истина не представляет собою, с точки зрения Гегеля, чего-то законченного и раз-на-всегда данного. Она есть результат движения, развития мысли. И разум составляет возвращение к непосредственному, т.-е. к конкретной действительности, которая являлась началом, исходным пунктом, через отвлечение рассудка к конкретному опосредственному, т.-е. обогащенному познанием всех различий и определенностей. Это движение от первоначального конкретного, единства

[1]) Там же, стр. 134, русск. пер.
[2]) Там же, стр. 135—136.
[3]) Там же, стр. 135—136.

не расчлененного, через выделение особенного, т.-е. отдельных классов и видов, чем и занимается рассудок, к конкретному, в котором всеобщее наполнено различенным содержанием, составляющим органическое единство. В этом смысле Гегель и говорит, что „результат содержит в себе свое начало, и движение последнего обогатило его некоторою новою определенностью". Это „движение вперед определяет себя так, что оно начинается от простых определенностей, и что следующее за ними становятся все богаче и конкретнее... На каждой ступени дальнейшего определения воздвигается вся масса его предшествующего содержания и через свой диалектический ход вперед не только ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное, и обогащает и сгущает себя в себе" [1]). Истина есть, стало быть, результат, который существует только в связи со всеми развитыми в ходе его моментами, т.-е. истина тождественна с путем, к ней ведущим.

Процесс познания совершается, конечно, от абстрактного к конкретному. С точки зрения формы необходимо различать три стороны логического: 1) отвлеченную или рассудочную, 2) диалектическую или отрицательно-разумную и 3) спекулятивную или положительно-разумную. Но как же обстоит дело с первоначальными непосредственным? с непосредственным конкретным? Или, иначе говоря, что является началом? Очевидно, что началом является непосредственное. Поскольку начало есть непосредственное, постольку оно есть нечто данное или „преднайденное". Если держаться этой точки зрения, то она означает или должна означать, что исходным пунктом является опыт, данная действительность, которую надлежит научно осмыслить, т.-е. воссоздать.

И Гегель действительно говорит во многих местах, что „конкретная полнота образует начало" и что она, как таковая, „имеет в себе самой начало дальнейшего движения и развития". „Как конкретное, она различна внутри себя; но вследствие ее первой непосредственности первые ее различения вместе с тем различны. Но непосредственное, как относящаяся к себе общность, как субъект, есть также единство этих различий. Рефлексия есть первая ступень дальнейшего движения, выступление разницы (Differens), суждение, определение вообще. Существенное состоит в том, что абсолютный метод находит и познает определение общего внутри этого общего. Рассудочное конечное познание поступает при этом так, что оно также внешне вновь принимает из конкретного то, что оно устранило при отвлекающем произведении этого общего. Напротив, абсолютный метод (т.-е. диалектический метод. *А. Д.*) действует, не как внешняя рефлексия, а берет определенное из самого предмета своего, так как этот метод сам есть его имманентный принцип и душа" [2]). Преимущество диалекти-

[1]) Гегель. Наука логики, 2-ая часть, стр. 210—211.
[2]) Гегель. Наука логики, ч. 2-ая, стр. 202.

ческого метода в сравнении с рефлексией состоит в его объективности, ибо он рассматривает вещи в их собственным бытии и „возводит в сознание то, что им имманентно".

Но для Гегеля это „преднайденное" или „непосредственное" не есть непосредственное чувственного воззрения, а мышления. „Познание есть понимающее мышление и потому его начало есть также лишь в элементе мышления; нечто простое и общее". Такое непосредственное есть отвлеченное бытие в себе. Вместо „конкретной полноты" мы получаем, как выражается Гегель, бытие в себе без бытия для себя, т.-е. отвлеченное бытие, мысленные определения конкретной полноты. Движения познания будет совершаться от абсолютного к конкретному, т.-е. от простого и общего к конкретному единству, к наполненному бытию.

Диалектика есть воссоздание этого конкретного единства через слияние противоположностей, полученных в результате разложения первоначального целого. Диалектика имеет не только отрицательный, но и положительный результат. Отрицательный момент, т.-е. диалектика выражается в самоуничтожении прочных определений и различий, полученных в результате работы рассудка, и в переходе их друг в друга, т.-е. в свою в противоположность. Положительный же момент состоит в воссоздании единства противоположных определений на новой основе. Сама отрицательность, как снимающее себя противоречие, есть восстановление. Это одновременно уничтожение и возникновение, гибель и рождение, смерть и жизнь.

II.

Мы видели, что Гегель установил три ступени познания, которые одинаково необходимы для овладения нами истиной, т.-е. познанием действительности, но высшей ступенью является разум, который, пользуясь непосредственным созерцанием и рассудком воссоздает действительность в мысли, как она существует объективно. Каждая ступень познания и сознания связана с определенными философскими направлениями, которые стремятся со своей ограниченной и односторонней точки зрения охватить всю действительность. Догматизм, эмпиризм и критицизм образуют предварительные исторические ступени диалектического метода, преодолевающего их как односторонние. Догматическая метафизика до Канта характеризуется как рассудочное воззрение на предметы. „Старая метафизика исходила из безотчетного убеждения, что мысль узнает предметы так, как они есть в самих себе, что истинная сущность вещей обнаруживается только в мышлении. Природа и дух человека изменчивы, как простей, и легко вывести заключение, что недостаточно рассматривать вещь, как она представляется непосредственно, чтобы знать ее в ее истине". Очевидно, что непосредственное знание ввиду постоянной текучести и изменчивости явлений природы и духа крайне недостаточно и ограничено. Вещи находятся в состоянии изменения, между тем как старая метафизика пыталась овладеть ими посредством ограниченных определений мысли. Рассудочное мышление, конечно, и ограничено. Разумное мышление—бесконечно. Разумное мышление тем отличается от рассудочного, что, определяя и ограничивая свой предмет, оно затем снимает эти ограничения и определения. Рассудок же удовлетворяется именно конечными и ограниченными определениями, принимая их за окончательные. Старая догматическая метафизика не выходила за пределы рассудка. „Мы называем конечным все то, что имеет конец, что прекращается в той точке, где соприкасается с своим противоположным и ограничено. Конечное находится, следственно, в соотношении к своему иному, и это иное есть его отрицание, его граница" [1]). Мышление старой метафизики определяло само себя, независимо от опыта. Мысли как таковой приписывалось существование. Совершенно правильно Гегель подчеркивает, что догматическая метафизика брала предмет и размышляла о нем „внешним образом", так как предикаты и определения находили в сознании готовыми и затем извне переносили их на предметы. „Но предмет,—говорит Гегель,—можно узнать в его истине только тогда, когда он сам обнаруживает свои определения, а не получает их внешним образом, в форме сказуемых", т.-е. предикатов. Гегель постоянно имеет в виду развитие или обнаружение самим предметом своих определений. Но определения или отношения предмета в сущности неисчерпаемы, так как каждый предмет составляет поистине бесконечное, поскольку он связан со всей совокупностью вещей, поскольку он входит в бесконечное число отношений. Каждый предмет есть в известном смысле целое, т.-е. сам составляет совокупность всех вещей, испытывая на себе их действия, будучи проникнут всеми ими. Каждая вещь отражает в себе весь универсум, бесконечное, входит в систему мира в качестве необходимого его момента, звена. Звено цепи, рассматриваемое в отдельности, представляет собою отвлечение, абстракцию и может быть понято и познано только из природы всей цепи.

Старая метафизика хоть и рассуждала о предметах бесконечных, но с точки зрения конечных определений. Это означает, что она довольствовалась рассудком при изучении предметов разума, как говорит Гегель. „Все истинное – бесконечно по своему содержанию, его нельзя выразить и привести к сознанию при помощи конечных определений".

Метафизика, исходившая из конечных, т.-е. отвлеченных односторонних определений рассудка, была догматизмом, потому что она из двух противоположных определений или утверждений принимала одно за необходимо истинное, другое—за необходимо ложное. „Догматизм всегда допускает только одно из двух противоположных определений; напр., что мир или конечен, или бесконечен, но необ-

[1]) Гегель, Энциклопедия, § 29; русск. пер., 54 стр.

ходимо то или другое. Истинная, спекулятивная мысль не имеет только одностороннего определения и не исчерпывается им; на есть цельность и совмещает те определения, которые догматизм признает законченными и истинными, в их раздельности". Разум, т.-е. диалектическое мышление, примиряет те противоположные определения, которые рассудок признает несоединимыми и несовместимыми. С точки зрения Гегеля всякое понятие конкретно. То же самое относится и к предметам. Как понятие, так и предмет необходимо есть единство противоположностей.

Недостаток старой метафизики заключался далее еще в том, что она базировалась на формальной логике, т.-е. на принципе отвлеченного тождества. Собственно этот вывод вытекает уже из предыдущего, из признания отвлеченных конечных определений и из отрицания конкретного, которое составляет не что иное, как единство противоположностей. Отвлеченному тождеству Гегель противопоставляет наполненное тождество, т.-е. конкретное тождество, совмещающее в себе противоположные определения. Это единство тождества и различия. Начало тождества как первый закон мышления в своем классическом положительном выражении A=A, есть не что иное, как выражение пустого тождесловия, как выражается Гегель. Этот первый закон мышления лишен всякого содержания. Начало тождества содержит лишь формальную, отвлеченную, следовательно, неполную истину. „Опыт же содержит тождество в единстве с различием и служит непосредственным опровержением того утверждения, согласно коему отвлеченное тождество, как таковое, есть нечто истинное, так как в каждом опыте проявляется совершенно противоположное, а именно тождество только в соединении с различием" [1]).

Тождество без различия существует лишь как отвлеченная форма, как определение, взятое в отдельности и оторванности от других моментов. Тождество, различие и единство составляют три момента целого. Тождество реально лишь в единстве с различием. Различия же, относясь друг к другу, составляют единство, через которое и благодаря которому различия существуют как различия. Формальная логика рассматривает единство как безразличное тождество или как абстрактное равенство: дерево есть дерево, стол есть стол, растение есть растение. Но для всякого ясно, что такие утверждения просто бессодержательны. „При ближайшем рассмотрении скуки от такой истины оказывается, что начало: растение есть... служит подготовкой к тому, чтобы сказать что-нибудь, дать дальнейшее определение. Но так как повторяется лишь то же самое, то получается обратное, в результате оказывается ничто. Следовательно, такое тождесловие противоречит само себе". Это различие абстрактного и конкретного или наполненного тождества имеет огромное значение.

[1]) Гегель, Наука логика, 1 ч., 2-ая кн., стр. 21 русск. пер.

Гегель подвергает уничтожающей критике все старые методы мышления и исследования. Он с удивительным мастерством вскрывает основные принципы и недостатки всех прежних научных методов. Причем Гегель понимает, что сущность, живую душу всякого философского мировоззрения составляет именно метод. В старой до-Кантовской философии он видит два метода: рационалистический или метафизический и эмпирический, который, в конечном счете, как мы увидим, также сводится к метафизическому. Эти методы должны выражать „отношение мысли к объективной истине", т.-е. к действительности. Первое отношение, на котором Гегель подробно останавливается — это догматически-метафизическое. Метафизический метод кладет в основу познания принцип отвлеченного тождества. Абстрагируя от всех различий, содержащихся в предмете, мы получаем отвлеченное тождество предмета с самим собою. Конкретное тождество, как было уже сказано, означает единство предмета с самим собою и с своими различиями – это наполненное тождество, т.-е. охватывающее в тождестве всю полноту различий. „Различение,—говорит Гегель, - есть и целое, и свой собственный момент также, как тождество есть и целое, и свой момент" [1]).

Но метафизика, как и опытные науки, базируются на рассудке; рассудок же принимает отвлеченные моменты целого — различия—за самостоятельные определения. И хотя он и принимает связь этих различий, однако он их связывает чисто внешним образом — механически, одно рядом с другим, а не совмещает их в единстве. Формальная логика, основываясь на первом законе мышления—на законе тождества — превращает конкретную целость в мертвый призрак. Закон этот требует, чтобы мы устранили в предмете всякие различия. Но в результате такого отвлечения мы получаем пустую форму вместо живого целого. Эта пустая форма или формальное единство вещи составляет отрицание различий. Но где нет различий, там нет содержания. Но формы без содержания не существует. Если бы это было так, т.-е. если бы действительно формальный закон тождества составлял истину, если бы мы должны были только им руководствоваться, то „мышление,—как правильно говорит Гегель,—было бы самым бесполезным и скучным занятием". То же самое относится и к другим формальным законам мышления. Они составляют отвлеченные законы рассудка. Если взять закон тождества: A = A, то ведь самая форма предложения противоречит ему, потому что предложение обещает различие между субъектом и предикатом, а это предложение не дает того, чего требует его форма. Но, во-вторых, она отвергается другими, так называемыми, законами мысли, которые совершенно противоположны ему.

Если говорят, что этот закон не может быть доказан, но что всякое сознание мыслит согласно этому закону, и беспрекословно соглашается с ним, потому что опыт подтверждает его, то необхо-

[1]) Там же, стр. 21.

димо сказать, что этот мнимый опыт школы противоречит общему опыту, так как нет человека, который бы мыслил, представлял или говорил согласно этому закону, и нет вещи, какого бы рода она ни была, которая бы существовала сообразно ему. Выражения, которые основываются на этом мнимом законе, как, напр., планета есть планета, магнетизм есть магнетизм, дух есть дух, справедливо признают нелепыми. Вот что показывает всеобщий опыт. Школа, которая одна допускает такие законы, и логика, которую она серьезно преподает, давно потеряла доверие здравого смысла, — равно как и разума" [1]).

Формальная логика рассматривает законы мышления обособленно, каждый в его раздельности: единство обособляется от различия и, наоборот, вместо того, чтобы различия открывать в единстве и единство постигать в различии. Абстрактные законы формальной логики утверждают, с одной стороны, безразличное тождество, пустую форму: A есть A. С другой стороны законом противоречия в формулировке A non est non-A утверждается различие вещей. Закон исключенного третьего поэтому и гласит: A есть или B, или не-B. Здесь утверждается абсолютная противоположность вещей. Тождество первой формулы переходит в различие второй, а различие переходит в противоположение третьей формулы. Таким образом в этих законах выражается или абстрактное тождество, или абстрактное различие, или же отвлеченная противоположность.

Однако между всеми этими тремя законами существует внутренняя связь. Все они составляют лишь три отдельных абстрактных момента единого целого. Понятие тождества имеет какой-либо смысл лишь в отношении различий. Различия составляют необходимые определения тождества. Сравнивать можно ведь только то, что различно и в то же время тождественно. Различие (Verschiedenheit) есть только внешнее отличие (Unterschied). Все вещи в мире различны. Дубина не человек (хотя человек иногда напоминает дубину). Нет двух вещей, которые были бы тождественны. Различие далее переходит в противоположность. „В противоположности завершается определенная рефлексия, различение". Этим Гегель хочет сказать, что если различие носит внешний и неопределенный характер, то противоположность тоже означает различие, но различие внутреннее и определенное, необходимое, а не случайное. Буржуазия и пролетариат составляют, напр., различные общественные классы. Однако, различными общественными классами являются также пролетариат и крестьянство. Правда, это еще ни в малейшей мере не говорит о том, что они противоположные классы в смысле противоположности их интересов и пр. Но различие переходит в противоположность, когда оно касается существа дела, т.-е. если это различие „субстанциональное". „Противоположность есть единство тождества и различия: ее моменты различны в одном тождестве; в этом смысле они противоположны" (Логика, I ч., 2 кн.).

[1]) Hegel, Encyclopädie, Lasson-Ausgabe, 2 Aufl., S. 130; русск. пер. Чижова, стр. 204.

Предметы, которые только разнятся, равнодушны и безразличны друг к другу. Дубина „равнодушна" к человеку, хотя она иногда довольно больно бьет. „Но мы не довольствуемся тем, чтобы брать вещи в их различии. Мы сравниваем их и получаем определение сходства и несходства. Дело конечных наук состоит, по большей части, в приложении этих определений, и, в настоящее время, когда говорят о научном исследовании, то разумеют обыкновенно тот метод, который состоит в сравнении рассматриваемых предметов между собой". Гегель признает, что этим путем достигли весьма важных результатов. Но ошибаются те, которые полагают, что метод сравнения можно приложить ко всем областям знания. Результаты, добываемые сравнительным методом, составляют, правда, необходимую, но вместе с тем низшую или подготовительную ступень истинно-научного знания. Сравнительный метод имеет своей задачей привести наличные различия к тождеству. Математика и является той наукой, которая осуществляет эту цель наиболее полным образом, т.-е. она приводит различия к тождеству. Но это тождество есть чисто формальное, внешнее, отвлеченное тождество. Однако за отвлеченным тождеством вещей не следует забывать их различия.

Не всякое различие ведет к противоположности; но всякая противоположность заключает в себе момент различия. Различия бывают внешние и внутренние или существенные. О внешних различиях мы уже говорили. Внутреннее или определенное различие означают те, которые раскрываются из природы самого тождества. Единство разворачивает скрытые в нем различия. Без этих различий конкретного единства не существует. „Противоположность есть единство тождества и различия". Различие в одном и том же отношении есть противоположность. В силу того, что определенные вещи тождественны по своей сущности, они противополагаются друг другу и образуют, так сказать, крайние полюсы. Противоположности соотносятся друг с другом, с другой стороны, в своем единстве или тождестве. Утверждение формальной логики, что между двумя противоположностями нет промежуточного третьего, что из двух противоположных предикатов только одно свойственно каждой вещи — неверно. „Обыкновенно думают, что положительное и отрицательное абсолютно различны". Но в действительности они составляют одно и то же понятие различия. Положительное и отрицательное взаимно обусловливают друг друга и существуют в соотношении друг с другом. Стало быть, они связаны друг с другом. Диалектика имеет своей целью вскрыть внутреннюю связь всех вещей и „узнать необходимость вещей, так что каждая является в противоположности со своей другой вещью. Например, не должно думать, что неорганическая природа есть нечто другое, чем органическая; она есть ее не-

обходимое другое (курсив мой. *А. Д.*). Обе находятся в необходимой связи, и каждая из них существует только потому, что исключает другую и, через это самое, соотносится с нею". Буржуазия и пролетариат противоположные общественные классы. Но не следует думать, что они „равнодушны" друг к другу; напротив того, каждый видит в своем антагонисте своего другого, т.-е. свою необходимую противоположность. Они не могут существовать друг без друга и, следовательно, взаимно связаны. Каждый отражается в другом и существует лишь потому, что существует другой. Каждый класс видит в другом свою противоположность, своего другого, как выражается Гегель. Каждый полюс является одинаково и положительным, и отрицательным. Положительный поэтому есть в то же время отрицательный, а отрицательный—положительный. Положительной стороной каждый полюс является потому, что он составляет необходимое определение целого. Но он является отрицательной стороной, поскольку он противоположен другому полюсу, своему антагонисту.

Противоположность переходит далее в противоречие, которое составляет новую ступень в процессе знания и развития мира. Вещи изменяются постепенно так, что противоположные определения принимают характер противоречия. „Начало исключенного третьего,—говорит Гегель,—начало, которое принадлежит отвлеченному рассудку, следовало бы заменить другим: „все содержит в себе противоречие". В самом деле, ни в небе, ни на земле, ни в мире природы, ни в мире духа нет ничего, к чему прилагались бы эти отвлеченные определения рассудка (то или другое). Все, что есть, обладает конкретною природою и, следственно, содержит в себе различие и противоположность. Конечность вещей состоит именно в том, что их непосредственное бытие не соответствует тому, чем они суть в самих себе. Так, например, в неорганической природе, кислота есть в самой себе basis, т.-е. она существует только потому, что находится в связи со своим противоположным. И вследствие этого кислота не остается спокойной в своей противоположности, но стремится поставить себя тем, что она есть в самой себе.—Миром движет вообще—противоречие, и смешно говорить, что противоречие не мыслимо. Но справедливо, что вещи не останавливаются на противоречий и что оно уничтожается по необходимости" [1]).

Противоположность содержит в себе противоречие, как возможность, в скрытом виде. Противоречие же есть деятельное обнаружение противоположности, и только здесь скрытый антагонизм принимает форму „конфликта". Противоречие разрешается борьбой противоположностей, при которой дезорганизующий и организующий моменты действуют одновременно. Новая форма рождается и развивается именно в силу противоречия, путем отрицания старого.

[1]) Encyclopädie, стр. 120, прибавление; ср. также: Наука логики, 1 ч., 2 кн., стр. 42.

Не имея возможности подробнее остановиться на сей раз на моменте „противоречия", мы еще раз позволим себе привести цитату из Гегеля, которая прекрасно выясняет значение затронутого вопроса. „Ощущали,—говорит он,—какую-то нежность к миру, думали, что противоречие было бы для него пятном и что его следует приписать разуму, сущности духа. Нетрудно согласиться, что дух находит противоречия в мире явлений, т.-е. в мире, как он представляется субъективной мысли, ощущению и рассудку. Но если сопоставить сущность мира и сущность духа, нельзя не удивиться тому добродушию, с которым смиренно утверждают, что не сущность мира, а сущность мысли, разум содержит противоречие" [1]).

Развитое различие есть противоположность; развитая противоположность есть противоречие. Противоположные вещи тождественны, ибо понятие противоположности применимо и может быть применимо лишь к однородному понятию. Светлое и темное тождественны, как виды света. Противоречие означает различие себя от самого себя. Каждое из двух сторон противоположности необходимо предполагает другую и требует бытия ее, как выражается Куно Фишер. Но одновременно каждая сторона, будучи отрицанием второй, требует небытия другой. Следовательно, каждая сторона и полагает и отрицает другую сторону, относится к ней и положительно и отрицательно, след., сама и положительна и отрицательна, т.-е. требует своего собственного бытия и небытия или, иначе говоря, составляет целую противоположность, т.-е. противоположна самой себе. В этой противоположности самому себе состоит сущность противоречия, как правильно формулирует Куно Фишер. Природой противоречия объясняется далее характер разрешения противоречия. Каждая из самостоятельных противоположностей „снимает себя и обращает себя в другую и тем самым уничтожается в основании". Все конечное противоречиво в самом себе, преходяще и должно возвратиться к своему основанию, т.-е. к некоторой высшей форме. „Мыслящий разум,—говорит Гегель,—обостряет, так сказать, притупленное различение различного, простое многообразие представления, в существенное различение, в противоположность. Лишь таким путем многообразные, обостренные в противоречие, противополагаются энергически и жизненно и приобретают в нем ту отрицательность, которая есть присущее самодвижению и жизненности биение пульса" (Логика). Сантиментальная нежность к вещам заботится лишь о том, чтобы они себе не противоречили. Формальная логика и перенесла противоречие из жизни, из действительности в рассудок. Но от этого противоречие не перестает существовать все

[1]) Энциклопедия, § 48.

же в подлинной действительности. Однако питающие нежность забывают, что противоречия в истории, напр., разрешаются суровой борьбой. Когда все необходимые ступени развития—от простого тожества через различия и противоположности до исключающего противоречия—пройдены, тогда наступает эпоха „разрешения противоречий".

А. Деборин.

Продолжение следует.

Г. В. Плеханов.

II. Плеханов и группа „Освобождение Труда".

(К сорокалетию группы „Освобождение Труда").

1.

Почти одновременно со своим письмом-программой Плехановым была задумана и большая статья „Новое направление в полит. экономии". По крайней мере, уже весной 1881 года он пишет Лаврову: „Что касается до моей работы, то она еще не кончена. Каким образом это случилось? Такова моя несчастная привычка к каждой статье готовиться, как будто я собираюсь писать диссертацию. Но теперь это несчастное собирание материалов кончено, и я снова сажусь за ее продолжение" [1]). Мысль о разборе новых теорий и возникла как попытка проверить свое новое воззрение на критической работе.

Что показала эта проверка? Она показала, что по меньшей мере в области теории Плеханов уже твердо стоял тогда обеими ногами на надежной почве марксизма.

Самый беглый обзор достаточен для доказательства этого.

„Всякий, кто следит за современной литературой в области экономической науки", не может не заметить, по мнению Плеханова, как вырастает новое направление, оппозиционное классическому. „Чем же вызывается это критическое отношение к догмам школы, считавшейся некогда непогрешимой" [2]). Ответ на этот вопрос обнаруживает в нем прекрасное знание истории и отнюдь не плохого марксиста-материалиста. Основное сочинение Рикардо, представляющее наивысшее развитие классической политич. экономии, вышло в 1817 г., когда „капиталистический способ производства тогда еще только завоевывал себе господствующее положение в сфере западно-европейских экономических отношений; буржуазия спорила еще за власть и преобладание с поземельной аристократией; наконец, промышленные кризисы не сделались еще в то время периодически возвращающимся бедствием

---

[1]) Плеханов—Письма к Лаврову.—См. Л. Дейч, „Г. В. Плеханов", стр. 86.

[2]) Плеханов, Сочин., т. I, стр. 169.

цивилизованных наций. Но ведь еще Вико утверждал, что „все науки родились из общественных потребностей и нужд народов" и что „ход идей соответствует ходу вещей"; если применить этот принцип при изучении экономической науки, а он более чем где-либо применим в общественных науках, то разное отношение к доктринам классической школы в начале XIX в. и в 80-х годах того же века надлежит приписать исключительно изменению экономики: „Общественные потребности" и нужды западно-европейских народов были совсем иные в начале XIX века, чем в настоящее время, —пишет Плеханов.— Перед современниками Рикардо не стоял еще грозным призраком рабочий вопрос; они не знали еще, до каких противоречий может дойти капиталистический способ производства. Они видели капитализм лишь с его положительной стороны, с точки зрения увеличения национального богатства" [1]). Они знали о существовании рабочего вопроса, но они им не интересовались. „Истинный смысл и значение капитализма оставались „lettre close" для экономистов-классиков. Интересы рабочих они продолжали связывать с возрастанием „народного богатства" и в этом возрастании видели единственное средство уврачевания общественных бедствий" [2]). Не следует это толковать таким образом, будто „классики" умышленно закрывали глаза на рабочий вопрос. „В то время к такому умышленному закрытию глаз на явления жизни еще не было поводов. Протест рабочих выражался в такой грубой, примитивной форме; он направлялся против таких необходимых и очевидно полезных для производства технических усовершенствований; наконец, сознание особенностей своего положения, как класса, было еще так слабо развито в умах самих рабочих, что ни самой буржуазии, ни ученым ее представителям не могло внушить серьезных опасений констатирование указанного выше противоречия капитализма" [3]). Но ведь это не могло так долго длиться. Развитие экономической жизни привело к тому, что „на историческую арену стали пробиваться новые общественные группы; незаметные прежде противоречия капитализма обнаруживались все с большею и большей ясностью, а вместе с этим и в науке стали обнаруживаться новые течения, более или менее сильно отклоняющиеся от направления Рикардо-Смитовской школы. Короче сказать, изменялся „ход вещей",—изменялся и „ход идей", и правильное понимание первого должно дать нам ключ к уразумению последнего" [4]). Правильная постановка вопроса—наполовину гарантирует и правильное его решение, а читатель не может отказать

[1]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 170.
[2]) Тоже, стр. 171.
[3]) Тоже, стр. 172.
[4]) Тоже, стр. 173.

Плеханову того, что он, действительно, вопрос поставил чрезвычайно правильно и метко.

Но для правильного понимания хода идей в данном случае надлежало конкретно еще понять, каков был „ход вещей" в Германии, и почему это новое направление пышно расцвело именно там. Этому вопросу не мало уделяет места Плеханов в своей первой статье, о которой идет речь. Мы не собираемся разбирать по существу его критику,— этим займемся в другом месте,—заметим только, что не только классики, но и последующие экономические школы нашли в этой замечательной статье блестящую оценку. Лист, Бастиа, „историко-реалисты", Луйо Брентано получают суровую отповедь и меткие характеристики. Среди прекрасных критических замечаний по экономике (к которым мы еще вернемся) разбросано не мало замечаний, дающих довольно ясное понятие о том, как он далеко пошел по пути марксизма к этому времени.

„Каждая составная часть общества стремится устроиться по-своему, каждый класс отстаивает или стремится завоевать наивыгоднейшие для него условия существования. И нужно сознаться, что—„орган высшего права"—государство находилось бы в большом затруднении, какой из рекомендуемых ему видов „справедливости" должно осуществить оно в данное время, если бы только оно действительно существовало как нечто стоящее вне экономической иерархии классов и совершенно независимое от их интересов и стремлений. Но в том-то и дело, что в каждый данный момент исторического развития организация государства определялась развитием сил составных его частей. Если бы взаимное отношение этих сил оставалось неизменным, то и воплотившиеся в формах государственной организации идеи „права" и „справедливости" также не изменялись бы в своем содержании. Но история никогда не стоит на одном месте. Медленно и незаметно, но неуклонно и „неукоснительно" совершаются изменения в фактических отношениях сил различных общественных классов, пока, наконец, эти изменения не достигнут известной степени интенсивности. Но раз необходимая степень этих изменений достигнута, государственная организация в свою очередь подвергается переустройству, становится воплощением новых идей и принципов. История третьего сословия может служить наглядным доказательством всего вышесказанного" [1]), пишет он. Нельзя не пожалеть, что статья эта первоначально появилась в легальном органе — стремление скрыть свои мысли так, чтобы они стали невидимыми для цензора и понятными читателям, делало то, что мы имеем перед собой последовательно-революционный взгляд, выраженный эзоповским языком.

[1]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 194.

Обусловленность государства „развитием сил составных его частей",— т.-е. борьбой классов и ее развитием, которая, достигнув известной степени интенсивности, приводит к переустройству государственной организации, как это было у третьего сословия — разве эта речь не речь совершенно оформившегося „марксида". По крайней мере, по вопросам теории его воззрения к этому времени вполне установились.

За эзоповским языком легальной журналистики слышится речь революционера-марксиста.

Крупных статей после этого в течение 1881 года Г. В. Плеханов не писал, и у нас нет ничего, кроме его переписки с Лавровым и его воспоминаний в разных статьях, писанных впоследствии для характеристики эволюции и роста его воззрений.

Нет у нас также достаточных объективных данных для суждения о его отношении в эту пору его раннего марксизма к вопросам революционного движения в России, но совершенно несомненно, что и тут основной перелом произошел именно в начале 1881 г., во всяком случае письмо его в редакцию „Черн. Пер." и изложенная там minimum-программа много говорит об этом начавшемся повороте к марксизму. К числу важнейших доказательств нужно признать и то, что уже к середине 1881 года Плеханов кардинально изменил свое отношение к федерализму и выступал горячим защитником идеи централизма [1]). Это тем более характерный и важный симптом, что федерализм для бакунизма не является отнюдь случайным явлением. В общей системе Бакунина идея федералистического устроения будущей России непосредственно вытекала из его анархических воззрений на государство и утопического экономического построения — учении об общине, как первичной ячейке социализма. Отрицание федерализма если не означает полного и окончательного разрыва с бакунизмом в русских делах, то несомненно указывает на то чрезвычайно знаменательное на наш взгляд явление, что к этой эпохе относится начало переоценки практической программы „русского социализма".

Однако вернемся к эволюции его теоретических взглядов. Статья его „Нов. напр." имела большой успех. Такой строгий ценитель, как Н. К. Михайловский, не только принял статью, но и постарался закрепить за „Отечествен. Записками" молодого ценного сотрудника. Он заказал ему вторую статью, которую Плеханов и принялся подготовлять.

„По своей несчастной привычке" он готовил материал к другой статье и вел жестокую войну с нуждой, которая отнимала у него неимоверно много времени.

[1]) См. указания Л. Г. Дейча: „О сближении и разрыве с Н. В."—„Пролет. Рев." № 20.

Когда от редакции „Отечественных Записок" он получил заказ на новую статью, он был рад вдвойне и литературной удаче, и перспективе некоторого улучшения материального положения. „Вчера я получил из редакции „Отеч. Зап." 500 фр. Михайловский пишет мне, что статья моя уже набрана и будет помещена в ноябрьской книжке. Он предлагает мне написать следующую статью не о Гумпловиче, а о Родбертусе. Хотя,—говорит он,—Зибер и писал о нем в „Юридич. Вестнике", но изложение его очень тяжелое, и притом „Юрид. Вестник" очень мало распространен. Я с удовольствием беру эту тему, хотя сочинения Родбертуса очень трудно достать" [1]). Поздней осенью 1881 г. Плеханов приступил к своей статье о Родбертусе, на которой нам следует остановиться несколько подробнее.

2.

Значение этой статьи огромное, и прежде всего она должна занять в литературе международного марксизма почетное место, как первая попытка дать надлежащую оценку Родбертусу.

В одной из последующих глав мы займемся разбором экономических воззрений Плеханова и там же попытаемся сравнить эту оценку с той, которую впоследствии дали Каутский и Энгельс Родбертусу, теперь же нас интересует эволюция и рост марксизма у Плеханова, поэтому и в „Экономической теории К. Родбертуса" мы будем искать теперь материал для нашей непосредственной цели.

В „Нов. напр." он констатировал рост „историко-реалистической" реакции против классической политической экономии и совершенно резонно искал причину этого явления в тех изменениях, которые произошли в соотношении классовых сил в современном обществе, в появлении на арену нового решающего фактора — рабочего класса и нового экономического явления — рабочего вопроса.

Таков же метод исследования и в „Родбертусе".

Теперь он обращает внимание своих читателей на то обстоятельство, что те же самые причины вызывают и другое аналогичное явление.

Вражда, замалчивание, которым немецкие экономисты встретили Родбертуса — к семидесятым годам превратились в любовь и почитание. С ним вошли в сношение и старались привлечь его к своему „социально-политическому" союзу так называемые катедер-социалисты; о нем заговорили, как о „самом оригинальном представителе экономического социализма", как о писателе, „стоящем выше Лассаля, Маркса и Энгельса" [2]). Откуда такой поворот в настроениях буржуаз-

[1]) Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч „Г. В. Плеханов", стр. 89.

[2]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 217.

ных экономистов? Естественно, ничто беспричинно не совершается, а причиной такого внезапного „просветления" не могло быть внутреннее достоинство теории Родбертуса, ничто в нем не изменилось за эти годы; изменение претерпело другое явление: изменились классовые отношения.

Борьба классов вступила в новую полосу, кардинально отличную от того, что было всего одно-два десятилетия до того. Различные перипетии этой борьбы отразились на литературной судьбе Родбертуса и обусловливали то или другое отношение к нему его ученых современников из среды „охранителей" [1]); до того, как появляется современное рабочее движение, до теоретического завершения учения Маркса буржуазия видела в Родбертусе представителя классической политической экономии и ненавидела его наравне с другими классиками — Марксом, Энгельсом и др. Но автор „Капитала" не только был последователем великих экономистов с колоссальным знанием, но и был великим революционером; он возглавлял движение современных рабочих и теоретически, и практически. „Буржуазия вспомнила про Родбертуса, человека со смирным нравом и консерватора, лишь тогда, когда экономическое учение Маркса вкупе с его политическими воззрениями стали вдохновлять пролетариат к борьбе, сознательно направлять эту борьбу в русло классовое — против буржуазии, против капитализма, когда буржуазии понадобилось противоядие против Маркса: Родбертус являлся меньшим из двух почти неизбежных в настоящее время на Западе зол. И несомненно, что именно этому стечению обстоятельств обязан он тем вниманием, которое стали оказывать ему теперь катедер-социалисты" [2]).

Иного критерия теперь у буржуазии не осталось. Все авторы в ее глазах делятся на тех, кто признает за рабочим классом право борьбы за свое освобождение, и тех, кто этого права за ним не признает. „Решающее значение имеют в их глазах практические стремления авторов этих теорий и прежде всего, разумеется, вопрос о политической самостоятельности рабочего класса. Писатель, выступающий против организации рабочих в особую политическую партию, наверно, приобретает симпатии буржуазных экономистов, какими бы теоретическими соображениями он при этом ни руководствовался" [3]). Я прошу обратить внимание на последние слова. Они написаны в начале 1882 года! В них уже совершенно очевидно и ясно высказана мысль, оформление и защита которой является одной из великих заслуг группы „Освобождение Труда". Мысль о необходимости и неизбежности организации рабочего класса в особую классовую политическую партию—то, что для западно-европейского рабочего тогда было очевидным и практически осуществляемым, то для России было новым словом, то русскому пролетариату надлежало завоевать. Читателю не трудно видеть, что эта мысль завоевывалась одной из первых. Но вернемся к статье.

[1]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 218.

[2]) Тоже, стр. 219.

[3]) Тоже, стр. 220.

Говоря все это, Плеханов ничуть не желает умалять значение Родбертуса-экономиста. Отзывы и противопоставления врагов „не уменьшают заслуг самого Родбертуса и не мешают ему занимать одно из самых видных мест среди экономических писателей XIX века. Ставить его „выше Маркса и Энгельса, конечно, невозможно"... „Факты не позволяют утверждать, что автор „Капитала" заимствовал основные свои положения у Родбертуса. Они показывают, что Родбертус, Маркс и Энгельс одновременно выступили на литературное поприще и что первый из названных писателей, с одной стороны, Энгельс и Маркс — с другой, уже с начала сороковых годов держались самостоятельных, имевших, правда, много общего, но во многом и расходившихся теорий" [1]). Эту мысль Плеханов в дальнейшем доказывает или, было бы вернее сказать,—пытается доказать, ибо окончательно вопрос об отношении Родбертуса к Марксу был решен Энгельсом, который выступил вооруженный фактами и цитатами.

Вопросом о том, как он справился с критикой учения Родбертуса, мы займемся ниже, но что совершенно несомненно, это то, что самая постановка вопроса обнаруживает в авторе прекрасную марксистскую подготовку, а вся статья, скажем забегая вперед, весьма солидные познания Маркса и превосходное умение владеть методом Маркса — что всего важнее. Было бы опрометчиво утверждать, что его марксизм этой эпохи был без изъянов. Наоборот, уже не говоря о том, что он только еще собирался отделаться от бакунизма в русских вопросах—и в западных делах у него было еще много изъянцев и недоделанных частностей. Впереди он имел еще много вопросов решать. В двух первых статьях это заметно значительно.

Чрезвычайно характерное обстоятельство, которое бросается в глаза очень легко—в первой статье особенно, но не без того и во второй—это то, что он еще плохо разбирает разногласия между Марксом и Энгельсом, с одной стороны, и Лассалем—с другой. Феерические речи и героический образ великого трибуна сильно мешали ему видеть те теоретические разногласия, которые существовали между ним и великими учителями пролетариата, не давали ему возможности видеть то, что отделяло их.

Впрочем, такое преклонение перед Лассалем у него сохранилось значительное время. В 1887 г. появилась его брошюра „Ф. Лассаль", которая носит на себе все следы такого преклонения. Отметим еще,

[1]) Тоже, стр. 220.

что „Родбертус“ значительно смелее „Нов. напр.“. Здесь уже твердое марксистское словоупотребление, последовательное проведение терминологии, ясно выражено желание не скрывать свое приверженство новому учению; в то время как в „Нов. напр.“ Плеханов нарочито избегает частого употребления имен Маркса и Энгельса и лишь в случаях самых неотложных прибегает к этому,—в „Родбертусе“ все свои изыскания и возражения делает „от Маркса“, не боясь ни упреков в „слепой вере“, ни презрительных покачиваний головой со стороны какого либо российского катедер-социалиста.

Над своим „Родбертусом“ Плеханов работал зимой 1881—1882 годов. Выше я уже привел его извещение Лаврова о заказе статьи редакцией „Отеч. Зап.“. Рано зимой он пишет Лаврову: „Недавно получил письмо от Михайловского, в котором он торопит меня со статьей“ [1]).

К концу этой зимы он пишет: „Целые дни сижу я за своей статьей, встаю со стула совершенно усталый, а время отдыха я как-то не умею еще экономизировать, и оно пропадает даром, хотя и мог воспользоваться им для переписки со своими знакомыми“ [2]).

Такую большую спешку можно объяснить, как это и видно из выше приведенного отрывка, исключительно соображениями практическими — нужны были деньги, это было время его наибольшей нужды, что нашло частое, может показаться даже слишком частое, отражение в его переписке с Лавровым.

В том самом письме, писанном ранней весною 1881 г., где он говорил о своей „несчастной привычке“,—он пишет Лаврову, что его очень тревожит вопрос, куда он пошлет свою статью („Нов. напр.“), ибо в редакции петербургского „Слова“ какие-то перевороты и междоусобия; а вследствие этого, как и всегда бывает в таких случаях, экономический кризис. Я же, с своей стороны, находясь в состоянии хронического финансового кризиса (курсив мой—*В. В.*), очень рассчитывал на немедленное получение денег за статью“ [3]). В октябре того же года, получив известие о том, что статья принята в „Отеч. Зап.“, Лавров пишет ему письмо с поздравлением, на что Плеханов отвечает письмом от 31 X, где, между прочим, говорит:“ Благодаря Вашей поддержке, я, быть может, получу возможность работать и развиваться, не имея в перспективе голодной смерти или задолжания без надежды уплаты“ [4]) (курсив мой—*В. В.*). Получив от Михайловского гонорар в 500 фр., он озабочен их распределением между кредиторами: „Получивши 500 фр., я должен уплатить свои долги, которых на мне больше, чем на рус-

[1]) Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов“ стр. 91.
[2]) Тоже, стр. 94.
[3]) Тоже, стр. 86.
[4]) Тоже, стр. 88.

ском государственном казначействе. Уплачивая же долги, я должен иметь в виду степень потребности в деньгах со стороны моих кредиторов, так как всех зараз мне уплатить невозможно (курсив мой. *В. В.*). Напишите мне, пожалуйста, Петр Лаврович, нужны ли Вам теперь деньги. Если да, я сейчас же Вам постараюсь выслать, если же нет,—уплачу другим. Да будьте, пожалуйста, без церемонии в этом отношении. Ведь я и без того слишком уже много злоупотреблял Вашей добротой. Кроме того, пришлите мне пожалуйста, адрес Геринг [1]), В начале следующего 1882 г., сообщая Лаврову о ходе своих литературных работ, Плеханов пишет: „Здесь, в Кларане, я останусь еще на довольно продолжительное время. Опять застрял, опять могу сказать словами псалмопевца: „Окружили мя тельцы мнози и тучны“, т.-е. мои кредиторы (курсив мой. *В. В.*), опять надежда одна на „Отечеств. Зап.“ [2]). 6/II он вновь пишет Лаврову: „Многоуважаемый Петр Лаврович. Извините, что пишу на carte postal—не имею покупательной силы в данную минуту (курсив мой. *В. В.*). Ваш совет „не забывать о деле“ пришел как нельзя более кстати, так как, торопясь окончить статью о Родбертусе, я отложил бы еще на некоторое время окончание перевода „Манифеста“. Для меня скорое окончание этой статьи было вопросом хлеба и средством поставить себя в такие отношения к своим близким, чтобы обо мне не спрашивала „между прочим Геринг“ [3]) (курсив мой. *В. В.*). И так все время, вплоть до конца 80-ых годов. Его письма к близким людям этой эпохи пестрят подобного рода жалобами.

И статья о Родбертусе вклинилась в его работу над переводом „Манифеста“. Приступил он к переводу „Коммунистического Манифеста“ ранней зимой 1881—1882 г.г., но заказ на нее он получил уже к концу 1881 г.; в самом же начале организации Русская Социально-Революционная Библиотека была намечена к переводу эта брошюру и поручена Плеханову; примерно к февралю он пишет Лаврову: „Перевод „Манифеста“ я еще не окончил. Дайте мне немножко управиться со статьей, и я очень скоро представлю Вам рукопись „Манифеста“. Я прошу Вас и все собрание редакции Русская Социально-Революционная Библиотека не выходить окончательно из терпения и повременить с „Манифестом“. Мне не хотелось бы передавать его в другие руки“ [4]). 6 февраля он пишет Лаврову, что „ввиду того, что из-за меня остановилось дело, я оставлю на несколько дней Родбертуса и окончу перевод. Членам редакции Русская Социально-

[1]) Тоже, стр. 90.
[2]) Тоже, стр. 94.
[3]) Тоже, стр. 92.
[4]) Тоже, стр. 94.

Революционная Библиотека прошу Вас сообщить, что я не исполнил обещания относительно доставки перевода через полторы недели потому, что Родбертус отнял времени больше, чем я думал. Впрочем, если собрание желает передать мой неоконченный перевод кому-нибудь другому, — пусть меня известят. Сознаю, что с таким неисправным товарищем, как я, вести дело неприятно" [1]). Перевод не передали другому, он окончил его, и в марте был отправлен в набор. Вероятно, к весне относится и предисловие его к своему переводу, знаменитое в том отношении, что оно не ограничивалось формальными моментами и представляло собою подлинный манифест молодого марксизма.

В нем уже даны элементы того, что через полтора года приняло форму гениального памфлета.

Оправдывая издание „Коммун. Манифеста" именно к этому времени, когда „вопрос о значении и задачах политической деятельности нашей партии становится жгучим практическим вопросом", он далее продолжает:—„Взаимная зависимость и связь политических и экономических интересов трудящихся указаны в „Манифесте" с полною ясностью. Авторы его сочувствуют „всякому революционному движению против существующих общественных и политических отношений. Но, отстаивая ближайшие непосредственные цели всякого революционного движения, они в тоже время не упускают из виду его „будущности". Поэтому „Манифест" может предостеречь русских социалистов от двух одинаково печальных крайностей: отрицательного отношения к политической деятельности, с одной стороны, и забвение будущих интересов партии — с другой. Люди, склонные к первой из упомянутых крайностей, убедятся в том, что „всякая классовая борьба есть борьба политическая" и что отказываться от активной борьбы с современным русским абсолютизмом значит, косвенным образом, его поддерживать (курсив мой — *В. В.*). С другой стороны, „Манифест" показывает, что успех борьбы каждого класса вообще, а рабочего в особенности, зависит от объединения этого класса и ясного сознания им своих экономических интересов. От организации рабочего класса и непрестанного выяснения ему враждебной противоположности его интересов с интересами господствующих классов зависит будущность нашего движения, которую, разумеется, невозможно приносить в жертву интересам данной минуты" [2]).

Проблема организации самостоятельной политической партии пролетариата, следовательно, далеко не была плодом измышления

[1]) Тоже, стр. 92.

[2]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 150.

нескольких людей, в один прекрасный момент почувствовавших, что они потерпели неудачу в своих объединительных стремлениях; наоборот, потребность эта назревала параллельно с ростом марксизма.

Я это особенно подчеркиваю, ибо до сих пор историки нашей партии склонны были рассматривать возникновение и рост заграничного русского марксизма независимо и оторванно от потребностей практического движения пролетариата. Мемуаристы изображают (скорее всего склонны изображать) дело так, будто группа „Осв. Труда" явилась, как результат интриг. Так же понимали дело народовольцы в ту эпоху, как это прекрасно видно из писем Тихомирова к Лаврову, отрывки из которых Л. Дейч приводит в своей статье [1]). Если бы даже видимая сторона дела была и такая—и тогда это не означало бы ничего иного, как то, что всякое новое, выдвинутое жизнью, явление встречает упорное сопротивление уже существующей обстановки и после ряда безуспешных попыток примирить себя с существующим, втиснуть себя в действующие формы, вынуждено порвать с ними и создать себе новую, отвечающую своему новому содержанию, форму: участникам всей этой борьбы и проводникам этих идей все это не может представляться иначе, как „склока", как „интриги". Дело историка найти подлинные социологические корни нового явления. В данном случае борьба Плеханова за право пролетариата организоваться в классовую партию — было ответом на непосредственный голос практической борьбы пролетариата.

Уже в начале 1882 года, по мнению Плеханова, было достаточно элементов к тому, чтобы заложить основание такой организации рабочего класса. „Рабочие наших промышленных центров, в свою очередь, начинают мыслить и стремиться к своему освобождению". Несмотря на все преследования правительства, тайные социалистические организации рабочих не только не разрушаются, но принимают все более широкие размеры. Вместе с этим расширяется социалистическая пропаганда, растет спрос на популярные брошюры, излагающие основные положения социализма. Было бы очень желательно, чтобы имеющая возникнуть русская рабочая литература поставила себе задачей популяризацию учений Маркса и Энгельса, минуя окольные пути более или менее искаженного прудонизма" [2]).

Это пожелание тем более было своевременно, что народническая интеллигенция искала тем временем себе нового авторитета в лице Дюринга, а российские народники проповедывали нечто, имеющее много схожего с „искаженным прудонизмом".

[1]) „О сближ. и разрыве с народовольцами—„Прол. Рев." № 20, за 1923 г.

[2]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 151.

При этом тут же он пускается в некую маленькую хитрость, которую не понимать было трудно, ибо она была очень наивной хитростью: „Правда, у нас до сих пор еще довольно сильно распространено убеждение в том, что задачи русских социалистов существенно отличаются от задач их западно-европейских товарищей. Но, не говоря уже о том, что окончательная цель должна быть одинакова для социалистов всех стран, рациональное отношение наших социалистов к особенностям русского экономического строя возможно лишь при правильном понимании западно-европейского общественного развития. Сочинения же Маркса и Энгельса представляют собой незаменимый источник для изучения общественных отношений Запада“ [1]). Чтобы была понятна читателю вся наивность этой хитрости, напомню, что разговоры о том, что народникам всего лучше защитить свое народничество на основе учения Маркса, тогда были общими среди эмигрантов, и в частности сам Плеханов делал много попыток убеждать в этом своих противников. Плеханов рассказывает об этом в своей статье „Почему мы разошлись с ред. Вести. Н. В.“ интересный эпизод, который происходил как раз той же весной 1882 г.; Плеханов рассказывает, что у них: „возникла надежда притти к соглашению с „народовольцами“ на почве новой для нас тогда и все более увлекавшей нас теории научного социализма. Мы не упускали случая обратить внимание „народовольцев“ на ее преимущества, и хотя они, как и все наши российские „люди дела“, были довольно беззаботны на счет теорий, но самая их беззаботность позволяла нам ожидать, что они без большого труда отстанут от дурной привычки, усвоенной редакцией их газеты „Народная Воля“, превозносить Дюринга за счет Маркса.

— Скажите, почему вы хвалите Дюринга и порицаете Маркса? — спросил я весной 1882 г. одного из самых видных членов Исполнительного Комитета.—Неужели вы не видите, что Маркс гораздо основательнее Дюринга?—Мы, собственно говоря, ничего ни имеем против Маркса, возразил мой собеседник, но мы думаем, что наша программа больше подходит к учению Дюринга. А вы как полагаете?— Я ответил, что, по моему мнению, им выгоднее держаться за Маркса: „В этом случае вы сделаете только одну ошибку, именно при переходе от марксова учения в своей программе; а держась за Дюринга, вы будете ошибаться на каждом шагу, потому что он сам целиком состоит из ошибок“ [2]). Куда как утешительный для народовольцев аргумент!

Само собой разумеется, что увещевания ни к чему не привели, но за это вряд ли кто станет винить Плеханова.

[1]) Плеханов, Сочин., том I, стр. 151.

[2]) „Искры“ № 54—„Почему и как мы разошлись с редакцией „В. Н. В.“

Став окончательно на точку зрения научного социализма, совершенно естественно, первым импульсом он пытался повлиять на идейное лицо единственной тогда революционной организации, но столь же естественно было и вполне понятно то, что его постигла тут жестокая неудача на этом неблагодарном поприще.

Теоретическое развитие Плеханова на этом не остановилось. Он неустанно думал над актуальными проблемами революции в России: вопрос о государстве и его роли, федерализме и централизме, социализме и его отношении к политической борьбе, об общине и о судьбах капитализма в России,—словом, став на точку зрения научного социализма, Плеханов переоценивал все ценности, как теоретические, так и практические, которыми гордился российский самобытный социализм.

Но прежде несколько слов о том, как шли и развивались организационные и тактические взаимоотношения, если будет позволено так обозначить, между „Черным Переделом“ и „Народной Волей“. Это развитие тоже имело свои перипетии и оказало не малое влияние на то, что от момента возникновения марксизма (1881 г., начало) до времени его организационного оформления (IX 1883 г.) прошло так много времени.

3.

Плеханов зимой 1881 года был, несомненно, марксист.

Но почему тогда же он не приступил к организации группы или ячейки своих единомышленников? Каковы были те причины, которые мешали ему в этом?

Их было много. Но главной причиной была та чрезвычайно напряженная, борьба народовольцев с правительством, которая привела к первому марта; геройские яркие образы Перовской, Желябова и др. создали такую всеобщую атмосферу восхищения и симпатии к Нар. Воле, что всякий разговор о сколько-нибудь резкой и открытой борьбе против нее казался безнадежным и, пожалуй, ненужным, вредным. Вредным, потому что Народная Воля была единственно деятельная революционная организация.

Больше того, исключительный героизм террористов, которые, по крайней мере, боролись самоотверженно, сильно действовал и на чернопередельцев—товарищей Плеханова, сближая их с народовольцами.

Сближало их еще и другое обстоятельство. „Мысль о том, что Россия не минет фазу капитализма и что вследствие этого промышленному пролетариату суждено стать главной силой революционного движения, становилась для нас все более вероятной, а потому мы тем яснее начинали сознавать, что нам необ-

ходима политическая свобода. А это сознание в свою очередь располагала нас к сближению с „народовольцами“ [1]. Располагало товарищей Плеханова — чернопередельцев — и иное соображение. „Мы, женевцы, ведя переписку с русскими товарищами, имели более верное и ясное представление о положении революционного дела в России. Мы, напр., знали, что народническое направление все более и более теряет почву под ногами и что немногие уцелевшие там единомышленники наши не прочь присоединиться в партии „Народная Воля“ как в революционных кругах, так и среди передовой части общества“ [2]. Это обстоятельство, естественно, не могло не оказать сильного влияния на „народников“: основной пункт расхождения—вопрос о полемической борьбе потерял свою остроту, в теоретическом же отношении народники от народовольцев отличались не бог весть как на много. Им ничто не мешало вести переговоры о слиянии: „Мы, женевские сторонники „Черного Передела“, решили начать переговоры с „народовольцами“ о нашем к ним присоединении. После длившейся некоторое время переписки с ним об этом Як. Стефанович летом 1881 года отправился в Россию для продолжения этих переговоров как с остатками „Черного Передела“, так и с партией „Народн. Воля“. Вскоре он сообщил нам о состоявшемся его, сообща с немногими „чернопередельцами“, присоединении к „народовольцам“, что, понятно, для нас не было неожиданностью. Вслед за тем он стал засыпать нас письмами со всевозможными предложениями об оказании того или иного содействия террористической партии, к которой он примкнул. И мы, конечно, охотно исполняли его поручения“ [3]. Но так стремительно действовали лишь товарищи Плеханова, сам же он относился много спокойнее к этой горячке, охватившей его еще не оформившихся друзей. Он ясно видел много такого, чего друзья его не замечали и замечать не могли. „Мы совсем не были убеждены в том, что они (т.-е. народовольцы. *В. В.*) победят; напротив, мы хорошо видели, что за ними нет ни одной серьезной общественной силы, и потому их поражение временами казалось нам неизбежным. В этом случае я с полной уверенностью могу говорить опять-таки лично о себе. Но что касается меня, то я в письмах к своим друзьям и на собраниях русской колонии в Париже,—где я жил в то время,—не раз высказывал свое убеждение в том, что, „покончив“ с Александром II, партия Народной Воли нанесла смертельный удар самой себе, и что на первое марта 1881 г. мы должны смотреть, как на начало конца „народовольства“ [4].

[1] „Искра“ № 54 — „Почему и как мы разошлись с редакцией „Вестн. Народн. Воли“.
[2] Г. В. Плеханов — Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—Г. В. Плеханов, стр. 106.
[3] Тоже, стр. 106.
[4] „Искра“ № 54—„Почему и как мы разошлись с ред. „Вестн. Нар. Воли“.

Такой диагноз Плеханова очень скоро подтвердился почти целиком; когда приехали в Швейцарию Л. Тихомиров с женой, они оценивали положение дел точно так же. Но тогда совершенно непонятно, почему же чернопередельцы продолжали вести с народовольцами разговор о присоединении. „Мы сочли себя нравственно обязанными поддержать наших бывших товарищей, которых мы привыкли ценить на общем деле, которые были на-голову разбиты ненавистным нам врагом и с которыми мы уже с 1881 года не переставали поддерживать дружеские сношения, помогая им всем, чем только мы могли тогда помочь. Кроме того партия „Народной Воли“ пала не в один день, и в довольно продолжительном процессе ее падения бывали моменты подъема, в которые совсем уже стыдно было бы сидеть сложа руки (курсив мой. *В.В.*), не поддерживая того движения, которое при всех своих недостатках было хорошо уже тем, что являлось единственным в то время энергичным протестом против самодержавия [1]. И постольку и надлежало поддерживать народовольцев, по мнению Плеханова, поскольку они одни являлись борцами против самодержавия. Но не так думали его друзья и товарищи, которые, как мы видели выше, зашли слишком далеко на этом пути „примирения“. „Настроение моих женевских товарищей не особенно радует меня. Оно может быть формулировано словами—„соединимся во что бы то ни стало, хотя и поторгуемся, сколько возможно“. История хватает за шиворот и толкает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавно был принципиальным противником последней“ [2]. Если этот отрывок, что и говорит, то прежде всего то, что мы были правы, утверждая, что Плеханов долгое время был среди своих товарищей чернопередельцев одинок как марксист. На самом деле, что означает фраза „история хватает за шиворот и толкает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавно был принципиальным противником последней“, если не то, что эти самые „мои женевские товарищи“ еще только вчера отделались от народнического противопоставления социализма политике. Но затем его пугало в этой поспешности принципиальная шаткость членов его группы. Мы сейчас задним числом говорим о том, что Ч.П. развился в марксизм и, значит, в его учении был ряд элементов, дальнейшее развитие которых привело его членов к научному социализму. Но разве из приведенного материала не ясно, что один лишь человек оказался в состоянии до конца продумать и развить эти элементы, заложенные в народническом бакунизме? Все другие члены группы имели пред собой уже

[1] „Искра“ № 54—„Почему и как мы разошлись с редакцией „Вестн. Народн. Воли“.
[2] Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов, стр. 88.

продуманную цельную систему и в этом смысле являлись как бы учениками его (выражение, которое хотя и плохо, но все-таки передает взаимоотношение членов группы). Им не приходилось каждому самостоятельно продумывать эти противоречия, да к тому же и с помощью своего теоретическаго вождя еще не освоились и не утвердились в новом понимании явлений. Плеханов таким образом не без основания смотрит с большой тревогой на настроение своих товарищей; в отличие от своих друзей он знает, как на много оттолкнет назад нарождающийся марксизм подобное соединение без оговорок: „соединение во что бы то ни стало" могло привести к тому, что они—его товарищи—окончательно могли уйти в лагерь народничества не только организационно, но и принципиально. Примеров таких он имел перед собой не мало. Потому-то он так осторожен в вопросе о сближении. Л. Г. Дейч свидетельствует: „Г. В. стоял совершенно в стороне от всего этого. (Речь идет о переговорах о слиянии с Н. В.—*В.В.*) Но, прожив в Париже, он осенью 1881 г. переселился с семьей Швейцарию, в Кларан. Хотя и живя в Париже, он из наших писем знал, в общих чертах, о происшедшем у нас изменении отношения к „Народн. Воле", но лишь из личных бесед после его приезда в Женеву он убедился, насколько далеко зашла у нас склонность присоединиться к единственно действовавшей тогда в России революционной партии [1]).

Не будучи таким ярым сторонником сближения, как его женевские товарищи, он и не избегал сотрудничества с народовольцами. „Как бы там ни было, а наши взаимные отношения все более и более упрочивались. Еще в 1881 г. я послал в редакцию „Народной Воли" рецензию на брошюру Драгоманова „Le tyrannicide en Russie", вышедшую вскоре после смерти Александра II. Редакция не напечатала этой рецензии, не желая,—как писала она мне,—„поднимать полемику", но благодарила за сочувственное отношение к памяти деятелей 1 марта и приглашала к дальнейшему сотрудничеству" [2]). Конечно, очень плохо, что они не напечатали рецензии Плеханова, это ни в какой мере не могло способствовать упрочению сотрудничества, но зато Исп. Комитет выдвинул его кандидатуру в редакцию „Вестн. Нар. Воли". „Вскоре после этого у Исполнительного Комитета явилась мысль издавать за границей научно-революционный журнал. Редактирование этого журнала Комитет поручал покойному С. М. Кравчинскому и П. Л. Лаврову, при чем советовал им пригласить меня в качестве третьего редактора. С. М. Кравчинский и П. Л. Лавров тотчас же последовали этому совету, и таким образом я стал соредактором „народовольческого" издания" [3]). Об этом несколько подробнее свидетельствует Дейч: „Когда я написал о согласии Плеханова сотрудничать в народовольческих журналах, то вслед за этим от Исполн. Комитета партии „Народн. Воля" мною получено было сообщение о состоявшемся у него решении основать в Женеве журнал, редакторами которого намечены были Кравчинский, Лавров и Плеханов" [4]). Впрочем, это назначение и привело к окончательному выяснению положения и к разрыву между этими двумя организациями.

Согласился он на предложение Исп. Комитета лишь как дисциплинированный член организации. „Я думаю, что партия имеет право указать своему члену тот образ деятельности, который он находит наиболее для него подходящим. Человек, имеющий понятие о дисциплине, не может поступить по своему личному усмотрению в том случае, когда усмотрение это идет в разрез с мнением его товарищей. Это—большая посылка. Я человек, причисляющий себя к социально-революционной партии, желающий подчиняться всем требованиям дисциплины,—посылка меньшая. Вывод отсюда ясен. Я отдаю вопрос о соредакторстве в „Вестн. Народной Воли" на решение своих товарищей" [2]). Но он имел многое возразить против, и возражения эти имеют столь большое значение для оценки позиции Плеханова в деле сближения с народовольцами, что я позволю себе процитировать все относящееся к этому вопросу место из его письма к Лаврову: „Прежде всего, вещь, которую я говорил Вам конфиденциально, несогласия наши с народовольцами вовсе уже не так незначительны, как это может показаться из письма к ним [3]). Письмо это написано по разным соображениям, более или менее дипломатического свойства. Вы знаете мой образ мыслей; могу Вас уверить, что он не переменился с того времени, как я оставил Париж. Если мы не оттеняем, не указываем на свои разногласия в письме, то это объясняется тем, что мы надеялись и надеемся мирным путем повернуть „народовольчество" на надлежащую дорогу (повторяю, я говорю это только Вам). Но всякая надежда неразрывно связана с бо́льшим или меньшим количеством неудачи. В случае неудачи с нашей стороны, нам придется снова стать в оппозицию: удобно ли это будет для меня, как редактора „Вестн. Народной Воли"? Затем, между мной и Серг. Мих. [4]) существует, как мне кажется, немаловажная разница в воззрениях: он что-то вроде прудониста, я—не понимаю Прудона; характеры наши тоже не совсем сходны: он человек, относящийся в высшей степени терпимо ко всем оттенкам социалистической мысли, я готов создать из „Капитала" Прокрустово ложе для всех

1) Тоже стр. 106.

2) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. „Вестн. Народн. Воли".

3) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. „Вестн. Народн. Воли".

1) Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч „Г. В. Плеханов", стр. 107.

2) Тоже, стр. 92.

3) Об этом письме подробности см. у Л. Г. Дейч „О сближении и разрыве с народовольцами"—Прол. Рев. № 20 за 1923 г.

4) Кравчинский.

сотрудников „Вестн. Народн. Воли“ (курсив мой *В.В.*). Говоря вообще, это очень нехорошо с моей стороны, но, воля Ваша, орган только выиграл бы от такой определенности в программе. Я очень жалею теперь, что я согласился участвовать в „Черном Переделе“ как „органе социалистов-федералистов“. Я связан теперь в своей полемике с Драгомановым, с которым рано или поздно нам придется воевать не на жизнь, а на смерть. Боюсь, чтобы „Вестн. Народной Воли“ не связал меня еще больше, если он будет проповедовать федерализм. Я теперь решительный противник федерализма: по-моему, лучше якобинство, чем эта мелко-буржуазная реакция. Вот все, что я хотел сказать, решайте теперь Вы“ [1]). Цитата получилась пространная, но в ней чрезвычайно много интересного и для нас очень значительного.

Мы выше отметили уже, что он б о я л с я слишком поспешного сближения своих товарищей,—он боялся, что они растеряют то малое от марксизма, что имели, и окончательно подпадут под влияние народовольцев (пример Стефановича!). Сам же он, сближаясь, ставил себе как раз обратную задачу, он надеялся (как он конфиденциально сообщает своему корреспонденту) „мирным путем повернуть „народовольчество“ на надлежащую дорогу“,—эту надлежащую дорогу хорошо знал Лавров, у которого Плеханов был всего несколько месяцев до того; он п о л а г а л п о в л и я т ь н а и д е о л о г и ю н а р о д о в о л ь ц е в и повернуть его по м а р к с и с т с к о м у р у с л у. Это, разумеется, было утопично, но опять-таки чрезвычайно важная утопия, отличающаяся большими достоинствами, чем иная „реалистическая политика“.

Приблизительно так же и рисует картину этого временного сближения между народниками и народовольцами и П. Б. Аксельрод: „Мы за границей—з а и с к л ю ч е н и е м о п я т ь - т а к и П л е х а н о в а—слишком оптимистично относились к психологической способности и готовности народовольцев пойти нам навстречу и в то же время чересчур пессимистически оценивали значение деятельности наших единомышленников в России среди интеллигенции и передовых рабочих. Мы считали чернопередельческую фракцию уже обреченной на смерть и своей, пользуясь большевистской терминологией, „соглашательской политикой“ (по отношению к народовольцам) сами нанесли ей смертельный удар. Один из противников растворения чернопередельцев в партии „Народной Воли“ с горечью писал мне поэтому со смертного одра, что мы „предали“ свое собственное детище. И объективно этот упрек, посланный нам умирающим товарищем, не был лишен основания. Очень может быть, что при нашей настойчивой моральной и идейной поддержке чернопередельцы в России, параллельно с нами, эволюционировали бы в направлении к социал-демократии и таким

[1]) Тоже, стр. 93.

образом облегчили бы и значительно сократили бы „муки родов“ нового революционного движения на русской почве“ [1]).

Вслед за назначением редакции дело встало на долгое время. Вероятно, был и ряд организационных причин, которые на значительное время отложили работы по изданию журнала (недостаток денег, организация типографии и т. д.). Но очень большую роль в этом деле сыграло то, что со стороны Плеханова были значительные колебания. „Этому изданию еще не скоро пришлось выйти из состояния проекта: дело затягивалось по многим причинам и пошло несколько быстрее только после приезда за границу в 1882 году г. Тихомирова, бывшего членом Исполнительного Комитета и редакции „Н а р о д н о й В о л и“. Да и г. Тихомирову, заменившему С. М. Кравчинского в редакции предполагавшегося издания, удалось кое-как справиться с препятствиями только к лету 1883 г., когда мы общими силами взялись за составление первой книжки нашего журнала, получившего название „В е с т н и к а Н а р о д н о й В о л и“ [2]). Это название коробило Плеханова. „Обращаюсь уже к Вам одному по поводу н а з в а н и я ж у р нала. С Вас. Игн. [3]) я уже говорил, и взгляды его на этот счет мне известны. Нельзя ли придумать что-нибудь другое вместо „В е с т н и к а Народн. В о л и“. Это название слишком уже отдает чем-то официальным, точно „Правительственный Вестник“, „Русский Инвалид“ и тому подобное. В большей части социалистических изданий название служит отчасти указанием из воззрений, как бы девизом, напр., „Egalité“, „Emancipation“, „Volksstaat“ и т. д. Зачем же нам брать название, ровно ничего принципиального не выражающее. „Лишний повод к насмешкам со стороны врагов“,—по прекрасному выражению Аксельрода. Все, с кем только я ни говорил по этому поводу, держатся того же мнения без всяких подсказываний с моей стороны. Я очень прошу Вас обратить внимание на это обстоятельство,—право, название вещь очень важная, влияющая даже на литературную энергию сотрудников“ [4]). Но Тихомирова и других членов народовольческого центра убедить в обратном было трудно. Им это название более нравилось, ибо оно подчеркивало о ф и ц и а л ь н о е отношение органа к Исп. Ком. „Н. В.“. Однако одним заглавием дело не ограничивалось. Было совершенно ясно, что социал-демократу Плеханову работать в о ф и ц и а л ь н о м о р г а н е народовольцев было делом чрезвычайно стеснительным; когда Плеханов сообщил Тихомирову об этом своем затруднении, последний успокоил его чрезвычайно оригинально: обещал ни более, ни менее, как сделаться самому социал-демократом.

[1]) П. Б. А к с е л ь р о д, Пережитое и передуманное, стр. 387.
[2]) „Искра“ № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. „Вестн. Народн. Воли“.
[3]) Тихомиров.
[4]) Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов“ стр. 96.

Когда опубликуют переписку Тихомирова с другими членами Исп. Ком. „Н. В." (если она сохранилась) и с Лавровым (которая несомненно сохранилась), мы будем иметь, вероятно, больше материала для суждения, ибо тот устный договор, который заключили Плеханов и Тихомиров, носит в себе много странного. Пусть читатель посудит сам: „Мы с Тихомировым решили, что наш будущий журнал со временем объявит себя социал-демократическим, но сделает это лишь после того, как ему удастся рассеять анархические предрассудки нашей читающей публики" [1]). Чем руководствовался Тихомиров, дав такое обещание? „Я до сих пор не понимаю, чем именно руководствовался г. Тихомиров, делая мне эту огромную и совершенно неожиданную уступку: вероятно, тут на него повлияли одновременно и его дипломатия, и его равнодушие к теории, и его разочарование в народовольческой программе, и его желание привлечь нас к своей партии" [2]). Но, как бы там ни было, договор был заключен. Плеханов засел за статью об А. П. Щапове. Мы ниже разберем эту статью, в ней очень ясно высказаны социал-демократические положения, но „Мне хотелось высказаться еще яснее, и я написал для первой же книжки „Вестника Народной Воли" статью „Социализм и политическая борьба", в которой пошел еще дальше и критиковал самое „партию Народной Воли". Моя критика отличалась значительной резкостью" [3]). При чтении статьи Тихомиров морщился и предлагал смягчить, как свидетельствует сам Плеханов [4]).

Пока шла подготовка номера „Вестн. Народн. Воли", разыгрался инцидент, который сразу определил отношение к народовольцам бывших чернопередельцев. После разгрома народовольцев в России, они собрались в Швейцарии и вели с чернопередельцами совместную работу. Товарищи Плеханова пришли к окончательному заключению вступить всей группой в Н. В. и вокруг этого вели переговоры с Исполнительным Комитетом Народной Воли в лице Ошаниной и Тихомирова. Они выразили согласие принять группу целиком в организацию. Однако в последний день они радикально изменили тактику. На собрании с группой „Черн. Пер. "они, ссылаясь на „молодых товарищей из России", которые мол „очень недовольны его сближением с нами, так как опасаются, что благодаря ему в движении возьмет верх нежелательное для них влияние бывших „чернопередельцев" [1]), Тихомиров отрекся от своего данного обещания. „Вместе с тем он сказал нам, что по уставу партии мы можем быть приняты только по одиночке и по выбору, а не целой группой. Прежде он находил возможным принять нас именно как группу. Когда мы напомнили ему об этом, на него напала сильная зевота, и никакого толка мы от него не добились" [2]). После этого инцидента Плеханову ничего не оставалось иного, как заявить о своем выходе из редакции. „Прежде всего имейте в виду, что не мне и не моим товарищам принадлежит активная роль в том неприятном для нас усложнении, которое препятствует нам назвать себя товарищами народовольцев,—пишет он П. Лаврову.—С самого начала наших переговоров мы не представляли себе, что соединение может произойти иначе, как в виде слияния двух групп, сближенных временем и ходом события. В этом духе мы вели переговоры с Мариной Никаноровной в Кларане, в этом духе говорил я с В. И. [3]). Теперь оказывается, что нас не поняли. Это, разумеется, очень печально, но не от нас зависит придать нашим переговорам более отрадный оборот. Разбиться на атомы, чтобы быть ассимилированными организацией Н. В., мы не считали и не считаем возможным" [4]). Несомненно, Тихомиров желал разбить организацию Ч. П. „на атомы", когда он выставил требование индивидуального вхождения членов группы Ч. П. в Нар. Волю. Желающие оказать решающее идейное давление на Н. В., естественно, были правы, категорически не принявши эти условия.

Но тогда каково становилось положение марксиста-редактора народовольческого журнала? Плеханову нужно было, и он ушел из редакции. Об этом же рассказывает П. Б. Аксельрод: „В письме от 15 июня 1883 г. Дейч сообщил мне, что Тихомиров и Ошанина не соглашаются на наше вступление в организацию народовольцев „группой". А между тем мы все время вели с ними переговоры, как коллектив, и о нашем присоединении к ним порознь, отдельными индивидуумами, и речи не было. Именно в нашем объединении с „Народной Волей" в качестве группы мы видели серьезный шанс на то, чтобы „мирным путем повернуть" ее на ту дорогу, на которую мы уже стали. Но когда Засулич, Дейч и Плеханов предложили Тихомирову оформить наше соглашение с народовольцами, т.-е. напечатать заявление об основаниях, на которых это соглашение состоялось, то он

---

[1]) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. „Вестн. Народн. Воли".

[2]) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. „Вестн. Народн. Воли".

[3]) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. „Вестн. Народн. Воли".

[4]) Тут имеется, вероятно, ошибка. Судя по переписке его с Лавровым, он написал сперва статью, затем заметку. Вот что пишет он в открытке от 1/VIII 1883 г.: „Многоуважаемый Петр Лаврович. Статья моя уже окончена и отправлена мною сегодня в Могеаих Вас. Игн. Завтра я сам иду к нему, и, потолковавши, мы отправим ее тотчас же Вам в Париж. Кстати замечу мимоходом, что в типографии нет остановки из-за моей статьи,—у наборщиков есть пока другие рукописи. Теперь я пишу маленькую заметку о книге Аристова о Щапове".

[1]) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. Вестн. Народн. Воли".

[2]) „Искра" № 54—„Почему и как мы разошлись с редакц. Вестн. Народн. Воли".

[3]) Тихомировым.

[4]) Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов", стр. 99.

ответил, что по конституции организации народовольцев присоединение к ней целой группы не допускается и что присоединиться к партии мы можем, только распавшись как группа, по одиночке [1]). П. Б. Аксельрод приводит отрывки из письма Л. Дейча к нему той эпохи, которые дают ясное представление о настроении Плеханова (Жоржа). „Тогда,—писал мне Дейч,—мы категорически заявили им, что в таком случае никто из нас не присоединится к ним, что из-за существующего у них устава мы не станем распадаться". „Нужно тебе заметить,—писал он дальше,—что, несмотря на внешнюю, кажущуюся солидарность (с народовольцами), как они, так и мы сознаем, что по существу сильно отличаемся друг от друга, и мы с Жоржем думаем, что никогда народовольцы не сделаются сознательными социалистами, марксистами, а останутся бланкистами, энергичными и предприимчивыми революционерами-заговорщиками" [2]). Оценка чрезвычайно энергичная оказалась по существу совершенно правильной. „Поведение их,—писал Дейч Аксельроду,—возмущает своей неискренностью, нетовариществом по отношению к нам, которые в последние два года всеми силами стремились содействовать, поступали, как народовольцы, не будучи ими по праву. Между тем ни в одном вопросе, ни даже в мелочах мы не видим с их стороны никакой уступчивости... Ввиду неопределенности, сбивчивости теоретических воззрений народовольцев, их шаткости в социализме и их бланкизма, мы могли бы присоединиться к ним только всей группой, когда имели бы шансы своей солидарностью влиять на них, если бы они оставили свои нечаевские приемы в отношении с близкими" [3]). Конечно, „нечаевские приемы"—сказано сильно, но что дело расстроилось не без участия „незримой руки", это стало совершенно ясно несколько позже, хотя бы из инцидента с письмом Стефановича Дейчу, перехваченного Тихомировым и Ошаниной. Письмо прошло через руки провокатора Дегаева и попало не адресату, а в руки заграничных представителей Исп. Комитета, которые и вскрыли его. Однако не следует преувеличивать роль Дегаева. Его роль, вероятно, сводилась к тому, что он способствовал победе уже существующих в организации тенденций, а тенденции эти существовали и были направлены против марксизма и „марксидов".

Не увенчалась успехом и попытка сотрудничания в „Вестн. Народн. Воли". Тихомиров не захотел пустить „Социализм и политич. борьба" без примечания, а Плеханов не мог оставить его примечания без ответа: „Долинский [4]) уже писал Вам относительно того примечания к

[1]) П. Б. Аксельрод,—Пережитое и передуманное, стр. 431—432.

[2]) Аксельрод.—Пережитое и передуманное, стр. 432.

[3]) Аксельрод,—Пережитое и передуманное, стр. 433—434.

[4]) Тихомиров.

моей статье, которое я не считаю возможным оставить без возражения" [1]),—пишет он Лаврову. Новая редакция „В. Н. В." не согласилась на возражения, и Плеханов взял свою статью обратно.

Так произошел окончательный разрыв с народовольцами.

4.

Народовольцы прекрасно знали, какую силу они потеряли в лице Плеханова. Если это мог отрицать Шишко, то только потому, что ему не были, очевидно, известны письма Тихомирова к Лаврову, а еще того вероятнее по фракционной близорукости.

Тихомиров пишет П. Лаврову: „Итак, уважаемый Петр Лаврович, это дело конченное. Хорошо или дурно, но мы остаемся вдвоем, и теперь нужно скинуть с журнальных счетов одного очень ценного работника (как здесь, так и ниже курсив мой *В. Б.*). Мое мнение, что Евгений (Л. Дейч—*В. Б.*) будет стараться вооружить его, как и всех своих, против нас, так что в будущем я предвижу только ухудшение отношений, хотя в данный момент мы с Плехановым не поссорились, а только честно и благородно разошлись" [2]). Действительно, нигде нет ни прямых, ни косвенных указаний на то, чтобы Плеханов поссорился с Тихомировым. Однако, что отношения их резко ухудшились, почти совершенно прервались после инцидента с письмом Стефановича—это несомненно, и непонятно, как мог Тихомиров обещать Лаврову сохранить „нам хоть крохи его сотрудничества". Он пишет: „Из моего письма вы теперь знаете, как стоит дело с Жоржем... (Г. В. Плеханов. *В. Б.*). Будет ли он сотрудничать,—я не знаю. Он обещал, но из этого еще ничего не следует, потому что, повторяю, мое мнение (верьте или нет—но я пришел к нему годовым наблюдением)—что тут суть в Евгении, а не в нем"... . . . . „Распространяться о том, как я старался привлечь Жоржа и как ценю его (если он без евгеньевской лигатуры)—считаю излишним: вы бы это должны были видеть очень хорошо. Точно так же вы можете быть уверены, что, насколько зависит от меня,—я постараюсь сохранить нам даже крохи его сотрудничества" [3])... Читателю совершенно ясно, что Тихомиров все это пишет для наивного во фракционных склоках П. Лаврова, что все это он делает — ибо знает, как высоко ценит талант Плеханова Лавров, но и Тихомиров чувствует в нем силу. И не мудрено было. Кто иной, а Тихомиров не мог относиться без уважения к литературным способностям Жоржа, с которым он уже один раз работал в редакции „Земли и Воли". Передовицы Плеханова много ослабляли влияние статей Тихомирова, и это он помнил.

[1]) Г. В. Плеханов.—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов", стр. 101.

[2]) Дейч „О сближ. и разрыве с народовольцами",—„Пролет. Революц." № 20, стр. 42.

[3]) Там же, стр. 42.

Но уже два дня спустя он пишет в совершенно в ином тоне: „Мы положительно компрометируем себя такой чрезмерной (!) уступчивостью, и я, право, не предвижу, где ей будет конец". По мнению Тихомирова сотрудничество членов новой группы сомнительно: „По моему—нестоющее дело. От такого сотрудничества журнал только страдает, а не улучшается. Вести его становится труднее, а не легче. Что касается до того, что без них вести не возможно, то я этого не понимаю. Трудно, мало людей—это правда. Но ведь они—при таком настроении не плюс, а минус: разве имена... Но имена уже вовсе же не такие, чтобы окупить все остальные неудобства" [1]). Последняя фраза подчеркнута мною. Она показывает, во-первых, что Лавров очень дорожил именем Плеханова, во-вторых, что Тихомиров окончательно убедился в невозможности склонить Плеханова к сотрудничеству. Он в этом убедился особенно после того, как узнал от Плеханова письменно, а от Дейча устно, что они готовятся организовать группу. Как превосходный фракционный дипломат, Тихомиров знал очень хорошо, что тем самым все возможности склонить их к уступкам исчерпаны. Само собой разумеется, советуя отказываться от них, Тихомиров надеялся на их провал. Но ближайшее же будущее показало, как жестоко ошибся в своих расчетах Тихомиров.

Разрыв произошел в конце августа, а уже в двадцатых числах сентября (25-го) появилось объявление об издании „Библ. соврем. соц.", где имеется извещение об организации группы „Освобождение Труда". „Изменяя ныне свою программу в смысле борьбы с абсолютизмом и организации русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политической программой, бывшие члены группы „Черный Передел" образуют нынче новую группу —„Освобождение Труда" и окончательно разрывают со старыми анархическими тенденциями" [2]).

Интересен вопрос о том, почему группа присвоила себе столь туманное название. Об этом П. Б. Аксельрод рассказывает: „Нас, бывших чернопредельцев, собралось в Женеве в конце 1883 г. четыре человека: Дейч, Засулич, Плеханов и я. Порвав окончательно с Тихомировым и Ошаниной, мы собрались, чтобы обсудить и решить вопрос об организации самостоятельной группы для литературной и устной пропаганды научного социализма и социал-демократических учений, с целью проложить путь для эволюции революционного движения в России в социал-демократическом направлении... Теперь едва ли кто может представить себе, как глубоко сидели и как всеобщи были тогда предрассудки против социал-демократии в русской революционной среде. Однако Плеханов все-таки предлагал нам назвать новую (по направлению) группу социал демократической. Но

[1]) Там же, стр. 44.

[2]) Плеханов, Сочин., том II, стр. 22.

Дейч и Засулич были против его предложения, ссылаясь на эти предрассудки и на то, что, заявив себя открыто социал-демократами, мы с первого же шага на новом пути вооружим против себя общественное мнение всех революционных элементов"... „В конце концов мы согласились принять, предложенное опять-таки Плехановым, название „Группы Освобождение Труда" [1]). Это свидетельство чрезвычайно интересно. Оно показывает, до какой степени серо было еще большинство членов гр. Осв. Труда и одновременно показывает, что я прав, утверждая, что между Плехановым, пришедшим к марксизму и социал-демократии в 1881 г., и его товарищами—лежало, по крайней мере, 3 года времени.

Спустя несколько дней он пишет Лаврову, извещая его о выходе объявления: „Напишите мне Ваше мнение об объявлении и о факте нашего выступления. Вспомните при этом, что нам ничего другого не оставалось делать" [2]). Действительно ничего иного не оставалось делать.

Чтобы закончить эту главу и перейти к нашей основной теме, напомню еще два позднейших отголоска этой полосы „сближения с Народн. Волей".

В примечании к „объявлению" он пишет:

„Ввиду неоднократно повторяющихся слухов о состоявшемся будто бы соединении старой группы „Черн. Пер." и „Нар. Воли", мы считаем нужным сказать здесь несколько слов по этому поводу. В последние два года действительно велись между обеими группами переговоры о соединении. Но, хотя два-три члена нашей группы даже вполне примкнули к „Нар. Воле", полное слияние не могло, к сожалению, состояться. Как читатель может увидеть из брошюры „Социализм и политическая борьба", это слияние затрудняется нашим разногласием с „Нар. Вол." по вопросу о так называемом „захвате власти", а также некоторых практических приемах тактики революционной деятельности, вытекающей из этого пункта программы. Обе группы, однако, имеют теперь так много общего, что могут действовать в огромном большинстве случаев рядом, пополняя и поддерживая друг друга" [3]).

Мы ниже увидим, что дипломатические соображения заставляли его так нарочито преуменьшать существующие разногласия, как и соображения тактические или даже деликатности (Лавров так любил единство революционных сил!) По последним же соображениям в письме от весны 1884 г. он пишет Лаврову, выражая благодарность за помощь своим арестованным товарищам: „Я вижу

[1]) П. Б. Аксельрод, Пережитое и передуманное, стр. 437—438, 439.

[2]) Г. В. Плеханов—Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов", стр. 102.

[3]) Плеханов, Сочин., том II, стр. 22.

в этом факте залог будущего объединения нашей революционной партии,—объединения, которого я желал и до сих пор не перестал желать всей душой. Буду надеяться, что скоро нам нечего будет забывать в случае каких-нибудь несчастий, что все наши недоразумения и несогласия исчезнут перед непобедимой логикой жизни". Я говорю, это сказано из чувства деликатности, ибо такое единство, которого желал Плеханов, явно было утопично. Для марксиста Плеханова „непобедимая логика жизни" утверждала марксизм, а единство и согласие в марксизме для его противников было исключено заранее. Да и к тому же всякий разговор об объединении в 1884 г. после „Соц. и пол. борьбы", после яростных публичных выступлений против утопизма народничества и самобытного российского социализма был—разговором всуе. В это время разговор шел фактически о том, кто сложит оружие, ибо борьба уже была начата.

Возникает вопрос, который представляет большой интерес, почему предметом своих нападений Плеханов избрал именно народовольчество? Вопрос, повторяю, весьма интересный, но не трудно решимый это была одна единственная активная революционная сила, господствовавшая тогда над сознанием передовой молодежи, теория, без преодоления которой вряд ли мыслима была бы плодотворная работа.

Лично пройдя школу народничества, он знал хорошо, какая она помеха на пути перехода передовых людей с точки зрения утопии на точку зрения научного социализма.

Тот новый класс, который оформливался и готовился занять положение доминирующей силы в стране, не смог иначе действовать, как предварительно заставить признать себя.

Этого рабочий класс добивался двумя путями: стихийными своими волнениями, спорадическими попытками организоваться в особую классовую политическую единицу на практике и борьбой с народническим утопизмом—в теории.

Борьба Плеханова с народничеством была не чем иным, как отражением в теории практического стремления рабочего класса завоевать себе подобающее место в ряде классов и сословий молодой капиталистической России.

Отсюда и то, на первый взгляд странное, явление, что самым острым вопросом в этой борьбе был вопрос о праве пролетариата организоваться в классовую партию. И не только у нас в России—в международном рабочем движении проблема необходимости и неизбежности организации партии пролетариата выдвигалась не раз и каждый раз именно в моменты, подобные нашим 80 годам в эпохи появления рабочего класса на историческую арену как решающей силы. Стоит только упомянуть немецкое рабочее движение, для которого этот вопрос играл не менее важную роль, чем у нас; нетрудно на „Коммун. Манифесте" видеть следы этой борьбы.

Россия отличается от других стран лишь тем, что в ней этот вопрос встал значительно ранее, чем у других народов. За четверть века до буржуазной революции в России и гораздо ранее, чем буржуазия пришла к сознанию организации своей собственной партии, пролетариат народил свои революционные классовые организации (Северно-Русск. Рабочий Союз—Халтурина) и ринулся в теоретический бой в защиту своего права на революцию и гегемонию в ней.

Сознательным выразителем этого в огромной степени бессознательного процесса явился Плеханов.

В первых своих марксистских работах Плеханов старательнейшим образом избегает столкновения с народниками и народовольцами. Совершенно несомненно, он вел агитацию среди своих близких товарищей, но нам неизвестны выступления его ни в печати, ни публично вплоть до 1883 года. Ни один из мемуаристов не упоминает о его публичных выступлениях как марксиста, хотя прекрасным оратором он был уже тогда и пользовался среди эмиграции большим уважением, стоит только вспомнить отзывы о нем Зайцева, публициста „Русского Слова". Да и, кроме того, особенной робостью Плеханов никогда не отличался. Не выступал он с нападением на своих теоретических врагов по двум вполне основательным причинам: во-первых, у него была, очевидно, острая потребность подвергнуть доскональному критическому пересмотру свои воззрения, потребность в марксистском самоутверждении, если можно так выразиться, потому-то он искал такие академические темы для своих первых статей, как диспут с катедер-социалистами, экономическое учение Родбертуса, а, во-вторых, сознание, что Народн. Воля худо ли-хорошо ли, а единственная организация, ведущая борьбу с самодержавием (см. вышеприведенную цитату из его статьи „Почему мы разошлись").

В 1883 же году совершенно явственно наметился упадок народовольчества, признаки его бессилия; в таком случае каждый лишний год господства такой теории над умами передовых людей страны есть величайшее задерживающее рост развития революции явление, долг всякого революционера вести в ней жестокую борьбу.

„Мы уверены, что пришла уже пора критической оценки всех элементов нашего народничества" [1]),—пишет он в своей заметке о книге Аристова. Плеханов и начал критическую оценку всех элементов народничества в своей брошюре „Социализм и политическая борьба".

5.

Выводы, к которым мы пришли выше, бесспорны, они являются непосредственными выводами из фактов, и, кажется, трудно бы спорить

[1]) Плеханов, Сочин., том II, стр. 20.

против них, но несогласных много и среди них П. Б. Аксельрод, к мнению которого нельзя не прислушиваться.

Однако очень нетрудно доказать, что П. Б. Аксельрод неправ, стоит только внимательно разобрать приводимые им факты и материалы.

На самом деле, П. Б. Аксельрод пишет: „Эволюцию Плеханова от народничества к марксизму и к социал-демократии легко проследить по его литературным произведениям в промежуток времени с 1880—1881 г.г. до 1883-го года. Как совершался этот процесс специально у Дейча и Засулич, я могу только догадываться, но в точности, конкретно, не знаю, потому что видались мы тогда довольно редко, на короткие моменты, большей частью для какого-нибудь практического дела, а из Цюриха посредством переписки я не мог — или, по крайней мере, мне трудно было — следить за их идейной эволюцией. Но мне кажется, что по существу мы все до начала или почти до середины 1882 года (курсив мой *В.В.*) не совсем ясно сознавали, что мы становимся социал-демократами. Подвигаясь вперед в эту сторону, мы вместе с тем еще не изжили наше идейное прошлое и связаны были с ним некоторыми нитями. У меня это противоречие отразилось, между прочим, в том, что на русское революционное движение я продолжал некоторое время смотреть почти глазами революционного утописта русской разновидности, в то время как ход рабочего движения на Западе я с самого начала освещал в „Вольном Слове“ под углом зрения социал-демократии“ [1]). Мы все — тут употреблено совершенно напрасно; в том-то и дело, что в числе всех не было Плеханова.

О том, что он становится социал-демократом, Плеханов знал уже в 1881 году и знал отчетливо. Об этом свидетельствует он сам („Почему мы разошлись“), это засвидетельствовано статьей, об этом говорит его дружба с Гэдом (см. Р. Плеханова, „Первое наше знакомство с Ж. Гэдом“, — „Заря“ № 6—7 за 1923 г.).

Момент перехода Плеханова на точку зрения марксизма, т. н. критический период в его развитии, — это 1881 г., начало. И напрасны попытки П. Б. Аксельрода изобразить дело так, будто все члены группы проделали единовременную эволюцию.

По существу время же с 1881 года до 1883 года для Плеханова является годами борьбы за других своих товарищей; в 1882 году он пишет Лаврову: „Вы знаете мой образ мыслей, могу Вас уверить, что он не переменился с того времени, как я оставил Париж“ [2]) (курсив мой *В. В.*). Это в том самом письме,

[1]) П. Б. Аксельрод, Пережитое и передуманное, стр. 403.

[2]) Г. В. Плеханов — Письма к Лаврову, см. Л. Дейч — „Г. В. Плеханов“, стр. 93.

где он готов „создать из „Капитала“ Прокрустово ложе для всех сотрудников „Вестника Народной Воли“!

А Париж он оставил в 1881 году. О том, что он марксист, Лавров знал хорошо, он даже обращается к нему с просьбой припомнить, где Маркс употребляет выражение „исторические категории“. Правда, Плеханов ему отвечает незнанием: „К величайшему моему сожалению и досаде, я не могу припомнить, где употребляет Маркс выражение „исторические категории“. Я пересматривал сегодня у Гумпловича главу о Марксе, но и он передает это выражение последнего, не цитируя страницы. Мне кажется, что в первый раз употреблено это выражение в „Misère de la philosophie“, хотя где именно и не могу сказать“ [1]); но тут важен не ответ, а то, что Лавров считал его знающим Маркса; и слова Плеханова „вы знаете мой образ мыслей“ не просто оборот речи, а означает, что, еще будучи у Лаврова, он выказал себя достаточно последовательным „марксистом“.

Следовательно, вряд ли справедливы слова Аксельрода по отношению к Плеханову, слова, которые в то же время, несомненно, передают подлинное настроение других чернопередельцев.

П. Б. Аксельрод приводит и другие аргументы и доказательства: „В конце октября 1881 г., т.-е. недели три спустя после хурской конференции, Плеханов по возвращении из Парижа в Швейцарию писал Лаврову: „Настроение моих женевских товарищей не особенно радует меня. Оно может быть формулировано словами — „соединимся во что бы то ни стало, хотя и поторгуемся, сколько возможно“. История хватает за шиворот и толкает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавно был принципиальным противником последней“. Плеханов стало быть в таком существенном вопросе, как вопрос об отношении русских социалистов к борьбе с абсолютизмом, оставался еще если не совсем, то в значительной мере на почве старого народничества (курсив мой. *В. В.*). А между тем теоретически он, конечно, уже в то время ближе всех нас стоял к марксизму [2]). Это прямое недоразумение. Вся цитата гласит: „Как вам понравилось известие об успехах организации и пропаганды в среде городских рабочих, главным образом, в Питере? (курсив мой. *В. В.*). Настроение моих женевских товарищей не особенно радует меня. Оно может быть формулировано...“ и т. д.

Центр тяжести всей цитаты в чрезвычайно знаменательной первой фразе, а она говорит целиком против П. Б. Аксельрода. На самом деле внимание Плеханова приковывает к себе уже совер-

[1]) Дейч, Плеханов, стр. 87.

[2]) П. Б. Аксельрод, Пережитое и передуманное, стр. 403.

шенно нового порядка явление и с совершенно новой стороны—„организация и пропаганда в среде городских рабочих". Помилуйте, где же тут „старое народничество"? Им и не пахнет! Павел Борисович делает ошибку, обусловленную тем, что он жил уже тогда вдали от Плеханова (в Цюрихе) и вряд ли был регулярно в курсе того, что делалось в Женеве, и уж наверняка был лишен возможности проследить успехи Плеханова в марксизме, а в этом тихом мещанском городе Плеханов пережил чрезвычайно бурный теоретический кризис и настойчиво работал над революционизированием сознания своих товарищей по Черному Переделу.

„Я припоминаю, что уже летом 1880 г., когда я приезжал в Женеву для переговоров об организационных и программных реформах в чернопередельческой фракции, я впервые увидел у него на столе раскрытую книгу Энгельса „Herrn E. Durings Umwälzung der Wissenschaft". Само собой разумеется, что для такого человека, как Плеханов, чтение этой книги не могло остаться бесследным [1]). Именно „само собой разумеется"! Но тогда вызывает недоумение та настойчивость, с которой П. Б. Аксельрод продолжает утверждать, что даже после появления статьи „Новое направление полит. экономии" (I, 1881 г.) Плеханов не был марксистом: „И все-таки в нелегальных статьях Плеханова на этот период заметны были еще следы народнических тенденций" [2])... „Насколько я помню, только в предисловии к русскому переводу „Коммунистического Манифеста", появившемуся летом 1882 г., Плеханов выступил в печати как вполне последовательный марксист—не только в теории, но и на практике" [3]).

После „Нового направления в полит. экономии" Плеханов нелегальных статей н е п и с а л вплоть до предисловия к своему переводу „Коммунист. Манифеста", где, даже по мнению П. Б. Аксельрода, Плеханов выступил как „вполне последовательный марксист". Значит и это не аргумент.

Мы остановились на воспоминаниях П. Б. Аксельрода, ибо в них особенно ясно выявлено то не точное, вернее сказать, путанное представление, которое существует относительно этой ранней эпохи зарождения марксизма.

Правильная же картина выглядит совершенно иначе.

Из всего Черн. Передела ранее всего пришел к марксизму Г. В. Плеханов. Начало 1881 года, время формулировки программного письма в ред. „Чер. Пер." и работы над статьей „Нов. напр.", есть та самая грань, где и начинается сознательно м а р к с и с т с к о е развитие Плеханова.

[1]) П. Б. А к с е л ь р о д, Пережитое и передуманное, стр. 422.

[2]) Тоже стр. 422.

[3]) Тоже стр. 423.

Иначе шло развитие всех остальных членов группы. Аксельрод, например, еще весной 1882 г. сотрудничал в „Вольном Слове", репутация которого была д а л е к о не марксистская.

Весной 1882 г. Плеханов писал Лаврову: „Получаете ли вы „Вольное Слово"? Здесь все считают его органом Игнатьева. Меня ужасно печалит сотрудничество там Павла. Правы или неправы обвинители „В о л ь н о г о С л о в а",— это другой вопрос, но раз публика относится к нему подозрительно, то и на Павла падает некоторая тень. Здесь, в Кларане, все осуждают его" [1]). Аксельрод знал об этих слухах, однако не придавал им значения, пока Драгоманов не разразился резко-полемической статьей против Нар. Воли. „Статья эта в чрезвычайной степени возмутила В. И. Засулич, Плеханова и Дейча и сделала для меня крайне затруднительным, чтобы не сказать психологически невозможным, дальнейшее участие в „Вольном Слове" [2]),—рассказывает Аксельрод, но даже и после этого Аксельрод колебался и не решался послать заявление о выходе из числа сотрудников. Понадобилось особое давление, чтобы он решился на этот шаг.

Женевская часть Ч. П. не только настояла на уходе Аксельрода из „Вольн. Слова", но и написала открытое письмо Драгоманову (датированное 20/V—1882 г.) [3]), чрезвычайно резкое, под которым стоит в числе других и подпись Аксельрода. Один этот инцидент с „В. С." был бы совершенно достаточен к тому, чтобы с несомненностью установить, что Аксельроду к этому времени Маркс мало чем помог, и он еще спокойно пребывал утопистом, что он и не отрицает.

И по рассказам Л. Г. Дейча не трудно убедиться в правильности защищаемого мною положения.

На самом деле Л. Г. Дейч пишет: „С описываемой мною весны 1882 г., мы с В. И. Засулич, живя вблизи Плеханова, под его влиянием, особенно усердно стали заниматься изучением научного социализма, при чем обращались к нему за разъяснением непонятных мест, которые он очень охотно делал" [4]).

Правда, уже летом 1882 г. у Л. Г. возникла идея организации группы, независимой от Исп. Ком. и ставящей себе задачу пропаганды марксизма, но несомненно одно, что марксизм, который желал пропагандировать Л. Дейч, не был тем м а р к с и з м о м, который к этой эпохе проповедывал Плеханов.—Дейч и не представлял себе те грандиозные перспективы создания политической партии рабочего класса,

[1]) Г. В. П л е х а н о в, Письма к Лаврову, см. Л. Дейч—„Г. В. Плеханов", стр. 95.

[2]) П. Б. А к с е л ь р о д, Пережитое и передуманное, стр. 413.

[3]) В. В а г а н я н, „Опыт библиографии Плеханова", стр. 13, где приведено письмо с некоторыми сокращениями из „Кал. Нар. Воли.".

[4]) Л. Д е й ч, „О сближен. и разрыве с народовольцами".—„Пролет. Рев." № 20.

которые к этому времени были совершенно ясны и очевидны для Плеханова.

Л. Г. Дейч еще летом 1883 г. пишет Аксельроду: „назвать себя социал-демократами нам и невозможно... вследствие политических условий России“... „вообще вовсе нежелательно, чтобы потерялся сильный революционный дух русского движения“ [1]). Сделаться социал-демократом, по мнению Л. Дейча, значит, потерять сильный революционный дух русского движения т.-е. народовольчества. Это чрезвычайно знаменательно: ведь письмо написано в то самое время, когда Плеханов писал свой гениальный памфлет, а как еще незрел политический разум автора письма! От него еще очень сильно разит неизжитым утопизмом и народническими предрассудками!

В. Ваганян.

[1]) **А. Б. Аксельрод**, Пережитое и передуманное, стр. 438.

Очерки философии Д. Дидро.

I.

Проблема познания.

Si l'on voit la chose comme elle est en nature, on est philosophe [1]).

Diderot.

Философия—познание того, что есть. Познавать и мыслить вещи и существа так, как они суть—вот высший закон, высшая задача философии.

Фейербах.

1. Теория познания и Дидро. — 2. Генезис Дидро. — 3. Выход к сенсуализму. Терминология Дидро,—4. Установление материалистического сенсуализма. Диалектика субъекта и объекта.—5. Диалектика разума и чувств, мозга и нервов.—6. Принципы методологии Дидро.

1.

XVIII век не знал теории познания, как самостоятельного и специального раздела философии. Это не значит, конечно, что мыслители века просвещения и предшествующего столетия не останавливались перед гносеологическими и методологическими моментами при построении мировоззрения; ряд философов, Локк, Беркли, Кондильяк, даже занимаются этими моментами по преимуществу, но их трактаты вмещают в себя и сторонние проблемы; мысль не сосредоточивается и не отчеканивает основных гносеологических положений. Рассуждения Беркли приводят его к абсолютной теодицее, и эта последняя заполняет все поле зрения, затмевает исходный пункт. Трактаты Кондильяка, преисполненные сенсуализмом, дают, по существу, своеобразно построенную, детально и систематически разработанную сенсуалистическую психологию. Теоретико-познавательные постулаты в основных работах Гольбаха, принципиально правильные, намечают и декларируют гносеологию материализма, но представляются малоуглубленными, не всегда развитыми и мимоходом обозначенными. Ощущение, initium et principium, начало и основание человеческого знания, не представляет для Гольбаха самодовлеющего интереса; сенсуализм, как теория познания, для него лишь одно из звеньев, и довольно незначительных, в бесконечной цепи всей системы при

[1]) Философ видит вещи такими, каковы они в природе.

роды, всей цепи законов мира физического и мира морального. Для Гельвеция сенсуализм—только точка опоры, рычаг, ухватившись за который, он создает этику, как теорию поведения человека в обществе. Принимая сенсуализм, исходя из опыта, без которого нет и не может быть знания, д'Аламбер отрывается от него и приходит к признанию субстанциональности духа, к признанию первичной, образующей субстанции мирового разума, бога. Не приходится говорить о таких представителях французского просвещения, как Мабли и Морелли, Морелле и Мармонтель, которые, соглашаясь с сенсуализмом и эмпиризмом, ибо таков был стиль эпохи, фактически отказываются от него, цасуя все перед тем же деистическим богом. Их натурфилософский дуализм идет рука об руку с дуализмом гносеологическим. Не дальше их пошли и Вольтер, и Руссо.

Дидро, разделяя участь всех своих современников, не делает ударения на теории познания; он не посвящает ей целиком ни одной работы, но своим проникновенным умом он чувствует потребность несколько углубить, подвергнуть более близкому рассмотрению, коротко говоря, остановиться и поговорить об ощущениях и их соотносительности с внешним миром природы и внутренним миром части этой природы, человека. Он не выходит весь, если так можно выразиться, без остатка в объективность, но заглядывает и в субъективность. Объект и субъект равным образом предметы философии. Будучи натурфилософом par excellence, он останавливается на теории познания больше, чем принято думать.

Правда, Дидро с его стилем и манерой работы доставляет в этом отношении исследователю неисчислимые трудности. Его теоретико-познавательные взгляды рассеяны ровным счетом в десятке произведений, считая за единицу множество статей в Энциклопедии. Несколько строк в „письме", несколько пронумерованных „мыслей", две-три реплики из „диалога", ряд подстрочных „возражений", несколько „элементов" из, казалось бы, другой области, физиологии, пара замаскированных абзацев в объяснении того или иного „слова" в Энциклопедическом словаре,—вот внешне тот материал, глубокий по содержанию, которым располагает исследователь. Немудрено поэтому, что о гносеологе Дидро почти ничего нельзя узнать в обширной литературе о Дидро, истолкователе природы, эстетике, критике, редакторе Энциклопедии, драматическом авторе, стилисте, человеке и т. д., и т. п.

Но эти же разбросанные по десятку произведений на протяжении трех десятков лет мысли и положения свидетельствуют о том, что ум Дидро постоянно возвращался к объектам, однажды привлекшим внимание и заслужившим законное место в сфере интересов философа „пантофила".

Та естественная манера, ибо это нельзя назвать нарочитым приемом, с которой Дидро рассеивает свои мысли по интересующему нас здесь вопросу, удивительно напоминает не менее естественную форму выражения теоретико-познавательных взглядов, какую мы видим у Л. Фейербаха в его, напр., Основоположениях философии будущего. Те же яркие штрихи, смелые и удачные аналогии, те же пронумерованные мысли. Больше того, читатель в дальнейшем увидит, насколько близкими являются в своих взглядах оба мыслителя. Одни и те же положения, высказанные иными словами, аналогичные примеры, одинаковые термины. Мысли и их выражения Дидро и Фейербаха—одни и те же мысли и выражения, поскольку это возможно для двух разных мыслителей с одинаковыми воззрениями, для двух единомышленников, разделенных не малым количеством десятилетий. Мы не задаемся целью проводить последовательно сравнительную характеристику их воззрений, ибо в центре нашего внимания один Дидро, но мы не будем в состоянии не указывать на это сходство.

2.

Что не Локку первому обязаны мы заявлением о чувствах, как источнике наших представлений, об этом Дидро, возможно, первый заметил еще Гельвецию. Не Локку, а Аристотелю у древних и в отчетливой, резкой форме Гоббсу у новых обязаны мы таким положением. Уже по Гоббсу начало нашего знания лежит в органах чувств. Но в своей философской борьбе с Декартом Гоббс сосредоточивает все внимание на второй части формулы „сенсуалистический материализм". Cogito, ergo sum cogitans интуитивно решает Декарт и внешне, по крайней мере, спускается к материи, лишь вознесшись предварительно к богу. Cogito,— соглашается Гоббс,—ergo materia cogitat,—опытно и логически заключает он.

Напротив, Локк делает ударение на первой части той же формулы. Cogito,—начинает Декарт.—Но здесь ли надо искать начала?—сразу перебивает Локк. Разве с мышления, с представлений начинает человек? Ощущения—вот первый факт; наш разум, наше сознание вначале не более как tabula rasa. Чувства вводят идеи и заполняют ими еще пустое место. И только, когда душа освоится с некоторыми из них, они складываются в памяти вместе с данными им именами. Врожденных же идей или принципов в душе нет, ни теоретических, ни практических.

Расшатанные дружными усилиями Гассенди и Гоббса, методологические принципы картезианства XVII в. рушатся под сосредоточенной критикой Локка, несмотря на поддержку и попытку Лейбница подновить их. В следующем столетии никто уже не верит из светских философов во врожденные идеи, в априорные принципы, в метод Декарта. Впитав от него в себя все лучшее, век просвещения, быть может, не заслуженно забывает его; его ценят только как математика, приложившего алгебру к геометрии. От математиков же, но с философским кругозором, исходит и его защита, защита крупного философа, уже превзойденного историей. „Будем уважать Декарта, но

оставим без сожаленья воззрения, которые он сам бы оставил веком позже",—кладет венок на его могилу д'Аламбер в Предварительном рассуждении к Энциклопедии.

Однако Локк знает не только sensations, ощущения, не только идеи, получаемые извне, но и réflections, деятельности души. Душа „наблюдает свои действия со своими идеями и получает отсюда новые идеи, которые так же способны быть объектами ее созерцания, как и воспринятые от внешних вещей". На-ряду и на равных правах с ощущением допускается рефлексия. Отсюда уже ход к концептуализму Локка, к внутренней борьбе двух моментов: реалистического (материалистического) и психологического (идеалистического). Соответствие или несоответствие двух идей непосредственно проистекает от них самих, без вмешательства каких-либо других идей и без обращения к внешнему опыту. С одной стороны, душа никак не может сама образовать простых идей, они „необходимо должны быть продуктом вещей, действующих на душу согласно своей природе". Но, с другой стороны, все сложные идеи суть „созданные самой душой первообразы", „все они представляют собой сочетания идей, соединяемых душой по свободному выбору, без всякого внимания к их взаимной связи в природе. Вследствие этого... самые идеи рассматриваются, как первообразы, а вещи принимаются во внимание, лишь поскольку они сообразны идеям" [1]). Субстанция есть, но мы ее не знаем: ощущения и представления in concertu наглухо закрывают дверь во внешний мир, хотя Локк же сравнивал душу с темной комнатой, у которой одно окошко в тот же внешний мир.

Эмпиризм и сенсуализм Локка стоит на распутьи, ибо от него возможны две дороги. По одной пойдет тот, кто замкнется в ощущения, кто скажет, что человеку ни теоретически, ни практически не выйти вовне себя, кто станет утверждать, что ему даны только его ощущения, и кроме них нет ничего. А то, что он видит кругом себя, то—его же ощущения, но только объективированные. Впрочем, такой человек должен будет признать существование первичной причины своих ощущений в том, кого он как раз не ощущает ни непосредственно, ни посредственно; он должен будет признать наличие бога. И к такому выводу приходит субъективный идеализм, приходит, отправляясь от Локка, епископ Беркли. Английский материалистический сенсуализм Гоббса через одно-два поколения после революции вырождается в „чистый", беспочвенный сенсуализм эпигонов.

Но тот же Локк на континенте, еще не пережившем социальной революции, открывает молодому классу иной путь. Сознание связывается посредством ощущений с внешним материальным миром. Только при наличии этого мира материальных объектов возможны

[1]) Локк, Опыт о человеческом разуме. Пер. А. Савина, стр. 565—566.

ощущения познающего субъекта. Этот мир — не объективированное ощущение, но причина всякого ощущения, и всякая иная причина не только не уместна, но и невозможна. Для бога, под какими бы именами он ни пытался проникнуть в этот мир и во внутренний мир человека, места нет. По этому второму и единственно последовательному пути пошел от Локка весь французский материализм и пошел двумя параллельными независимыми ветвями: основной ветвью материалистическаго ядра Энциклопедии и ветвью Ляметтри.

О взаимной независимости Ляметтри и Кондильяка сказано уже исчерпывающе в русской марксистской литературе [1]). Вовсе не нужно быть учеником Ляметтри, чтобы через сенсуализм притти к материализму, ибо первый есть единственно возможная теория познания второго. Лишь только, выражаясь фигурально, мы откроем глаза на внешний мир, мы от сенсуализма придем к материализму. Но не следует думать, что Кондильяк истый и безусловный материалист. На-ряду с естественным порядком он допускает порядок сверхъестественный: он, следуя за Локком, отказывается точно указать аттрибуты субстанции. Зависимость, в которой его статуя находится от всех предметов, коим она приписывает те или иные качества, не оставляет в ней сомнения относительно бытия вне ее. „Но какова природа этого бытия? О том ей неизвестно, так же, как и нам. Мы называем их телами,—вот все, что нам известно о них". Быть может, эти тела протяженны; быть может, им принадлежат вкус, звук, запах, а быть может, ничего этого у них нет Кондильяк не высказывается ни за, ни против; он ждет доказательств, таковы ли тела, как они нам представляются, или совсем иные [2]). Аббат принимает нематериальную душу, считая материю не способной к ощущению.

Бесспорно, Кондильяка много читали в его время, читали и ценили и материалисты, хотя признавали его несколько скучным и никогда не забывали фикции его статуи. Но, смеем думать, не через него они пришли к материализму, а непосредственно от Локка, если говорить о литературных источниках. Локка знали во Франции и переводили неоднократно. Опыт о происхождении человеческих знаний Кондильяка появился, правда, уже в 1746 г., когда Дидро не дебютировал еще сенсуализмом, но не следует забывать, что эта работа писалась и заканчивалась аббатом в годы самых тесных и дружеских отношений с Дидро, во время их регулярных еженедельных обедов; не следует забывать, далее, что в этой работе Кондильяк еще не выходит из круга мыслей Локка, давая их пересказ и комментарий. На-ряду с ощущением имеет место и рефлексия в понимании

[1]) А. Деборин, Введение в философию диалектического материализма. См. конец очерка о Локке.

[2]) Condillac, Traité des sensations, t. IV, chap. V.

Локка. В год Трактата о системах (1749) выходит Письмо о слепых Дидро, а в год Трактата об ощущениях — Мысли об истолковании природы (1754). Можно ли поэтому сказать, что материализм Дидро и Гольбаха вышел из сенсуализма Кондильяка? Не заключалась ли статуя последнего in potentia в muet en convention первого из Письма о глухонемых (1751) и постепенное наделение статуи пятью чувствами—в мимоходом брошенном проекте Дидро разложить человека, так сказать, на пять его чувств или образовать общество из пяти лиц, из которых каждое будет одарено только одним чувством?

Мы полагаем, нисколько не умаляя заслуг и роли Кондильяка, что ставить его хронологически впереди Дидро, а значит и материализма, нет оснований. Материализм Дидро шел через локковский сенсуализм и, в печатных произведениях, нарастал параллельно с ним; его сенсуализм шел первое время, даже внешне, параллельно с сенсуализмом Кондильяка, но сделал те выводы, на какие Кондильяк был не способен. Дидро отбросил сенсуализм Кондильяка на целиком психологической основе, претворив его в сенсуализм на основе материалистической и физиологической. Говоря об ощущениях в Элементах физиологии, он предвосхитил новейшие направления в области объективного изучения сознания человека.

3.

„Догматический сон" Дидро продолжался недолго. Занятый в первые годы своей деятельности решением религиозной проблемы, он пока не занимается вопросами теории познания, а не совлекши с себя деизма, постулируя высшее существо, он остается подобно святошам из аллеи шиповников с повязкой на глазах: он не открывает окно во внешний мир и, естественно, прислушивается к „внутреннему свету", свету разума. Рационализм сочетается у него с идеализмом и спиритуализмом, опыт играет некую подсобную роль, и знания через посредство чувств пасуют перед знаниями через посредство разума.

В Философских мыслях 1746 г. Дидро еще на почве платонизма, „покрытого деистическим лаком", если изменить несколько слова Нэжона по поводу перевода Шафтсбери. При коллизии разума и чувств, конечно, первому должно быть оказано предпочтение. Ведь так говорил и бл. Августин и логик Пор-Рояля Арно. „Суждение истины и правила распознавания сущего принадлежат не чувствам, а духу (esprit): non est veritas judicium in sensibus; достоверность, которую можно извлечь из чувств, не очень обширна: существует многое, о чем думают, что его познают посредством чувств и в чем, однако, не имеют полной уверенности. Когда свидетельство чувств противоречит или не уравновешивается авторитетом разума, выбирать не

приходится: в хорошей логике следует придерживаться разума" [1]). У разума не только примат над чувствами, но разум единственно достоверный источник знания: он не только судит, но диктует свой закон чувствам, не спрашивая их показаний.

Так говорили Дидро и в школе, так говорили ему и книги рационалистически правоверных последователей Декарта. Но если разум диктует свою волю чувствам, он тем самым должен диктовать ее и миру объектов; он может не считаться с этим миром. Однако возможны ли тогда действия человека, возможны ли они без противоречий? Во что превратится практика человека, если он будет строить мир так, как этот мир рисуется абстрактным мышлением, и не будет воспринимать его так, как об этом говорят впечатления, ощущения от этого мира. Вот вам „компания, происхождение которой восходит к глубокой древности; она состоит из людей, которые вам прямо заявят, что нет ни аллеи, ни деревьев, ни прохожих; что все, что они видят, правда, могло бы быть чем-нибудь, но точно также могло бы быть и ничем" [2]). Это—секта, прогуливающаяся в философской аллее каштанов и встретившаяся на жизненном пути Дидро. Воздержание от суждения, быть может, и способствует непоколебимому душевному спокойствию, атараксии, но оно не может быть проведено в жизни, которая требует от нас ответа на каждом шагу. Пирронист Зеноклес соглашается, что перед ним, может быть, вода, но, может быть, и кристалл. Он не высказывает определенного суждения, а в полном спокойствии ступает на воображаемый кристалл и, как следует ожидать, погружается в воду.

Скажут, что Дидро не подвергает пирронизма теоретической критике, что он переводит грубо решение спора в область практической повседневной жизни. Но Дидро и не хочет философии, от жизни оторванной. Не может и не должно быть разрыва между философией и жизнью, между теорией и практикой. Да и стремление пирронизма к атараксии разве не является и не претендует быть практическим принципом этической системы? Но, и теоретически, чем является воздержание от суждения, как не боязнью духа впасть в заблуждение, как не стремлением его воздержаться от ошибок? Дух не полагается на самого себя, высказываясь о вещах.

Но если нет выхода в замыкании духа внутри себя, то следует предоставить его воздействию самих вещей. Пусть говорит не он, а вещи. Как они могут разговаривать с духом? Только через посредство наших органов чувств, при помощи наших ощущений. Но тут следует бояться новой опасности. Я знаю только свои ощущения, и больше ничего. Если мои ощущения—только я сам, то замкнут и наглухо второй круг, пусть несколько более широкий, но все же круг, из которого нет никуда выхода, ибо этот круг—я сам.

---

[1]) Diderot, Oeuv. com., t. I, p. 150.
[2]) Diderot, I, 216.

Вот вам вторая группа философов. „Это люди, из которых каждый считает, что он один на свете. Они допускают бытие только одного существа; но это мыслящее существо—они сами: так как все, что происходит в нас, есть лишь ощущение (impression), они отрицают, что существует ещё что-либо, кроме них и этих ощущений“ [1]). Так рисует Дидро субъективных идеалистов или, как он их называет, „эготистов“. Но возможно ли, чтобы мир представлений был не более, как наше представление о мире? Возможно ли остаться внутри этого круга и довольствоваться регистрированием наших ощущений? Вопрос следует ставить глубже: откуда проистекают ваши ощущения, что стоит за ними, где их причина, ведь она не лежит в нас самих.

Действительно, все наше знание происходит из ощущений, в них берет оно свое начало. Способность к представлениям—лишь способность вспоминать и сочетать ощущения, у слепого, напр., ощущения осязаемых точек. У зрячего, это—способность между прочим, вспоминать и сочетать видимые и цветные точки. В этом—вся разница между ними, но как тот, так и другой получают свои знания прежде всего от ощущений, качественно различных, но позволяющих им понимать друг друга, что свидетельствует о наличии вне их одних и тех же объектов.

Слепой при решении познавательной задачи находится даже в более выгодных условиях, чем зрячий. Ему „виднее“ источник познания. „Если когда-нибудь философ, слепой или глухой от рождения, представит себе человека наподобие человека Декарта, смею вас уверить, что он поместит душу на конце пальцев, именно оттуда приходят к нему главнейшие ощущения и все его знание. И кто сказал бы ему, что его голова есть вместилище его мыслей“? [2]).

Человек, лишенный всех органов чувств, человек без каких бы то ни было ощущений, не есть уже человек, хотя в голове его имеется мозг. У него нет знаний и никогда их не будет, ибо нет тех отверстий, через какие может проникнуть в него знание. И что станет тогда со способностями души? Их вовсе не будет, а значит не будет и самой души. Но если наделить этого человека хотя бы самым незначительным чувством, обонянием, наиболее сладострастным, по определению Дидро, у такого человека уже на-лицо один из источников знания вообще. Дидро в 1751 г. не наделяет подобного человека последовательно органами чувств, как сделал Кондильяк на три года позже со своей статуей, ибо Дидро знает, что это фикция, но он мечтает о такой „метафизической анатомии“. Он считает забавным собрать общество из пяти лиц, из которых каждый обладал бы лишь одним чувством. „Несомненно,—говорит Дидро,—что все они считали бы друг друга бестолковыми (insensés), но все они могли бы быть геометрами. Мы показывали уже раньше, как

[1]) Diderot, I, 218.
[2]) Diderot, I, 292.

Дидро пришел к такому заключению, предвосхитив обоснование современной наукой общего языка слепых и зрячих относительно пространственных восприятий, и потому не будем возвращаться назад.

Так мельком и понемногу углубляется Дидро в сенсуализм уже в своих ранних работах; он художественно характеризует каждое чувство, считая, напр., зрение наиболее поверхностным, вкус наиболее легковерным и неустойчивым, осязание же—наиболее глубоким и философским. Уже в этот период жизни он твердо решает, что только чувства дают нам знание; он становится на точку зрения Локка, оставляя, однако, открытым вопрос о роли локковской рефлексии. Он попросту не говорит о ней, как о самостоятельном и равноправном источнике знания, чем заставляет нас думать, что такого значения за ней он не признавал.

В душе, по терминологии того времени, ничего нет, раз нет ничего в чувствах; нет сознания, раз нет ощущений, а раз нет сознания,—нет и интеллекта, ибо „интеллект, это—душа, поскольку она сознает“, как определяет сам Дидро в Энциклопедии под словом Intellect. „Мы бы никогда ничего не знали ни о наших умственных способностях, ни о происхождении и развитии наших познаний, если бы древний принцип nihil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu не имел бы очевидности первой аксиомы“ [1]), так писал Дидро в 1752 году в Апологии аб. Прада. Человек остался бы грубым животным, автоматом, подвижной машиной, если бы практика, пользование материальными чувствами не упражняло его души.

Во избежание недоразумений с понятием души необходимо остановиться на тех терминах, которые фигурируют у Дидро и у других французских материалистов. В большинстве случаев они сохраняют старые термины, но вкладывают в них, подобно Спинозе, новое содержание. Отказавшись от субстанциональности духа, они удерживают слова esprit (дух, иногда ум) и âme (душа), но душа на их языке, не более, как совокупность sensations, ощущений, первичных источников познания; дух же—совокупность, комплекс чувствований, sentiments. Человек рождается с душой, т.-е. со способностью к ощущениям (иногда эта способность носит более общее название sensibilité, чувствительность), но не с духом, esprit, ибо чувствования, sentiments, являются уже продуктом общества и развития человека в нем. Поэтому душа есть у всякого, но дух—нет; у идиота, напр., есть способность к ощущениям, следовательно у него есть и совокупность их, âme, душа, но духа у него нет; читатель видит, что в данном случае esprit по-русски может быть передано—как ум, что при переводе представляется зачастую более удобным. Точно так же обстоит дело и с животными, у которых имеется sensibilité, чувствительность, совокупность ощущений, душа, но нет ума, esprit, а, следовательно, не может быть и этики.

[1]) Diderot, I, 470.

Далее, как мы уже говорили, интеллект есть та же душа, поскольку она сознает себя, понимает; поэтому интеллект общ человеку и животному, но у последнего он ограничен, у человека же в пределах, конечно, его ощущений—не ограничен; воля, volonté, также душа, поскольку она желает или не желает. Интеллект в активном состоянии, так сказать, в действии есть разум, raison. Значит и разум присущ животному; но человек разумен (raisonnable) по преимуществу, животное же преимущественно чувствительно (sensible). Объект разума—философия и почти вся наука. Но на-ряду с разумом подвизаются память, mémoire, объект которой—история и ремесла, и воображение (иногда — представление) imagination со своим объектом, искусством. Конечно, между этими тремя способностями имеется связь, напр., память может быть без воображения, но воображение, произвольное сочетание запомнившихся представлений, без памяти невозможно. Более тесная зависимость существует между памятью и разумом, хотя изучение ремесл с точки зрения такой системы возможно и без разума, raison, при наличии одной памяти. Дело в том, что все три способности: память, разум и воображение (заимствование у Ф. Бэкона) являются ветвями более широкого свойства entendement, которое удобнее передавать русским словом разумение. Через entendement французская эпоха просвещения передавала английское понятие understanding (напр., в названии Опыта Локка), которое по-русски также ближе всего передается через разумение. Часто встречающееся у деистов Intelligence, как они называют бога, у материалистов обычно имеет другое значение; это лишь, по определению Дидро, способность легко и быстро схватывать наиболее трудное в тех или иных объектах. Без таких определений трудно иногда верно понимать Дидро.

4.

Итак, Дидро устанавливает истинность сенсуализма. Другой теории познания быть не может, ощущение—первичный акт в процессе знания. Но, как помнит читатель, сенсуализм возможен двоякого рода. Это—лишь субъект, и все зависит от того предиката, которым он определяется. Откажемся мы от поисков причины ощущений, признаем их самобытными и, если угодно, самовольными,—мы впадем в бездну „эготизма", берклианства, и внешний мир, от которого нельзя же отмахнуться, предстанет пред нами как мир наших же собственных объективированных ощущений. Признаем мы ощущения причинными, производными, мы „спасем" для себя внешний мир, природу, или, говоря строже, мы спасем себя для этой природы. Но при таком процессе мы, ведь, как будто должны выйти за свои пределы, выйти из себя.

Дидро не решает этой труднейшей задачи с плеча, догматически; она приковывает к себе его внимание, заставляет критически отнестись к тому или иному решению. Он изучает Беркли; в 1749 г. он

уже законченный сенсуалист и, как мы показывали, материалист в натурфилософии, но его еще смущает последнее возражение и сила основных принципов чистого сенсуализма. Он болезненно переживает процесс. Что говорить, система идеализма Беркли необычайна, экстравагантна, она обязана своим рождением абсолютному слепцу. „Но система эта к стыду человеческого ума и философии наиболее трудна в смысле победы над ней, хотя и наиболее абсурдна из всех систем". Он приглашает Кондильяка, автора Опыта о происхождении человеческих знаний исследовать новую теорию зрения Беркли; там можно найти много полезных и ясных наблюдений. „Идеализм весьма заслуживает, чтобы его отвергли; эта гипотеза стоит того, чтобы ей заинтересоваться и не столько вследствие ее странности (singularité), сколько вследствие трудности отвержения ее принципов, ибо его принципы (Локка-Кондильяка) в точности совпадают с принципами Беркли... К тому же, справедливо замечает автор Опыта о происхождении человеческих знаний, вознесемся ли мы под небеса, или спустимся в пропасть, мы никогда не выходим из нас самих. Мы замечаем повсюду лишь наши представления,—таков результат первого диалога Беркли и основа всей его системы. Не забавно ли видеть двух врагов, оружие которых столь походит одно на другое. Если победа достанется одному из них, то только тому, кто лучше воспользуется своим оружием. Но автор Опыта только что дал нам в Трактате о системах новые доказательства ловкого обращения со своим и показал, насколько он грозен вследствие систематичности" [1]).

Мы указывали в начале очерка, что сенсуализм Дидро нарастал первое время параллельно с сенсуализмом Кондильяка. И в данном случае, в Письме о слепых они идут еще вместе; пути их еще не расходятся; дело пока в доказательстве бытия внешнего мира, бытия тел. Здесь Дидро одних воззрений с Кондильяком, и мотивировка его, пожалуй, даже глубже, но скоро Дидро оставит аббата на его пути феноменализма, чтобы самому укрепиться в материализме и через теорию познания.

В самом деле, множество ощущений, осаждающих нас со всех сторон, входят к нам в сознание без всяких сопротивлений и усилий с нашей стороны. Действие этих ощущений мощное и продолжительное; мы замечаем в них различные оттенки; ощущения заставляют нас испытывать непроизвольные аффекты. „Все это образует в нас непреодолимую склонность к уверенности в существовании объектов, к которым мы относим наши ощущения, и которые, как кажется, являются их причиной".

В этих последних словах, принадлежащих Дидро 1752 года, уже видно, что он преодолел те трудности, которые поставлял ему чистый сенсуализм. Но в этой формулировке Дидро еще не весь. Под такими

[1]) Diderot, I, 304—305.

положениями с их „склонностью к уверенности" подписались бы, конечно, не Беркли, но и д'Аламбер, и Кондильяк. И тот и другой, как и Дидро, признают существование объектов, как причин наших ощущений, но первый навсегда остается „скептиком во всем, что выходит за пределы математики", а другой не будет в состоянии преодолеть феноменализма. Только Дидро, а с ним и его друзья и ученики пойдут дальше и отчеканят эти положения. Они „выйдут из себя", перекинутся в объективность, свяжутся с естественными науками и за ними, в противовес математике, утвердят будущее.

По Кондильяку, внешнюю причину ощущений мы только называем телом, но что это такое, мы не знаем и дело не в первичных и вторичных качествах, различие которых принимает, естественно, Дидро с материалистами, но в том, что мы никогда не будем в состоянии точно сказать, принадлежат ли эти, так называемые первичные качества этим так называемым телам. Иначе полагает Дидро. Субстанция тел для него ясна; как она рисуется ему, об этом мы узнаем в следующем очерке, но и сейчас мы знаем, что это не бог Мальбранша, Беркли и иных, что это не дух, низведенный до комплекса чувствований известным образом организованного тела, но материя. Одна из трех, или, если угодно, из двух картезианских субстанций, диалектизированная Спинозой, материя — единственный субстрат всех тел.

„Ощущения заставляют душу выходить из себя самой, давая ей смутное представление внешней причины, действующей на нее, так как ощущения есть непроизвольные перцепции. Душа, поскольку она ощущает, пассивна, она подчинена действию; стало быть вне ее есть деятель (agent). Кто будет этим деятелем? Разумно принимать его соответствующим действию и полагать, что различным действиям (effets) соответствуют различные причины, что ощущения производятся причинами, столь же различными, как и сами ощущения. Согласно этому принципу, причина света должна быть иной, чем причина огня; то, что вызывает во мне ощущение коричневого, не должно быть тем же, что дает мне ощущение фиолетового.

Так как наши ощущения суть перцепции, представители бесконечного числа мельчайших неразличимых движений, естественно, что они приводят с собой ясное или смутное представление тела, неотделимое от представления движения, и что мы считаем материю, насколько она приведена в действие этими различными движениями всеобщей причиной наших ощущений и в то же время их объектом" [1].

Только в таком положении, в признании материи субстратом тел, как причин ощущений, утверждается, наконец, сенсуализм прочно на материалистической основе. Оружие сенсуалиста Дидро, сходное с оружием сенсуалиста Беркли, дало победу в руки первого, ибо он применял это оружие последовательно и согласно его природе, ибо он не

[1]) Diderot, XVII, 119. Статья Sensations из Энциклопедии.

отрывал действия от причины, ибо он отказался принять сверхестественное объяснение ощущений посредством божественных действий.

Нередко указывают на то, что могло бы быть названо „трансцендентальным идеализмом" Дидро, если бы напоминало, в действительности, кантовскую непознаваемость вещи в себе. Мыслитель в двух-трех местах за всю жизнь бросил слова о нашем незнании сущности материи, но, конечно, от незнания до непознаваемости дистанция огромная. Так, напр., в Энциклопедии в статье Имматериализм или спиритуализм (так, между прочим, он называет то мировоззрение, которое допускает в природе две субстанции, материю и дух,—замечание меткое и глубокое) Дидро говорит: „Мы абсолютно не знаем, в чем сущность материи и что пребывают тела сами по себе. В наши дни, правда, сделано в этом отношении на несколько шагов больше, чем у древних, но сколько еще остается сделать!"

Последние слова ясно указывают на признание Дидро познаваемости материи. Его же несколько пессимистическое признание относительно современного ему состояния знания вполне понятно; стоит только вспомнить, что естествознание ограничивалось „неделимыми" молекулами, в „химии" господствовал флогистон, теплота была свойством „теплорода", электричество—невесомым веществом; ни химии атомов, ни тем более физики электронов не было. В сознании скудного уровня науки и в то же время при виде новых и новых научных открытий бросил Дидро свою фразу: „сколько еще остается сделать!" И сколько со времени Дидро, можно добавить, сделано в области познания „непознаваемой" вещи в себе.

Но, скажут, Дидро совершил логический и метафизический прыжок, выпрыгнув за свои ощущения, выйдя из самого себя, в то время как это недопустимо. В чем же заключается прыжок и где он? Познающий субъект и познаваемые объекты едино суть. Субъект не есть объект, но есть субъект-объект и наоборот. Познающий субъект сам есть часть познаваемого объекта, для другого он сам объект. И „выходя" из себя, переходя через мост ощущений, он не выходит за пределы своей природы, ибо он сам часть природы объекта. Ощущение связывает сознание с бытием, внутренний мир познающего субъекта с внешним для него только миром познаваемого объекта. Ощущения и разъединяют (субъект не есть объект) и соединяют (субъект-объект), они уравновешивают внутренний и внешний мир, сочетают их, и только в подобном случае возможно познание.

Здесь, в этом основном пункте всякой теории познания, Дидро не только материалист, он диалектический материалист. Мышление и бытие и противоположны, и едины, это два аттрибута одной субстанции, материи. „Поскольку вещи существуют только в нашем разумении (entendement), они—лишь наши мнения. Это—понятия, которые могут быть истинными или ложными, согласными или противоречивыми". В них нет и не может быть определенности, строгой достоверности, устойчивости. Здесь полный простор субъективизму, на

котором нельзя воздвигнуть стройного здания мировоззрения. Эти мнения „приобретают устойчивость только в связи с внешними предметами. Связь эта создается или непрерывной цепью экспериментов; или непрерывной цепью рассуждений, которая одним концом упирается в наблюдение, а другим - в эксперимент; или цепью экспериментов, рассеянных в разных местах среди рассуждений, подобно грузу, подвешенному во всю длину нити между ее концами. Без этого груза нить стала бы игрушкой в малейшей степени действующего на него воздуха“ [1]).

Итак, устойчивость наших знаний проистекает лишь из связи с природой. Положение, имеющее значение не только гносеологической, но и методологической максимы. Пока нас интересует только первая его сторона. И не только знание, но и все аффекты души есть продукт внешнего мира, природы. Душа наша, как чистое полотно, подвижная картина, которую мы беспрестанно пишем. У нас уходит много времени, чтобы выполнить ее в точности, но картина эта существует вся и сразу, так же как и объект ее. Что и как совершается в объекте—природе, то и так же совершается в субъекте—картине. Видеть предмет, считать его красивым, испытывать приятное чувство, стремиться обладать им,—все это состояние души в один и тот же момент, как одновременно существует и этот предмет. Видеть вещи такими, каковы они есть в природе,—обязанность и заслуга истинной философии. Эту максиму провозглашает и Дидро, и Фейербах, ее же принимает современный диалектический материализм.

Но возможно ли это, возможно ли отражение движения бытия в движении мышления? Именно, возможно и необходимо, поскольку признано единство субъекта и объекта. Лишь при этом условии мы имеем последовательное сцепление ощущений, представлений и понятий. Оторвавши же субъекта от объекта, мы не получим такого ряда.

В самом деле, каким образом между нашими ощущениями, представлениями, звуками вводится связь, соотношение так, что не образуется из них хаоса, хаоса ощущений, представлений, звуков, но получается ряд, который мы называем разумным, толковым и последовательным. Вот как: „В природе имеются связи (liaisons) между предметами и частями предмета. Эта связь необходима. Она влечет за собой связь или необходимое следование звуков (слов, понятий), соответствующих необходимому следованию воспринимаемых, ощущаемых, видимых, обоняемых и осязаемых вещей“ [2]). И этот принцип вошел в диалектический материализм. Познание потому и возможно, что субъект подчинен законам бытия объекта, мышление—законам бытия. И если бытие диалектично, мышление не может не быть диалектичным. „Права диалектического мышления подтверждаются диалектическими

[1]) Diderot, II, 13—14.
[2]) Diderot, IX, 372. (Eléments de physiologie.)

свойствами бытия“, по словам Плеханова; это положение вполне согласуется с положением Дидро, ибо и он был диалектиком.

Угодно пример?—продолжает Дидро в Элементах физиологии,—„видят дерево, и слово дерево изобретено. Не видят дерева, не видя непосредственно и постоянно вместе ветвей, листьев, цветов, коры, сучьев, ствола, корней“. Не напоминает ли, читатель, это место афоризм Фейербаха „без деревьев нет дерева“, без деревьев, как причин соответствующих ощущений, нет понятия, слова: дерево.

Отсюда, от ощущений внешних тел, из природы рождается наша способность судить, рассуждать, толковать Не следует только забывать, что „прообраз наших наиболее пространных рассуждений, их связь, их следствия, необходимы в нашем разумении подобно последовательному ряду, связи действий, причин, объектов, качеств объектов, существующих в природе“. Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. Законы вещей суть и законы мышления, поэтому только и возможно объективное познание реального мира.

Конечно, ошибки возможны. Но они проистекают от отрыва мышления от бытия, от недиалектичности мышления.—„Заблуждения относительно объектов в целом легки. Есть только один способ познать истину, это действовать, приступать по частям (procéder par parties) и не заключать прежде точного исчисления; но и этот способ еще не непогрешим. Истина может настолько содержаться в целом образе, что на основании наиболее строгого и подробного исследования частей нельзя будет ни утверждать, ни отрицать“ [1]). Снова диалектика Дидро. Выхватив один феномен из общей совокупности их, мы не имеем действительного знания; нельзя забывать о всеобщей связи явлений. Так, Спиноза, оторвав посредством imaginatio один модус бытия, не имел истинного знания. Но и простое исчисление явлений не всегда приведет нас к нему. Inductio per enumerationem simplicem может распылить наше знание в деталях. Точное и последовательное исчисление берет явления в связи. Mutatis mutandis, это спинозовское познание аттрибутов посредством ratio. Но сумма слагаемых не дает арифметической суммы, количество переходит в качество. Явления нужно познавать и в связи их друг с другом, и в совокупности, целостности их. Истина содержится в целом. Спиноза хочет видеть такое истинное познание в scientia intuitiva. Дидро скромно называет его умом-наблюдателем (esprit observateur), подчеркивая его эмпиризм. Но в действии этот ум-наблюдатель не рассматривает, а видит, не изучает, а проникает; перед ним, быть-может, нет налицо явления но все они в целом аффектируют его. Это род чувства, которым не все обладают. Такой человек знает, не исчисляя всех за и против, ибо это исчисление у него в голове [2]). Он не трудолюбивый „копун, всю

[1]) Diderot, IX, 373.
[2]) Diderot, IV, 27.

жизнь проводящий в накоплении материалов", а „гордый строитель, спешащий приложить их к делу". К таким гордым строителям в Мыслях об истолковании природы Дидро относит Эпикура, Лукреция, Аристотеля. К таким „умам-наблюдателям", по существу же, как видел читатель, диалектически мыслящим философам следует отнести и Дидро.

5.

Мы установили у Дидро сенсуализм как теорию познания, сенсуализм, признающий материальный мир природы, как причину наших ощущений; установили диалектичность его теории познания и сходство ее принципов с принципами диалектического материализма. Ощущения сочетают и связывают сознание с бытием, отражают внешний мир объектов во внутренний мир субъекта. Этим внутренним миром, миром разумения вообще, нам предстоит теперь заняться. Ограничиться одним констатированием ощущений, как источника наших знаний, мало. Теория познания не так убога своим содержанием у Дидро. Материализм не отрицает рациональных моментов, что было бы равносильно уничтожению субъекта, но анализирует их, указывает их прерогативы и пределы.

Дидро был хорошим для своего времени психологом, но он не был психологистом в теории познания. У него найдутся страницы, посвященные проблемам общей психологии, но не они составляют наиболее яркое в его работах. И в них он гносеолог по преимуществу. Подчеркивание им в полемике с Гельвецием рациональных моментов, смелость, с которой он приближается к пропасти рационализма, подала повод историкам философии в лице Каро и Жанэ не упрекнуть, нет, а поздравить мыслителя с новым „этапом" на пути развития, с поворотом в сторону идеализма. Эти историки или не обратили внимания, или, что вернее, обратили слишком мало внимания на Элементы физиологии, которые Дидро разрабатывал одновременно и позднее своего Отвержения книги Гельвеция о человеке. В противном случае они увидели бы в первой работе не только идеи трансформизма, но и не оставляющую никаких сомнений материалистическую гносеологию Дидро. Так называемый же „идеализм" выявил бы лишь диалектическое его мышление. В указанных последних своих работах Дидро углубляет и удобряет ранее высказанные соображения. Здесь он не возвращается к решенным уже задачам, а ставит и разрешает новые.

Ощущений мало для объяснения сложных операций нашего мышления. Как от физической чувствительности перейти к сравнению идей?—так ставится теперь вопрос. Можно вовсе не поднимать его, как это сделал Гольбах, но уклонение от ответа не есть ответ. Можно ответить коротко: „судить, это и значит ощущать",—как сказал Гельвеций. Sè non è vero è ben trovato. Хотя и не верно, но хорошо сказано, однако беда в том, что такое положение не совсем правильно. „Это

утверждение, как оно заявлено, не кажется мне строго правильным. Глупец ощущает, но, может-быть, не судит; совершенно лишенное памяти существо ощущает, но не судит. Суждение предполагает сравнение двух представлений". Вот здесь-то и затруднение. Дидро хотел бы знать, как совершается это сравнение, ибо оно предполагает, в свою очередь, наличие одновременно двух представлений. Дидро не видит в таком выводе ничего невозможного; одна идея налицо, другая в памяти. Но он хотел бы осмыслить все действия разума. „Если бы, отправляясь от одного феномена физической чувствительности, общего свойства материи или результата организации, вывели с ясностью все операции разумения (entendement), совершили бы нечто новое, трудное и прекрасное" [1]).

Для этого вовсе не нужно разбирать по частям всю человеческую машину, вынимать и просматривать каждый винтик, каждую пружинку, каждое колесико; нет, но следует наметить, указать основные факторы, обозначить их взаимозависимость. Без сомнения, чтобы судить и действовать, необходимо быть организованным так, как мы, необходимо ощущать. Ощущения—первичные и непременные условия, conditio sine qua non, но от ощущений мы не непосредственно переходим к желаниям и отвращениям, к суждениям и действиям. „Брать условия вместо причин, значит упражняться в ребяческих паралогизмах и ничего не значащих умозаключениях". Конечно, нужно быть, чтобы ощущать, нужно ощущать, чтобы быть человеком или животным, и нужно быть человеком или животным, чтобы быть скупым, ревнивым. Но нельзя сказать, что этот человек скуп, потому что он человек, ощущает, существует; мы взяли бы в подобном случае условие всякого вообще действия вместо мотива и причины действия того или иного индивида. Физическая чувствительность, ощущения, если угодно употребить слово „причина", есть причина основная, главнейшая, но не единственная.

Человек комбинирует, сочетает представления, примерно, так же, как рыба плавает, а птица летает, так же легко и привычно. Но каждый человек своей организацией, естественными способностями, темпераментом, потребностями расположен к сочетанию таких-то и таких-то представлений предпочтительно перед такими-то и такими-то. Мы не занимаемся сейчас проблемой внешнего или внутреннего поведения человека и потому оставляем в стороне причины и возможности такого поведения, но останавливаемся на одном его факторе, имеющем ближайшее отношение к нашему вопросу.

У человека пять чувств, это его свидетели, но есть и судья; судья этот—„специальный орган, мозг, которому пять свидетелей делают свои доклады". И как хороший судья выносит приговор только прислушиваясь к обстоятельствам дела, только вникая в показания свидетелей, так и мозг, если угодно, разум, судит на основании дан-

[1]) Diderot, II, 301.

ных чувств. „Чувства задают нам задачу, но решение задачи дает мышление. Не чувства сами по себе, а чувства в союзе с мышлением доставляют нам истинное знание. Мышление, оторванное от чувственного опыта, дает мнимое знание. Но объекты чувств, не подвергнутые переработке мышления, являются не чем иным, как лишенными смысла образами" [1]. Эти слова, сказанные по поводу Фейербаха, целиком приложимы к Дидро. В этом пункте оба мыслителя говорят и думают одно и то же до мелочей, до деталей.

Свидетели могут быть превосходными, но судья глух, голова дурно организована: „свидетели верны, но судья испорчен,—в результате глупец". Разум не должен отрываться от чувств, чувства не должны господствовать над разумом. Так в человеке, но не в животном. Животное неспособно к совершенствованию,—говорит Дидро,—потому что его разум подчиняется деспотическому чувству, которое над ним господствует. „Вся душа собаки на кончике ее носа и она постоянно вынюхивает; вся душа орла в его глазу, и он постоянно высматривает; вся душа крота в его ушах, и он постоянно прислушивается". Иначе обстоит дело с человеком. Между его чувствами как бы гармония, ни одно из них не господствует над другим настолько, чтобы давать законы разуму; „напротив, разумение, или орган разума—самый сильный. Это судья, который не совращен и не подчинен ни одним из свидетелей; он сохраняет весь свой авторитет и он употребляет его, чтобы совершенствоваться; он сочетает всякого рода представления и ощущения, так как он ничего не ощущает сильно" [2]. Отсюда вывод, быть-может, „неприятный", но последовательный и правильный. Гений, музыкант, например, сближается с животным, ибо у обоих имеется господствующий орган, который влечет их только к определенного рода занятию, каковое они выполняют в совершенстве.

И по Фейербаху, человек отличается от животного не просто мышлением, волей, но всем своим существом. Человек не партикулярное существо, как животное, но универсальное, и потому... „неограниченное, свободное". Чувства животного острее человеческих, но лишь в направлении к известным предметам, связанными с насущными потребностями животного; вследствие этой определенности они сильнее человеческих. У человека нет нюха гончей собаки, нет зрения орла, нет слуха крота, но его обоняние, зрение и слух безразличнее и общее. „Если чувство поднимается над ограничениями частного и преодолевает свою связанность потребностями, то оно возвышается до самостоятельного, до теоретического значения и достоинства: универсальное чувство—разум, универсальная чувствительность—духовность" [3].

[1] А. Деборин, Людвиг Фейербах.
[2] Diderot, II, 323.
[3] Л. Фейербах, Основоположения философии будущего § 53 (пер. Я. Виткинда).

Судья, не выходящий за пределы показаний свидетелей, но контролирующий, осмысливающий их, есть сам свидетель, берущий все показания в связи, сочетающий их. Разум, не выходящий за пределы показаний чувств, но контролирующий, осмысливающий их, есть сам чувство, берущее все показания в связи, сочетающее их, чувство универсальное. И это чувство, sensus communis, sensorium commune знает уже и Дидро, он буквально употребляет этот термин. Разум, мышление есть прежде всего связь, соединение того, что чувствам дано в разъединении, разум—орган целостности человека.

Дидро усиленно подчеркивает, что мозг, орган разума, такой же орган, как и другие, он, как и они, имеет свою специальную функцию. Чтобы мыслить, мозгу нужны объекты так же, как они нужны глазу, чтобы видеть. „Сам по себе мозг мыслит не больше, чем глаза видят или другие чувства сами по себе ощущают". Мозг даже второстепенный орган в том смысле, что он никогда не приходит в действие без посредства других органов. Он подвержен всем порокам других чувств, он жив или туп, как и они.

Разум—чувство, как зрение—обоняние, слух и т. д. Орган разума—мозг, как орган зрения—глаз, орган слуха—уши и т. д. У него своя функция—соотносить данные чувств, как у других органов преломлять воздействие внешних объектов. „Не думайте, что я забавляюсь,—говорит Дидро Гельвецию,—без соотносителя, без судьи, общего для всех ощущений, без органа, помнящего в совокупности все, что к нам приходит от ощущений, без такого органа живой инструмент каждого чувства имел бы, быть может, мгновенное сознание своего существования, но не было бы никакого определенного сознания животного или человека в целом" [1].

И здесь дидро-фейербаховская диалектика. Разум—чувство, сознание—всеобщее единство чувств, но и чувство—сознание, только неполное, мгновенное, изолированное. Каждый орган животного есть в некотором роде самостоятельное животное; каждый орган человека есть в некотором смысле человек. Но снова простая сумма органов не дает человека, простая сумма чувств не дает универсального чувства—разума; количество переходит в качество.

Различие между разумом и чувством, различие между целым и органом: целое предвидит, орган не предвидит; целое экспериментируется, орган не экспериментируется; целое избегает зла, орган его не избегает; он его чувствует и только стремится освободиться от него" [2].

Итак, Дидро устанавливает уже фейербаховское конкретное единство мышления и чувств. С этой точки зрения и следует толковать краткую реплику Дидро из Прозелита, отвечающего самого за себя (1763). На коварный вопрос сенсуалисту „обещаете ли вы

[1] Diderot II, 337.
[2] Diderot. IX 376.

признавать непогрешимость чувств?" философ-прозелит отвечает: „да, поскольку они не будут противоречить разуму". Здесь не отрыв разума от чувства, но их соподчинение и специфическая функция разума, как универсального чувства.

Возьмем пример. На горизонте глаз видит точку. Без разума берущего явления в совокупности, мы должны были бы признать (если бы вообще могли в таком случае что-либо „признавать") истинность показания глаза. Но судья, разум, соотносит это представление с другими, доставленными и доставляемыми прочими чувствами. Он высказывает суждение, что точка, как ее рисует глаз, не может быть объективно точкой,—ибо расстояние от нее до нас велико. Если разум рассудит проверить свой вывод, познать предмет представления, он вооружит тот же глаз инструментом, биноклем,—и показания глаза оправдают вывод судьи: не точка, а человек.

Здесь уместно будет заметить, что Дидро понимал необходимость инструментов в науке, но не придавал им решающего значения в проблеме познания. Инструменты—дополнения наших чувств, но не самостоятельный фактор [1]). И наделять их той ролью, какую им предоставляет Лафарг не значит еще разрешить проблему. „Если бы человек пользовался только одними своими чувствами для познания внешнего мира, то это познание едва ли было бы у него более развито, чем у животных, чувства которых гораздо совершеннее" [2]). Как мы видели, у Дидро и Фейербаха за десятилетия до этого возражения уже был дан ответ. Лафарг говорит об „угольных мешках", о так-называемых „небесных ямах", куда не может проникнуть даже вооруженный глаз астронома. Между тем является химик, физик, фотограф, и „фотографическая пластинка показывает нам новые кучи звезд и рассеянную космическую материю".

Все это так, и никто не будет спорить, что инструменты, приборы и пр., „неодушевленная материя", по общему выражению Лафарга, расширяет круг наших знаний. Но „познание мира при помощи неодушевленной материи" переводит вопрос из области гносеологии в область методологии в узком смысле этого слова. В том то и дело, что пластинка показывает нам нечто, а мы это нечто видим. Проблему познания можно решить, лишь сосредоточивая анализ и на объекте и на субъекте, как это сделали Дидро и Фейербах. Игнорирование разума, этого универсального чувства, завело Лафарга в сторону и он, оставаясь материалистом, самостоятельно поставленной себе задачи не решил.

Разум Дидро не некая абстрактная сущность, потаенное свойство, qualitas occulta средневековья. Правда, он признается в начале фрагмента о разумении: „то, что мы знаем менее всего, это—мы сами", но Дидро знает, где находится этот разум, где его орган. Он отводит

[1]) Заметим, что этот взгляд повторит впоследствии Г. Спенсер.

[2]) П. Лафарг, Проблема познания.

упрек Гельвеция: „приписывать ум организации, не будучи в состоянии назвать его орган, значит взывать к потаенным качествам".— „Может-быть, отвечает Дидро, но его называют, это—голова". И всякий, хоть сколько-нибудь размышляющий знает, что голова есть вместилище (siège) мысли,—замечает Дидро в другой работе. Конечно, такое сообщение не могло быть „открытием" для XVIII века, и Дидро не претендовал на него. Но здесь интересна физиологическая его основа для психологии. Фейербах указывал как на слабую сторону психологии, на игнорирование ею физиологических условий. Дидро нельзя упрекнуть в этом. Он два раза с пером в руках, по своей привычке, прочитал лучшую в его время физиологию Галлера. Но сам он, конечно, не был и не мог быть физиологом. Поэтому приходится только пожалеть, что эта наука в его время, по существу, только нарождалась. Иначе Дидро дал бы нам, несомненно, целый ряд богатых содержанием философских обобщений.

Ведь весьма характерно, что свои мысли об ощущениях, о памяти, о разумении вообще он излагает не в психологических трактатах, наподобие Кондильяка, но собирает их в Элементах физиологии. Обо всем этом он говорит на-ряду с фрагментами о желудке, легких, мускулах и т. п. Мышление, для него, функция своеобразного органа, мозга, но, конечно, не в смысле вульгарного материализма XIX столетия. Его Элементы—мост, связующий психологию с физиологией, соединяющий две дисциплины, из которых одна изучает человека только как субъекта, а другая только как объекта. Дидро еще раз предвосхищает научные течения наших дней. Он не замыкается в психологической терминологии, но и не отказывается от нее всецело в пользу физиологической. Он переводит постоянно с одного языка на другой.

Ощущения—феномены мозга, всей нервной системы. Они выполняются (s'executent) нервами, ибо не знали бы прикосновения, осязания, если бы чувство не передавалось. Начало ощущения на крайнем пределе затронутого нерва; нет ощущения, если он разрушен или поврежден. Ощущение идет от члена к мозгу, нервы, так сказать, несут его туда, и мозг—также нерв, ибо он чувствует. Нервы—органы движения и ощущения и слуги мозга, но иногда они становятся его деспотами, и тогда возможны заблуждения мозга, ошибки мышления. „Все идет хорошо, когда мозг командует над нервами, все идет дурно, когда взбунтовавшиеся нервы командуют над мозгом".

Как некогда разум не был чужд чувствам, но сам входил в их систему, так ныне и мозг не вне нервной системы, нечто отличное от нее, но внутри нее, среди других нервов. Орган Дидро, как мы видели, располагает некоторым сознанием, пусть неполным, изолированным от внешнего мира. „Низшие отделы центральной нервной системы" Павлова производят тоже „анализ окружающего мира, анализ разных сложностей мира на отдельности", почему он их и называет анализаторами. Универсальный орган Дидро имеет специальную

функцию реагировать на эти отдельные „сознания", сочетать их, соотносить их с внешним миром; он предвидит зло и избегает его. В высших отделах нервной системы Павлова, „в больших полушариях происходит преимущественно тончайший анализ". „Большие полушария являются органом анализа раздражений и органом образования новых рефлексов, новых связей. Они орган животного организма, который специализирован на том, чтобы постоянно осуществлять все более и более совершенное уравновешивание организма с внешней средой,—орган для соответственного и непосредственного реагирования на различнейшие комбинации и колебания явлений внешнего мира, в известной степени специальный орган для беспрерывного дальнейшего развития животного организма" [1]. „Чувствительность" Дидро не только проводник, но и судья, ибо и разум есть чувство. „Нервная система (Павлова) не есть, как обыкновенно думают только проводниковый прибор, но и замыкательный". В приведенных примерных положениях можно видеть аналогичные воззрения, выраженные лишь на разных языках.

6.

При таком решении проблемы познания не трудно предвидеть и основы методологии Дидро. Перед нами вновь не объемистый трактат, но ряд „мыслей" философа. Указанием на некоторые из этих мыслей, имеющих отношение к теме нашего очерка, мы и закончим.

Законы отыскания истины суровы, средства же наши ограничены. Мы можем лишь от чувств переходить к размышлению и от размышления снова к чувствам; отправляясь от действительности, беспрерывно углубляться в себя, а затем вновь возвращаться к действительности. Конечно, проще и удобнее осведомляться только у себя, не советуясь с природой, но субъект без объекта не есть даже субъект; не обращаясь к природе, не найдешь истины.

Мы наблюдаем эту природу, собираем факты, затем мы передаем их размышлению; размышление комбинирует их, сочетает и разъединяет; высказывает предположение о них. Но одного предположения недостаточно. Нужно подвергнуть его испытанию опыта. Тогда-то мы вновь обращаемся к природе уже не за наблюдением, но ставим эксперимент. Эксперимент проверяет комбинации и предположения нашего размышления. Только тогда возможен окончательный вывод. Для наблюдения нужно прилежание, для размышления—глубина, а для эксперимента точность. „Редко видят эти качества объединенными; вот поэтому-то редки и творцы-гении".

[1]) Акад. Павлов, Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных, стр. 173 и сл.

Для размышления нужна глубина и память, но у разума есть свои предрассудки, а у памяти свои границы. Для наблюдения нужны прилежание, острота чувств, но у чувств есть своя неуверенность, а у инструментов свои несовершенства.

Явления бесконечны, причины же скрыты. „Против стольких преград, находящихся в нас и полагаемых природой вне нас, мы имеем лишь медлительный эксперимент и ограниченное размышление. Этими рычагами философия решила сдвинуть весь мир" [1]. В последних словах пессимизма нет, напротив, эти средства, пусть ограниченные, способны выполнить свою роль рычагов.

Однако, существуют два рода философии: одна—опытная, другая—рациональная. Опытная ходит ощупью, не брезгует фактами, собирает их и часто находит драгоценности. Рациональная подхватывает эти драгоценности и быстро выносит приговор. Так, некогда она заявила, что мир конечен, но пришли Коперник, Галилей, Кетлер, и выяснилось, что мир бесконечен. Так, она смело произносит: свет нельзя разложить. Опытная философия слушает ее и молчит перед ней в продолжение целых столетий; затем вдруг она показывает призму и говорит: свет разлагается. Так, она говорит есть бог, душа бессмертна, воля свободна,—можно было бы продолжить мысль Дидро,—но и эти ее утверждения не более обоснованы.

Факты—истинное богатство философа. И опытная философия собирает их. Но не следует думать, что она отдает их для обработки и обобщений рационалистическому философу, сама будучи не в состоянии справиться с ними. Она имеет своих мыслителей-систематиков. Эпикур, Лукреций, Аристотель—ее философы. „Здание воздвигнутое ими, быть может, некогда и рушится, но среди руин уцелеет статуя, и глыба, сорвавшаяся с горы, не разобьет ее, ибо пьедестал ее не из глины". Таким философом, истолкователем природы в ее целом и частях, вошел в историю и Дидро. Безжалостное время сильно повредило его сооружение, но остались еще целые и сверкающие колонны, а среди них статуя их творца, у подножия которой надпись: „Поспешим сделать философию близкой народу. Если мы хотим, чтобы философы шли вперед, приблизим народ к уровню философов. Если философы скажут, что существуют произведения, недоступные простым умам, они обнаружат тем самым свое невежество относительно того, что в состоянии совершить хороший метод и длительный навык" [2]).

[1]) Diderot, II, 20.
[2]) Diderot, II, 39.

II.

Философия природы.

(I. Элементы вселенной).

Il n'y a plus qu'une substance dans l'univers, dans l'homme, dans l'animal. [1])

D. Diderot.

1. Дидро, как философ природы по преимуществу. — 2. Генезис Дидро: Декарт, Спиноза.—3. Генезис Дидро: Лейбниц, Мопертюи.—4. Материя, как единственная субстанция. Молекула. Движение и чувствительность материи.—5. Философия природы Дидро в литературе о нем.

I.

Дидро по справедливости называют философом—истолкователем природы. Мы видели уже и в дальнейшем увидим еще, что он не только работал, но был самостоятельным мыслителем и в других отраслях философии, однако несомненно, здесь, в осмысливании, истолковании и обобщении последних основ и принципов бытия, лежат его интересы и симпатии. Если придерживаться вольфовской схемы, распространенной в XVIII веке и за пределами германских стран, Дидро уничтожил, по крайней мере для себя и для Франции, возможность рациональной теологии, в корне преобразовал, так что осталось лишь прежнее название, содержание психологии и тем самым занял всю область теоретической философии учением о третьей картезианской субстанции, материи.

Она одна наполняет вселенную, и все что мы видим в природе—ее модификации. Самое понятие природа может быть идентифицировано с понятием материя, ибо, кроме материи, ее форм и проявлений, в природе ничего нет. Этим отнюдь не упрощается видимое многообразие, оно лишь сводится к своим основам. Поэтому, если бы Дидро изложил систематически свое мировоззрение, он не мог бы найти для своего труда более близкого названия, чем философия природы. Гольбах в Системе природы и сам Дидро в Мыслях об истолковании природы вплотную подошли к этому.

Мы говорим не система природы, а философия природы вовсе не из желания применить к Дидро чуждый ему термин немецких идеалистических школ XIX века; напротив, мы не выходим здесь из сферы представлений века французского просвещения, а для него философия была сравнением и сочетанием представлений, полученных непосредственно чувствами, т.-е. приобретаемых вследствие воздействия природы [1]). Система природы была налицо, философ же мог сравнивать, сочетать представления о ней и делать выводы, т.-е. на языке XVIII столетия „философствовать“. Как говорит тот же д'Аламбер, „вселенная и размышления, вот первая книга истинных философов“.

[1]) Лишь одна субстанция во вселенной, в человеке, в животном.

Мы сказали „если бы Дидро изложил...“ Но, к сожалению, Дидро и здесь остается верным своей манере работать. Снова перед нами несколько диалогов, мыслей и заметок, набросанных при чтении книг, вызвавших его на размышления. Исследователь, который бы пожелал представить в связи эти основные воззрения Дидро на природу, не может не остановиться перед затруднениями, которые ставит ему мыслитель. Историки же философии своим количеством, разнообразием толкований, и, главное, стремлением сделать из Дидро своего единомышленника, способны вовсе запутать, ибо один хочет навязать Дидро бога, хотя бы в виде „морального закона“ (Рейнак), другой усматривает в молекуле Дидро спиритуалистическую монаду (Жанэ), третий видит в человеке Дидро „нечто выше физики и химии“, некие „несводимые к молекуле элементы“, т.-е. нематериальную душу идеалиста (Каро).

Остается единственный путь: добросовестно и старательно разобраться в разрозненном и разбросанном достоянии Дидро, посмотреть на наследие, оставленное ему философами нового времени и поставить его мысли в связь с достижениями науки XIX века. Оба последних момента необходимы, ибо в Дидро, как в фокусе, отразилась вся философская борьба предшествовавшего ему столетия, а, с другой стороны, в нем получили выражение философские предвидения, осуществившиеся лишь в столетии, следовавшем за ним. Имея в виду эти соображения, мы можем приступить к Дидротовскому истолкованию природы.

2.

К чему, к какому началу или к каким началам сводится все видимое многообразие явлений? Что лежит в основе всего сущего? Эта основа, субстанция, т.-е. то, что для своего существования не нуждается ни в чем другом, единственна или множественна?—Таковы вопросы, которые прежде всего становятся перед взором всякого, пытающегося осмыслить окружающий мир.

Если вспомнить сожжение Д. Бруно в 1600 г., если вспомнить пытку Галилея, то придется признать смелым утверждение Декартом субстанциональности материи. Не только дух, но и материя—субстанция; материя, так же как и дух, не нуждается ни в чем другом для своего бытия. Точно ли ни в чем и ни в ком? Да, ни в ком, если не считать, конечно, бога, как субстанцию абсолютную, всесозидающую, как конечную причину всего сущего. Материя и дух—субстанции

[1]) Д'Аламбер, в „Предварительном рассуждении к Энциклопедии“.

сотворенные, но между собою, так сказать, равноправные. И то, и другое может быть названо с правом и без противоречия субстанцией, ибо одно в другом для своего бытия не нуждается. Таким образом, Декарт устанавливает субстанциональный дуализм. Но о материи и духе, с одной стороны, и о боге, с другой стороны, как о субстанциях uni voce, в одном и том же смысле, говорить нельзя. Ибо обе субстанции сотворенные, будучи между собою равноправны, черпают свое конечное основание в субстанции образующей, в боге.

Что представляет собою материя, как субстанция? Это то, что наполняет пространство, при чем заполняет все пространство без остатка, ибо пустоты в природе, как полагают атомисты, нет. Материя, таким образом, сливается с пространством, идентифицируется с ним. Как пространство, так и материя, трехмерны, протяженны. Протяжение есть аттрибут, существенное свойство материи, без которого она не может ни быть, ни мыслиться. Лишите материю протяженности, и вы тем самым уничтожите материю. Таким образом, если протяжение всегда свойственно материи, то духу всегда свойствен присущий ему аттрибут, мышление.

Каждая субстанция Декарта мыслится и пребывает лишь под одним аттрибутом. Поэтому, если спросить Декарта о природе времени, то ответ будет: время не аттрибут, а лишь модус, так сказать, вид, образ аттрибута, в данном случае мышления. Время наряду с числом—modus cogitandi, если угодно, форма нашего созерцания, а не форма существования вещей. Декарт стоит на точке зрения феноменальности времени.

Среди истинных модусов материи значится движение наряду с величиной, фигурой. Все же и движение лишь модус, случайное, а не существенное качество субстанции; оно может быть, но может и не быть. Вторичными причинами движения признаются лишь толчок, удар, увлечение потоком, вихрем, словом, действие на расстоянии не признается. Но поскольку движение лишь модус, поскольку оно не вытекает и не может вытекать из понятия протяжения, нужна первичная причина его. И эта первичная причина является внешней для материи, ибо она заключается в боге, как образующей субстанции. Бог дал движение, определил количество его, равное произведению тела (а не массы,—понятия массы у Декарта еще нет) на скорость: mv, и это количество движения вечно во вселенной. Итак,—что нам нужно для дальнейшего,—материя-субстанция Декарта—мертвая, инертная природа, извне получившая движение и определение. В таком виде она сама по себе близка к ничто, если создавший ее бог не будет поддерживать ее.

Следует, однако, указать, что в своей физике, где Декарт занимается только материей, он игнорирует конечные причины, изгоняет телеологию, все средневековые „скрытые качества" и устанавливает, поскольку это было в силах его времени и его самого, математически-механическое миропонимание. Только что указанный общий

характер его физики (но не картезианская физика в целом, равно как и его метафизика) сделались прочным достоянием науки XVIII века, в том числе и Дидро. Пытаясь же разрешить проблему взаимодействия двух субстанций в человеке, Декарт фактически материализовал душу, путем ее локализации, помещения в glandula pinealis. Отсюда, равно как и из других частей системы Декарта, можно было сделать последовательные выводы, но ценою уничтожения самого картезианского дуализма.

Дуализм всегда предоставляет два пути, абстрактно-логически, быть может, равно последовательных, но объективно неравноценных. По одному пути пошли Гейлинкс и Мальбранш. Если субстанция Декарта создана богом и им поддерживается, то она должна поддерживаться в каждый текущий момент. По случаю нашего воления бог вызывает в нас то или иное движение; по случаю же внешнего движения бог вызывает в нас то или иное представление. В окказионализме человеку ничего не остается, кроме смутного ощущения и не менее смутного желания. Здесь погибают равным образом и протяжение и мышление, действует один бог.

Чтобы спасти и то, и другое, нужно было, исходя из современной терминологии, слить все с богом, точнее, растворить бога во всем. Это сделал Спиноза, но так, что от бога осталась одна словесная форма. Deus sive natura sive substantia. Спиноза не пантеист, как многие хотят думать. Не бог во всем, и не природа во всем, но во всем спинозовская субстанция, единая, всенаполняющая и всеобразующая; вне ее ничего нет и быть не может. Субстанциональный дуализм Декарта преодолен в субстанциональном же, количественном монизме. Качественный дуализм остается, но и протяжение, и мышление—аттрибуты одной и той же субстанции. Они не вытекают из нее, так-что по отнятии их остается еще некий бесформенный и неопределимый субстрат, отличный от несомого носитель, в чем недальновидные идеалисты упрекают материализм; нет, оба аттрибута составляют субстанцию, substantia sive omnia substantiae attributa.

И этого качественного, аттрибутивного дуализма не приходится опасаться. Качественный монизм закрывает глаза на многообразие и противоречие действительности, субстанциональный же диалектически преодолевает, снимает их. Качественный монизм приводит или к простому тожеству=безразличию протяжения и мышления, объекта и субъекта, к слиянию их в некоем абсолюте над познаваемым многообразием, к идеалистической философии тожества, или, напротив, вовсе замыкается в рамки протяженности и, отказываясь вообще от каких бы то ни было рациональных моментов, упирается в вульгарный материализм. Спинозизм, напротив, полагает, не только тожество (объективно), но и различие (субъективно) обоих аттрибутов, он утверждает имманентное единство различных аттрибутов, диалектическое единство многокачественного сущего. Этот момент спинозизма перешел и к Дидро, и к Фейербаху и к диалектическому материализму, ибо,

признав органическое единство тожества и противоречия мышления и бытия, мы принуждены тем самым признать диалектический материализм. Метафизическое единство природы есть основа различия физического и психического.

Но строгая и холодная система Спинозы насквозь статична, а потому и безжизненна. Ломая и перестраивая картезианство, Спиноза не справился ни с временем, ни с движением. Его Deus=attributa substantiae есть не вечная, а, говоря точнее, вневременная сущность вещей, логическое основание их, natura naturans. Времени объективно у Спинозы нет; его субстанция, правда, не создавалась и не уничтожается, но она не связана вообще с временем, и созерцать ее можно, так сказать, лишь вне времени, sub specie aeternitatis.

Переход от этой вневременной, бесконечной субстанции к конечным вещам, к миру модусов приводит к признанию времени. Мир модусов, natura naturata, есть осуществление во времени возможностей natura naturans. Но так как само время есть, как и у Декарта, лишь модус мышления, modus cogitandi, то время объективно отсутствует. И natura naturata вытекает из natura naturans как из понятия треугольника вытекает равенство углов двум прямым. Диалектика природы производящей и природы произведенной (сумма модусов не дает простой арифметической суммы, в итоге качественно отличная субстанция) могла бы быть в общем принята (сумма различных атомов не дает, например, простой арифметической суммы, но создает качественно отличное тело), если бы в систему Спинозы было введено время, как форма бытия субстанции или как третий аттрибут.

Отсутствие времени вообще не позволило Спинозе оживотворить, динамизировать свою систему, удовлетворительно разрешить проблему движения. Движение, как и у Декарта, есть модус. И если мы возьмем искусственно, изолированно то или иное тело, то его движение будет модусом конечным, требующим субъекта, носителя. Но так как все в движении или покое (motus и quies), то последние, взятые сами по себе, являются модусами бесконечными; конечные модусы находятся не вне их или рядом с ними, но в них и только в них, как части в целом. Здесь Спиноза делает шаг вперед по сравнению с Декартом, у которого бог был конечным основанием движения, и притом бог трансцендентной материальной субстанции. Бог Спинозы, как мы видели не творец, creator, a causa sive ratio, основание и притом имманентное (immanens, не transiens) бесконечных модусов. Таким образом, движение, как бесконечный модус, черпает свое основание в самой субстанции (а не в трансцендентной ей причине), в субстанции, как natura naturans. Но поскольку движение—лишь модус, оно относится только к natura naturata и осуществляется в феноменальном, а не реальном времени. Повторяем, введение бесконечных модусов, как посредствующих между

аттрибутами и конечными модусами, исключило надобность в божественном происхождении движения, но отнесение их к миру модусов, а не к natura naturans воспрепятствовало динамизированию субстанции; эта последняя задача осталась нерешенной.

Мы проследим решение ее вплоть до Дидро, но сейчас уже должны вкратце указать на то наследие Спинозы, какое вошло в систему Дидро и всего французского материализма XVIII века. Наряду с движением, как бесконечным модусом протяжения, существует тоже как бесконечный модус интеллект и воля, intellectus et voluntas infinitus dei (=субстанции под аттрибутом мышления), как диалектическая сумма изолированных интеллектов и воль. Однако, божественный интеллект Спинозы отнюдь не разум и воля бога в церковном понимании. У схоластиков из божественного интеллекта и воли проистекают все вещи, бог действует по произволу. У Спинозы же они следуют из природы, они относятся как модусы к natura naturata. Спиноза борется против творческой воли бога. Говоря фигурально, бог не был раньше своих постановлений, он формальная, а не эминентная причина, т.-е. причина, в которой заключено не больше, чем в действии. Таким образом, воля, даже как бесконечный модус, причинна, не свободна, а необходима. Только субстанция=природа ничем не детерминирована, все же остальное, все ее части, ее модусы, детерминированы ею.

Таким образом, voluntas dei, воля бога=природы и есть причинность. Отсюда целый ряд конкретных следствий принципиальной важности: нет свободы воли; воля не отрицается, но она объясняется, она детерминирована; нет случая, все необходимо; взывание к случаю обнаруживает лишь наше незнание, прибегание же к богу к сверхестественному объяснению явлений есть лишь убежище невежества, asylum ignorantiae. Раз все подчинено закону причинности, нет места для телеологии, объяснению явлений по принципу целесообразности. Телеологическая связь явлений субъективна и ненаучна. Раз нет телеологии, нет места для абсолютного добра и зла; они лишь модусы мышления, modi cogitandi. Добро—то, что для нас полезно; зло—то, что для нас вредно, и так как нет абстрактного добра и зла, истина всегда конкретна. Человек, как субъект, есть лишь часть природы, мира объектов; эта природа вовсе не „создана“ для него, и он не стоит в центре ее; отсюда борьба Спинозы с антропоцентризмом.

Читатель видит, что эти принципы, вошедшие в мировоззрение французского материализма, составляют вместе с тем и прочное достояние диалектического материализма, вообще научного мышления. Таким образом, отвергнув рационализм Спинозы, французский материализм принял его материалистическую концепцию вселенной. Такие же моменты, как время и обоснование движения, должны были быть еще переработаны на диалектической основе.

3.

Последний философ картезианской школы, стоящий на рубеже XVII и XVIII веков и одинаково им принадлежащий, Лейбниц, видел зло и в безжизненной материальной субстанции Декарта, и в субстанции Спинозы, поглотившей бога. Его задача поэтому была двойственной, с одной стороны, динамизировать субстанцию, с другой стороны, элиминировать бога. И та, и другая задачи приводили к необходимости реформировать самое понятие субстанции и наложили отпечаток двойственности на всю метафизику Лейбница.

При реформе понятия субстанции, несомненно, сказалось влияние, испытанное Лейбницем в молодости со стороны Демокрита, но стремление высвободить бога заставило Лейбница отказаться от атомизма древних и не принять атомизма Гассенди.

Лейбницевский принцип всякого розыскания в области действительности—принцип достаточного основания. Всякий феномен определяется своей причиной, эта причина зависит от более высшей причины, и так до конечной причины, которая независима. Нескольких конечных причин не может быть, ибо все должно объясняться насколько можно просто, как и во вселенной все совершается насколько можно просто, с наименьшей затратой пространства, времени и силы, по принципу наименьшего действия, который господствует над принципом достаточного основания.

Раз существует сложное, должно существовать простое. Элемент вещей, субстанция, должна быть простою, простым единством. И в ней самой должен быть заложен принцип движения; это необходимо и этого достаточно. Но материя не может быть такой субстанцией: она всегда делима, нелелимых атомов быть не может; хотя бы мысленно, мы можем проводить его деление дальше. К тому же одной массы недостаточно, для движения необходима сила. Лейбниц не может примирить источник движения с материей, но так как материя движется, он принужден спиритуализировать материю. Его субстанция — сила.

Без силы нет движения,—прав Лейбниц; но без материи нечему двигаться,—прав Декарт. Воссоединить материю с движением мог только материализм. Бесконечная делимость материи, в глазах изобретателя исчисления бесконечно малых, препятствовала принять ему концепцию атомизма. Вместо материального атома он постулирует атом формальный, монаду. В поисках простой субстанции он отвергает физическую точку: она, хотя и существует, но делима. Точка математическая неделима, но она не существует. Остается постулировать монаду, метафизическую точку: она и существует, и неделима, она удовлетворяет принципу достаточного основания и является элементом вещей. Количественный дуализм преодолен, но вместе с ним уничтожается и качественный дуализм: тело принадлежит монаде, монада духовна; тем самым устанавливается спиритуализм.

У Декарта материя была пассивной, у Лейбница сама субстанция стала деятельной, перестав, однако, быть материальной. Эти основы лейбницианства нельзя забывать, но, с другой стороны, не следует, сосредоточив здесь все внимание, закрывать глаза на другие стороны метафизической системы Лейбница. Так, моменты деятельности, движения, несомненно, подчеркиваются у последнего, научно устанавливается мера силы, как произведение массы на квадрат скорости: $m.v^2$ (современное „ускорение“ еще не фигурирует у Лейбница, но зато понятия силы и массы заменяют картезианские движение и тело). Декартовские покой и движение были противоположны, лейбницевский покой есть бесконечно малое движение; монада сама по себе деятельный принцип. В зависимости от этого картезианский принцип постоянства количества движения преобразуется в закон сохранения силы, более близкий предок нашего закона сохранения энергии. Кстати сказать, энергия философов-энергетиков не может не находиться в связи с силой, как истинной субстанцией спиритуалиста Лейбница. Закон сохранения силы обусловливал у мыслителя то различие, какое принимал еще Галилей, между vis mortua (потенциальной энергией) и vis viva (энергией кинетической). Живая и мертвая силы составляют вместе vis activa, и мы увидим дальше, как пользуется этим и какие выводы делает отсюда Дидро, хотя сам Лейбниц все сводит только к живой силе, потенциальная энергия у него как бы выпадает.

Эти силы=монады, элементы вещей, все различаются между собой; их внутренняя жизнь, деятельность состоит из перцепций, представлений, это „бестелесные автоматы“, по выражению Лейбница. Соединяясь они образуют органические и неорганические тела. Те, у которых представления более отчетливы и сопровождаются памятью, могут быть названы, по Лейбницу, уже не просто монадами или энтелехиями, но душами, создается центральное единство, господствующее над остальными; таковы животные. Ясные представления монад, „возвышающиеся до познания нас самих и бога“ есть представления монад человека. „И вот это называется в нас разумной душой или духом“.

Жизнь монад лишь развитие, смерть их лишь свертывание; существование вселенной лишь непрерывные метаморфозы. Таким образом, уже Лейбницем в его идеалистической системе устанавливается непрерывная цепь существ и вечная смена форм. Мы должны были остановиться подробнее на Лейбнице и не потому только, что историки-идеалисты идентифицируют молекулу Дидро с монадой Лейбница, но потому, что наш мыслитель, действительно, прошел через школу лейпцигского философа. В дальнейшем же мы увидим, что Дидро сделал с монадологией Лейбница. Однако, чтобы разница представилась отчетливее, мы в двух словах должны указать и на иные моменты в системе Лейбница, моменты элиминирования бога, в которых он делает много шагов назад по сравнению со Спинозой.

Монады, как простые субстанции, не могут погибнуть естественным путем, и по той же причине естественным путем они не

могут получить свое начало. Монады могут получить начало только путем творения и погибнуть только через уничтожение. Ища причины бытия монад, Лейбниц приходит к конечной причине, к богу; все монады сотворены; бог их основание и притом достаточное. Только на этом достаточном основании Лейбниц, считая себя верным своему принципу, успокаивается. Бог избрал данный мир также по принципу достаточного основания, а не по капризу, ибо этот мир самый прекрасный, самый совершенный из миров; в этом оптимизм Лейбница, здесь же его ход от причинности к телеологии. Мир материальный и мир духовный идут по двум путям, но параллельным. В каждом из них как будто господствует детерминизм, но ни один из них не проникает в другой. Если они встречаются, то точно соответствуют друг другу; здесь остатки картезианского дуализма, здесь же лейбницевская предустановленная гармония. Забегая вперед, мы уже можем сказать, что Дидро,—если признать даже его пользование методом достаточного основания, хотя свои выводы он черпал непосредственно из „книги природы",—отбросил эту часть системы Лейбница, найдя для вселенной „достаточное основание", гораздо ближе, именно в ней самой.

В XVIII веке, веке развивающегося естествознания, спиритуалистическая монада Лейбница не могла не претерпеть радикальных изменений. Философствующий естествоиспытатель Мопертюи, в течение десяти лет президент Берлинской академии, сделал, по существу, первый шаг к материализации монады. Он попытался воссоединить атомы Эпикура и Гассенди с монадой Лейбница. Полученную таким образом молекулу, всякую молекулу он наделяет психологическими переживаниями: желанием, отвращением, памятью, разумом. Не все монады Лейбница обладали такими душевными качествами. Элементарные монады, энтелехии, ограничивались лишь смутными перцепциями; некоторая доля сознания выпадала на души, монады животных; и только духи, монады людей, владели разумом. Все эти способности уже заключены в молекуле Мопертюи. Он сделал первый и правильный шаг, превратив бестелесную монаду в физическую молекулу, но, наделив ее высшею психической деятельностью, перегнул палку в другую сторону, оторвался от природы и, если угодно, сделал большой шаг снова в сторону идеализма, во всяком случае в сторону дуализма. Именно потому, что молекулы Мопертюи уже в открытой, явной форме обладают разумом, они неправдоподобны и приближаются к тем, например, растениям виталистов XIX века, которые тоже „хотели, стремились", едва ли не размышляли.

Дидро вместе с Мопертюи только у исходного пункта; дальше он расстается с ним, углубляется, так сказать, в молекулу, не забывая об явлениях всей остальной природы, сочетая их, исследуя в связи, и создает единую стройную цепь всех существ, из которых каждое чем-либо отличается от другого.

4.

Лейбниц искал одну причину, хотел совершенного единства. Дидро неуклонно применял это правило. Раз дана монада, как элемент вещей, простая самодвижущаяся сила, нужно сосредоточиться на ней, посмотреть, какие „монады" встречаются в природе, и извлечь из них все, не прибегая ни к каким странным и излишним ухищрениям. Если природа дает нам „монады" только материальные, если сила всегда встречается вместе со своим носителем, материей, если для объяснения всего сущего достаточно этой материи и этого движения, зачем прибегать к тому, что само еще требует объяснения!

Бога Декарта и Лейбница он заменил естественным объяснением. Чтобы объяснить бесконечное разнообразие вещей, вполне достаточно бесконечного разнообразия и сочетания известных и пусть еще неизвестных нам материальных причин. И почему бог достаточное основание и конечная причина материальных монад? И почему сами они не могут быть вечными, сами в себе заключать достаточное основание своего бытия? А вместе с богом и по тем же причинам противоестественности, излишности, бесполезности и непонятности рушится и вторая, духовная субстанция картезианцев.

„Один достаточно ловкий человек начал свое произведение такими словами: „Человек, как и всякое животное, состоит из двух различных субстанций, духа и тела. Если кто-либо отрицает это положение, я пишу не для него". Я решил закрыть книгу. Да, забавный писатель, если я допущу однажды эти две различных субстанции, тебе нечему меня учить. Ибо ты не знаешь, что есть то, что ты называешь душой, еще меньше, как они соединены, и вовсе не знаешь, как они действуют одна на другую" [1]).

Действительно, если бы Дидро признал субстанциональность духа и материи, перед ним сейчас же стал бы вопрос об их взаимодействии в человеке; и где он должен был бы искать его разрешения? в glandula pinealis Декарта, так жестоко осмеянной еще Спинозой? в окказионализме отца Мальбранша? в предустановленной гармонии Лейбница? И пожалуй, первое было бы более смелым, но беда в том, что установление „седалища души" и последовательно проведенная механизация страстей у самого Декарта уже убивали его духовную субстанцию.

Нужно мыслить логически и не подставлять вместо одной причины, которая существует и все объясняет, другую, непонятную, связь которой с действием еще менее понятна, которая таит в себе бесконечное множество затруднений, не разрешая ни одного из них. Так вразумляет Дидро в 1763 году своего собеседника д'Аламбера, но нужно помнить, что точно также говорил Дидро-Саундерсон еще в 1749 году пастору Гольмсу. Д'Аламберу трудно отказаться от конечной

[1]) Diderot, Eléments de physiologie, IX, 270—271.

причины, от образующей субстанции, и он задает вопрос, как же быть без этой причины. Останется признать наличие только одной субстанции во вселенной, в человеке, в животном,—твердо высказывается Дидро. И это признание единой субстанции приближает Дидро, конечно, не к Бюхнеру, Фохту или Молешотту, но к Спинозе.

Дидро конкретизирует, динамизирует и индивидуализирует сплошную субстанцию Спинозы, он углубляет и оживляет ее, одновременно ставя на ноги монадологию Лейбница, связывая последнюю с естественными науками, примерно так, как Маркс, — известная истина, — поставил на ноги гегелеву диалектику.

Но прежде всего надо дать объективно место и время для деятельности субстанции. Материя для Декарта совпадала с пространством; время и для него и для Спинозы было лишь феноменальным, лишь модусом мышления. Не дальше пошел и Лейбниц. Кроме монад и явлений нет ничего. Явления же лишь представления монад. И протяжение принадлежит явлениям. Материя лишь явление, phaenomenon bene fundatum. Пространство — порядок возможных сосуществующих явлений, время — порядок следования явлений же. Лейбниц против Ньютона, признававшего пространство безусловно реальной сущностью. Дидро, установивший субстанциональность, и притом исключительную, материи, должен был признать реальность и пространства и времени. Подобно Фейербаху, это для него вовсе не является проблемой, он выражается кратко и так же как немецкий мыслитель, едва ли не в форме афоризма: „В природе время — последовательность действий; пространство — сосуществование одновременных действий. В разуме (entendement) время разрешается (se résout) в движение; пространство, путем абстракции,— в покой, но покой и движение одного тела. Я не могу даже в абстракции отделить локальность (localité) и время от существования. Стало быть, эти два качества существенно необходимы для него". [1]) На языке Фейербаха и диалектического материализма это звучит так: „Пространство и время суть формы существования всего сущего".

Самая материя представляется Дидро не сплошной массой Спинозы, — у него нет деления на natura naturans и natura naturata,— а, скорее, миром модусов; вне модусов природы, вне и кроме тел, нет материи, нет субстанции. Материя там, где протяженность, непроницаемость, форма, движение, где основание наших субъективных качеств. Отнимите все эти предикаты, и у вас не останется ничего. Так говорил Дидро еще в 1751 году в Письме о глухонемых, так он предупреждал все идеалистические нападки и упреки в том, что материя метафизична, что материалисты хотят видеть за вычетом первичных качеств еще некий бесформенный субстрат, который может быть, конечно, только продуктом голого воображения. Эти бесформенные образы легче усмотреть в „сущностях" средневековых и новейших онтологистов, нежели в материи Дидро.

[1]) Ibid., p. 254.

Крайними элементами материи Дидро в согласии с наукой своего времени считает молекулы. Общий актуальный результат или общие последовательные результаты сочетаний этих элементов и составляют природу Дидро. Если выразить его мысль в терминологии Спинозы, мы получим формулу: substantia sive materia sive natura. Спиноза дал новое содержание, но остался при средневековой терминологии. Дидро, мыслитель века просвещения, рвет и со старыми словесными формами. Природа, молекула ближе к нему, и они вполне достаточны для выражения его мысли.

Молекулы ни в коей степени не могут быть идентифицированы с монадами Лейбница. Они прежде всего материальны, они физические точки, а не метафизические, существование которых Лейбниц мог только постулировать. Эти физические точки, крайние степени деления материи, и существуют, ибо даны в опыте, и, вопреки Лейбницу, неделимы, так как их деление, „выходя за пределы законов природы и сил искусства, может быть представлено лишь умом".

В последних словах Дидро не выходит из круга научных представлений своего времени. Молекула в то время, действительно, была крайним пределом деления вещества. Химия только зарождалась, теорию атомов Дальтон сформулирует лишь в начале следующего века. Дальтон не будет смотреть на свои атомы, как на нечто абсолютно и никогда в будущем не способное быть разложенным. Но в конце XVIII века Лавуазье, с которым Дидро был знаком, укрепил понятие Бойля о химическом элементе, как неразложимом теле.

В конечном счете, оттого, что химия атомов разложила молекулу какого-либо вещества на более мелкие части, кстати сказать, уже иных веществ; оттого, что физика электронов разложила атом на более мелкие части, следует ли отсюда недостоверность материализма, его несоответствие данным научного опыта? Материализм XVIII века, опираясь на данные науки и отправляясь от нее, не мог не быть материализмом молекул, как его преемник в XIX веке — материализмом атомов, а в XX веке — материализмом электронов. Но всюду и всегда последними элементами бытия являются материальные частицы, из них воздвигнуто здание вселенной. Больше того, современная наука отказывается признать возможность хотя бы мысленного деления последних элементов вещества. „Даже мысленное деление атомов какого-либо вещества, — говорит О. Д. Хвольсон,— на еще более мелкие части того же вещества оказывается невозможным". Все дело, следовательно, заключается в том, какой предел деления материи под силу физике и химии данной эпохи. Мировоззрение не может быть жестким. Заслуга мировоззрения в целом, если оно не отстает от данных науки своего времени, и эта заслуга, как известно, налицо у французского материализма.

Абсолютно неделимые индивидуально молекулы Дидро существенно различны в массе. Мы знаем, что наши атомы, равные по объему, различаются по массе. Атомный вес отдельных элементов весьма различен. Периодическая система элементов насчитывает, как известно, около ста номеров.

С точки зрения Дидро, материя разнородна, гетерогенна. Нэжон, который особенно настаивал на гетерогенности материи, сообщает, что к такому заключению Дидро привели курсы лекции химика Руэлля. Развивая только в двух местах брошенные Дидро мысли о гетерогенности материи, Нэжон со свойственной ему пылкостью доказывает, что при предположении материи гомогенной не может быть ни одного явления, „не будет ни действия, ни противодействия, ни легкости, ни тяжести, ни движения, хотя бы и приписать каждой молекуле бесконечно много разнообразных свойств, как если бы все было огнем, или водой, или землей, или воздухом. Если предположить гомогенность, то, если вселенная и не разрушится, все замрет в ней в данной форме“ [1]).

Дидро рисовалось в природе бесконечное количество разнообразных элементов. Повторяем, его веку не была известна химия атомов. Каждый его элемент, не в смысле современных нам химических элементов, а в смысле молекулы, атома древних, должен был рисоваться ему отличным от всех других, как рисовался древним атомистам. С тех пор количество химических элементов в нашем смысле слова определено числом, не превышающим сотню, и несколько ее превышающим, если принять радиоактивные вещества. Но уничтожила ли тем самым современная химия то, что Дидро называл гетерогенностью материи? Если мы перейдем к физике электронов, то и здесь гипотеза Пру все еще продолжает оставаться гипотезой, а гипотеза Крукса о „протиле“, попытка дарвинизировать мир элементов, кажется и вовсе оставлена.

Новейшие теории атома свидетельствуют о том, что все атомы построены по одной схеме и из одних первичных частей. Разница почти только количественная (кроме числа электронов и соответствующего заряда ядра, еще расположение электронов по их орбитам и радиус орбит), но эта почти количественная разница пока может быть определена как разница качественная. И этой качественной разницы наука пока избежать не может, сведем ли мы все элементы природы к водороду, гелию и электрону или даже, как предлагают некоторые, к протонам и электронам. „Допущение, что водородное ядро (ядро атома легчайшего элемента, к которому полагают возможным свести все другие элементы) является положительным электроном, и что существует один только вид положительных электронов, пока-что не имеет никаких других аргументов в свою

[1]) Naigeon, Mémoires historiques et philosophiques sur la vie et les ouvrages de D. Diderot, MDCCCXXI, p. 210 etc.

пользу, кроме нашего стремления к единству“ [1]). Правда, радиоактивность проникает и в ядро атома и вызывает действительное превращение атомов, ибо атом характеризуется в основном зарядом ядра, но такое превращение вещества не противоречило бы концепции Дидро. Он хочет установить лишь гетерогенность материи, ее разнородность, и мы видели, что на этой почве продолжает стоять не только химия атомов, но и физика электронов, хотя последняя сводит эту разнородность до минимума.

Итак, мы установили по отношению к молекуле неделимость, а по отношению вообще к материи само собою разумеющуюся ее протяженность, точнее длину, ширину и глубину. Этим не исчерпываются свойства материи. Тот, кто будет говорить, что видит материю существующей и только существующей, кто скажет, что видит ее сначала в покое, а затем в движении, мыслит абстрактно, он отвлекается искусственно от существенных свойств материи. Из абстракции нельзя сделать никаких выводов, нужно брать материю в целом т.-е. такой, какова она есть. „Существование не вызывает ни покоя, ни движения, но существование не есть единственное свойство тел“.

В понятии существования не заключается ни покоя, ни движения, но заключать отсюда, что материя индифферентна к движению и покою бессмысленно прежде всего потому, что абсолютного покоя нет. На корабле, претерпевающем бурю, все находится в относительном покое, но абсолютного покоя нет и на корабле в тихую погоду, „даже составные молекулы судна и находящихся на нем тел не пребывают в абсолютном покое“. Движение вовсе не есть, как думал Декарт, перемена места относительно других тел. Перемещение есть следствие движения. „Движение есть как в движущемся теле, так и в неподвижном“, ибо если убрать препятствие с пути неподвижного тела, оно передвинется само без приложения к нему извне силы.

В таком понимании движения несомненно находит отголосок движение, как бесконечный модус Спинозы, претерпевший однако существенное изменение. Так как мир Дидро — только мир модусов, мир тел, то движение перестает быть модусом, а является аттрибутом, свойством самих тел, материи вообще. И Дидро не оставляет в этом смысле сомнения: „Абсолютный покой — абстрактная концепция; его нет в природе. Движение столь же реальное свойство, как длина, ширина, глубина“. Покоящееся тело — тело с бесконечно малым движением; тяжесть — тенденция не к покою, а к местному движению. Перед нами усвоение и дальнейшее развитие положений Лейбница.

Движение столь же свойственно материи, как и протяжение. Здесь, наконец, у материалиста Дидро движение нашло свое обоснование; нет нужды искать источника движения вне тела, его источ-

[1]) Проф. Л. Грец, Теория атомов в ее новейшем развитии, Берлин 1922, стр. 81.

ник в самой материи. Движение не мыслится без материи (Декарт) движение не мыслится без силы (Лейбниц), но первый полагал источник движения вне материи, а второй материю вне источника движения, вне силы=монады. Дидро сочетал, слил эти положения в материалистической концепции: движение не мыслится без материи, но и материя не мыслится без движения. Движение есть такой же аттрибут материи, как и протяжение: движение есть форма существования материи, как говорил Гольбах в Системе природы.

Нам, современникам теории атомов Резерфорда-Бора, с ее бешено мчащимися вокруг ядра электронами, с „бомбардировкой" электронов, с „странствующими" ионами, которые являются положительно или отрицательно заряженными частицами атома, коротко говоря, современникам новейшей атомной теории материи, легко себе представить движение как форму существования материи; но приходится признать, что утверждение того же французскими материалистами почти двести лет назад, материализация сил=монад, какую проделал Дидро, была глубочайшим философским предвидением.

Подобная концепция движения, конечно, шла у Дидро навстречу признанию сформулированного Лейбницем закона сохранения силы. Здесь Дидро не самостоятелен, но снова на высоте науки своего времени. По закону, установленному Гельмгольцем, количество энергии есть величина постоянная, но энергия может принимать самые разнообразные формы; она может быть кинетической, потенциальной, тепловой, электрической, химической, световой. Если мы перенесемся в XVIII век, когда теплоту считали еще особого рода веществом (теплород), когда только в 1743 году появилась электростатическая машина Ганзена, и электричество рассматривали также как невесомое вещество, немудрено, что Дидро знает только энергию кинетическую и потенциальную. На его языке, как мы уже знаем, она называется живой и мертвой силой.

„Количество силы постоянно в природе, но сумма nisus (мертвая сила) и сумма трансляций (живая сила) суть переменные. Чем больше сумма nisus, тем меньше сумма трансляций, и обратно, чем больше сумма трансляций, тем меньше сумма nisus. Атом движет мир; нет ничего более верного; это также верно, как и то, что атом движим миром. Поскольку атом обладает свойственной ему силой, постольку она не может оставаться без действия" [1]).

Читатель принужден будет согласиться с мнением столь не любимого историками Дидро Нэжона: „Здесь новая философия, более экспериментальная, нежели рациональная; в ней метафизические истины являются такими, какими они должны быть при последнем анализе — корлляриями физических истин" [2]). Читатель далее должен будет признать, что Дидро задолго до совета Фейербаха порвал

[1]) Diderot, II, 66—67.
[2]) Naigeon, Op. cit, p. 219.

мезальянс с теологией и крепко связался с естествознанием. Мы не станем рассматривать дальше физику Дидро, ибо это не входит в очерченную нами себе задачу, и, отметив в качестве еще одного аттрибута материи движение, перейдем к дальнейшему изображению существенных свойств элементов природы в истолковании Дидро.

Есть еще одно свойство материи, полагаемое Дидро, свойство, причинившее ему больше всего забот, наиболее трудное для осмысливания и, однако, обязательное для стройной материалистической концепции. Мы говорим о чувствительности (sensibilité) молекулы.

В этом вопросе Дидро подчас колеблется, сомневается в своих утверждениях, ищет точных данных у опыта и остается недовольным, оттого, что не может воочию удостовериться в своей правоте. Он хотел бы получить ответ непосредственно от созерцания; вместо этого скрытые, недостающие моменты отсылают его к размышлению.

Чувствительность является качеством материи, но Дидро гипотетически, не альтернативно, видит в ней или общее свойство материи или продукт ее организации. Чувствительность есть, так сказать, зародыш, условие, принцип всей интеллектуальной и психической жизни существа; понятна, поэтому, та важная роль, какую придает ей Дидро. Чувствительность, это—в свернутом виде интеллект и воля. Она должна находиться в органических молекулах, ибо в противном случае была бы разорвана цепь существ, была бы уничтожена самая основа философии. Но неразумно этим же молекулам приписывать развитую психическую жизнь, как того хочет Мопертюи, и не потому, что это было бы „одним из самых соблазнительных видов материализма",—прием Дидро для отвода глаз в печатном произведении 1754 года,—а потому, что это как раз сближало бы молекулы с идеальными монадами Лейбница, так как богатая и развитая интеллектуальная и волевая жизнь была бы непропорциональна действительному состоянию молекулы.

Чувствительная молекула еще глупа, и разумный человек состоит из глупых молекул. „От чувствительной молекулы вплоть до человека—цепь существ, которые переходят от состояния животной (vivant) тупости до состояния высшей интеллигенции". В живой молекуле уже должна быть предположена чувствительность, ибо лишь при этом условии делается понятной цепь живых существ. С другой стороны, в животной молекуле, вопреки Мопертюи, должна быть предположена только элементарная чувствительность ради сохранения той же объективной связи существ.

„Возьмите животное, разложите его, лишите его последовательно всех модификаций и вы сведете его к молекуле, которая будет иметь длину, ширину, глубину и чувствительность. Уничтожьте чувствительность и у вас останется лишь инертная молекула. Но если вы начнете с устранения трех измерений, чувствительность исчез-

нет“ [1]). Это значит, во-первых, что еще раз подчеркивается материализм Дидро, материальность его „монады“. С уничтожением трех измерений, с уничтожением протяженности окончательно и безусловно исчезает чувствительность, эта основа всей интеллектуальной и психической жизни. Это значит, во-вторых, что теоретически можно представить себе вполне инертную молекулу, лишенную чувствительности. Уничтожение этого качества еще не уничтожает трехмерности.

Но с другой стороны, такая операция возможна только в абстракции, врагом каковой всегда был Дидро. В абстракции мы и движение можем отнять от материи, но в действительности мы нигде не видим материи без движения. Так и с чувствительностью. Ощущать, значит жить. Жизнь и есть чувствительность. Чувствительность—существенно необходимый элемент жизни. „Два свойства, почти идентичные,—говорит Дидро в образе доктора Бордэ,—жизнь—аггрегат, чувствительность—ее элемент“. Раз дана чувствительность=жизнь и предоставлена свобода развития,—даны условия для памяти, суждения, разума, воли, страстей, таланта, гения. „Как только вы предположили чувствующую молекулу, у вас есть основание к бесконечности различных действий (effets) и ощущений“ (touchers).

Это ясно по отношению к так называемым живым молекулам, но наблюдение как будто представляет нам примеры молекул инертных. Признать наличие абсолютно безжизненных молекул, значит порвать цепь природы, между тем природа едина. Дидро признается, что он весьма уважал бы того, кто путем опыта или наблюдения строго доказал бы, что физическая чувствительность принадлежит столь же существенно материи, как и непроницаемость или кто выведет ее непререкаемо из организации. „Я вижу ясно в развитии яйца и в некоторых других операциях природы, как инертная по видимости материя, но организованная, переходит посредством чисто физических действующих сил (agents) из состояния инерции в состояние чувствительности и жизни, но необходимая связь этого перехода от меня ускользает [2]).

Всеобщая чувствительность для Дидро остается „предположением, которое извлекает всю свою силу из затруднений, какие она распутывает“. Он хотел бы большего, большей ясности для своей философии. Можно ли после этого упрекать Дидро в догматическом постулировании, декретировании своих принципов? Плеханов уже достаточно реабилитировал в этом отношении Гельвеция и Гольбаха. Его положения в еще большей степени применимы к Дидро. Дидро недоволен, что от него „ускользает необходимый переход“. Он хотел бы видеть его непосредственно, и это желание вполне понятно в устах мыслителя, принявшего тезис Лейбница natura non fit saltum.

[1]) Diderot, IX, 269.
[2]) Diderot, II, 301.

Свое положение о всеобщей чувствительности молекул он сам квалифицирует, как „предположение“; оно и не могло, с точки зрения его „экспериментальной философии“, не быть им. Но надо признать, что непосредственное созерцание такого перехода превратило бы философскую презумпцию в простой научный факт, наподобие синтеза органических веществ второй половины XIX века. Об этих переходах и отсутствии их в опыте мы еще будем говорить в своем месте, сейчас же подчеркнем лишь роль естественной связи у Дидро между живыми и „мертвыми“ молекулами, и это особенно интересно, если вспомнить, что даже Бюффон видел в органических телах особое вещество, отличное от тел неорганических.

Однако, неправильно было бы думать, что Дидро по этому вопросу остался скептиком, как его часто любят изображать; он вовсе не отказался от суждения; он дал то, что мог и должен был дать: философскую презумпцию, как мы выразились и притом обосновал ее.

Чувствительность есть жизнь. Но человек умирает, теряет чувствительность. Отсюда еще не следует, что уничтожается чувствительность молекул после его смерти, что уничтожается чувствительность как свойство материи. Смерть есть понятие относительное. В человеке три рода жизни: жизнь животного в целом, жизнь каждого органа, жизнь молекулы. Животное в целом живет, будучи лишено многих своих молекул; сердце, легкие, почти все части животного живут некоторое время по отделении от него. „Только жизнь молекулы, или чувствительность, не прекращается никогда. Это одно из ее существенных свойств. Смерть останавливается здесь... не переходят никогда от абсолютной смерти к жизни; переходят от жизни к кратковременной смерти и vice versa [1]).

Жизнь молекулы никогда не прекращается, значит не прекращается и ее чувствительность, точно так же как не прекращается никогда движение материи. Противоположное—притязания абстракции.

Чувствительность есть жизнь молекулы; но жизнь молекулы есть прежде всего движение, значит чувствительность его корольлярий. В такой формуле заключается вывод Дидро. В теле можно прекратить движение, введя в него оцепенение, тем самым прекращается чувствительность. С восстановлением движения восстанавливается чувствительность. И как нет абсолютного покоя, так нет и абсолютной нечувствительности. Когда-либо придут к доказательству, что чувствительность есть общее для всех существ свойство.

Но скажут, дело идет опять о „живых“ существах, о „живых“ только молекулах. Так и д'Аламбер спрашивал Дидро: „Если эта чувствительность, какой вы наделяете материю, если она является общим и существенно необходимым свойством ее, то, значит, и камень

[1]) Diderot, IX, 275.

чувствует?"—Почему же нет?—в свою очередь спрашивает Дидро. Мы уже знаем принцип сохранения силы и ее виды, живую и мертвую силы, переход одной в другую и обратно. Понятие мертвой силы не нарушает понятия силы вообще. И покой есть движение, ибо абсолютного покоя нет во вселенной. Так же обстоит дело и с чувствительностью. Следует различать только внутри всеобщей чувствительности чувствительность деятельную („живая" молекула) и чувствительность инертную („мертвая" молекула). „Как живая сила обнаруживается при трансляции, а мертвая при давлении, так деятельная чувствительность характеризуется у животного, а, может быть, и у растения, известными заметными действиями; в существовании же инертной чувствительности можно удостовериться при переходе ее в состояние деятельной" [1]). Сила обнаруживает самое себя,—скажет в свое время Гегель. Чувствительность обнаруживает самое себя,—так думает Дидро. Диалектика чувствительности у Дидро в некоторых чертах напоминает диалектику „силы и ее обнаружения" у Гегеля. По обнаружению силы мы узнаем ее самое. По обнаружению чувствительности мы узнаем ее самое. „Сила не была бы силою,—говорит Гегель,—если бы она не проявлялась. Нужно только вывести закон из всей совокупности проявлений, чтобы узнать самую силу". Эти слова могут быть с успехом применены к чувствительности Дидро. Чувствительность не была бы чувствительностью, если бы она не проявлялась. Нужно только вывести закон из всей совокупности проявлений, чтобы узнать самую чувствительность. Этот закон и вывел Дидро: чувствительность—общее свойство материи.

Нам следует теперь подвести итоги воззрений Дидро на основные свойства или качества молекулы, на аттрибуты дидротовской субстанции, и это тем легче, что сам мыслитель кратко сформулировал их: есть уже феномены, которые приводят к признанию чувствительности, как общего свойства материи. „В таком случае материя вообще будет иметь пять или шесть существенно необходимых свойств: живую или мертвую силу, длину, ширину, глубину, непроницаемость и чувствительность. Я прибавил бы притяжение, если оно не является следствием движения и силы". Читатель видит, что здесь мыслитель как бы идентифицирует понятия движения и силы. В конечном счете одно и то же, сказать ли, что движение есть форма бытия материи, или что сила, как источник движения, свойственна самой материи, есть ее аттрибут, т.-е. такое качество, без которого субстанция не может ни быть, ни мыслиться. Еще более сокращая эти положения Дидро, нисколько при том не нарушая их смысла и содержания, мы можем сказать: аттрибутами материи, как единой субстанции, являются, по Дидро, сила, протяжение, непроницаемость и чувствительность. Так была разрешена мыслителем задача философии его времени.

[1]) Diderot, II, 107.

5.

Представляется, быть-может, не безынтересным ознакомиться с судьбой основных философских воззрений Дидро в литературе по истории философии. Мы уже указывали неоднократно, что наметилась определенная линия превратить Дидро в идеалиста. Эти усилия сосредоточиваются, конечно, больше всего на основных онтологических вопросах, решение которых нашим мыслителем мы только-что дали.

Те из историков, которые не относятся к Дидро только как к журналисту, бойкому писателю и редактору Энциклопедии, естественно, обращаются к генезису Дидро, как мыслителя. И здесь намечаются две линии: одни ведут родословную Дидро от Лейбница через Мопертюи, забывая или игнорируя Спинозу, другие, напротив, подчеркивают спинозизм Дидро, кстати сказать, искажая его. Читатель помнит элементы спинозизма и лейбницианства у Дидро, помнит его преодоление этих систем и продвижение вперед на почве союза с естествознанием; поэтому мы можем ограничиться лишь краткими указаниями.

Несомненно, первый из историков обратил внимание на элементы спинозизма у Дидро Лерминье [1]). „Сам того не зная и без предумышленности, Дидро проповедывал систему, редактором-геометром которой был Спиноза. Дидро, это—откровенный (en dehors) Спиноза, и не потому, что он имел крайнее намерение распространять принципы амстердамского еврея,—в Энциклопедии он даже сражается с ним,—но Дидро был столь же естественно пантеистом, как и Спиноза; как и тот, он совершил идеальное смешение (confusion) мира и бога". По Лерминье, Дидро не атеист, а пантеист; бог его—природа, жизнь, мир. Только поэтому, вероятно, Лерминье и относится почти восторженно к Дидро. Мы пытались несколько раз бегло, поскольку это было в возможностях нашей работы, протестовать против пантеизма Спинозы. Читатель уже знает, что пантеизм Дидро также не более как легенда. От признания природы, материи единственной субстанцией и от пылкого и восторженного характера Дидро до обожествления природы, мира дистанция весьма значительная, и Дидро не предпринимал никаких шагов к ее сокращению. Зато это очень усердно пытались делать некоторые историки-идеалисты.

Более верно черты сходства и различия Дидро и Спинозы подмечает Дамирон [2]). Дидро — материалист, но Спиноза продолжает оставаться пантеистом. Дамирон умалчивает, является ли спинозовская субстанция протяженной или нет; он хотел бы дать отрицатель-

[1]) E. Lerminier, De l'influence de la philosophie du XVIII siècle sur la législation et la sociabilité du XIX siècle, Bruxelles 1834, pp. 58—70.

[2]) Damiron, Mémoires pour servir à l'histoire de la philosophie au XVIII s., Paris 1858, t. I.

Нет ни одной порядочной истории философии, которая, упоминая об утрехтском ученике Декарта Анри Леруа, не назвала бы его изменником или, по крайней мере, неблагодарным по отношению к своему учителю. И лишь Маркс в „Святом семействе“ первый, благодаря своему гениальному историческому чутью, наметил справедливую оценку: с Анри Леруа, по Марксу, начинается французский материализм. Однако до сих пор не было еще сделано ни одной попытки разобрать подробнее марксовское замечание и полнее нарисовать картину философской деятельности этого человека. Первый опыт в этом направлении и представляет настоящая статья.

I.

Буржуазными историками философии принято распространять легенду о материализме, как о зачаточной форме философского развития, повсюду сменяющейся на высших ступенях идеализмом. Однако при объективном изучении истории философских идей остается только удивляться тому, насколько предвзятая точка зрения может заслонить в глазах исследователя факты. Греческая философия совершенно отчетливо синтезируется в Демокрите, атомистика которого объединила качественное и количественное миропонимания предшествовавших ему натур-философов и мистиков пифагорийской школы, построив из них чисто-научную, положительную, материалистическую систему. Не надолго вознесенная Платоном в мир идей, философия быстро спускается уже у Аристотеля в мир действительности и еще более материализуется в его школе (Стратон). То, что действительно было сделано в следующий период по пути к научному методу, связано с школой Эпикура. Переход к новому времени определяется тем, что было материалистического в системах Бэкона, Декарта, Галилея и Бруно. В отношении первого и третьего это не может внушать сомнения. Что же касается пантеизма последнего, то там, где божественное касается земли, оно, в противоположность Антею, не крепнет, а теряет силу и умирает.

Остается Декарт. Но еще Маркс со свойственной ему прозорливостью отметил, что в Декарте надо искать корней французского естественно-научного материализма. Это тем более верно, что все мыслители, из которых непосредственно исходило более позднее поколение материалистов XVIII в.—Локк, Спиноза, Лейбниц,—были связаны в развитии своих учений с Декартом. Именно объединение и завершение всей предшествующей прогрессивной философии, субстанции Спинозы, эмпиризма Локка и динамизма Лейбница на почве механического миропонимания Декарта и представлял собой французский материализм.

Тем важнее для современного диалектического материализма, идущего от Фейербаха и Маркса и обогащенного Гегелем, вспомнить свою родословную. Тем интереснее присмотреться к тем философам

переходных эпох, которые своей деятельностью облегчали муки родов нового миропонимания. Мало оценена просветительная и философская роль Гассенди. Забыт Леруа [1]). А, между тем, это имя наделало в свое время весьма много шума и до сих пор обычно сопровождается всякими нехорошими словами в специальных исследованиях по истории картезианства.

В кратком очерке мы попытаемся ранее дать набросок жизни Леруа, а затем и его системы [2]).

II.

Анри Леруа (Leroy, Duroy или Deroy) родился в Утрехте в 1598 г. и умер там же в 1679 г. Мы имеем данные лишь о том периоде его жизни, который он провел в Утрехте же, начиная с получения им кафедры в 1638 г. и кончая его разрывом с Декартом в 1647 г. Об остальных годах его жизни наши сведения более чем ограничены. Известно, что до возвращения в Утрехт к 1634 г. он провел годы учебы, обучения других и врачебной практики в различных провинциях, в том числе в Naerden'e.

Главными источниками для нас являются: во-первых, переписка Декарта, во-вторых, фундаментальная работа Adrien Baillet „La vie de monsieur Des-Cartes“, Paris, 2 part., 1691. Письма Леруа к Декарту, к сожалению, полностью до нас не дошли.

Первый издатель писем Декарта Clerselier хотел их поместить в своем собрании „Lettres de M. Descartes, où sont traitées les plus belles questions de la morale, physique, médicine et des mathématiques“, Paris, 1663, но Леруа тогда не дал своего на это согласия. Некоторые письма Леруа были затем открыты преемником Clerselier аббатом Леграном (Legrand). Они-то и были использованы Baillet в его биографии Декарта, что и придает ей особенную ценность.

Научная борьба за свое мировоззрение, которую вел Леруа, приобретает тем больший интерес, что она представляет собой не только момент зарождения некоторых важнейших идей французского материализма, но и любопытную страницу из общей истории смены

[1]) Мы должны отметать, что специально наше внимание на Леруа было обращено А. М. Деборином.

[2]) Полную картину того и другого дать на основании имеющихся в Москве материалов, конечно, невозможно. Это было бы возможно лишь после изучения материалов в архивах и библиотеках там, где работал мыслитель, и где могло сохраниться, по крайней мере, большинство его работ. Мы нашли указание, кроме статей, упомянутых далее, на следующие произведения Леруа: „Phisiologia“, Utrecht 1641, „Fundamenta physicis“, Leyde 1646, „Fundamenta medicinae“, Utrecht 1647, „Philosophia naturalis“, Amsterdam 1651, „De arte medica“, 1657, „Praxis medica medicatornum“, 1657, „Explicatio mentis humanae“, 1659. Из всех этих работ мы располагаем лишь французским переводом 1696 г. „Philosophia naturalis“, изданным в Утрехте под названием „Philosophie naturelle de Henri le Roy, Docteur en Philosophie et Professeur en Médicine dans l'Université d'Utrecht“. Эта работа в 565 стр. содержит в себе как бы энциклопедию современного знания и дает изложение всех основных научных и философских воззрений Леруа.

средневековой философии новой, в данном случае картезианской,— смены, отражавшей на высотах идеологии реальную борьбу общественных сил и классов.

Соединенные провинции были в то время весьма передовой в капиталистическом отношении страной. Правда, наряду с такими провинциями, как Голландия, в их число входили и довольно отсталые земледельческие области, питавшие силы и честолюбие штатгальтеров, но в первые две трети XVII в. не они делали погоду. Широко развитое самоуправление и постоянное стремление к ограничению власти штатгальтера в политической области соответствовали непрестанно растущему могуществу голландских купцов. В 1602 г. Ост-Индская компания давала компаньонам 15% барыша, в 1606 г.— 40%, в 1607 г.—75%, в 1609 г. основной капитал амстердамского банка доходил до 65 милл. флоринов. Торговля, мореплавание, рыбная ловля и мануфактура были, по словам публициста великого пенсионария Яна де Витта, Поля де ла Кур, „четырьмя колоннами, на которых стояло государство". Протестантский фанатизм, поддерживаемый борьбой за независимость против Испании, умерялся интересами торговли с еще богатой в то время страной Филиппа II. На этой почве быстро развивалась культура, и гонимые в католических странах (Франции) мыслители находили себе здесь приют. Нидерланды были, по словам Бейля, „великим ковчегом эмигрантов". В Нидерландах впервые появились газеты. Знаменитая семья Эльзевиров выпустила в течение двух веков (XVI и XVII) 1213 изданий образцовой печати. Нидерланды становились центром европейской культуры и европейской науки. Новые классы несли с собой новую идеологию. В университетах веяло новым духом. Схоластическая наука и схоластическая философия явно не удовлетворяли требованиям времени. Кальвинистские богословы не далеко ушли от них вперед. Они питались давно уже изжеванной и всем надоевшей пищей отошедших веков — аристотелевской философией, своеобразно понятой и приспособленной к интересам церкви. Неизбежной становилась борьба между старым и новым. Ожесточенность и формы ее зависели от условий в каждом отдельном случае.

Особенный интерес представлял в этом отношении Утрехт. В противоположность голландцам, не связанный торговыми интересами с Испанией, он был фанатически кальвинистским. В соответствии с этим новая философия, отыскивая новые принципы для обоснования положительной науки, в нем тем резче должна была столкнуться с духовными властями, по традиции крепко державшимися старых мехов. Борьба толкает борющиеся стороны к углублению своих точек зрения, выпрямлению воззрений, к последовательности. Для революционной философии, стремившейся быть наукой, это значило, что борьба должна была привести ее к материализму. Так и случилось. Картезианство вело в Утрехте первые бои за свое миропонимание, и в Утрехте же наиболее талантливый ученик Декарта впервые сделал из его системы и метода материалистические выводы.

III.

По самому своему принципу декартовская философия была революционной философией. Трусливость в высказываниях и борьбе за свою точку зрения у Декарта были прямо пропорциональны последовательности в применении этой точки зрения к различным областям естествознания. Для богословия Декарт был поистине волком в овечьей шкуре. Он мягко стлал, посвящая свои „Метафизические размышления" „Господам Деканам и Докторам священного богословского факультета в Париже", но очень скоро в системах Леруа и Спинозы выяснилось, что картезианство слишком жесткая подушка для сохранения философского покоя религии.

Революционность декартовской философии заключалась в том, что душу ее составляла критика. Стоит вслушаться только хотя бы в первые строки тех же „Метафизических размышлений". „Я уже давно подметил, что с первых лет жизни считал истинными множество ложных мнений и что все, построенное мною впоследствии на принципах столь не надежных, должно было быть очень сомнительным и недостоверным. С тех пор я решил, что если я хочу установить в науках что-нибудь прочное и постоянное, то мне необходимо хоть раз в жизни предпринять серьезную попытку отделаться от всех мнений, принятых мною некогда наверу и начать все с начала, с самого основания" (курсив наш).

И когда хоть на минуту в ходе своих размышлений Декарт рекомендует читателю принять „басню", что бога нет—это знаменует собой эмансипацию философии от религии. Предмет религии перестает быть священным и неприкосновенным, какие бы попытки затем ни делались для его рационального обоснования. Вера кончается там, где начинается доказательство, и религия гаснет там, где потухает вера.

Но Декарт был не даром учеником иезуитов. Он не был боевой натурой стиля Дж. Бруно. Он стремился сгладить все острые углы учения, поскольку оно открывалось широкой публике. Это крайне затрудняет выяснение подлинной точки зрения самого Декарта. Поэтому очень часто и нам придется искать скрытого смысла в заявлениях философа.

В Декарте таким образом перед нами как бы две души—с одной стороны, радикальный реформатор общепризнанной философии и науки, и с другой—воплощенное желание личного покоя и отвращения к борьбе. Наследником и олицетворением первой стороны декартовского гения и был Леруа.

IV.

Первым учеником Декарта вне Франции считается Анри Ренери (Reneri). Он происходил из маленького городка близ Льежа, где отец его был простым торговцем, дед же его был гувернером при дворе

Маргариты Пармской в Брюсселе. Будучи католиком Ренери перешел в кальвинизм и вследствие этого был вынужден из Льежа бежать в Лейден, где и открыл свою школу. В Голландии же в 1629 г. Ренери познакомился с Декартом и Гассенди. Возможно, что это последнее знакомство через Ренери впоследствии сказалось и на его друге Леруа. В 1630 г. Ренери был приглашен профессором в тогда знаменитый лейденский университет, но от кафедры отказался по совету Гассенди, писавшему ему, что „философия, которой обучают в школах, есть обычно не что иное, как философия театра, весь аппарат которой сводится к кичливости, между тем как истинная философия находится в изгнании под крышей нескольких частных лиц, старающихся ее сохранить и культивировать в тени и молчании" [1]).

В 1634 г. Утрехтский магистрат, по примеру других городов, решил открыть свой университет. Туда был приглашен Ренери, и там же бывший тогда в Утрехте врачем Анри Леруа (именуемый также Региусом, Regius) 6-го сентября 1638 г. занял должность экстраординарного профессора медицины и ботаники. Ренери и ввел Региуса в декартовскую философию.

По словам Baillet утрехтский университет казалось родился картезианским. Замечательно, что здесь не столько прививалась декартовская метафизика, сколько декартовская методология и физика. Самая декартовская философия преподавалась под именем физиологии. Блеску своего изложения и подкупающей учеников простоте и ясности исповедуемого им мировоззрения и был, собственно говоря, обязан своей кафедрой Леруа. Первые дебюты его в качестве картезианца относились еще ко времени до его вступления в университет и происходили перед группой его частных воспитанников. Именно поддержка Ренери и благодарной аудитории обеспечили Региусу открывшуюся в это время в университете вторую кафедру по теоретической медицине и ботанике.

Уже при вступлении в университет Региус был обвинен врагами в своеобразии (!) ума и склонности к парадоксам. Все нивелирующее перед лицом церкви средневековье не могло терпеть оригинальности, не могли терпеть ее и его запоздалые последыши. В то же время Региус был обвинен в осужденном в то время арминианстве, якобы сказывавшемся во время предыдущего пребывания Региуса в Naerden'е, где он был одно время начальником коллежа. Однако имевшиеся у Региуса рекомендации тамошней консистории помогли ему рассеять эти наветы, при чем помощь в этом отношении Региусу оказал даже глава местных перипатетиков и один из столпов протестантской ортодоксии Жизберт Воэций (Jisbert de Voët, Voëtius, 1593—1685, профессор теологии). Уже в следующем году Леруа был переведен из экстраординарных в ординарные профессора.

[1]) Adrien Baillet, La vie de monsieur Descartes, p. I, p. 201—2. В дальнейшем этот источник мы будем просто указывать—Baillet, p. p...

18 августа 1638 г. он обратился с первым письмом к Декарту, выражая ему свою благодарность за невольное содействие в получении кафедры. Региус выражал желание быть принятым в число учеников великого философа. Одновременно он отсылал на просмотр учителя „Опыты по медицине" и возражения против декартовской теории кровообращения со своими на них ответами. В письме Ренери Декарт выражал свою радость новому ученику и желание с ним лично познакомиться.

16 марта 1639 г. умер Ренери. При участии городских властей ему были устроены торжественные похороны, на которых профессор красноречия и истории Антуан Эмилиус, картезианец, произнес речь в честь Ренери и Декарта. Обо всем этом Региус сообщал Декарту, одновременно с просьбой просмотреть его трактат по физиологии. Таким образом к нему перешла роль первого ученика и официального представителя картезианства. В университете положение его упрочилось еще более и вместо ботаники он стал преподавать физику. Однако, параллельно этому росло недовольство врагов новой философии и науки—перипатетиков и галенистов.

Борьба, принявшая затем столь ожесточенный характер, становилась неизбежной. Первое место среди врагов Региуса должен был занять Воэций. Поверхностный, никогда ничего не изучавший по источникам, компилятор общих мест, самоуверенный и самовлюбленный человек, цитирующий авторов не читая и не понимая их,—таков образ этого представителя богословия, рисуемый Baillet'ом. Но эти же качества должны были делать его еще более страшным врагом в тогдашних условиях. Не даром этот человек заставлял именовать себя „славой бельгийских церквей" [1]).

Злили Воэция и успех Региуса, и вольное отношение к древним, допускавшееся им на своих лекциях, и недостаточная почтительность беспокойного мыслителя к своим коллегам. В июле 1639 г. вышли тезисы Воэция, в которых Декарт объявлялся атеистом и повторялись все ходившие о нем в этом смысле слухи [2]). Когда Декарт поселился невдалеке от Утрехта, Воэций еще более усилил свои выступления, выпустив еще одни тезисы против него и Региуса с обвинением их в атеизме [3]). При этом Воэцию казалось, что учителя легче всего будет сломить, покончив ранее с учеником.

Региус тем временем в ряде публичных выступлений защищал новую науку, в частности 10 июня 1640 г. с большим успехом выступал с тезисами в защиту Гарвея и Декарта по злободневному тогда вопросу о кровообращении. Тем самым круг врагов Региуса расширялся. Вместе с Воэцием выступил ряд старых врачей, при чем один из них опубликовал в Лейдене возражения Региусу, на которые

[1]) Baillet, p. II, p. 30.
[2]) Baillet, p. II, p. 32.
[3]) Baillet, p. II, p. 67.

последний тотчас же ответил, послав предварительно свой ответ на просмотр Декарту. Последний, однако, рекомендовал смягчить его, в виду заключавшихся в нем резких выпадов и насмешек [1]).

V.

Это отношение между учеником и учителем, при котором учитель постоянно сдерживал своего ученика в пределах почтительного отношения к церкви и признанным авторитетам, проходит красной нитью через всю переписку Декарта и Региуса. Дружба их росла, но параллельно мы можем проследить, как росло в Леруа недовольство недостаточной последовательностью учителя.

В письме от 5-го мая 1640 г. Региус возражает против декартовского доказательства бытия божия, опирающегося на то, что мы одни своими собственными силами не могли бы создать имеющуюся в нас идею бесконечного. Региус указывает, что мы идем обычно таким путем, что имея идею некоторой мудрости, доброты и т. д., создаем себе более или менее неопределенную идею совершенства, которые и приписываются богу, как бесконечное. Замечание Леруа обнаруживает его тонкое критическое чутье к недостаткам декартовской метафизики и к общепризнанным доказательствам бытия божия, впоследствии занимавшим Канта.

Во втором возражении Леруа вновь атаковал бога, говоря, что истинность аксиом, постигаемых нашим духом ясно и отчетливо, согласно декартовскому критерию истины ясна и обнаруживается сама собой. Таким образом отвергается положение Декарта, что никакое познание невозможно без познания бога [2]). Бог в системе Декарта оказывается необходимым костылем по пути в мир. Переходящий к материализму Региус уже не нуждается в нем. Декарт хотел из самых основ религиозной философии доказать объективное познание материального мира. Совершенство и божественная правдивость должны были быть обращены не на отрицание, а на утверждение

[1]) Возражения против Леруа вышли под заголовком: „Jacobi Primirosii Animadversionem adversus Theses, quas pro circulatione sanguinis in Academia Ultrajectina Regius disputandas proposuerat, 1640 (см. Descartes, Correspondance, publ. par Ch. Adam et Paul Tannery, t. III, p. 202). Подобное же произведение появлялось и в предыдущем году под названием: „Guilieni Harvei, Angli, medici Regii, in Londinensi medicorum collegio professoris anatomiae, de motu cordis et sanguinis in animalibus anatomica exercitatio. Cum refutationibus Amilii Parisani, Romani, philosophi, ac medici veneti, et Jacobi Primirosii, in Londinensi; collegio doctoris medici, 1639 (см. Descartes, Correspondance, t. II, p. 616).

Возражения Региуса были озаглавлены: „Henrici Regii, medicinae Professoris et Doctoris, Spongia, qua eluuntur sordes Animadversionum, quas Jacobus Primirosius, Doctor medicus, adversus Theses pro circulatione sanguinis in Academia Ultrejectina disputandes, nuper edidit, 1640.

[2]) См. Декарт: „Метафизические размышления", пер. под ред. проф. А. И. Введенского, стр. 76: „Таким образом я узнаю вполне ясно, что достоверность и истина всякого знания зависит только от одного познания истинного бога, так что я не мог знать в совершенстве ни одной вещи, прежде чем познал его".

материи и знания. Декарт борется с теологией на почве теологии и ее собственным оружием. Региус уже достаточно решителен, чтобы порвать с теологией окончательно. Если для стоящего еще одной своей—метафизической—ногой в средневековьи Декарту все еще кажется наибольшей достоверностью бог (хотя то обстоятельство, что Декарт доказывает его бытие, свидетельствует, по крайней мере, о наличности сомнения), то для Региуса большей достоверностью обладает уже сам человек, его разум, вне связи с божественной субстанцией. Поворот исходной точки мировоззрения завершится в Спинозе, который сделает ею природу.

Но этим не исчерпывается ересь Региуса. В том же письме далее он указывает на то, что быстрота наших суждений зависит от тела, при чем она в нас либо природна, либо приобретается привычкой. Декарт решительно отвергает это положение, как нарушающее свободу нашей воли и ведущее к чистому отрицанию по отношению к богу. Декарт прекрасно видит, что материалистический детерминизм ведет к отрицанию религий, мы же можем считать с своей стороны точку зрения Региуса предвосхищением точки зрения современной науки.

Для нас важно сейчас подчеркнуть уже в эти годы растущей дружбы с Декартом материалистический уклон писем Региуса. Тогда ясно будет, что когда последовал разрыв учителя с учеником, он не был неожиданной „изменой", а естественным результатом давно наметившихся разногласий.

Просматривая тезисы Региуса к 10 июня 1640 г., предварительно присланные Декарту, учитель и в них находит ряд неприемлемых для себя положений.

Так универсалии приписываются Региусом воображению, а не интеллекту, чему не видит оснований Декарт, так как один интеллект, по его мнению, способен относить одну идею к многим предметам. Здесь можно подметить психологически-эмпирический уклон в воззрениях Региуса. Декарт несогласен с Региусом, что есть только две основные страсти—радость и печаль, и выдвигает в противовес и дополнение им—гнев и страх. Здесь сказывается монистически-материалистический уклон мыслей Региуса, сближающий его со Спинозой. Наслаждение и боль, зависящие от движения животных духов в теле и возникающие отсюда удовольствие и неудовольствие должны таким образом определять всю систему наших чувств и этику.

VI.

16 марта 1641 г. Воэций сделался ректором утрехтского университета. Региус, зная слабость богослова к славе и почету, предложил ему на просмотр, с выражением всяческого к нему уважения, свои новые тезисы по медицине. Этим Региус хотел добиться их опубликования от имени университета. Тезисы поддерживал молодой уче-

ный де Рей (de Raey) на заседании под председательством Региуса. Успех был полный, и Воэций вновь вооружился против неутомимого картезианца. 5 мая были прочтены вторые тезисы, наделавшие не менее шума. Последующие в течение лета диспуты о действии духа, страстях души, субстанции, количестве, движении и важнейших вопросах медицины лишь увеличивали вместе со славой Региуса недоброжелательство окружавшей его ученой и духовной среды. Еще год назад Воэут обращался к ближайшему другу Декарта Мерсенну с предложением написать книгу против Декарта, хотя Мерсенн и был католиком. Пред лицом новой философии стирались различия в догматах. К вящшей славе бога можно было вступать в союз с самим дьяволом на борьбу против атеизма. Теперь Воэций повторил это предложение, не подозревая (?), по Baillet'y, что Мерсенн—друг Декарта, на что и получил соответствующий ответ. Мерсенн выражал удивление, как Воэций берется бороться с философией Декарта, не зная ее. Самый ответ Мерсенна был им предварительно послан Декарту и лишь от него попал к Воэцию. Однако, если даже предположить, что Воэций *не знал* декартовской философии, мы должны отдать ему должное в том отношении, что он прекрасно *чувствовал*, с какой стороны грозит опасность религии.

Тем временем между учеником и учителем продолжались недомолвки и разноречия.

В письмах, относящихся к маю 1641 г., Декарт усиленно возражал против помещения своего имени в начале тезисов Леруа, что обязывало его к особенно тщательному их корректированию и грозило неприятностями с духовными властями. Однако, по сути дела, пока речь шла о предметах физики, разногласия отходили на задний план,—и Декарт, и Региус были уверены в своем принципиальном единодушии по основным вопросам.

В этих же письмах Декарт отрицал проводимое Региусом деление души на три части: мышление, растительную душу и движущую силу животных духов [1]). Чувствующая душа—то же, что и движущая сила, она не должна смешиваться с разумной душой (âme raisonnable), ибо лишь последняя отличает человека и сама является принципом своих действий, т.-е. субстанцией. Здесь опять проходит красной нитью стремление Региуса сблизить человека со всем остальным миром живых существ, которое впоследствии побудило Ла Меттри написать „Человека-машину“ и „Человека-растение“. Поэтому вряд ли был прав Декарт, когда в конце концов спор о трех душах считал спором о словах, который решается тем, что надо воздержаться от того словоупотребления, которое может противоречить учению церкви. Одновременно с этим в одном письме в августе 1641 г. Декарт писал о Леруа, как о своем близком друге, профессоре, „который стоит больше, чем все профессора Лейдена“ [2]).

[1]) Oeuvres de Descartes, publ. par V. Cousin, t. VIII, p. 512.
[2]) Oeuvres de Descartes, t. VIII, p. 548.

VII.

Тем временем Воэций придрался к помещенному в тезисах Региуса положению, гласившему, что из единения души и тела не получается бытие для себя, а лишь акциденциональное бытие, при чем Региус называл существующим акциденционально (per accidens) все, что состояло из двух различных субстанций. Региус был объявлен богословским факультетом еретиком и его воззрения опасными для религии. Против новшеств в декабре 1641 г. Воэций опубликовал тезисы со следующими тремя корольариями:

1) Мнение атеиста Тауллера и Д. Горлея, которые учат, что человек, состоящий из души и тела, есть акциденциональное существо, а не существо само по себе,—абсурдно и ошибочно.

2) Движение земли, введенное Кеплером и другими, прямо и очевидно противно авторитету священного писания; оно никак не согласуется с доводами естественного света, которым учила философия до сих пор.

3) Философия, которая отбрасывает субстанциональные формы вещей с их собственными, специфическими способностями или их активными качествами и, следовательно, различную специфическую природу вещей, какова философия Тауллера, Горлея и Бассона, которую стремятся ввести в наши дни, не может быть согласована с физикой Моисея и со всем тем, чему нас учит писание. Эта философия опасна, способствует скептицизму, способна разрушить истинную веру в разумную душу, воплощение Иисуса Христа, первородный грех, чудеса, пророчества и т. д. [1]).

Документ, могущий служить ярким образцом борьбы церкви с развивающейся наукой. Надо сказать, однако, что его авторы в одном были правы: прогрессивная философия действительно грозила всем столпам религии от первородного греха до воплощения, а новая физика действительно была несогласима с физикой Моисея и священного писания. Любопытно в наши дни сравнить это стремление слуг реакции укрепить плюрализм аристотелевских субстанциональных форм вещей против монизма, неизменно ведущего к торжеству материализма, с проповедью П. Струве замены монистического мировоззрения во всех областях научного знания плюрализмом. Раздробив и изолировав явления, легче скрыть их внутреннюю диалектику, чем наблюдая их в связи и единстве.

Региусу удалось, однако, избежать беды благодаря вмешательству одного из представителей местной власти, друга Декарта, Ванлергука, приказавшего Воэцию снять имя богословского факультета с его тезисов и вычеркнуть все, касавшееся лично Региуса и Декарта. Дело происходило в Нидерландах, а не в Италии, и Региус мог не опасаться судьбы Галилея.

[1]) Baillet, t. II, p. 146.

Однако он не хотел давать торжествовать своему противнику и, не решаясь на диспут, так как еще 8-го декабря сторонники Воэция мешали ему говорить, решил отвечать письменно.

В письме от 24 января 1642 г. Региус подробно сообщал обо всем этом Декарту и прислал ему свой проект ответа Воэцию, добавив, что Вандергук рекомендовал ему в дальнейшем либо молчание, либо осторожность в критике Воэция.

Однако и этот проект ответа Воэцию образцом скромности Декарт не признал и прислал свой [1]). Ответ Региуса вышел 16 февраля. Повторявшиеся при этом выступления Воэция уже явно противоречили воле магистрата, тем более, что только перед этим Региус давал объяснения своего понимания человека, как акциденционального существа, а не бытия для себя, всем трем профессорам теологии и всеми ими это объяснение было одобрено. Наконец, и Воэцием была в свое время одобрена „Физиология" Региуса и было допущено в университете выступление в защиту движения земли (Raversperger'a). Очевидно, Региус был самым опасным врагом именно в силу своей общей философской позиции.

Ответ Региуса имел успех, и Воэций счел себя вынужденным прибегнуть и на этот раз к властям для обуздания непокорного профессора. Он придрался к тому, что ответ Региуса был опубликован католиком и без приказа магистрата. Было созвано собрание университета, на котором Региус был обвинен в непочтительности к Воэцию, ректорату, профессорам и т. д. Наконец, в магистрат была отправлена депутация с просьбой осудить новую философию, нарушающую университетский покой. Надо отметить, что собрание профессоров университета на этот предмет было собрано Воэцием без ведома Региуса, и ему не было даже дано возможности выступить в свою защиту. Однако и при этих условиях лишь 8 профессоров высказалось за его осуждение, несколько воздержалось, а двое даже возражало против. Книга Региуса была конфискована, но от этого лишь увеличился интерес к ней. После этого Региусу было запрещено заниматься чем бы то ни было, выходящим за пределы медицины. Декарт, в свою очередь, советовал Леруа подчиниться этому, излагая лишь Гиппократа и Галена, в надежде на влияние общественного мнения, бывшего целиком на стороне новой философии. Декарт полагал, что все это приведет лишь к стыду врагов и к славе Региуса, причисляя его к числу мучеников за истину. Отношения между Региусом и Декартом на почве совместной борьбы (впрочем, главной тяжестью ложившейся на Региуса) становились все более и более дружескими. Региус с семьей

[1]) Декарт рекомендовал Региусу в письме от 6 февраля не выставлять новых доводов в пользу своего учения, а обосновывать его на древних так, чтобы никто не мог возражать на это. Характерный для Декарта метод. В заключение письма Декарт пишет, что „если власти захотят лучше, чтобы вы обучали тому, что нравится Воэцию, чем тому, что вы считаете более согласным с истиной,—я вам советую повиноваться и обучать скорее басням Эзопа, чем не понравиться в этом властям".

часто посещал Декарта. Одно из писем Декарта, приглашавшего к себе Региуса с женой и дочерью, кончалось словами, которые, нам кажется, могли бы символизировать в этот период судьбы самого картезианства: „Деревья оделись новой листвой, и скоро наши вишни и наши груши будут спелы".

VIII.

К числу врагов Региуса и картезианства тем временем вслед за Воэцием-отцом присоединился Воэций-сын (Paul Voët, род. в 1619 г.), с 19 марта 1641 года экстраординарный профессор метафизики в Утрехтском университете. Его пасквиль против новой философии носил громкое название „Prodromus, sive Examen tutelare orthodoxae Philosophiae principiorum", что указывало также и на то, что за ним должен был последовать еще больший труд против картезианства.

Дабы не надоесть публике и показать, что против новой философии выступает не он один, Воэций же отец свою новую работу против Декарта решил выпустить под чужим флагом,—одного из своих учеников, молодого профессора в Гронинге—Schoockius'a. Книга вышла в марте 1643 г. под названием: „Philosophia cartesiana sive admiranda Methodus novae Philosophiae Renati Descartes". Название должно было привлечь читателя. Книга была разделена на четыре части, из которых в первой говорилось о Региусе, все воззрения которого приписывались и Декарту, а в последней доказывалось, что вся эта философская школа ведет к скептицизму и атеизму.

В ответ Декарт напечатал в Амстердаме „Epistola Ren. Descartes ad celeberrimum virum Gisbertum Voetium", изысканная почтительность которого звучала уничтожающей иронией. Однако вслед за этим последовали акты против ответов Декарта, оглашенные под звон колоколов. Декарту оставалось тогда лишь прибегнуть к помощи Тюйери, французского посланника в Нидерландах. По просьбе последнего принц Оранский обратился к провинциальным штатам с просьбой воздействовать в защиту Декарта на утрехтский магистрат. Тем временем Воэций успел уже выпустить описание деятельности Региуса с занятия им кафедры до запрещения обучать новой философии под названием: „Narratio historica quâ defensae quâ exterminatae novae Philosophiae" (в конце сентября) и описание триумфа Воэция и поражения Декарта (в октябре). Все это, однако, не изменяло отношения общественного мнения к Воэцию и Декарту в пользу последнего. Вмешательство провинциальных штатов еще более укрепило позицию Декарта и облегчило затеянный им против Schoockius'a в Гронинге процесс при содействии своего тамошнего ученика, профессора Tobie d'André.

Совет университета 10 апреля 1645 г. вынес решение в пользу Декарта. Копия приговора была немедленно отослана в Утрехт и ввела тамошние власти в еще большее смущение. Магистрат ответил поста-

новлением от 11 июня 1645 г. с запрещением печатать что бы то ни было за и против Декарта. Однако Воэций не прекращал свою издательскую деятельность, выпустив, между прочим, и брошюру против судей в Гронинге.

IX.

Пока происходили все эти события, вновь началось некоторое охлаждение в отношениях ученика и учителя.

За время путешествия последнего во Францию Региус написал свои „Основы физики".

По возвращении Декарт усмотрел в этой книге большее количество „заблуждений", чем во всех прежних работах Региуса. Время, проведенное Леруа вдали от учителя, усилило то, что в нем было оригинального, как в картезианце, усилило общий материалистический уклон его философии. Декарту особенно не понравилась глава о боге и человеке, и он не счел даже уже возможным исправлять книгу, а рекомендовал Региусу ее вовсе не печатать. В противном случае Декарт угрожал публично отречься от метафизических воззрений Леруа. Декарт, очевидно, чувствовал, что, став однажды на материалистический путь, Региус не может сойти с него и в письме от 1 августа 1645 г. рекомендовал Региусу оставить вовсе философию и физику и заниматься одной лишь медициной (!). Что касается книги, то Декарт в этом случае напоминал Региусу совет Горация держать ее десять лет в своем кабинете [1]).

В ответ на это Региус предложил Декарту следующий проект обращения к читателям во введении к своей книге: „Чтобы вывести из заблуждения тех, кто воображает, что вещи, содержащиеся в этом произведении, являются чистыми воззрениями Декарта, я очень рад предупредить публику, что в ней есть действительно много мест, в которых я следую мнениям этого великого человека, но что в ней есть также и другие места, в которых я держусь противоположного мнения и также такие, о которых он еще не считал возможным высказываться до сих пор. Это легко заметят все, кто возьмет на себя труд прочесть сочинения этого великого человека и сравнить их с моими" [2]).

Таким образом, Региус и не думал ни скрывать своих заимствований у Декарта (что важно заметить для дальнейшего), ни контрабандой прикрыть свои воззрения сенью великого имени. Но было бы странно, если бы убежденный в своей правоте ученый, обладавший к тому же его бурным темпераментом, из одного преклонения перед учителем отказался от своих воззрений и борьбы за них.

И, наконец, на новое письмо Декарта с предложением не печатать ничего, касающегося метафизики и теологии, человеческой души

[1]) Oeuvres de Descartes, t. IX, p. 330.
[2]) Baillet, p. II, p. 269.

и божества, Региус ответил письмом от 23 июля 1645 г., с которого и начинают обычно пресловутый „раскол" („schisme de Regius") или „измену".

Региус защищался, указывая, что он не отрицал того, что есть в священном писании, но что он полагал в отношении души, что если она и есть нематериальная субстанция, то этого нельзя доказать никакими естественными доводами, и что это нисколько не мешает быть ей при всем ее отличии от тела и субстанциональности модусом тела. Но это и означало окончательный разрыв с теологией и решительный шаг в сторону материализма.

Региус не ограничивается этим. Он заподазривает самого Декарта в несогласии с своей официальной метафизикой. Кто знает, прав ли был Региус. Он близко знал Декарта. Но окончательное решение задачи очевидно невозможно без свидетельства самого философа, прах же его истлел уже почти триста лет тому назад.

Вот относящиеся сюда строки:

„Для вас не будет неожиданно мое поведение, так как вы знаете, что многие умные и честные люди мне часто свидетельствовали, что они слишком хорошего мнения о превосходстве вашего ума для того, чтобы думать, что вы не имеете в глубине души воззрений, противоположных тем, которые являются публике под вашим именем. И чтобы не скрывать от вас, многие здесь убеждены, что вы во многом дискредитировали вашу философию, опубликовав вашу метафизику. Вы обещали только ясное, точное, очевидное, но, судя по этим началам, они считают, что в них нет ничего иного, кроме темного и неточного, и диспут, который вы имели с искусными людьми по поводу этих начал, служит только к увеличению сомнений и темнот. Бесполезно их успокаивать тем, что ваши воззрения в конце концов таковы, какими вы их обещали. Ибо они отвечают, что только энтузиаст, нечестивец или гаер мог бы то же сказать об этих экстравагантностях и этих безрассудствах. Я согласился бы еще раз, чтобы вы изъяли из моего сочинения то, что, может-быть, вам не нравится; если бы вы его судили по существу; но после всего я не вижу в нем ничего, что было бы для меня постыдным или в чем я должен был раскаиваться. Таким образом ничто не обязывает меня отказаться от напечатания произведения, от издания которого можно ожидать некоторой пользы. Вам, сударь, к которому я имею бесчисленные обязательства, разрешите мне принести благодарность за доброту, которую вы проявили, читая мою книгу и, лучше сказать, вашу книгу, потому что она действительно вышла от вас, и за чистосердечие, с которым вы изложили мне ваше мнение. Вы одобрите также свободу, с которой я вам изложил свою, так как эта свобода есть лишь плод дружбы, честь которой вы мне оказали" [1]).

С этого письма, собственно говоря, можно начинать историю картезианского материализма, как самостоятельного течения философ-

[1]) Baillet, p. II, p. 269—271.

ской мысли. Его автор менее всего может быть назван ренегатом. Наоборот, нам кажется, что это письмо—благороднейшее из писем отходящего от своего учителя ученика. Если Региус и преподносит Декарту горькую пилюлю недовольства его метафизикой, то нам кажется это не дерзостью, а полным горечи тоном человека, которому, вместо обещанного хлеба истины, дали мертвые и бесплодные камни метафизики.

Нелепо обвинение Региуса в искажении учения Декарта, так усердно повторяемое вслед за Baillet'ом, ибо всякое движение вперед можно таким образом подогнать под рубрику „искажения" учителей. Что дело не шло об „измене",—свидетельствует и указание биографа на то, что Декарт ответил Региусу на это письмо письмом, выдержанным в тонах истинной дружбы[1]).

Еще более смешно обвинение в плагиате, так как Региус всякий раз подчеркивает свою зависимость от Декарта и благодарность ему за его метод.

„Основы физики" вышли с посвящением принцу Оранскому и в предисловии отдавалось должное тому, чем Региус был обязан Декарту,—„Henrici Regii Ultrajectini Fundamenta Physices (Amsterdami, apud Lud. Elzevirium, 1646, in-8).

Разрыв между учителем и учеником был после этого уже неизбежен. В одном письме после выхода „Основ" Декарт не рекомендует даже читать книгу Региуса, „который претенциозно хочет возражать против всех моих воззрений в отношении метафизики и слепо следовать всем в отношении физики, не понимая толку ни в одних, ни в других"[2]). Надо сказать, что последнее замечание, по меньшей мере, несправедливо по отношению к человеку, почти десять лет стоявшему на передовом посту в борьбе за картезианство. Общая же тенденция Региуса следовать Декарту в физике и не доверять в метафизике, для нас является лишь лучшим свидетельством его материалистического и научного чутья.

И поэтому все обвинения в заимствовании, почти в плагиате, допускаемые Декартом в другом письме 1647 г., следует признать не более как результатом раздражения учителя противоречиями со стороны талантливого ученик как раз в слабом пункте своей системы. Декарт чувствовал свою слабость, кто знает, может быть даже знал и признавал ее, но, опасаясь гонений и твердо помня пример Галилея (смотри его переписку с Мерсенном), тем резче считал своим долгом отгородиться от слишком смелых выводов из своего учения.

Публичное отречение от Региуса Декарт приноровил к французскому изданию своих принципов[3]).

[1]) Baillet, p. II, p. 272.

[2]) Oeuvres de Descartes, t. IX, p. 354.

[3]) См. предисловие. Помещено в „Сочинениях Декарта", пер. П. Сретенского, под ред. И. И. Ягодинского, т. I, Казань, 1914, стр. 12. Переводчик при этом спутал Региуса Regius) с другим картезианцем Режи (Regis) и приписал ему „Основы физики", которые

Низкая характеристика работы Региуса здесь явно пристрастна, ибо высокого мнения об этой книге был такой человек, как Христиан Гюйгенс (см. его письмо к Мерсенну).

X.

Следующим произведением Региуса, вызвавшим еще больший шум, была его знаменитая „Программа", вышедшая в 1647 году в виде небольшой книжки и в виде плаката без его имени под названием: „Объяснение человеческого духа или разумной души, в котором показывается, что́ он есть, и чем он может быть". Ответ на нее Декарта был напечатан в декабре 1647 г. в Амстердаме под названием: „Notae in Programma, quoddam sub finem anni 1647 in Belgio editum" и т. д. Региус ответил весьма скромно на возражения Декарта, но новый ответ ему в 1653 г. давал уже не сам Декарт, а Тоби д'Андре (Tobie d'André), профессор истории и греческого языка в Гронингском университете, нами уже выше упоминавшийся[1]).

Рассмотрение брошюры Региуса и ответа на нее Декарта позволят нам также более полно наметить основные философские воззрения Леруа. Брошюра (плакат) состояла из 21 тезиса с многозначительным эпиграфом: „Никто не достигает великой славы благочестия легче, чем суеверы и лицемеры" [2]). Точка зрения Региуса в плакате вполне совпадает с тем, что впоследствии он систематически излагал в своей „Естественной философии". Декарт отвечал Региусу от тезиса к тезису, одновременно поместив в свой ответ и возражения лейденскому теологу Ревиусу на его книжку: „Consideratio Reviana", при чем более опасным противником Декарт считает косвенно на него наступающего Региуса, нежели прямо наступающего Ревиуса.

Первое положение Региуса, что душа есть способность мыслить, Декарт приписывает себе, но уже со второго положения начинаются разногласия.

Положение Региуса гласит:

„Поскольку дух относится к природе вещей, представляется допустимым, что он может быть или субстанцией, или некоторым модусом телесной субстанции; или, если следовать некоторым другим философам, которые устанавливают, что протяжение и мышление—

также почему-то отнес к 1645 г., когда в цитированном им же издании Декарта дан год выхода книги—1646. Та же ошибка (смешение Региуса с Режи) повторена переводчиком в предисловии к переводу, стр. XI.

[1]) См. Ph. Damiron, Essai sur l'histoire de la philosophie en France de XVII s., t. II, p. 105.

Ответ этот был озаглавлен: „Brevis replicatio reposite brevi explicationi mentis humanae sive animae rationalis Henrici Regii notis Cartesii in programma ejusdem argumenti firmandis veritatique magis illustrandae, 1653.

[2]) В дальнейшем мы пользуемся любезно предоставленным в наше распоряжение переводом плаката, сделанным П. К. Лупполом.

аттрибуты, присущие известным субстанциям, как субъектам (ибо эти аттрибуты не противоположны, а только различны), то нет препятствий тому, чтобы дух мог быть некоторым аттрибутом, согласующимся с протяжением того же субъекта... Ведь, все, что мы можем представить, может существовать, (и) ничто из сказанного не заключает противоречия. Следовательно, дух может быть чем-либо из таких вещей".

Таким образом еще за 30 лет до выхода в свет „Этики" Спинозы основная ее идея уже витала в воздухе. Великие научные системы не родятся из ничего в головах их творцов, принципы их производятся и развиваются задолго до их законченной формулировки в тех незначительных, но глубоких молекулярных процессах коллективного общественного труда, из которых в основе своей и складывается здание культуры. Общественно-исторический процесс есть единственный и безусловный творец нового, на долю же отдельных людей, как бы гениальны они ни были, остается лишь синтезировать и формулировать то, что в основе своей уже создано, и уловить то, чем пропитана уже общественная атмосфера. Пересмотреть с этой точки зрения эволюцию идей, проследив переходных и незаметных для невооруженного глаза мыслителей, было бы благодарнейшей исторической задачей.

Так мы имеем сведения еще об одном человеке, шедшем самостоятельно по пути, параллельному Спинозе. Делаклозюр (de la Clausure) извлек в 1673 г. из Декарта спинозистский взгляд на природу, исходя из того, что если нет пустого пространства, то мир всегда необходим, вечен и он есть бог [1]). Развивающееся общество, творя свою новую идеологию, развивало философию применительно к своим потребностям, вскрывая внутреннюю логику декартовской философии и толкая ее к революционным выводам. Но сам Декарт все еще либо был далеко от них, либо боялся их сознательно, хотя и не верил в свою метафизику (такой точки зрения, между прочим, держался на Декарта и Ламеттри). Во всяком случае Региусу Декарт возражал, и отчасти основательно. У Региуса оставалась неопределенность в понимании связи души и тела. Окончательно устранили ее лишь французские материалисты XVIII в. По Региусу, душа либо аттрибут некоторой субстанции, вместе с телом, либо модус тела, либо субстанция. На это Декарт вполне резонно замечает, что подобная неопределенность в таких вопросах недопустима. Либо то, либо другое, либо третье. Сам Декарт решительно не соглашался с тем, что душа аттрибут, ибо аттрибут, по его мнению, не отделим от сущности субстанции, есть сама субстанция.

Региус различал различие и противоположность аттрибутов, считая мышление и протяженность различными, но не противоположными. Декарт считает, что, когда дело идет о сущности, самое различие есть противоположность, ибо различие означает, что одно не есть другое, т.-е. противоположность бытия и небытия, поэтому два аттрибута не могут согласовываться в одном и том же предмете, ибо тогда этот предмет имел бы две различных природы. Аналитический математический ум Декарта был слаб в синтезе. Еще слабее звучали его дальнейшие возражения о том, что модус не мыслим без субстанции, а так как мы не можем сомневаться в существовании мышления и можем сомневаться в существовании тела, то должна быть особая субстанция мышления. На последнее Региус с полным основанием отвечал, что субъективная достоверность различных предметов, степени ее, совсем не определяют их объективного соотношения. Что же касается того синтеза, который, исходя из абстрактно-логической точки зрения, отрицал Декарт, то он совершается постоянно в опыте, соединяющем в высшем единстве не только различное, но и противоположное.

Региус позволяет себе иногда ссылаться и на священное писание, но в одном месте он им подтверждает обособленность духа, а в другом божественным же всемогуществом обосновывает возможность соединения души и тела в одном предмете. Сам бог оказывается мобилизованным в помощь материализму. Такова ирония диалектики развития идей.

Далее Региус полемизирует с декартовскими врожденными идеями, утверждая, что для осуществления всех своих действий дух не нуждается ни в чем ином, кроме своей способности мыслить (тезис XII), и поэтому все общие понятия имеют своим источником наблюдение вещей. Более подробно эту точку зрения Региуса мы рассмотрим далее при кратком обзоре его „Естественной философии". Для нас интересны сейчас лишь возражения Декарта. Он пишет, что „я никогда не писал, не думал, что ум нуждается во врожденных идеях, которые были бы отличны от способности, которой он обладает для мышления, но верно лишь то, что я признавал, что есть определенные мысли в мышлении, которым не предшествуют ни предметы извне, ни определения моей воли, а лишь моя способность мыслить; чтобы установить некоторое отличие между идеями и понятиями, которые являются формами (курсив наш. *Н. К.*) этих мыслей и различить их от других, которые можно назвать внешними (étrangères)... я их назвал врожденными (naturelles); я это говорю в том смысле, в каком мы говорим о великодушии, естественном в некоторых семьях или об определенных болезнях, как, напр. подагре или каменной болезни, природных в других. Не то, чтобы дети, рождающиеся в этих семьях, были больны этими болезнями во чреве их матерей, а то что они родятся с предрасположением или способностью эти болезни получить" [1]). Эти строки можно рассматривать, как первый шаг в

[1]) См. Revue philosophique, 1882, № 2, статью P. Janet „Le spinozisme en France", p. 109—132.

[1]) Ouvres de Descartes, t. X, p. 94.

философии нового времени, к трансцендентальной точке зрения Канта. Тем замечательнее борьба против врожденных идей, неуклонно развиваемая Региусом. Эта борьба для него означала борьбу против всех возможных лазеек для внесения идеи бога в науку. Бог есть, по Региусу, на нем даже основывается наша уверенность в объективность внешнего мира, но познание бога возможно не путем разумного доказательства, а лишь путем божественного откровения. Отделение откровения от разума есть первый шаг по пути к освобождению от откровения. Между прочим Декарт, чувствуя и это, усиленно возражал против него, отстаивая права разума. Но такова диалектика идей: защищая права разума на обосновании данного откровением, Декарт сковывал разум, Региус же, ограничивая разум—освобождал его. Остальные пункты спора являются менее существенными, за исключением вопроса о доказательстве бытия божия, к которому мы вернемся еще ниже. Декарт кончает горьким упреком Региусу в том, что его влекла к картезианству более любовь к новому, чем любовь к истине. Но декартовская любовь к истине, как мы видели, вела к примирению со старым, а любовь к новому Региуса вела к истине.

XI.

Нам остается остановиться на „Естественной философии" Леруа. Под ней автор разумеет „познание естественных вещей", то, что обычно называют физикой и физиологией (стр. 1).

Работа состоит из пяти книг, при чем первая трактует „о принципах естественных существ, их общих свойствах и различиях", вторая—„о машине или структуре видимого мира", третья — „о неодушевленных вещах, которые находятся на земле и заключены в ее недрах", четвертая — „о неразумных животных" и пятая—„о человеке".

Мы не имеем возможности останавливаться на всех пяти частях. Региус в общем и целом в физике—правоверный картезианец. То же понимание материи, механистичность, теория вихрей и т. д. Некоторые точки зрения выражены решительнее, так безусловно принимаются Коперник и Галилей. В пятой книге даны и основы теории познания Региуса. Здесь важно подчеркнуть, очевидно, как результат влияния Гассенди, теорию чувственного происхождения нашего знания. На стр. 427 Региус пишет, возражая против того, что началом всякого знания Декарт установил cogito, ergo sum (мыслю, значит существую): „Таким образом кажется, очевидно, что чувства являются началом всякого знания и других действий мышления".

В другом месте Региус напоминает задолго до Локка положение Аристотеля о том, что душа при рождении ребенка есть чистая доска, tabula rasa, на которой опыт чертит свои письмена (448). Источником образования всех общих идей является наблюдение единичных вещей, единственно существующих в природе. Таким образом закладывается

фундамент не только материалистического взгляда на отношение души и тела, но и материалистической теории познания. Так называемый чистый разум, постигающий вещи без посредства чувств, Региусом решительно отвергается (512).

Однако надо заметить, что у Региуса остаются и пережитки прошлого. Так, он признает бессмертие души, хотя это сильно не вяжется со всеми его учениями и потому кажется довольно подозрительным (возможно, что это лишь защитное от теологов заявление). Так, в другом месте оказывается, что безусловной достоверностью о вещах мы обладаем лишь благодаря богу, хотя и то только на основании веры, ибо и он может обманывать. Региус не соглашается с Декартом в этом случае. Обманывать можно не только во имя злых, но и во имя добрых целей—для наказания грешников и из педагогических соображений—для направления людей к добрым делам. Так обосновывает Региус „естественный пирронизм" всякого мыслителя. Опять мы не можем судить об искренности этого заявления, ибо и оно может являться также только маской для критической работы разрушения декартовского бога, как проводника по пути в мир.

Но наиболее интересна критика Региусом декартовского доказательства бытия божия. Прежде всего, Региус возражает против того, что идея бога не может быть создана нами самими, а врождена нам. „Подобно всем общим идеям, идея, которую мы имеем о боге (мы не говорим здесь ничего о том, что мы имеем посредством откровения), не рождается с нами, но формируется в нас посредством наблюдения, которое мы производим над единичными вещами при помощи чувств, воображения, воспоминания и суждения. Ибо в верховном существе, которое мы называем богом, дух не рассматривает ничего другого, как только некоторые определенные блага, которые он наблюдает каждодневно в людях, например, мудрость, справедливость, милосердие, мощь, долговременность и другие подобные вещи, и которые мы можем умножать до бесконечного и очистить посредством мышления от всех недостатков; таким образом идея совершенного существа, или бога, производится в нашем уме чувствами, воображением и нашим суждением или переходит к нам по традиции" (452). Таким образом идея бога не превосходит нашего собственного совершенства. Устанавливая это положение, Региус открывает плодотворный путь критике, и антропологическому пониманию религии. Но вот дальнейшие его рассуждения.

„Та идея, которую наша душа таким образом создает о божественности, не доказывает удовлетворительным образом существования этой последней, как безосновательно некоторые утверждают, так как не все вещи, о которых мы имеем идеи, существуют в действительности... Разум необходимо заключен в идее, которую мы имеем о человеке; тем не менее, отсюда не следует, что человек необходимо и действительно существует, как существо разумное, но только в том случае, если он существует действительно,—он также необходимо и

действительно одарен разумом. И это не должно казаться странным, потому что существенные аттрибуты вещи, которые заключены в идее, образованной о ней духом, не существуют действительно, пока не существует на самом деле сама постигаемая нами вещь. Ибо хотя мы и образуем в нашем духе идею о некоторой вещи, но, пока не существует вещь, это только чистое ничто, которое не может заключать никаких аттрибутов ни необходимого, ни случайного существования. Таким образом, например, идея, которую мы имеем о треугольнике, заключает в себе то свойство, что мы знаем, что его три угла равны двум прямым, и это верно, несмотря на то, что треугольник, идею которого мы образовали, действительно не существует в природе... Следовательно, мы думаем, что идея, которую наш дух образует о вещи по ее существенным аттрибутам, им постигаемым, не достаточна для того, чтобы доказать определенное и необходимое существование этой вещи" (452—453). „Ибо неверно, что реальность наших идей, которые нашему духу представляют объекты, необходимо имеют причину, заключающую в себе в высшей степени и точно ту же самую реальность, т.-е. само существование вещи, которая представлена нашему духу" (454).

Эта критика за 130 лет (до Критики чистого разума) уничтожает онтологическое доказательство бытия божия. Таким образом, собственно говоря, еще в XVII в. материализм покончил навсегда с богом в сфере разума.

XII.

Мы не имеем никаких сведений о дальнейшей судьбе философских идей Леруа. Картезианство делало огромные успехи. По словам одного из биографов Декарта, едва умер учитель, как число учеников его нельзя было сосчитать, подобно песку морскому и звездам на небе [1]). Многие из этих учеников имели резко материалистический уклон мыслей, в значительной мере под влиянием Гассенди, Гобса, а затем и Бейля. Недаром и самого Декарта в XVII в. так любили сравнивать с Демокритом и Ванини. Из непосредственных сторонников Региуса мы нашли указание лишь на некоего Филиппи [2]). Однако несомненно, что идеи Региуса не могли заглохнуть. Ожесточенная идейная борьба в Утрехте не могла пройти незамеченной и очень возможно ее влияние на Спинозу, с одной стороны, и через естествоиспытателей XVII и XVIII в. (например, Бургава), которые, несомненно, были знакомы с физическими и медицинскими работами Леруа, на французский материализм. Этот предмет—влияние Леруа и пути этого влияния—еще ждет своего исследователя.

На этом мы можем закончить наш очерк борьбы и учения Региуса. Мы нарочно так много внимания уделили отношению Региуса

[1]) См. F. Bailliet, „Histoir" de la philosophie cartesiénne Paris, 2 vol.
[2]) Monschamp, „Histoire du cartesianisme en Belgique".

к теологам и Декарту и отказались от систематического изложения его воззрений, чтобы выяснить самые условия пробуждения материалистической мысли в картезианстве. Как мы видели, ее движущей силой была развиваемая потребностью борьбы с теологией внутренняя логика самого учения. Завершением этой логики развития был, с одной стороны, Спиноза, с другой—французский материализм, обогащенный Лейбницем и английскими мыслителями.

Так оправдываются слова Маркса: „Механический французский материализм примкнул к физике Декарта в противоположность его метафизике. Его ученики были по профессии анти-метафизики, т.-е. физики.

Врач Леруа был первым вестником этой школы" [1]).

Ник. Карев.

[1]) Литературное наследие, т. II, „Святое семейство", стр. 266—267.

Источники изучения Демокрита.

Статья II.

§ 3. Стоики и академики.—Известно, что основной стихией стоицизма, составляющей ее ζῶον, по выражению Посидония, т.-е. ее внутреннее „живое ядро", явилась этика. Если стоическая школа развивалась, со временем обогащаясь новыми идеями, то это развитие шло в плоскости скорее этических, чем логических мотивов. Выступив на первый план в общественном сознании, этическое мировоззрение, как учение о „внутреннем я", о „внутреннем благе", было призвано оправдать потерю внешней—экономической и политической—независимости Греции в конце четвертого столетия. Своим требованием внутренней свободы, внутреннего освобождения от зол и бедствий внешнего мира новая мораль как нельзя лучше отвечала психологии масс, примиряя их с тревогами политической жизни и экономическими бедствиями времени. Своим космополитизмом стоическая школа удовлетворяла, с другой стороны, новым историческим задачам, которые, что касается культурного развития, непосредственно вытекали из завоевательной политики Александра Македонского, разрушающей отдельные государства и стирающей все грани между отдельными народами.

Выдвинув на первый план чисто практические вопросы, стоики не оставили строго разработанной самостоятельной системы физического мировоззрения. Они ограничились этическим истолкованием физических учений своих предшественников, поскольку последние удовлетворяли морали разумной добродетели и внутреннего счастья и, только за немногими исключениями, в теоретическом взгляде на мир, они охотно становились на точку зрения „здравого" обычного представления о мире, которое признает одну лишь действительность видимого и осязаемого телесного мира. Поэтому вероятно, что в своих сочинениях по физике, от которых до нас дошли, к сожалению, только заглавия,—они, будучи несамостоятельными, были очень внимательны к учениям своих предшественников. В этом смысле они были заинтересованы в том, чтобы изучать их на их же произведениях, а не из вторых или третьих рук. И если принять во внимание, что стоикам были известны сочинения Гераклита [1]), то нет ничего невозможного в том, что, напр., возражая Демокриту, Клеанф читал подлинные произведения последнего.

Нам известны, к сожалению, только заглавия стоических сочинений, имевших непосредственное отношение к атомистике. Так, напр., известно, что Клеанф из Асса в Троаде (331/0—232/1) среди прочих работ написал также специальное сочинение, направленное

[1]) См. о Хризиппе Philodem περὶ εὐσεβείας, p. 81. Gomperz. Diog., L. VII, 74, IX, 15.

против атомистической философии и озаглавленное: „Против Демокрита" [1]). Другому стоику, Сферу из Босфора, принадлежат исследования: „О наименьшем" и „Против атомов и эйдолов" [2]), также не дошедшие до нас. Другие свидетельства о Демокрите до нас дошли из вторых и даже из третьих рук. Тертулиан [3]) передает одно свидетельство стоика Зенона из Кития на Кипре (334/3—262/1) [4]). Далее у Плутарха [5]) находим интереснейшую цитату из неизвестного сочинения Демокрита, переданную Хризиппом (281—208 или 277—204) [6]). По свидетельствам Диогена Лаэртского, Плутарха и Александра Афродизийского, это был, несомненно, один из выдающихся умов древности. Недаром полемика современников против стоической школы направлялась в первую очередь против Хризиппа. „Также и знание стоической философии, которое было общим достоянием всех образованных людей, сводилось в существенном к знанию хризипповской формы ее" [7]). Такие недошедшие его сочинения, как „Доказательство, что неограниченное невозможно" [8]) или „О различии неограниченного" [9]) или „О возражениях против диалектиков" [10]), несомненно, затрагивали демокритовские проблемы, и тем больше вызывает сожаления потеря их, что Хризипп очень любил цитировать разбираемых авторов и даже включать целиком их произведения в свои рассуждения [11]).

Остались некоторые свидетельства о Демокрите и другого выдающегося стоика, Посидония, о которых сообщают нам Секст Эмпирик [12]) и Цицерон [13]). Кроме него, гораздо позже, у Сенеки встречаем цитату из Посидония о теории „каменных сводов" Демокрита [14]). От Посидония осталось очень немного, но он имеет весьма большое значение для изучения Демокрита, как один из источников позднейших писателей, с одной стороны, а с другой стороны,—как первый философ, отразивший в тех отрывочных свидетельствах о Демокрите, которые сохранились от него до нас, совершенно новое направление демокритовской философии, чуждое Аристотелю и не отмеченное им в свое время. Я имею в виду историзм Демокрита.

Как бы странным это ни казалось, но этическое мировоззрение стоицизма было ни чем иным, как зачатком исторического взгляда на вещи. Правда, признание относительности всех земных благ вело к религиозным учениям, но оно же вело и к новому сознанию необходимости развития или изменения и перехода от одних форм жизни к другим. Это была та сторона этицизма стоической философии, в которой последняя теснейшим образом соприкасалась как с эпикурейской философией, так и скептической. Ибо эти последние системы объединяло одно общее стремление низвести абсолютное с неба на землю и, растворив его в вещах всего мира, извлечь из него пользу в реальных, конкретных нуждах повседневной жизни. Выразителем этого стремленья в стоицизме и явился Посидоний.

[1]) Diog., L. VII, 174.
[2]) Ib. VII, 178.
[3]) Diels FVS², 365,9.
[4]) Arnim: Stoic. vet. fragmenta, fr. 171.
[5]) Diels FVS², 412; (de commun. not. 39 p. 1079 e.).
[6]) V. Arnium y P.—Wissowa, 2502.
[7]) Ib., S. 2506.
[8]) Diog., L. VII, 197.
[9]) Ib. Diog. L. VII, 190.
[10]) Ib. VII, 202.
[11]) Diog. L. VII, 180.
[12]) Adv. math. IX, 363.
[13]) De div. 57, 131 (FVS², 379, 27).
[14]) Seneca: epist. 90, 32.

Посидоний из Апамей (род. 135 г.), глава школы на Родосе, разумеется, подобно другим стоикам, был всецело проникнут религиозными идеями. Но неподвижные, логически застывшие рамки религиозно-этического индивидуализма не мешали его исторической концепции обращаться к таким проблемам, как проблема образования и развития языка, проблема происхождения примитивных форм быта в силу географических условий или зависимость тех или иных, в частности, астрономических открытий от географических и экономических условий и т. д. Как в постановке, так и в трактовке этих проблем он, как и независимо от него Эпикур [1]), несомненно, опирался на Демокрита [2]). Необходимые естественные потребности ему представлялись главнейшим рычагом исторического развития [3]), точно так же, как Демокриту и позднее эпикурейцам. Обращая внимание на движение небесных тел, как на явление более всего замечательное и нуждающееся в объяснении, [4]) он следует Демокриту [5]). „Евдамония", „блаженство", он истолковывает этимологически, как благость даймона, божества внутри человека [6]), и несомненно имеет в виду подобное же этимологическое толкование Демокрита: εὐδαμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη (fr. 170, FVS²). Из своих долгих путешествий он черпал материал для исторических исследований, в частности, для исследований первобытного мира и человека, жизни различных народов и т. д. и, обладая чрезвычайно широким образованием, какое только было доступно его времени, он, естественно, не мог не интересоваться мировоззрением Демокрита, и следы этого интереса на-лицо в его свидетельствах о Демокрите.

Но Посидоний, как это, впрочем, станет вполне наглядным только ниже, важен для изучения Демокрита, собственно, не сам по себе, но по тому влиянию, какое он оказал на последующих писателей, поскольку у последних сохранились фрагменты Демокрита. Посидоний, несомненно, обладал большим художественным дарованием, и его уменье облекать мысли в художественные формы блестящего стиля не могло не привлекать к нему и современников. Известно, что его слушал Цицерон [7]). Все сведения Сенеки о Демокрите заимствованы у Посидония [8]), как уже было сказано, и Секст Эмпирик цитирует Демокрита по Посидонию. Сочинение последнего Περὶ θεῶν, „О природе богов", составило эпоху: из него черпали свои сведения [9]) даже доксографы, Цицерон, автор псевдо-аристотелевского Περὶ κόσμου, Секст Эмпирик, а Атеней, Диодор и Арий Дидим даже положили в основу своих сообщений [10]). Из всего этого мы делаем вывод, что знакомство с Посидонием необходимо не только для критической оценки черпавших из него писателей, о которых речь будет ниже, но в особенности для изучения антропологических и исторических идей Демокрита.

Наконец, из стоической школы вышел Аполлодор (ок. 140 до Р. Х.), вначале примыкавший к стоику Эратосфену. „Хронике" Аполлодора мы обязаны важнейшими биографическими сведениями о Демокрите [11]).

[1]) См. ниже, § 4.
[2]) Ср. Seneca, epist. cit. Susemihl: Gesch. d. griech. Liter. II, 134. Heinemann, Poseidonios' metaphys. Schriften (Bresl. 1921), 92, Anmerk. 3.
[3]) Seneca, ep. 90, 22 и место у Strabon, 147, приводимое Heinemann'ом, op. cit.
[4]) Diels: Dox. gr. 466, 19. Heinemann: op. c. 121.
[5]) См. ниже у меня.
[6]) Dox. gr. 77,1.
[7]) Tuscul. II, 25.
[8]) Доказательство у Heinemann'а, op. cit. 103, 183 и др.
[9]) P. Wendland: Arch. f. Gesch. d. Thil. I, 207.
[10]) Wendling: Zu Posid. u. Warro, Hermes 28, 338.
[11]) Diog. L. IX, 41; IX, 34.

§ 4. Эпикур и эпикурейцы.—Приступая к вопросу о свидетельствах Эпикура и его последователей, необходимо с самого начала резко ограничить задачу, которую мы себе ставим: речь идет не о влиянии одного философского мировоззрения на другое философское мировоззрение, а об одном философском тексте, как источнике другого философского мировоззрения. Вопрос о влиянии Демокрита на Эпикура может быть исследован не в предварительном анализе, не в процессе собирания и критики источников, но только после того, как все философские учения Демокрита представятся как одно систематическое целое.

В начале своей замечательной работы о „Различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура" [1]) К. Маркс дает следующий беглый обзор мнений древних писателей об отношении Эпикура к Демокриту: „Стоик Посидоний, Николай и Сатион упрекают Эпикура в том, что он выдал за свое собственное учение Демокрита об атомах и Аристиппа о наслаждении [2]). Академик Котта спрашивает Цицерона: „Что же собственно есть в физике Эпикура, что не принадлежало бы Демокриту? Он хотя кое-что и изменяет, но большую часть он повторяет за Демокритом" [3]). Сам же Цицерон говорит: „В физике, в которой Эпикур больше всего хвастает, он полнейший невежда. Большая часть принадлежит Демокриту; там, где он от него уклоняется, где он хочет исправить, там он только портит и делает хуже" [4]). Но хотя со всех сторон Эпикура упрекали в непочтительности к Демокриту, Леонтей, наоборот, утверждает по Плутарху [5]), что Эпикур почитал Демокрита, потому что тот до него обратился к истинному учению, потому что он раньше открыл принципы природы. В сочинении De placitis philosophorum [6]) Эпикур именуется философствующим по Демокриту. Плутарх в своем „Колоте" идет дальше. Сравнивая Эпикура по порядку с Демокритом, Эмпедоклом, Парменидом, Платоном, Сократом, Стильпоном, киренаиками и академиками, он старается прийти к выводу, что „Эпикур усвоил себе из всей греческой философии неверное и не понял истинного"... Всем известно, что новейшие писатели в целом точно также считают Эпикура в области натурфилософии лишь плагиатором из Демокрита. Их мнение в общем может быть передано изречением Лейбница-

[1]) О диссертации Маркса я оставляю за собою слово для специального очерка, если, впрочем, мне удастся познакомиться с теми примечаниями, которые, как известно, были выпущены Ф. Мерингом. „Удовольствие,—пишет он,—видеть документальное подтверждение того, что студент Маркс правильно цитировал авторов, казалось мне, было бы куплено слишком дорогой ценой, несколькими печатными листами преимущественно греческих цитат..." (Литер. Насл. I, „Мир", 1907, стр. 109). Но Меринг не принял во внимание одного обстоятельства. Глубоко оригинальная точка зрения Маркса во многом, хотя и не во всем, предвосхищает то, что было установлено филологией, 30—40 лет спустя. Поэтому аргументация, вынесенная им в примечаниях, не может не иметь для нас интереса. Об издании Меринга см. Д. Б. Рязанов, примеч. к I-му тому сочинений Маркса и Энгельса, М. 1923, стр. 496—500.
[2]) Diog. L. X, 4.
[3]) Cicer. De deor. nat. I, 26, 72 —цитата искажена Мерингом в переводе на немецкий язык. Ср. Узенер, Epicur., p. 174, 16.—О греческих цитатах Меринг пишет: Так как в цитатах, внесенных Марксом без перевода в свой труд, филологические тонкости не имеют никакого значения, то я, нисколько не задумываясь, передал их по-немецки..." Сочинения, I, 499 (под ред. Д. Рязанова).
[4]) Cicer. De fin. I, 6, 17 (отсутствует у Дильса FVS²!),—перевод искаженного немецкого перевода Меринга. Ср. Taylor: Epicurus, Lond., 57.—О другой ошибке, допущенной Мерингом в переводе одной из цитат Маркса, относящейся к Демокриту, см. у Д. Рязанова, примеч., стр. 499, Сочинения Маркса и Энгельса т. I, изд. Института К. Маркса и Ф. Энгельса, 1923.
[5]) Adv. Colot. 3 p. 1108e (по Дильсу: FVS², 362, 10—16).
[6]) Aetius I. 3, 18 (Doxogr. gr., p.p. 285; Epicurea, p. 191, 8).

„Мы знаем об этом великом человеке почти лишь то, что заимствовал у него Эпикур, который не способен был всегда заимствовать самое лучшее". Если таким образом, по Цицерону, Эпикур ухудшил учение Демокрита, при чем Цицерон признает, по крайней мере, за ним желание улучшить его и способность видеть его недостатки, если Плутарх приписывает ему непоследовательность и предопределенную склонность к худшему, заподазривает, следовательно, его волю, то Лейбниц отказывает ему даже в способности хорошо делать извлечения из Демокрита".

К этой сжатой, но выпуклой характеристике вряд ли можно что-либо добавить, кроме разве некоторых биографических данных, характеризующих отношение Эпикура к Демокриту. „Гермипп сообщает,— пишет Диоген Лаэртский, — что он был сперва школьным учителем, но затем, после случайного знакомства с сочинениями Демокрита, обратился к философии" [1]). По Цицерону, с Демокритом Эпикур познакомился у его приверженца Навзифана [2]), а Аристон замечает в своей „Жизни Эпикура", что он заимствовал своего „Канона" из „Треножника" (ἐκ τοῦ... Τρίποδος) Навзифанеса [3]), именно, он заимствовал троякое деление своей системы на учение о познании, физику и этику. Не говоря о частностях этой системы, которая не дошла до нас в целом, нельзя не признать, что Эпикур заимствовал названия для своих сочинений у Демокрита. Это наводит на мысль, что литературная деятельность Эпикура, как философа, носила полемический характер, а следующие сочинения, повидимому, прямо имели своей целью вместе с изложением взглядов Демокрита дать положительную или отрицательную критику:

περὶ φύσεως $\overline{\lambda\xi}$, Демокрит: *περὶ φύσεως πρῶτον.*
περὶ κριτηρίου ἢ κανόν [4]), Демокрит: *περὶ λογικῶν ἢ κανών.*
περὶ εἰδώλων, Демокрит: *περὶ εἰδώλων.*

В своем „Извлечении из книг против физиков" Эпикур, повидимому, собрал именно эти полемические места своих книг. Наконец, опровержению некоторых взглядов Демокрита, как об этом свидетельствует Филодем [5]), он посвятил и специальную книгу: „Против Демокрита".

Этот полемический характер главнейших сочинений Эпикура более всего носят дошедшие до нас его письма. Действительно, если, не выходя из рамок филологического анализа, попытаться вместе с тем подойти к письмам Эпикура с точки зрения более широко охватывающей его индивидуальный стиль, его литературную характеристику, как писателя, то становится сразу понятным, что Эпикур, по характеру своего подхода к проблемам, свободно мог нигде не упоминать имени великого абдерита: ему, строго говоря, как и его современникам, незачем было скрывать, что, например, все письмо к Геродоту есть сжатое изложение возражений против Демокрита. При этом, разумеется, не следует забывать, что Диоген Лаэртский передает „письма" и „главные изречения" Эпикура настолько небрежно, что нередко трудно разобраться в самом смысле эпикуровских слов. Все свидетельства об этике, например, заимствованы из вторых рук, при чем многое из имеющегося у Диогена доксографического источника перечеркнуто, а многое добавлено вводными или истолковывающими замечаниями [1]).

[1]) D. L. X, 2, см. еще Plut. adv. Col. 3 p. 1108e. Usen. p. 175, 6.
[2]) De nat. d. I 26, 73.
[3]) D. L. X, 14.
[4]) Ср. D. L. X, 47.
[5]) Schol. Zenoni de libertate dicendi. Usener, p. 97, 10.

И, тем не менее, в письмах Эпикура и, в частности, в письме к Геродоту можно видеть не что иное, как сжатое изложение полемических сочинений против тех или иных воззрений Демокрита. Каждое вновь выдвигаемое положение в этих письмах всякий раз сперва приводится в положительную или отрицательную связь с мыслями Демокрита о том же предмете, а затем развивается или в линиях мировоззрения Демокрита, или существенно отклоняется от него. В большинстве случаев Эпикур констатирует разногласие и развивает свои собственные взгляды, исходя из критики взглядов Демокрита. Эти критические замечания, брошенные как бы вскользь, точно из боязни прослыть противником великого абдерита, проходят красной нитью через все письма Эпикура. Они составляют как бы тот фон, на который Эпикур набрасывает свои неприхотливые, но мужественные и открытые мысли. Они начинаются всегда почти одним и тем же выражением: „не следует думать", „не надо допускать, как это делают некоторые", а в одном месте, в D. L. X, 90, он прямо так и говорит: „*τῶν φυσικῶν καλουμένων τις*", выражение, которое еще ни одним из исследователей не было не отнесено к Демокриту. Эти критические обороты мысли, ввиду своего однообразия и постоянства, с которым они повторяются у Эпикура, приобретают большое значение для нашего вопроса, так как именно за ними и скрываются свидетельства Эпикура о Демокрите. Вот почему было бы целесообразно привести их здесь полностью, но, ввиду безнадежности греческой корректуры, я ограничусь только ссылками на соответствующие места узенеровского издания:

Us. p. 7, 20 [2]); X, 36. p. 4, 5—6; X, 55 p. 15, 12; X, 56 p. 16, 1; X, 47 p. 10, 9; X, 46 p. 9, 13—14; X, 60 p. 18, 4; X, 71 p. 24, 3; X, 71 p. 24, 6; X, 72 p. 25, 1; X, 74 p. 26, 1; X, 68 p. 22, 16; X, 76; X, 90 p. 38, 11; X, 92 p. 40, 3—4; X, 93 p. 40, 14—5; X, 101 p. 45, 4; X, 112 p. 52, 14, и т. д.

Во всех этих местах мы встречаем неизменно выражение: „не следует думать", „не следует полагать" и т. д. Если подобного рода замечания в поле своего умственного зрения выдвинуть на первый план, то вопрос о свидетельствах Эпикура о Демокрите сразу становится не только ясным, но и доступным решению в совершенно ином смысле, чем это принято думать в литературе. В сущности, такой вопрос в литературе и не поставлен вовсе. Здесь мы находимся в таком положении, которое невольно напоминает все трудности аналогичного вопроса о Платоне. Если в вопросе о платоновских источниках изучения Демокрита общим стремлением в литературе являлось выискать следы демокритовой философии в Филебе, Тимэе, Софисте и пр., то в вопросе об Эпикуре, как историческом свидетеле, мы встречаемся с обратным явлением, а именно, если не с упорным замалчиванием свидетельств Эпикура о Демокрите, то, по меньшей мере, с явным незнанием о существовании таковых. Моей же задачей, напротив, здесь является отграничение от эпикуровского, по общему мнению, излагающего Демокрита, текста всего того, что носит черты подлинно эпикуровского мировоззрения.

[1]) Usener: Die Unterlage des Laertius Diogenes, Kl. Schr. (1914), III, 165. Epicurea, p. XXVIII и сл. О тексте Узенера существенные замечания у W. A. Heidel: Epicurea, the Americ. Journ. of Philol. 1902, p. 184. Ср. R. Philippson: Zur epicur. Götterlehre, Hermes 1916, 582.
[2]) Это значит—страница 7, строка 20.

Поэтому существенный интерес представляют выписанные мною места критических замечаний с возражениями Эпикура, за которыми, очевидно, и следует искать Демокрита и его последователей. И в пользу моей догадки говорит прежде всего то, что почти все те идеи Демокрита, которые впоследствии получили широкое историко-критическое освещение в специальных, но вместе с тем выходящих за пределы узкой филологии исследованиях Маркса, Узенера, Бёймкера и др., могут быть именно, следуя ей, засвидетельствованы у Эпикура,—например, учение Эпикура об объективности ощущений и противоположный взгляд на ощущение Демокрита (D. L. X, 68 [1]), учение Эпикура об ограниченном числе форм и величин атомов в противоположность утверждению Демокрита о бесконечном разнообразии их (X, 55),—эти отклонения от Демокрита (чтобы не называть другие), вполне установленные в литературе, Эпикур невольно выделяет в своих письмах, начиная их неизменно словами: *οὐ δεῖ τομίζειν*. Кроме того, почти все те места дошедшего до нас Эпикуровского текста, которые такими исследователями, как Узенер [2]) и Дильс [3]), принимаются в качестве свидетельств о Демокрите, могут быть отнесены к последнему, именно, руководствуясь моим соображением о полемическом характере писем, а не на основе побочных сведений о тех или иных сторонах философии Демокрита (поскольку мы говорили об источниках изучения, а не о теоретическом влиянии одного мировоззрения на другое). Поэтому на-ряду с теми немногими свидетельствами, которые были указаны двумя вышеупомянутыми исследователями, следует, в действительности, принять целый ряд других, не отмеченных ни ими, ни другими, мест из Эпикура, и, наоборот, что касается источников, многое из того, что указано ими, следует совершенно отвергнуть, как требующее историко-критического обоснования своей связи с Демокритом. К числу последних указаний этих авторов относятся все те места, которые хотя и имеют теснейшую связь и даже по смыслу предназначены комментировать Демокрита [4]), или излагать всю его теорию мироздания [5]), или, в иных случаях, защищать его взгляды от нападок противников [6]), но которые тем не менее не могут быть приняты нами как источники изучения Демокрита: в них, даже филологически, нельзя установить ни малейшего намека на близость их к тексту Демокрита.

Теперь вернемся к нашим исходным мыслям. Указанные мною выше места из эпикуровского текста служат основными вехами, которые позволяют установить свидетельства Эпикура о Демокрите. Филологическая критика в данном случае с несомненностью доказала бы всю правомерность моей точки зрения, но, щадя русского читателя, я ограничусь переводом текста и ссылками, доказывающими принадлежность последнего Демокриту.

---

[1]) См. еще кроме Natorp'a (Forschungen zu Gesch. d. Erk. 219) также Bäumker'a: Das Problem der Materie 1891, 315 сл. Ошибка Целлера Ша[4], 490 и др. исследователей заключается в том, что физиологическое учение Эпикура ими толкуется как теоретико-познавательное.

[2]) Epicurea, p. 40, 5; p. 40, 13; p. 45, 7 и др.

[3]) FVS[2], S. 360, 37.

[4]) Как в случае sent. XVI; Usener, Epicurea, p. 74, 17, или fr. 62 p. 118, 25 (он так и говорит: sententiam Democriti adponit, p. 402). Ср. Дильс, FVS[2] p. 407, 22.

[5]) Как в случае [Plutarch] de plac. philos. epit. 1, 4. Дильс, Dox. Gr. p. 259a 7.

[6]) Usener, Epicurea fr. 310, 526.

Эпикур.	Демокрит.
1. Диог. Л. X, 42 [1]): это невозможно, „чтобы бесконечное разнообразие различий (в формах) вытекало из числа этих же форм“ [2]).	Аристот. de anima 404a 3 „из бесконечного множества форм и атомов“... (о Демокрите).
2. Диог. Л. X, 47: „факты чувственных явлений совершенно не противоречат допущению, что существуют образы такой тонкости, с которой ничто не может быть сравнимо“.	Аэций I, 24, 2 (Dox. 320). — „Анаксагор, Демокрит, Эпикур и все те, кто полагает, что мир образуется вследствие соединения тончайших материальных частиц“.—См. еще Аэций V, 25, 3 (FVS[2] 349, 14).
3. Диог. Л. X, 46: „это вовсе не невозможно, что в атмосфере происходят подобные истечения [3]).	Аристот. de an. 1, 2, 403 b: „своим притоком эти новые, вновь притекающие атомы...“ Теофраст, de sensu 50: „всякая вещь постоянно производит некоторое истечение (атомов)“.—См. еще Actius IV, 8, 10, Us. fr. 317 (p. 219, 31).
4 [4]). Д. Л. X, 55: „что касается величины атомов, то вовсе не следует думать, что между ними встречаются всякого рода величины... (56) кроме того, не следует допускать, что в ограниченном теле должны быть бесчисленные частицы всех возможных величин“ [5]).	Simplic. phys. p. 36, 1: „сущности эти различаются по форме и величине“. Aristot. de gen. et corrupt. 315b 6: „из бесконечного множества форм создается бесконечное множество противоположных явлений“— (еще: Диог. Л. IX, 44. Simplic. de coelo p. 294, 33). Simpl. in phys. I, 2, p. 28, 7): „самое множество форм он признавал бесконечным“. (Arist. de an 404a 3).
5. Д. Л. X, 61: „ибо ни тяжелые не двигаются быстрее, чем маленькие и легкие... ни маленькие не обгоняют больших...“	Теофраст de sensu 61: „Демокрит в самом деле различает тяжесть и легкость, смотря по величине...“
6. Д. Л. X, 60: „поскольку не следует приписывать бесконечному ни низа, ни верха“.	Cicer. de fin. I, 6, 17: „он (Демокрит) помещает атомы в бесконечном, где нет ни верха, ни низа, ни средины, ни края“.
7. Д. Л. X, 68: „но и формы и цвета, и вес, и все, что еще высказывается о телах, как обо всех, так и о видимых, и что может быть познано чувственным восприятием,—все это не должно рассматривать ни как существующее само по себе, по своей природе, ни как не существующее вообще...“ [6]) Д. Л. X, 71: „эти мимолетные появления их вовсе не следует исключать их из сущности тела на том основании, что не обладают природой целого, в связи с которым они являются (и что мы называем также телом)... но и не следует принимать их за нечто самостоятельное“.	Теофр. de sens. 69: (против Демокрита) „ясно, что формы существуют сами по себе“. Д. Л. IX, 44: (Демокрит говорит) „качества существуют условно“. Mullach fr. 30, p. 220: „нечто принимается за белое, черное, горькое и сладкое только по обыкновению, а в действительности только атомы и пустота“. FVS[2], 361, 17: „в природе нет ничего черного, белого, само по себе“. Еще Д. Л. IX, 72.
8. Д. Л. X, 72: „не следует вводить новые разговорные обозначения, как будто бы они являются наилучшими... не высказываться о них как-либо иначе, будто дело идет о какой-то особенности, связанной с сущностью их самих (ибо это также делают некоторые)“.	Д. Л. IX, 48 (список сочинений Демокрита): περὶ γραμμῆς. См. еще: Procl. in Crat. 16 p. 6. Boiss у Дильса FVS[2] 395, 9—33, и 142, 1—10. (λόγους οὐσιώδεις). См. еще Heinemann: Posidonius'metaph. Schriften (1921), 64. Reinhardt: Hermes 47, 502.

---

[1]) Следую О. Апельту (не Узенеру).

[2]) После этого идет схолий (вставка): „деление не идет до бесконечности“,.. и т. д. Heidel: The Americ. Journ. of Philology, p. 189, правильно связывает это место с Анаксагором, т.-е. пользуется опять-таки нашим методом, усматривая здесь полемику.

[3]) Ср. Crönert: Epicurea, Ph. Mus. 62, 124.

[4]) Bäumker: Das Probl. d. Materie (1890), 313—314. Goedeckeyer: Epicurs Verhältnis zu Demokritos (1897), 9.

[5]) Ср. Bäumker: о Навзифане, op. cit. 321, 1.

[6]) Ср. Usener, p. 118, 15—25 и Heidel, Americ. Journ. of. Philology, 1902, p. 193.

Эпикур.	Демокрит.
9. Д. Л. X, 76: „не следует думать, что движение небесных тел, их меняющееся направление, их затмения, восход, заход и все относящиеся сюда явления происходят по воле правителя по теперешнему или будущему его приказанию, который обладал бы кроме бессмертия также и полнейшим блаженством".	Sext. Empir. adv. math. IX, 24, p. 396, 5: „древние люди (по Демокриту) ужасались затмению солнца и луны, считая причинами их богов". Arist. de an. 1, 2, 403 b: „некоторые утверждают, что душа есть нечто, что двигает... так, напр., Демокрит". Ср. Heinemann: op. cit. 121, 1 [1]).

Из всех этих сопоставлений нетрудно сделать вывод, что за отрицательной формой эпикуровского „не следует думать" скрывается положительная мысль Демокрита: „следует думать". Тем не менее, значение подобных свидетельств Эпикура, разумеется, относительно. Но они чрезвычайно интересны в том отношении, что при свете их становится ясным многое в исторической критике эпикурейцев. И здесь наглядно подтверждается высказанная выше догадка о полемическом характере главнейших произведений Эпикура. Историко-философская критика является неотъемлемой чертой эпикурейской школы. Об этом говорят прежде всего заглавия недошедших до нас сочинений эпикурейцев. Метродору принадлежит несколько критических сочинений: „Против диалектиков", „Против софистов", девять книг, „Против Демокрита" [2]). Гермарх написал тоже несколько работ полемического характера: „Против Платона", „Против Аристотеля", „Рассуждения в форме писем об Эмпедокле", 22 книги [3]). Аполлодору из Афин, написавшему более 400 книг [4]), принадлежат сочинения: „Жизнь Эпикура" [5]) и „О философских сектах" [6]). Аполлодор опирался, повидимому, на сочинения Аристотеля, и в его историко-критических оценках чувствуется критическая традиция скорее перипатетической философии, чем эпикурейской. Любопытно, что, следуя Аристотелю [7]), он признавал существование Левкиппа, в то время как Гермарх и Эпикур отрицали это, на основании, повидимому, сочинений Демокрита, в которых последний, очевидно, нигде не ссылался на Левкиппа [8]).

Вот все, что нам известно о сочинениях историко-критического характера, вышедших из эпикурейской школы. Но если историко-критическими сочинениями мы очень бедны, то было бы неправильно думать, что систематические исследования эпикурейцев совершенно чужды духу критики и истории. Первоначально, может быть, мы имеем дело с обычным скептицизмом, в духе Корнеада, которого, по словам Цицерона [9]), очень высоко ценил эпикуреец Зенон Сидонский, но в более зрелых произведениях уже нетрудно видеть следы влияния нового методологического принципа—обосновывать свое мировоззрение путем опровержения противников. В этом смысле дошедшие до нас систематические работы эпикурейцев представляют для

[1]) Весь отрывок Диогена Лаэрция X, 76 приобретает поэтому новое освещение, как полемика против Демокрита, а не логическое опровержение религиозных учений, как думает R. Philippson: Hermes (1916), 576.

[2]) Diog. L. X, 24.

[3]) Diog. L. X, 25—. Собрание фрагментов у Karl'a Krohn'a: Der Epicureer Hermarchos Berlin 1921, fr. 22, 33, 41 и др.

[4]) Diog L. X, 25.

[5]) Ib. X, 2.

[6]) Ib. I. 60.

[7]) По Hirzel'ю: Untersuch. zu Cicer. phil. Schr., I, 184, к которому присоединяется и Susemihl: op. cit. II, 260, 134 anm.

[8]) Diog. L. X, 13.

[9]) Acad, I, 12, 46.

нас значительный интерес, потому что систематические проблемы в них сочетаются с исторической критикой и, добавим, не без логического изящества. Наиболее значительные дошедшие до нас отрывки подобных систематических исследований эпикурейской философии принадлежат Филодему, несомненно одному из выдающихся философских умов древности.

§ 3. **Эпикуреец Филодем и демокритовец Навзифан.**—В 1750 году, во время раскопок разрушенного огненной лавой Везувия маленького итальянского городка Геркулана, в одной из маленьких комнат виллы, как полагают некоторые, принадлежавшей консулу Пизону в 58 г. до Р. Х., было найдено около 1700 папирусных свитков [1]). Небольшую часть этих папирусных свитков удалось прочесть: это была целая библиотека сочинений эпикурейца Филодема, и в 1793 году первым томом Herculanensium voluminum вышел в Неаполе свиток его сочинения „о музыке", после чего последовала целая серия [2]).

Сочинения Филодема носят самый разнообразный характер. Наряду с „Обозрением философских сект", до нас дошли такие сочинения, как „О музыке" или „О стихах"; на-ряду с рассуждением „О смерти" мы имеем исследование „Об индуктивных умозаключениях" и „О числе". Широта кругозора автора сочетается с тонким критическим умом, логика с иронией, систематические проблемы с полемическими задачами.

Филодем является главнейшим источником о почти совершенно неисследованном [3]) демокритовце Навзифане. Нам уже известно, что демокритовец Навзифан имел решающее влияние на Эпикура, будучи одно время его учителем. Знакомство с Навзифаном является неизбежной предпосылкой изучения источников о Демокрите. Отсюда и важное значение Филодема, как главнейшего источника о Навзифане. Поэтому я несколько подробнее остановлюсь на этом интереснейшем писателе, но, к сожалению, должен оговориться, что, ввиду трудностей кропотливой борьбы с текстом, который до сих пор восстановлен далеко не полностью [4]), выводы мои не имеют характера окончательных суждений. Впрочем, это замечание относится, быть может, скорее к филологам, чем к философам, ибо если филология строит свои суждения на бесконечных Vermuthung'ах (догадках), то философия ищет понимания целого так, как оно есть вне каких бы то ни было сомнений.

Филодем происходил из Гадары в Килезирии; время его деятельности относится приблизительно к 58—60 гг. до Р. Х. Он был современником Цицерона, который слушал его лекции. Цицерон отзывается о нем как о человеке „наиученейшем", и „блестящем стилисте" [5]). Сочинения Филодема действительно обнаруживают, на первый взгляд, очень широкое образование автора и полемический талант, живо от-

[1]) Внешнюю историю раскопок и первоначальные исследования можно найти у Chr. Gottl. Murr'a: Philodem von der Musik, Brl. 1806. В других отношениях она совершенно не пригодна, в особенности после работ Крёнерта и Филиппсона. Написана она под влиянием мало серьезного итальянца Розини и несерьезного англичанина Hayter'a, но может быть отмечена, как книга, несомненно, бывшая в руках Маркса, когда он писал свою диссертацию. О Розини можно найти справедливое критическое замечание у Маркса, Соч., т. I, изд. Института Маркса и Энгельса, стр. 33.

[2]) Последнее вновь переработанное издание Геркуланских свитков относится к 1914. О Филодеме накопилась уже огромная литература. Ряд ценных исследований вышел также в этом году.

[3]) Текст у Sudhaus'a: Ph. Mus. 48.

[4]) Сочинение „О стихах", напр., удалось восстановить в своем полновесном логическом содержании только в 1923 (если не считать работы Hausrath'a, 1889) в исследовании Jensen'a.

[5]) См. о нем ниже.

кликающийся на злободневные вопросы современности. Он оставил богатейшие сведения об эпикурейцах Гермархе и Метродоре, о Платоне, о стоиках, об академиках. В горячей полемике против Аристотеля, общей, как известно, всем эпикурейцам, он сообщает много ценного и любопытного о характере и приемах литературной деятельности Аристотеля [1]). Но в этой разносторонности нашего писателя была повидимому и его слабость, как философа. Он был мало самостоятельным мыслителем. Правда, как мы увидим ниже, он дал много новых оригинальных точек зрения и постановок различных проблем в пределах эпикурейской системы, но все его рассуждения по существу результаты полемического хода мысли ad hoc, а не положительной разработки вопросов. В этом нетрудно убедиться, если обратить внимание на то, как автор цитирует противников или эпикурейцев, в каком контексте он охотнее всего прибегает к цитатам, каких авторов он цитирует и, наконец, если хотите, как расположен у него материал его собственных выводов. Например, отрывки, обработанные Зауппе и излагающие учения древних о богах, являются не чем иным, как записями лично для себя, именно, для целей домашних лекций в доме Пизона. Знакомясь с древнейшими воззрениями о богах и мифах, Филодем систематически отмечает для себя противоречия у мифографов и поэтов в их рассказах о богах, и рассматривает их как трудности для правильного понимания [2]). Так что совершенно кстати также было отмечено [3]), что подобные рассуждения, которыми открывается сочинение „О благочестии", не вяжется с остальной частью этого сочинения. Из подобных же замечаний, повидимому, возникли его полемические сочинения, направленные против Зенона, против Никазистрата, против Навзифава, наконец, против Аристотеля. Эти сочинения, очевидно, были написаны по поводу прослушанных лекций и не предназначались для широкой публики, но для личных занятий и для близкого круга эпикурейцев; последним должно было быть хорошо известно, против кого направлялась полемика Филодема в книге об „умозаключениях", где противник назван глухо, как „занимающийся в Афинах", или во 2-ой книге риторики, где Филодем выступает против „одного из занимающихся на Родосе". Такое же впечатление производят его возражения против Навзифана. Он цитирует Навзифана, не называя его, не пытаясь даже исторически или критически связать с предыдущим контекстом, так что после цитаты он характерным образом прямо начинает возражение: *ἀλλὰ διαλογίσασθαι*", как в col. XVII, 14 Sudh [4]). Встречаются у него цитаты также из Эпикура без указания имени последнего, как доказал Бюхелер [5]), в сочинении „О благочестии", col. 108. Там же, где его рассуждения носят систематический характер, он выписывает из имеющегося под рукою источника, как, напр., в той же книге „О благочестии", где, как он сам признает, он зависит от Хризиппа, col. 11, 13 сл. p. 77 Gomperz. При этом, впрочем, не следует забывать, что все это лишь единичные наблюдения, и на основании их, разумеется, еще не приходится делать никаких общих выводов относительно о б щ е ф и л о с о ф с к о г о удельного веса Филодема.

Читал ли Филодем произведения самого Демокрита,—установить

[1]) Sudhaus: „Rh. Mus.", 48, 552.
[2]) Sauppe, Philologus, 21 (1864), 139.
[3]) Bücheler, Jahrbuch f. class. Phil. 91 (1865), 514.
[4]) Col.=columen, что значит столбец. Папирусные свитки исписаны столбцами, отсюда обозначение цитируемых мест по столбцам. Col. XVII, 14 Sudh.—столбец 17, строка 14 изд. Зудхауса, у меня—„Rhein. Mus.", 48 Bd.
[5]) Jahrb. f. class. Phil. 1865 p. 539—540.

трудно. Но все сочинения, связанные так или иначе с философией Демокрита, он изучал, повидимому, основательно: он часто цитирует и критикует как противников (как, напр., Метродора), так и последователей Демокрита. К числу последних относится учитель Эпикура, Навзифан из Элиды, для изучения которого Филодем—единственный незаменимый источник. Учение его Филодем избрал объектом своей критики для сочинения „О риторике", и, разбирая ниже имеющие для нас интерес оставшиеся сочинения Филодема, мы остановимся в своем ме те на Навзифане. Что касается противников Демокрита, он охотнее всего примыкает к Метродору, в особенности, всякий раз, когда приходится аргументировать Против Навзифана [1]). Метродор же из эпикурейцев более всего славился своим сочинением, известным нам лишь по заглавию: „Против Демокрита" [2]), в котором сенсуалистический оттенок некоторых взглядов Демокрита он истолковывал в скептическом духе в смысле отрицания внешнего мира [3]). Тем не менее общая характеристика отдельных произведений Филодема с точки зрения их философского удельного веса убеждает нас в том, что все свидетельства Филодема о Демокрите не только заслуживают доверия, но требуют привлечения и тех философских отрывков Филодема, в которых имя великого абдерита, правда, не упоминается, но которые в самой постановке вопросов проливают яркий свет на основные проблемы атомистической философии.

Из многочисленных сочинений Филодема отметим следующие, в которых всякий раз, когда различные проблемы ставятся и разрешаются в пределах одного и того же—эпикурейского подхода к миру или же так или иначе затрагиваются взгляды Демокрита.

1) „О с м е р т и" (изд. Меклера, 1886). Исследование ставит проблему о страданиях, связанных со смертью. На основе своеобразной психологии аффектов,—проблема, неизвестная Аристотелю,—Филодем доказывает известную мысль Эпикура, что „смерть для нас ничего не значит", что ей вовсе не сопутствует страдание и переживания боли и горя [4]). Демокрита цитирует Филодем в этом сочинении два раза. „По Демокриту,—говорит он,—картина и запах гниения неприятно поражает воображение (людей) и охватывает их страх, при виде страданий, которые испытывают умирающие в телесном благополучии и красоте" (p. 29, 27). В другом месте (p 39,9) он говорит: „В обычном созерцании смерти люди боятся думать о ней и медлят по этой причине составить завещание. Когда же она застает их врасплох, люди принуждены вдвое больше набивать себя (*δίσσ' ἐμφορεῖν ἀναγκάζονται*), по выражению Демокрита" [5]).

2) „О м у з ы к е", изданное Кемке, представляет собою попытку разрешения характерных для эпикуреизма вопросов: приносит ли музыка какую-либо пользу человеку? Действительно ли она способна вызвать благоговейное настроение или напротив опасна, как развращающая нравы? Все эти вопросы Филодем разрешает в отрицательном смысле: музыка—опасна, она развращает нравы и развивает лень. Музыка имеет целью только ласкать слух. Она вовсе не является необходимым элементом театра или богопочитания; ибо самое благородное в мире только в том, что может быть дано в созерцании и

[1]) Sudhaus: „Rh. Mus." 48, 334 сл.
[2]) Diog. L. X, 24 p. 369, 3 Usener.
[3]) Zeller, Ph. d. gr. IIIa, 495, 2.
[4]) См. отрывки, приводимые de Arnim'ом: „Rh. Mus." 43,360 сл.

я Демокрита не упоминается.

понято рассудком. Поэтому нельзя вводить музыку в область других искусств на том основании, что музыка возвеличивает стихи или голос, ибо стихи производят художественное впечатление сами по себе, а не благодаря соединению с музыкой. Стихи, а не музыка, приносят реальную пользу как в области трудовой жизни, так и в области искусства. Она не удовлетворяет ни рассудка, ни какой-либо отдельной научной системы. Ею увлекаются часто благодаря „мелочности психики и отсутствия действенности“ (col. XXXVII, 8). А между тем, чрезвычайно приятными для уха впечатлениями богата наша общественная жизнь, лишь бы наши дела служили наилучшему и не отказывались принимать участия в жизни государства. Заниматься музыкой недостойно имени философа: невозмутимое спокойствие духа бесконечно лучше, чем все другие бесполезные пустяковые вещи. Вот основные мысли Филодема в схематичном и беглом обзоре [1]).

Сочинение „О музыке“ по форме своей, повидимому, возникло из возражений против стоического учения о музыке. В частности, быть может, Филодем писал свое исследование против стоика Диогена из Селевкии в Месопотамии, написавшего сочинение под заглавием: „Об искусстве голоса“ (col. XXI и XXIII) или против другого стоика Персея из Кития, которого также упоминает Филодем в col. XIV, 14. Сочинение, повидимому, первоначально предназначалось для слушателей, и порядок изложения в дошедших отрывках, может быть, поэтому нам несколько трудно понять.

Основная мысль Филодема заключается в том, что музыка вовсе не возникла в силу необходимости ее как для общего культурного развития, так и индивидуального невозмутимого состояния духа, в котором эпикуреизму грезилось счастье и назначение человека. Но для изучения источников о Демокрите интерес представляет не эта мысль сама по себе, но то, что в такой постановке, в какой мы видим ее у Филодема, она неизбежно ведет к чисто исторической аргументации. Отсутствие отрывков и жалкое состояние дошедших мешают наблюдению и выводам. Но, тем не менее, мы имеем начало такой аргументации у Филодема. Для доказательства своей мысли он ставит вопрос о происхождении музыки и рассуждение, потерянное, очевидно, для нас навсегда, начинает цитатой из Демокрита: „Демокрит, этот человек, который не только был лучшим исследователем природы, но не меньше занимался также (историческими) повествованиями, говорит, что музыка недавнего происхождения, и видит причину этого в том, что музыка возникла не из необходимых потребностей, но из существующего уже до нее избытка“ [2]). Зафиксируем пока это свидетельство и перейдем к другому сочинению Филодема, тесно примыкающему к сочинению „О музыке“, именно к его блестяще выдержанному в полемическом тоне исследованию

3) „О риторике“. В этом сочинении, текст которого удалось разобрать только в десятых годах этого века и не перестает быть до сих пор предметом кропотливой критики филологов [3]), Филодем развенчивает новое искусство—искусство речи. Во 2-ой книге „Риторики“ Филодем строго различает „софистическую риторику“ в логическом рассуждении, и „софистическую риторику“ в политическом или судебном красноречии [4]), и предлагает совершенно не смешивать риторику с логикой, оценивая первую очень низко. От философа он требует отказаться от всякого участия в общественной жизни, так как в противном случае, по его мнению, философ не сможет отдаться своим занятиям. Он критикует Аристотеля, когда последний утверждает, что философия должна служить политике, а сам философ должен быть активным политиком; при этом аргументация Филодема на первый взгляд проста и незатейлива, но любопытна: во-первых, если, по Аристотелю, философия создает политических друзей, то это опровергается самими фактами жизни,—именно, у самого Аристотеля никогда не было друзей; если же, по его мнению, хорошая политика создает хорошую философию, а хорошая философия создает условия для хорошей политики, то и это неверно потому, что сам Аристотель в своем мышлении зависит не от политического устройства страны, а от целого рода „фактических случаев“ (συμβαινόντων); когда же философия возникла в виде систематического учения, то она уже сама по себе внутренне развивается, черпая свои силы из себя [1]).

Надо вспомнить, в какой исторической обстановке выступала на сцену общественной жизни риторика, чтобы понять смысл и характер горячей полемики Филодема. Филодема возмущает то, что, не имея в себе никаких внутренних данных к самостоятельному мышлению, софисты его времени принимали живое участие в политике и, призывая всех к этому, брались за обучение всем наукам—и риторике, и математике, и геометрии, и тактике, и музыке [2]). Искусством речи прикрывалось невежество, а невежество вело к тому суетному, внутренне беспокойному и бесцельному образу как личной, так и общественной жизни, от которого более всего предостерегала этика эпикурейцев. Вот почему ни одна школа древности не нападала на риторику столь горячо, как эпикурейская.

Но, с другой стороны, было бы неправильно думать, что указанные причины и были теми единственными мотивами, которые руководили Филодемом в его „Риторике“. Значительная часть сочинения „О риторике“ написана по поводу воззрений последователя Демокрита, Навзифана, в форме прямых возражений против его мнений о риторике, о философии и политике, а все сочинение несомненно написано под косвенным влиянием личности и мировоззрения Навзифана, к которому, при всей противоположности взглядов и тонкой иронии, наш эпикуреец относится с большим уважением.

Относительно принадлежности Навзифану цитируемого у Филодема без указания автора текста, не может быть сомнений по следующим причинам. Филодем несколько раз называет Навзифана, как своего главного противника. Весь относящийся к Навзифану интересующий нас отрывок его „Риторики“ начинается и кончается ссылкой на „болтовню“ Навзифана [3]). Все рассуждения, посвященные изложению и критике мировозрения Навзифана, Филодем начинает с этим же тонким оттенком иронии и ссылкой на Навзифана [4]). Наконец, можно вспомнить свидетельство Диогена Лаэртского о том, что в 37 книгах своего сочинения „О природе“ Эпикур часто повторялся и пускался в бесконечные споры с другими, в особенности с Навзифаном“ [5]). Но если сам учитель полемизировал с Навзифаном, то нет никаких осно-

---

1) Col. IV, V, XXI—XXIII, XXXVI—XXXVIII.
2) Col. XXXVI Murr (col. 31 p. 108,29 Кемке). Diels FVS², S. 410,17.
3) Я мог достать, к сожалению, только то, что было напечатано в журналах „Rhein. Museum“, „Philologus“, „Hermes“, „Mnemosyne“ и „Riv. di fil“.
4) H. v. Arnim: Ein Bruchstück des Alexinos, Hermes, 28,151—2.

1) Sudhaus, „Rhein. Mus.“ 48, 557 col. 45, 10—LVII, 14. Не привожу интересного текста в виду безнадежности греческой корректуры.
2) Sudhaus, „Rhein. Mus“. 48,560.
3) Col. XXIX, 16, XXXII, 17 у Sudhaus'а там же.
4) Col. 17, 13 и Al. 4, где, правда, текст трудно разборчив, но все же можно разобрать букву N и ψανης, см. Sudhaus, „Rhein. Mus.“ 48, 337.
5) D. L. X, 7.

ваний не думать, что традиция этой полемики не могла быть передана ученикам.

Навзифан утверждает, что как в политике, так и в научном исследовании необходимо держаться конкретных, „ясных" „единичных" фактов и всегда исходить из существенных свойств данного предмета или вопроса [1]). Эти мысли, как мы увидим, в основе своей заимствованы у Демокрита, но оригинальность Навзифана в том, что он предлагает руководствоваться ими во всех областях жизни и знания, а не только в научном исследовании. „Ритор,— говорит он.— подобен диалектику: и тот и другой пользуются одним и тем же логическим методом [2]). Один путем вопросов приводит к познанию того, что еще не познано, другой приводит к тому же связной речью. Оба исходят из того, что познано, и добиваются познания того, что еще скрыто от нас" [3]). Вот почему, по Навзифану, „физик обладает способностью усвоения риторики, если даже он ни разу не выступал в качестве ритора". Поэтому можно сказать,—обобщает свою мысль Навзифан,— что кто-либо „обладает способностью строить не в силу того, что просто в состоянии работать, и не в силу этой самой работы, но потому, что он может создать произведение строительного искусства из строительного материала, зная, как пользоваться соответствующими орудиями работы" [4]). Но Навзифан не останавливается на этом и с последовательностью, которой позавидовал бы самый выдающийся представитель греческой риторики, делает отсюда практические выводы. Он требует от философа живого участия в текущей политической жизни, участия во всеоружии настоящего риторического искусства, а от философа—самого серьезного знания не только риторики, но и естествознания. Монистическое, именно материалистическое [5]) понимание мира, заимствованное у Демокрита Навзифаном, очевидно, толкало к активной общественной деятельности и вырабатывало в нашем философе идеалы, бесконечно чуждые „невозмутимости" и „спокойствию духа" самого же Демокрита или Эпикура Навзифан не боится волнений и тревог политической жизни, бедствий или каких-либо стихийных разрушений; напротив, он требует от каждого вмешиваться в общественную жизнь „ввиду многообразной нравственной испорченности людей, как в личной, так и в общественной жизни и действовать в интересах дружного объединения и нравственного исправления всех" [6]). Этот ход мысли невольно напоминает два фрагмента Демокрита, сохранившихся у Плутарха [7]). В одном месте Демокрит говорит, что „слово есть тень дела", т.-е., другими словами, наши „слова" определяются нашими „делами", „делам" нашим и следует придавать исключительно важное значение в жизни, а не „словам" о невозмутимой и блаженной жизни. В другом месте он говорит, что „при общей рыбе нет рыбы и костей", т.-е., повидимому, общность исключает всякие споры о костях [8]).

По сохранившимся отрывкам трудно установить, являются ли эти взгляды Навзифана выводами из его политического мировоззрения или теоретическим следствием материализма Демокрита. Любопытно впрочем уже то, что великая материалистическая система абдеритского философа в своем последовательном развитии прямиком приводила к политическому, так сказать, активизму или „реализму". Между тем нельзя отрицать и того, что у Навзифана не менее важное значение имеют и чисто теоретические мотивы. Во всех рассуждениях ясно чувствуется, как отовсюду выпирает и поглощает все остальные моменты строгая логическая архитектоника. Нет сомнения, это был один из тончайших диалектических умов древности. Он склонен обобщать, всюду проводить одну—абстрактную—точку зрения и в совершенно различных областях жизни и науки сводить все многообразие явлений к одному методологическому пониманию. Политика, риторика, искусство, физиология (как наука о природе вообще) — все эти области он охватывает одним пониманием, одним подходом к проблеме, именно, усмотрением в них, при всем различии их предмета, единой логической структуры, тождественной, трезвой и реальной логической техники. „Должно быть,— говорит Зудхаус,—перед ним носилась следующая мысль: государство и жизнь государства составляют кусок и жизнь природы; поэтому всеобщие законы природы, как он сам их изучал, находят свое применение, и в частной области, именно, в политической жизни" [1]). В такой оценке физиологии, как основной, диктующей принципы всем остальным наукам и в остальных областях жизни, Навзифан опять-таки повторяет мысль Демокрита. Последний также требовал самых усиленных занятий физиологией, потому что знание природы рассеивает пустые страхи и пустые представления, вселяющие в душу страх и суетное беспокойство. Поэтому мысль Навзифана становится еще более ясной. Требуя от философа активного участия в общественной и политической жизни, он считал необходимым при этом именно изучение физических наук, так как в общественной деятельности человек более всего должен быть совершенно свободным от пустых страхов и представлений.

Сочинение Филодема „О наблюдениях и суждениях" еще более подтверждает этот исключительный интерес Навзифана к логическим проблемам.

4) „О наблюдениях и суждениях" [2]). Это одно из самых замечательных произведений, какие нам оставляла древность Опубликованное в критической переработке Т. Гомперцом (Lpz. 1865) и окончательно восстановленное Филиппсоном только в 1910 году (в „Rhein. Mus."), это сочинение Филодема приобретает для нас существенный интерес уже по той причине, что о логике эпикурейцев нам в сущности ничего не известно. С другой стороны, до сих пор твердо укоренилось мнение, что отцом логики является Аристотель, и если проследить исторические корни и наслоения в эпикурейском логическом учении через Навзифана к Демокриту, то, не решая в том или ином смысле этого вопроса, следует отметить уже то обстоятельство, что высоко развитая логическая система Филодема, носящая несомненно сильнейшее влияние Навзифана, совершенно не зависит от Аристотеля, как это можно судить по отрывкам его риторики. Эта противоположность и независимость двух логических школ основана, разумеется, на полной гетерогенности их общих философских мировоззрений, но тем не менее в установившееся мнение о „логике" Аристотеля приходится вносить довольно существенный корректив.

---

[1]) Sudhaus, „Rh. M." 48, 328.
[2]) v. Arnim: ὑπὸ, μίαν δύναμιν.
[3]) Sudhaus, Philologus, 54 (1895) p. 90, col. 30 6 ff („Rh. M". 48).
[4]) Rhet. II, col 34, 10 ff. „Rh. Mus." 48, 332.
[5]) Об атомистике Навзифана нам ничего не известно. Ссылка у Döring'a Epikurs philosoph. Entwickl., Zeitsch. f. Phil. u. phil. Kr., 119, 5 на Diog. L. X, 6 повидимому ошибочна.
[6]) Col. 23, 1 Sudh. „Rh. Mus." 48, p. 326.
[7]) Diels FVS² B. 145, B. 151.
[8]) Diels FVS² II, 723.

[1]) „Rh. Mus." 48, p. 339.
[2]) В чтении заглавия следую Philippson'y—„Rh. Mus." 64 p. 9.—У него же история разночтений заглавия и их критика.

Сочинения Филодема „О наблюдениях“ есть — ни более, ни менее — как первый опыт индуктивной логики, построенной на основе строго эмпирического мировоззрения и „охваченный, по выражению Гомперца, одушевлением настоящего бэконовского духа“ [1]). „Кто стоит,— говорит он далее,— на той же почве исключительно эмпирического знания, кто убежден, что опыт и наблюдения являются единственными источниками нашего знания явлений вселенной, тот не без радостного и глубокого волнения, несмотря на все недочеты изложения и отклонения от истины, возьмется за это впервые пробужденное после двухтысячелетнего сна произведение. К тому же оценка его, как важнейшего очерка из истории развития научного духа, не зависит от той философской точки зрения, которую разделяет читатель или критик. Даже онтологу и противнику эмпирической философии—а почти ведь только ими и писалась до сих пор история философских взглядов — она открывает новые точки зрений и богатый исторический материал“ [2]).

Основные мысли Филодема, в сжатом фрагментарном обзоре, заключаются в следующем. Восприятия и основанная на них непосредственная очевидность являются критериями наших суждений об истине. Наши суждения об истине должны быть основаны, не на „опровержении“, но на таких явлениях [3]), которые сами по себе заключают необходимую очевидность. О том, что скрыто от нас, следует умозаключать на основе того сходства и различия, которые обнаруживает чувственное восприятие. Таким умозаключениям следует верить по аналогии так же, как верят самим явлениям, о которых свидетельствуют нам наши восприятия. Но умозаключение следует применять различно, смотря по тому, наблюдаем ли мы вид или род явления [4]), и таким образом от узких понятий следует переходить к более широким [5]). При этом не должно быть упущено ни одно сходство в явлениях, но, с другой стороны, может быть использован только такой признак (—„знак“—„черта“), который является общим и однозначным для ряда явлений [6]). Наше знание при всем этом не может ограничиться только чувственно воспринимаемыми явлениями; но, если мы хотим познать явления, неоткрывающиеся нам непосредственно, то мы должны исследовать те проявления или обнаружения этих скрытых от нас, нами неопознанных и может быт вовсе недоступных нашему познанию явлений, которые легко удостоверить чувственным восприятием. Следовательно, мы и тут от видимых вещей переходим к таким, которые являются порождениями скрытых от нас элементов [7]). При умозаключениях на основе единичных наблюдений,— при индукциях, как бы выразились теперь мы,—нельзя ограничиваться своими собственными личными наблюдениями, которые могут оказаться и часто оказываются случайными, но необходимо считаться и с опытом других людей, с наблюдениями, произведенными над теми же явлениями, но при других обстоятельствах. Но и чужие свидетельства нельзя принимать на веру, но „обдуманно взвешивать и пользоваться ими в упорядоченно-планомерном виде“. Из того, что существуют аналогические доказательства, нельзя заключать об их необходимости и целесообразности для научного исследования. Напротив, всякое аналогическое доказательство покоится в конечном счете на индукции, его достоверность основана в конечном счете на единичных наблюдениях [1]), точно так же, как и все виды умозаключений можно свести к умозаключению по сходству, наблюдаемому в чувственном опыте [2]). Фрагменты 4-ый и 5-ый, восстановленные Филиппсоном, трактуют о призрачности вторичных качеств и в связи с этим вопросом о критериях фантастических представлений.

Совершенно ясно, что в основе всех этих рассуждений лежит одна ясно осознанная предпосылка. Она заключается в строгом различении того, что существует по природе, и того, что существует условно. Это—демокритовская проблема нереальности „вторичных“ качеств; и, если привлечь к рассмотрению соответствующие места из „Риторики“ Филодема, где разбираются аналогические взгляды о сущности научного исследования и процесса обработки фактов, то становится ясным, кто бы мог познакомить Филодема с учением Демокрита. Я имею в виду столбец 18, строки 5—14 „Риторики“, обработанные Зудхаусом. Филодем цитирует Навзифана, который говорит, что понимание речи следует облегчать такими метафорами, которые проливают яркий свет на дотоле неизвестные предметы, и употребляемые образы должны не витать „в пустоте абстракции и условности (νομῶι καὶ κενῶι), но должны быть укоренены в природе вещей и основаны на близком знакомстве с ними“. Не говоря уже о том, что поразительное сходство здесь в самих выражениях, по существу в основе подобного хода мысли лежит демокритовское противопоставление: νομῳ и φύσει т. е. условно (—в „представлении“—„во мнении“) и по природе (—„реально“—„в истинности“—„в действительности“), выраженное им в известных словах: νόμῳ γλυκύ, νόμῳ ψυχρόν и т. д., т.-е. условно—холод; условно—теплота и т. д. Зависимость Навзифана от Демокрита, указанная выше в отдельных случаях, здесь подтверждается еще раз, но этот пример очень важен и для понимания филодемовой логики. Логические взгляды Филодема определяются положительным влиянием материализма Навзифана и в этом смысле для изучения они должны быть привлечены, хотя имя Демокрита в них и не упоминается ни разу.

5) Сочинение „О благочестии“ посвящено вопросу о „природе богов и верований“ в его эпикурейской постановке. В нем Филодем, как мы уже имели случай говорить об этом, раскрывают внутреннюю противоречивость народных представлений и мифов, затем критикует религиозные учения греческих поэтов и философов и, наконец, развивает эпикурейское понятие „благочестия“, опровергая доводы тех противников, которые обвиняли эпикурейцев в безбожности.

В этом сочинении Филодем только в одном месте останавливается на Демокрите. Это место, к сожалению, до самого последнего времени оставалось неразобранным. Судя по фотограф. снимкам, приложенным к гомперцовским „Herculanische Studien“, речь как будто идет (в отрывке 5 d 1428 D b) о полемике между эпикурейцем Метродором и Демокритом, если читать одно из главных трудно разбираемых слов, как „Метродор“, что и предлагал Гомперц [3]). На самом деле, после исследования Крёнерта („Колот и Менедем“) должно быть ясно, что речь идет о временах года (μεθόπωρον—а не М (ετρο) δορον—значит осень), а не Метродоре и богах θέρος, а не θεῖος—значит лето) [4]).

---

1) T. Gomperz: Herkul. Studien I, Lpz. 1865, S. XI.
2) Ib. S. XII.
3) „φαντασίαι“ вместе с Филиппсоном перевожу: „явления“.
4) fr. 2, p. 51 Gomperz.
5) Col. IV, 24 p. 21 Philippson („Rh. Mus.“ 64).
6) fr. 3, p. 52 Gomperz.
7) Philippson: „Rh. Mus.“ 64, p. 13.

1) Col. XXXV, 1—7, p. 449, 350, Philippson. Еще см. Col. VII, 26–32, p. 314, Philippson („Rhein. Mus.“ 65).
2) Col. XXXI, 8 сл. p. 38 Gomperz.
3) Hercul. Stud. II, p. 69. Интересную в этом пункте сравнительную критику текста у Гомперца и Крёнерта опускаю вовсе, ввиду безнадежности греческой корректуры.
4) Текст у Diels'a FVS², 365, 27.

Демокрит здесь останавливает внимание на временах года и созерцание чередования их связывает с возникновением религиозных чувств.

6) Другое сочинение Филодема, сохранившее один фрагмент Демокрита, носит название „О гневе". Оно было издано в 1864 году Гомперцом, „из жалких лоскутьев папируса, по выражению Кобэ, с замечательным искусством и счастливым остроумием местами дополнено и исправлено" [1]. Демокрит говорит, что „из сверхмерного гнева" возникает „зло, столь великое, какое только можно придумать".

Филодем еще во многом ждет своего исследователя — нефилолога. Для понимания Демокритовой философии изучение его сочинений необходимо, потому что об ученике Демокрита, Навзифане, нам известно только то, что сообщает о нем Филодем. С другой стороны, как это ясно из предыдущего, значение Филодема и Навзифана, можно видеть и в том, что они представляют незаменимый чрезвычайно ценный материал и для характеристики тех ближайших исторических судеб атомистической философии, через которые прошла система Демокрита, прежде чем стать основанием философии Эпикура.

§ 6. **Цицерон о Демокрите.** Литературная несамостоятельность Цицерона общеизвестна. То впечатление огромной начитанности, которое поражает всегда при первом чтении Цицерона, есть результат не положительного влияния древних философских школ на нашего автора, но той нерешительности, которая создавалась у него при сопоставлении различных часто отрицающих друг друга точек зрения. Скепсис Цицерона менее всего подсказан самостоятельным исследованием проблемы познания, критерия истинности, достоверности опыта и т. д. Он определялся с одной стороны всем предыдущим политическим развитием Рима, когда крушение его собственного политического идеала заставило его после победы Цезаря отойти от бурной кипучей действительности, как члена побежденной партии, и направило его мысль в том направлении, которое могло привести только к скепсису. Также и та сторона его философии, которой не коснулся скепсис, — практическая мораль, — носила в себе все те же черты, которые были призваны политическому крушению партии противопоставить нравственные устои философии здравого смысла.

Своим неувядаемым значением философские рассуждения Цицерона обязаны той ловкости, с какою последний познакомил современный ему Рим, т.-е. весь образованный Запад, с важнейшими образцами греческой философии. С точки зрения истории культуры, несомненно, „немного таких моментов, которые по своему значению могли бы сравниться с пребыванием Цицерона в его тускуланском поместье, в краткую эпоху единовластия Цезаря" [2]. Но вопрос о ценности свидетельств Цицерона о Демокрите должен быть, разумеется, поставлен в плоскости той узкой критики текста, в которой филология является надежным основанием для предварительного собирания и анализа сырых материалов и источников.

О том, что Цицерон является ловким плагиатором, как это пытаются утверждать некоторые историки философии, конечно, не может быть и речи. Не трудно заметить в его произведениях критическую иронию, свободную интерпретацию, смелые переходы от одного автора к другому, интересные обобщения. Но что касается литературной несамостоятельности, то он ее не отрицал и сам. „Я не просто перевожу, но защищаю сказанное другими, если оно мне нравится, стараясь подражать другим как в рассуждении, так и в порядке изложения" [1]. „В этом исследовании я излагаю не только мои мнения, но также и учения различных философских школ" [2]. Таким образом сам Цицерон признает, что одна часть его рассуждений есть не что иное, как перевод греческих образцов, имеющихся у него под рукой, а другая часть—подражание или изложение. Поэтому трудно установить в общем выводе, как относился Цицерон к своим источникам; его отношение к ним менялось в чрезвычайной степени в каждом отдельном произведении. Этим объясняется разнообразие и запутанность „точек зрения", „интерпретаций" и т. д., накопившихся в необъятной литературе о произведениях Цицерона и создавших, если хотите, даже самостоятельную область филологии. Трудность, понятно, еще более усугубляется тем, что от источников Цицерона до нас дошли лишь отрывочные, необыкновенно разрозненные фрагменты, так что само изучение Цицерона, как источника о Демокрите, уже предполагает серьезное знакомство не только с источниками самого Цицерона, но и с теми посредствующими звеньями, через которые проходили эти источники, пока они не попадали в руки Цицерона. Вот почему с точки зрения интересующего нас вопроса для нас представляет интерес не Цицерон сам по себе, — строго говоря он не вносит ничего нового в то, о чем сообщает, напр., Аристотель,—а те источники, из которых он черпал свои знания о Демокрите.

К числу таких „источников", от которых несомненно зависит Цицерон, относится Аристотель. Читал ли он, однако, произведения самого Аристотеля или его учеников, установить трудно. Правда, у Цицерона имеются недвусмысленные свидетельства об этом. „Я был однажды в моем имении в Тускулане, и мне понадобились некоторые книги из библиотеки молодого Лукулла; поэтому я поехал к нему в деревню (что часто бывало), чтобы самому взять их. Приехав туда, я застал там, сверх моего ожидания, Катона... Катон спросил меня: ты имеешь столь много книг и сам же просишь их?—Мне надобны некоторые комментарии к Аристотелю, которые, как мне известно, находятся здесь,—отвечаю я" [3]. „Будем придерживаться Аристотеля и его сына Никомаха", говорит Цицерон в другом месте [4]. С другой стороны, там, где Цицерон, изменяя своей обычной манере писать, пытается дать внутреннюю критику излагаемых учений сходство его критических замечаний с Аристотелевскими невольно останавливает внимание, так что можно даже подумать, что Цицерон списывал у Аристотеля. Напр. Аристотель пишет: „Левкиппу и Демокриту, утверждавшим, что первичные тельца вечно движутся в бесконечном пустом пространстве, следовало бы также сказать, что это за движение" [5]. И об этом же в другом месте: „они не указали ни природы движения, ни причины, его вызывающей" [6]. Цицерон пишет: „Я должен упрекнуть их обоих (Эпикура и Демокрита) в следующем: несмотря на то что при исследовании природы речь идет, во-первых, об исследовании вещества, из которого образуются вещи, а во-вторых, об исследовании той силы, которая вызывает само это вещество, они (Эп. и Дем.), подробно рассмотрев вещество, оставили совершенно без внимания создающую его силу". Аристотель в другом месте (de gen. anim.) пишет: „Демокрит учит, что вечно существующее и

---

[1]) Cobet, Mnemosyne, 1878, N. S. VI, p. 373.
[2]) Ф. Ф. Зелинский, Возрожденцы, I, Петербург, 1922, стр. 24.

[1]) De finibus bonorum et malorum, I 2, 6.
[2]) De finib., I 4, 12. См. еще de fin. I 2, 4. de deorum natura I 4, 7. de officiis I 1, 1 cf. Academica, I 3, 10, Tuscul. disputationes I 1 cf.
[3]) De fin. III, 2,7—10.
[4]) De fin. V, 12,12.
[5]) De coelo. 300, b 8.
[6]) Metaph. XII, 6, 1071 b 31.

безграничное не имеет предела, ибо оно не имеет начала". Цицерон повторяет: „это движение атомов не имеет начала, но пребывает в вечности".

Аналогичное впечатление можно вывести из сообщений Цицерона об Эпикуре и его философии. Можно подумать, что у него на руках были произведения самого Эпикура. По его словам, напр. (de deor. nat. I, 40, 113), Филон излагал учение Эпикура в тех же самых выражениях, в которых передавал последний. Или еще (там же, I, 26, 72): „Эпикур... как он говорит в своих произведениях".

Однако, как относительно Аристотеля, так и относительно Эпикура, подобное предположение было бы маловероятно. Не говоря уже о том, что сам Цицерон (в „Туск." II, 3, 8) указывает на то, что уже у самих эпикурейцев не имелись на руках сочинения ни Эпикура, ни Метродора, можно и из других источников удостовериться в том, что Цицерон цитировал Эпикура из вторых рук [1]). Напр., по Диогену Лаэртскому Эпикур в одном приводимом у Цицерона месте пишет Идоменею, а по Цицерону—к Гермарху [2]). Вот почему утверждать, что у Цицерона были на руках произведения самого Аристотеля или Эпикура, было бы очень поспешно. Напротив, некоторые отклонения Цицерона от Аристотеля чрезвычайно любопытны в том отношении, что они указывают на какие-то промежуточные руки, зависящие от Аристотеля и передающие последнего Цицерону. Я утверждаю, что такими непосредственными источниками Цицерона в его свидетельствах о Демокрите являются Теофраст, ученик Аристотеля, эпикуреец Федр и Карнеад с Клитомахом.

Цицерон не раз говорит о своей зависимости от Федра. „Если Федр и Зенон, которых я слушал, мне не солгали, то я могу считать себя хорошо знакомым со всем учением Эпикура. Я прилежно слушал обоих с нашим другом Аттиком, так как Аттик к ним обоим относился с уважением. Но он особенно любил Федра" [3]). В письме к Аттику Цицерон пишет: „пришли ко мне книги, о которых я писал тебе раньше, и в особенности Федра „О богах" и „Παλλάδος" [4]). Последнее слово толкуется различно. Первоначально так и читалось—παλλάδος (Orelli, Haiter-Kayser и др.). Гирцель принял его за имя одного из эпикурейцев и предложил читать et Ἀπολλοδώρου [5]). Но в литературе было уже правильно замечено, что транскрипция Цицерона не могла быть столь далекой от оригинала. Несомненно, здесь имеется в виду одно из произведений самого же Федра. Кроме сочинения о „Природе богов" для Филодема представляла бы интерес та область эпикурейского учения, которую Лукреций назвал „rerum natura". Но если это так, то несомненно трудно читаемое слово в его письме оказывается произведением Федра о „вселенной":—„et παντός" [6]), τὸ πᾶν у эпикурейцев, как известно, часто употреблялось вместо κόσμος, и сочинение Федра, повидимому, носило заглавие περὶ τοῦ παντός.

Сам Цицерон неоднократно говорит о своей зависимости и от Теофраста. „Нравится ли тебе, Цицерон, сочинение Теофраста о счастливой жизни?"—спрашивает его Пизон в соч. „О высшем благе и зле" и Цицерон отвечает: „Очень нравится" [7]). Далее он цитирует

[1]) Подробное доказательство у Carlo Giambelli: Appunti sulle fonte dell'opere filos. d. Cic., Riv. di filologia, XVI, p. 553.
[2]) De fin. II, 30, 96.
[3]) De fin. I, 5, 16.
[4]) Ad Atticus, XIII, 39, 2.
[5]) Hirzel: Untersuch. I, 218.
[6]) См. по этому поводу Ludwig Gurlitt: Ciceroniana, Philologus, 57, S. 399 сл.
[7]) De fin. V, 28, 85.

Теофраста,—фрагмент, не отмеченный Дильсом в его „доксографах" [1])—„Вся ценность философии,—говорит Теофраст,—состоит в том, чтобы утверждать счастливую жизнь; ибо мы все охвачены желанием счастливой жизни". Цитаты из Теофраста встречаются также в „Лукулле" (39, 123) [2]) и „Тускул. Собесед." (V, 9). Но более всего разительным доказательством зависимости Цицерона от Теофраста может послужить сопоставление текста „Лукулла" (38, 115) с фрагментами Теофраста. Из этого сопоставления, как показал Дильс [3]), совершенно ясно, что Цицерон следовал Теофрасту не только в порядке изложения, но и в характеристике отдельных философов.

Проведем, наконец, еще одну небезынтересную параллель: Цицерон и Секст Эмпирик. Не говоря уже о том, что и Цицерон и Секст, как на это обратил впервые внимание Гирцель [4]), в своей критике всегда связывают Демокрита с Эпикуром [5]), целый ряд свидетельств обоих писателей о Демокрите совершенно недвусмысленным образом совпадают.

Цицерон пишет (De deor. nat. I, 38, 107): „Но что это за образы, о которых вы говорите, и откуда вы их берете? От Демокрита исходят все эти произвольные утверждения, многие порицают его самого, и вам не откроется выход"...

Секст пишет о той же „произвольности" Демокрита (IX, 42 p. 400, 7): „Образы пребывают в чудесном окружении и имеют человекообразные формы, и вообще сам Демокрит все пересоздает в образах по своему, так, как он хочет".

Цицерон пишет (De deor. nat. I, 43, 120): „То он (Демокрит) утверждает, что боги суть образы, из божественности возникшие и присущие всем вещам, то он говорит, что это—разумные начала, пребывающие в этой же вселенной, что боги суть одушевленные образы, которые приносят нам пользу или зло, что, наконец, эти образы настолько велики, что охватывают весь мир извне".

У Секста (IX, 19): „Демокрит утверждает, что к людям устремляются некие образы; одни из них приносят добро, другие—зло... Они велики и сверхъестественны... Древние, рассуждая об этом, полагали, что они боги".

Два последних отрывка любопытны потому, что из них ясно, что Секст не списывал у Цицерона. Это ясно из того, что в то время как Цицерон смешивает два рода „образов" Демокрита: „образов" физиологии и „образов" теологии [6]), Секст Эмпирик подобной ошибки не делает. Тем не менее сходство текста остается. Кроме того, и порядок изложения во всем доксографическом интересующем нас отрывке у Секста почти совпадает с порядком изложения Цицерона (De deor. n. I, 42 сл.). У Цицерона—сперва софисты, неизвестные философы, которых он называет ii, затем Продик, Евгемер и Демокрит. У Секста—сперва софисты, затем неизвестные философы, которых он называет ἕτεροι, затем Эвгемер, Продик и Демокрит. Отсюда ясно, что Секст и Цицерон пользовались одним и тем же источником; но, как будет доказано ниже, Секст пользовался Клитомахом, и это наводит на мысль, не является ли Клитомах источником и Цицерона. И действительно это можно считать доказанным у Гирцеля относительно

[1]) De fin. V, 29, 87.
[2]) Dox. graeci, 492, 9.
[3]) Dox. gr., 119.
[4]) Hirzel: Untresuchungen zu Ciceres phil. Schriften.
[5]) Sext. VIII, 184, p. 327, 10; IX, 24, p. 396, 5; X, 181.
[6]) Ch. Gedicke: M. G. Cicer. hist. philos. antiguae, Berol. 1782, p. 71.

2-й книги сочинения о „природе богов“ [1]), и у Дильса относительно 2-й книги „Лукулла“ [2]). Но помимо того можно было бы сослаться на слова самого Цицерона. Напр., в „Тускул.“ III, 22, 54 он говорит: „читал книгу Клитомаха... там имеется рассуждение, написанное Карнеадом“. Эта тесная связь между Цицероном и Секстом может быть правильно понята в анализе оставшихся до нас произведений последнего.

§ 7. Секст Эмпирик о Демокрите.—Из работ Секста Эмпирика [3]), время жизни которого относят приблизительно к 200 годам после Р. Х., до нас дошли полностью „Три книги пирроновых положений“, затем сочинение „Против догматиков“, в котором автор свое скептическое оружие направляет против логиков и физиков, с одной стороны, а с другой—против этиков, и, наконец, сочинение „Против ученых“, в котором Секст свое скептическое мировоззрение пытается обосновать внутренней критикой риторики, грамматики, геометрии, филологии, астрономии и музыки. Эти сочинения Секста, из которых два последних принято объединять общим названием „Против математиков (Adversus mathematicos)“, т.-е. „Против ученых“, относятся к числу важнейших источников изучения Демокрита. Не следует, однако, забывать, что суждение Секста Эмпирика в сильнейшей степени окрашены его личным мировоззрением, как скептика. Обосновывая свой скепсис критикой догматических учений, он заинтересован в том, чтобы доказать древнее происхождение скептицизма, и с этой целью стремится выискать у более древних мыслителей близкие ему скептические идеи. С другой стороны, подобно всем своим современникам, он всецело зависит и от тех принадлежащих определенным школам источников, по которым он сам писал. Эти два обстоятельства заставляют относиться к свидетельствам Секста с некоторой осторожностью и критически проанализировать историческую связь и ценность использованных им авторов.

Уже первое беглое знакомство со свидетельствами Секста о Демокрите возбуждает некоторые сомнения в добросовестности его, как исторического свидетеля. Сомнительно, например, чтобы Демокрит употреблял скептическую формулу „ничуть не больше“ (т.-е. „ничуть не вероятнее того, чем есть“) [4]). Об этом никаких косвенных данных у нас нет, разве только то, что ученики Демокрита—Метродор из Хиоса и Анаксарх—развивали взгляды своего учителя в скептическом духе, но именно у последних подобного выражения мы не находим, между тем оно должно было быть чрезвычайно характерно для них [5]).

В сочинении „Против догматиков“ Секст критически разбирает догматические учения о критериях истины. Параграфы 46—260 заключают в себе богатейший доксографический материал. Повидимому, историко-философские сведения Секстом заимствованы из посидониевского „Комментария к Тимею“. Об этом говорит не только расположение материала, строго стоическое по существу, или та наивность подражания стоическому образцу, благодаря которой Секст не заметил, что в его сочинение попали стоические аргументы против скепсиса [6]). В § 93 он приводит цитату из Посидония, из которой ясно, что изложение всего учения пифагорейцев Секстом заимствовано из

[1]) Hirze: Unters. I, 243.
[2]) Diels: Dox. graeci, 121.
[3]) У меня всюду издание: Sextis Empiricus ex recensione Immanuelis Bekkeri, Berol. 1842.
[4]) Пирр. положения 213, p. 48, 12, Bekkeri.
[5]) Diog. L. IX, 58. Sext. Emp. adv. mathem. VII, 88 p. 208, 10, Bekkeri. Cf. Mann, Posidonius metaphys. Schriften (1917), 205.

посидониевского „Комментария к Тимею“. В связи с этим становится понятным происхождение и остального доксографического материала.

Достаточно внимательно вникнуть в самую тенденцию его критики, чтобы заметить, что оценка любого философского учения тенденциозно окрашена влиянием „платонизирующего стоика, который радуется, что нашел тождество логоса (напр., у Парменида) с демоном стоиков“ [1]). Поэтому заслуживают доверия все те свидетельства о Демокрите, в которых нет интерпретаций Секста, всегда субъективных и тенденциозных. В начале § 135-го ясно чувствуется, напр., субъективность критики, когда известные, звучащие скептически, выражения Демокрита Секст истолковывает в смысле полного отрицания чувственного внешнего мира. Также мало соответствуют историческим фактам те сопоставления Платона и Демокрита, которые неоднократно проводит Секст: Adv. mathem. VII, 117, 119, 141 и др. Здесь быть может более, чем где бы то ни было, у него сказывается влияние „платонизирующего стоика“, который, очевидно, видел в Платоне и Демокрите представителей одного и того же рационалистического образа мышления, истолковывая философию последнего в свете платонизма.

Что касается девятой книги сочинения „Против математиков“, где также имеется целый ряд свидетельств о Демокрите, то сведения Секста в этой части основаны на сочинениях Клитомаха, ученика и излагателя Карнеада. В этом нетрудно убедиться, обратив внимание на то, в какой связи у него цитируется Клитомах. Секст, правда, с самого начала делает оговорку, что он не будет критиковать религиозные представления в той форме, в какой это делал Клитомах, но это замечание, во-первых, указывает на тщательное или по крайней мере непосредственное знакомство Секста с сочинениями Клитомаха, а во-вторых, Секст отмежевывается от логического метода Клитомаха, а не от фактического материала, сообщаемого им со слов Карнеада [2]). Начиная главу, Секст оговаривается именно в этом смысле. Что касается фактического материала, то он всецело заимствован из Клитомаха, излагавшего философию Карнеада; об этом говорит он сам в § 182 [3]). Но если это так, то естественно спросить, заслуживает ли доверия Карнеад, как исторический свидетель о Демокрите.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратить внимание прежде всего на частые упоминания о стоиках у Секста Эмпирика. Такие ссылки, как—„говорят стоики“, „как это следует из стои“—самые обычные у Секста [4]). Есть основание поэтому думать, что Карнеад в своих лекциях часто ссылался на стоиков, опровергая их или излагая в той или иной связи, и Клитомах это и передал в своих записях. Диоген Лаэртский говорит, что Карнеад был хорошо осведомлен в трех школах—перипатетической, академической и стоической“ [5]). Он учился (говорит Диоген в другом месте) на сочинениях Хризиппа: „Если бы не было Хризиппа, не было бы и меня“ [6]), говорит Карнеад у Диогена. Между тем нам уже известно, что стоики близко стояли к подлинным произведениям ионийских натурфилософов и, в частности, также Демокрита. Заглавия их сочинений, посвященных специально критике философии Демокрита, но не дошедших, к сожалению, до нас, мною уже упоминались в самом начале этого очерка. Таким образом, по-

[1]) Ib. 208.
[2]) Hartfelder, „Rh. Mus.“ 36, 230.
[3]) p. 429, 8, Bekkeri.
[4]) Ib. § 109, 131, 211, см. Hartfelder, „Rhien. Mus“. 36, 232.
[5]) D. L. IV, 67.
[6]) D. L. IV, 62.

скольку речь идет о цитатах из Демокрита, все свидетельства Секста заслуживают доверия.

В этом можно убедиться, если рассмотреть и другой круг источников или, вернее, авторов, не имеющих прямого отношения к Сексту, как писателю, но идейное влияние которых не может подлежать сомнению. Я имею в виду Пиррона и его ближайших учеников. Пирроном не случайно, разумеется, интересовался Эпикур [1]). Пиррон очень часто касался в своих лекциях Демокрита и вспоминал его часто вне лекции [2]). Пиррон был в близких отношениях с демокритовцем Анаксархом; он сопровождал последнего в Азиатском походе Александра [3]). Слушателями Пиррона были такие близкие к Демокриту и его учению философы, как Навзифан, учитель Эпикура, и Гекатей Абдеритский [4]). Кроме чисто внешних хронологических отношений о близости Пиррона к Демокриту говорит и, взятое в своем существе, его философское мировоззрение. Напр., скептицизм в начальной стадии своего развития был не чем иным, как односторонним развитием некоторых скептических выражений Демокрита. Кроме того, знакомство с Демокритом ясно чувствуется в тех отрывочных фрагментах Пиррона, которые сохранил Диоген Лаэртский. „Все, что делают люди, они делают условно и по обычаю“ (IX, 61),—Пиррон употребляет здесь чисто демокритовское выражение νόμῳ. То же поразительное сходство с Демокритом мы находим в терминологии ближайшего последователя Пиррона—Тимона,—последний говорит: „Мнение о случайном опрометчиво и у с л о в н о“ [5]). Его произведение носит заглавие „ἰνδάλμοι“, „призраки“, „кажущееся“. Это слово встречается еще только в одном месте—в письме Демокрита к Гиппократу [6]), в котором он, повидимому, употребляет его в том же смысле, как и εἴδωλα. Небезынтересно также отметить, что в своих язвительных стихах σίλλοι, Тимон беспощаден со всеми философами и с некоторым уважением относится лишь к одному Демокриту.—Таким образом скептическая школа, которую прошел Секст, создавала такие исторические традиции, которые заставляют относиться с доверием к свидетельствам Секста во всех тех случаях, когда последний отказывается от интерпретации и ограничивается лишь цитированием Демокрита,—обстоятельство, которое выгодно отличает Секста от Аристотеля.

Секстом Эмпириком заканчивается ряд тех греческих ф и л о с о ф о в, которые являются источниками изучения Демокрита. Значительная часть философских произведений, имеющих непосредственное отношение к атомистической философии, излагающих последнюю или направленных целиком против нее, до нас не дошла и, повидимому, навсегда потеряна. Но и сохранившиеся фрагменты представляют для нас чрезвычайно важное значение, поскольку все предыдущее сказанное в ряде специальных анализов доказывает их подлинную принадлежность Демокриту.

Гр. Баммель.

---

[1]) D. L. IX, 64.
[2]) D. L. IX, 67.
[3]) D. L. IX, 61.
[4]) D. L. IX, 69.
[5]) Eusebii praep. ev. XIV, 18, 15; H i r z e l, Unters. III, 15, 1.
[6]) H i r z e l, op. cit. III, 21, N a t o r p: Forschungen, 259.

Ответ одному из талмудистов.

„Вестник Социалистической Академии“ отвел полсотни страниц И. Разумовскому, который собрался поведать миру свои „соображения“ о сущности идеологического мышления. [1])

Конечно, дело „Вестника“ распоряжаться своими страницами, но право же ни одному журналу не дано эксплоатировать без меры время своих читателей. Если „Вестник“ не жалеет своих читателей, пусть пожалеет нас—ведь на подобные статьи И. Разумовского мы никогда не ответили бы, если бы не уважали „Вестник“. Пусть же наш читатель рассматривает мой ответ, как скромный акт внимания к органу нашей академической мысли.

Я чувствую органическую ненависть ко всему, что носит на себе печать школьного, академического и уж никогда не занимался талмудистскими доказательствами „от священного текста“, но теперь, читатель, нам придется несколько запастись терпением, ибо мы имеем перед собой контрагента, который думает взять нас осадой... фолиантами Маркса и Энгельса.

Статья является в некотором роде откликом на наш спор с тов. Адоратским [2]). Так как читателям нашим известна суть спора (ибо как статья Адоратского, так и мой ответ был помещен в нашем журнале), то я напоминать не буду и перейду прямо к Разумовскому.

По его мнению, тов. Адоратский „с м е л о“ и весьма кстати поставил вопрос: „Смело потому, что для этого приходилось рвать с обычным словоупотреблением, отказываться от некоторых из него вытекающих теоретических выводов, разойтись в этом вопросе с б о л ь ш и н с т в о м м а р к с и с т с к и х т е о р е т и к о в и обратиться к самым корням маркс-энгельсовского мышления. Весьма кстати—и б о только сейчас н а ч и н а е т с я г е н е р а л ь н ы й п е р е с м о т р доныне мало и з в е с т н о й и н е п р и с т у п н о й области психологии, в которой проблема образования и развития идеологии является одной из основных, если не самой важной проблемой“ [3]). Насчет смелости тов. Адоратского я плохой судья, ибо, по моему мнению, смелость смелости рознь. Ведь смело и со стороны И. Разумовского, по-

---

[1]) „Вестник Соц. Академии“ № 4 за 1923 г.
[2]) См. „Под знаменем марксизма“ № 11—12 за 1923 г.
[3]) „Вестник Соц. Академии“, № 4 за 1923 г., стр. 223.

жалуй, в неменьшей мере, чем Адоратского, разразиться такой большой статьей с таким малым багажем, это смелость печальная. Но ежели я плохой судья в вопросе о смелости—не значит еще, что он хороший судья в остальных затронутых им проблемах, наоборот. Наши разногласия начинаются у самого порога. Разумовский думает, что именно сейчас пора подумывать о пересмотре словоупотреблений „большинства марксистских теоретиков", ибо только сейчас начинается генеральный пересмотр доныне мало известной и неприступной области психологии, (рязрядка моя. *В. Р.*) в которой проблема образования и развития идеологии является одной из основных, если не самой важной проблемой. Почему эта „область" психологии—была мало известной и неприступной областью. Кому как давалась она! Одним она казалась известной и задолго до появления книжек современных пифий, иной ведет историю психологии с достопримечательной книжицы некоего достопочтенного мужа; отсюда и те „незначительные" разногласия, которые на этой основе возникли. Так, например, те, кому эта область психологии была известна и доступна ранее, чем обрело дар речи невежество, те знали, что вопрос о происхождении и развитии идеологии есть в громадной степени вопрос социологический и поэтому искали его разрешения там. Другие же, которым еще долго не научиться ходить между трех сосен, почему-то обратили взоры свои к психологии, т. е. к области, которая менее всего имеет отношение к обсуждаемому вопросу. Речь идет, ведь, о возникновении и развитии общественных понятий и представлений.

Возникновение, образование и развитие понятий и представлений каждого индивидуума в отдельности есть действительно предмет изучения психо-физиологии. Другое дело класс. Процесс образования и развития понятий и представлений этой суммы людей, и не простой суммы, а составляющая целое единством экономических интересов, есть процесс социологический. Это то, что не понимает Разумовский.

В вышеприведенной фразе он себя выдает головой, заявляя, что вопрос об образовании и развитии, понятно есть некая „неизвестная доселе" область психологии, чем он сам подчеркивает свою малую причастность к марксизму злее, чем это мог бы сделать кто-нибудь. Ибо ни Маркс, ни марксисты никогда в своих исследованиях не исходили от единицы, в данном случае от индивидуума. Исходной точкой для марксиста не может служить взгляд и мнение индивидуума о происхождении своих идей. Дело психологии заниматься изучением „сознания человека"; дело марксиста-обществоведа заниматься классом, обществом и происхождением его понятий и представлений. Тогда, когда марксист становится на эту единственную научную точку зрения—для него психология—лишь помеха. Мы принадлежим к числу тех людей, которые осмелились до И. Разумовского знать социологию и там именно ищем решения интересующей Разумовского проблемы.

Разумовский хочет „иметь своего Маркса", по счастливому выражению О. Бауэра: Не „исправить" и „дополнить", но понять и притом осмыслить Маркса в его непосредственности—отнюдь не в передаче даже наилучших его истолкователей" [1]). Это очень туманно сказано: что означает понять своего учителя „в его непосредственности" — одному ему ведомо. И почему такая боязнь „наилучших" истолкователей? Кто такой „наилучший истолкователь"? Тот, кто лучше всех развивает учение своего учителя. Звать „итти дальше" Плеханова и „брать глубже" его и бояться одновременно проделанной им теоретической работы,—какой же мудрец поймет его!

Если вообще во вводной части имеется какая-либо мысль, то она так хорошо скрыта, что и вражий глаз ее не разыщет.

Но перейдем к сути дискуссии.

Идеология—не синоним „надстройки", последнее шире, не совпадает она также с мировоззрением, которое значительно шире нее: „Идеологическое воззрение (ideologische Anschauung)—это лишь один из типов мировоззрения вообще" [2]). Так, но все-таки что же она есть. Разумовский не любит прямых ответов и определений. Определить, значить ограничить, а у него такая беспредельная... неясность в мыслях, что сразу ее не приведете в порядок, сразу ее не включите в определенные рамки. Поневоле мы должны следовать за ним, стараясь сделать ясным то, что он сам себе недостаточно уяснил. „Идеология возникает на почве понятий и представлений, присущих к какому-либо отдельному, обычно господствующему классу: экономические отношения неизбежно ведут к идеологическим представлениям. Но совокупность понятий и представлений класса, классовое сознание, его „строй идей", еще не образуют идеологию в полном смысле этого термина. Необходимо, чтобы классовые предрассудки и понятия были приведены в систему теоретизирующим идеологом, устраняющим из системы все противоречащее основным принципам и этим самым стушевывающим слишком резкое материальное противоречие. Идеология не непосредственное классовое мышление, но скорее искусственный продукт его, отдаленное отражение" [3]).

Разберемся несколько. Разумовский пишет в другом месте своей статьи: „Сознание уже по самой природе своей „идеологично", если в этой фразе можно было сомневаться, имея в виду то, что он вкладывает в последнее понятие, то теперь сам он блестяще иллюстрировал свое положение собственным своим мышлением. На самом деле. „Необходимо, чтобы классовые представления и понятия были приведены в систему теоретизирующим идеологом, устраняющим из системы все противоречащее основным принципам и этим самым стушевывающим

[1]) „Вестник Соц. Академии" № 4 за 1923 г., стр. 223.
[2]) „Вестник Соц. Академии" № 4 за 1923 г., стр. 250.
[3]) „Вестник Соц. Академии", № 4 за 1923 г., стр. 252.

слишком резкие материальные противоречия". Здесь, что ни слово, то настоящее откровение. Он не понимает, что если бы идеолог производил *такую работу*—то он менее всего был бы человеком с неправильным представлением и понятием, наоборот, он обнаружил бы этим, что ему прекрасно известны силы, действующие в обществе, для того, чтобы он мог проделать подобную работу (т.-е. по мнению Разумовского, превратить понятия в идеологию) необходимо, чтобы он имел ясное представление о подлинных пружинах общественного развития, *чего у него на самом деле нет*.

В том то и все дело, что сумма понятий и представлений данного идеолога превращается в некое звено, кажущейся ему цепи идеологических систем прошлого абсолютно без участия его сознания, иначе нужно было бы предположить, что данный идеолог имеет *правильное* представление о связи своих понятий с действительностью, но их он сознательно подчиняет своим корыстным классовым интересам—что прямо противоречит исторической истине.

Вот для примера возьмем тех же самых французских материалистов. Они выражали точку зрения и интересы *буржуазии*, их понятия прямо и непосредственно были обусловлены их буржуазным бытием. Однако, французские материалисты и не подозревали о связи своих идей с потребностями третьего сословия. Они выводили свои идеи из принципов и вечных истин. Можно ли утверждать, что французские материалисты были „теоретизирующими идеологами", которые занимались устранением из „системы всего противоречащего основным принципам"?

Конечно, это сплошная чепуха.

Противоречие с „основным принципом" устаряется очень сложным путем, при котором подвергаются изменениям—с целью приспособиться к „принципам"—не одни „понятия" и „представления", но каждый раз подобные столкновения приводят к тому, что сам основной принцип подвергается фундаментальному изменению. Разумеется это изменение „основного принципа" подчиняется очень известному социологическому закону, по которому „бытие определяет сознание", а не наоборот.

Тот факт, что и „сам основной принцип" меняется, *развивается* и в своем развитии подчинен законам социологии,—лишний раз подчеркивает, что методологический прием дубоватых рассуждений по схемам,—абсолютно не годится.

Но преодолеем естественное нетерпение и разберемте—приведенный отрывок далее; другой вывод, который напрашивается сам собой это то, что идеология вторичное явление, она возникает лишь имея в основе определенные *представления и понятия*, засим появляется *идеолог*, который и создает уже, путем устранения из системы представлений данного господствующего класса „все, противоречащее основным принципам", — самую идеологию. Но откуда же взялся этот идеолог, который должен по замыслу нашего мудрейшего

новатора вывести его из затруднения, создав из „представлений и понятий"—идеологию? Идеология, говорит И. Разумовский, не непосредственное классовое мышление, но скорее искусственный продукт его, „отдаленное отражение"—сказано превосходно! Следовательно непосредственное классовое мышление *не есть идеология*.

Почему?

Что такое непосредственное классовое мышление? То, которое непосредственно обусловливается классовым бытием. Но такое мышление ни в какой мере не гарантировано от того, что его *носитель* не „будет сознавать" связи его с „действительностью". Наоборот, чаще всего именно подобного рода „непосредственное" мышление страдает излишней страстью к подыскиванию родства себе в областях „принципов". Всякого рода „право"—тому блестящий пример. Разве все оно не является „непосредственным классовым мышлением"? Однако, никто так не тоскует по „принципам" как какой-нибудь рыцарь юриспруденции, а уж о демократах и говорить нечего — те никогда не спускают с уст методоточивых фраз о „вечных истинах", неизменных правах человека" и т. д.

Непосредственное классовое мышление можно толковать и иначе. Его можно понимать как мышление того или иного класса, во всей его градации—начиная от непосредственно-обусловленного бытием и кончая наиболее отдаленными от него,—еще не подвергнувшееся *вторичной* обработке, так сказать добавочного отражения; о том, что второе понимание более подходит к тому, что хотел выразить И. Разумовский, показывают дальнейшие строки: „Нужно еще определенное внешнее оформление, систематизация, чтобы из этого отражения развилась и внешняя идеология. Потребности господствующего класса, условия его борьбы в большей или меньшей степени способствуют развитию идеологических представлений. В зависимости от степени отвлеченности и бессознательности выражения классовых возвраний, теоретического оформления в большей или меньшей степени является идеологией" [1]). Так, следовательно, определенный экономический строй по известной концепции Маркса вызывает к жизни определенную надстройку, систему представлений и понятий, которые сами по себе—по мнению И. Разумовского—отнюдь не являются идеологиями, а лишь „непосредственным классовым мышлением", и лишь по нужде господствующие классы „в большой или меньшей степени" превращают их в идеологии.

Тут все, что угодно, только не то, что говорил Энгельс. Тут есть и путаница понятий, и положительный туман в мыслях, ясно неумение излагать свои мысли и отсутствие логики, но нет самого главного—знания тех основ, на котором Маркс и Энгельс строили свое громадное учение. Зачем, дружище, путаться в трех соснах, не умеете мыслить, не беритесь за перо. Происхождение идеологии, видите ли

[1]) „Вестник Соц. Академии", № 4 за 1923 г., стр. 252.

его интересует, так он водит своих несчастных читателей по неосвещенным коридорам своей мысли, для того, чтобы, в конце концов вывести их в... пустую комнату. Вместо этого бесплодного занятия не проще ли было бы просто обратиться к Марксу, открыть его предисловие к „Zur Kritik“ и прочесть его повнимательнее. Там он вычитал бы много для себя полезного и в том числе следующий, небезынтересный для нас отрывок: „С изменением экономического основания более или менее быстро преобразуется и вся громадная надстройка над ним... При рассмотрении таких революций следует всегда иметь в виду разницу между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно определить с естественно-научной точностью, и юридическими, политическими, религиозными, художественными или философскими, словом, идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт и во имя которых борются. Как нельзя судить об отдельном человеке по тому, что он о себе думает, точно так же нельзя судить о такой революционной эпохе по ее сознанию; скорее это сознание следует объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями“ [1]). Обратите внимание на то сравнение, которое приводит Маркс; сознание революционной эпохи он сравнивает с мнением человека о самом себе, идеологией революции (ибо ведь из вышеприведенного совершенно ясно, что Маркс называет идеологическими те формы, в которых люди воспринимают действительность, а эти формы суть юридические, политические, религиозные, художественные, философские), которая всего менее сознает свою связь обусловленности с действительностью и больше всего обнаруживает тенденции связать себя и свое сознание с каким-либо общим принципом. Самое замечательное в этом сравнении это то, что оно сразу открывает нам подлинное мнение Маркса на этот вопрос. Существеннейшая и отличительная черта подобного сознания—его субъективность. Действительно, самым субъективным является сознание революции; именно в эпоху революционных потрясений всего более сознание обнаруживает тенденций переоценивать значение принципов и учений. Следует ли из этого, что в такие революционные эпохи вся сумма понятий и представлений — идеологична в смысле Адоратско-Разумовском? Тогда неверно, нелепо и ненужно понятие „непосредственно классовое мышление“, ибо оно отрицается фактами; и далее не следует ли из этого же отрывка, что проблема происхождения идеологии (или того, что называют упомянутые два товарища этим словом) есть проблема социологическая—отнюдь не психологическая?

Разумеется следует. И не только это—из приведенного отрывка совершенно ясно, что Марксу не было ведомо деление на идеологии

[1]) К. Маркс.—К критике полит. экономии, стр. 39.

и непосредственно классовое мышление, ибо он никогда не ставил вопрос о происхождении идеологии (суммы понятий и представлений) в связь с вопросом о сознании носителя идеологии — он и самое сознание носителя идеологии считал вопросом социологии и решал методами и при помощи законов ее.

Понять, чем обусловлена субъективность сознания — означает объяснять ее исходя из основного положения социологии формулированного в том же самом предисловии. „Способ производства материальной жизни обусловливает собой процесс жизни социальной политической и духовной вообще. Не сознание людей определяет собой их бытие, но, напротив, общественное бытие определяет их сознание“ [1]).

„Хорошо,—ответит мне Разумовский,—все это мне превосходно известно (мало ли что ему не известно!), но это не решает главного вопроса, над которым я и бьюсь. Ведь в том же предисловии Маркс же говорит: что „правовые отношения, наравне с формами государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, но скорее коренятся в материальных условиях жизни“, и т. д. [2]). До-марксово обществоведение ведь строило же целые философии о происхождении правовых отношений, государственных форм и т. д. „из самих себя“, скажем.

Строило. И по сей день огромная часть т.-н. „науки“ развивается именно под этим самым знаменем формализма, т.-е. попытки смешать форму и содержание и, ища генезис формы, закрывают перед собой всякую возможность понять генезис содержания и реальной значимости данной идеологии, данной суммы представлений и понятий — скажем словами Разумовского. Чтобы нас не пытались ловить в проивопоставлении формы содержанию,—в чем мы менее всего грешны,—два слова в объяснение этой моей мысли.

Данная идеология, раз возникнув, продолжает жить и развиваться, подчиняясь закону всякого движения – диалектике, но было бы жестокой ошибкой думать, что тут развитие происходит путем развития явления из самого себя, без участия иных факторов. То противоречие, которое ведет самую идеологию вперед, есть не что иное, как противоречие между формой и содержанием, между старой формой и новым содержанием, противоречие, которое приводит при столкновении и к обновлению формы. Новое бытие возникнув, вкладывает в старые формы новое содержание, меняет содержание старой формы и тем самым создает вышеупомянутое противоречие. Самое изменение содержания совершается независимо от носителей идеологии, или было бы точнее сказать „за их спиной“, употребляя выражение Маркса, которые—именно потому, что форма устойчива—начинают думать по-новому, продолжая считать себя верными блюстителями старых воззрений и старых принципов до определенного момента, когда

[1]) К. Маркс.—К критике политической экономии, стр. 38.
[2]) Там же.

противоречие между новым содержанием и старой формой и приводит к изменению формы, приспособлению ее к новому содержанию. Процесс этот независим и бессознателен, он есть отражение процесса, что означает тем самым, что он опаздывает от бытия, от аналогичного развития в действительности. Это и понятно, если всякая идеология—сумма знаний, представлений и понятий—всегда является отражением действительности. То совершенно понятно, что никакого идеолога мифического и неизвестного происхождения не нужно для того, чтобы объяснить тот очень понятный процесс, что идеология—сумма понятий и представлений людей,—будучи сама по себе обусловлена жизнью, не сознает своей связи с ней.

Это явление не психологическое, а социологическое, о чем мы выше говорили уже достаточно.

Но Разумовский не унимается, он хочет доказать, что без этого „неизвестного звания и чина" идеолога никакая идеология немыслима.

„Лишь отвлеченное выражение классового мышления, в замаскированной и систематизированной форме, бессознательное для самих идеологов, становится идеологией. Поэтому (!—*В. Р.*) идеологии, немыслимы без идеологов (О, боже, сколько мудрости!—*В. Р.*) а стало быть, без существования особой сферы „духовного производства"—„отвлеченного мышления" [1]). Тут он вспоминает о существовании разделения труда, которое должно его спасти, наконец.

Ни одна страница его статьи не ведает, что хранит на себе другая. Всего двумя страницами выше он говорил о том, что некий идеолог „приводит в систему", а тут вдруг бессознательное для самих идеологов превращение. Почему ему понадобился этот беспаспортный каторжник-идеолог—читатель не может сразу понять, но

... Умысел другой тут был—
Хозяин музыку любил.

Разумовскому он очень нужен, хотя бы для того, чтобы он дал ему возможность как-нибудь свести концы с концами.

„Идеология, как систематическое мышление, естественно получает свое оформление в головах идеологов. Но далеко не каждый литературный и политический представитель того или иного класса является идеологом, вернее сказать, не всегда и не в полной мере он оказывается им. Идеологом он может быть в большей или меньшей степени в зависимости от своего понимания действительных отношений и своей связи с этими действительными отношениями и действительными интересами класса. Основная черта идеологов—субъективная искренность, бессознательное для самого себя выражение представлений и интересов какого-либо класса: идеологу представляется, что он исходит из „принципов", а вовсе не из материальных интересов. Идеологом он становится невольно. Сознание же действительных отношений и своей собственной роли превращает идеолога в апологета и сикофанта и лишает идеологический процесс большинства его характерных особенностей" [1]).

[1]) „Вестн. Соц. Академии", № 4—за 1923 г., стр. 255.

Любопытное построение, не правда ли? В некотором роде даже получается живописно; такой художественный беспорядок мыслей способен привести в умиление какого угодно футуриста. Судя по выше приведенному отрывку, Пуанкаре, скажем, должен вызвать величайшее смущение Разумовского: с одной стороны он строит свою политику на самых что ни на есть возвышенных принципах, он даже себя считает прямым и непосредственным наследником Вел. франц. рев. и хотя он благочестиво возмущается террором Робеспьера, но никогда не отступал от „принципов" „славной" революции. Что! Он даже не прочь сегодня на старости лет тешить себя воспоминаниями о „Liberté, égalilé fraternité!" и был бы глубоко оскорблен, ежели какой либо неосторожный человек сказал ему невзначай, что вся его политика есть не что иное, как отражение интересов французских банкиров и крупной буржуазии.

Как будто „идеолог",—ан не тут-то было; а Рур? Оккупируя Рур, разве Пуанкаре не понимал „действительных отношений"? Прекрасно знал и именно потому и оккупировал его, что знал „действительные интересы" своего класса. И. Разумовский думает выскочить из этого положения через ту щель, которую он себе оставил: „он мол идеолог в большей или меньшей степени". Нет, оставим-ка полуслова и полуутверждения, поговорим еще о Пуанкаре; с другой стороны разве его „понимание действительных интересов" так-таки и является совсем „действительным"? Мы теперь знаем, что он интересам сегодняшнего дня,—которые кстати сказать не всегда сходятся с интересами эпохи—принес в жертву длительные интересы своего класса, а это получилось не только от того, что Пуанкаре ослеплен жадностью, но и от того, что он не имеет представлений о настоящих пружинах развития общества—это сокращает ему горизонт пределами сегодняшнего дня. Это делает его ошибку неизбежной, превращает его в чрезвычайно близорукого—с точки зрения исторической—политика. Так кто же он—идеолог или сикофант?

И с другой стороны возьмем Ленина—гениального предводителя, полководца пролетариата (этого, надеюсь, доказывать не надо.); вся его сила в понимании действительных отношений, а это понимание он достигал при помощи умственного инструмента, называемого марксистским методом—нужно полагать, что по мнению И. Разумовского, Ленин благодаря марксизму из идеолога (или не превратившись в идеолога) стал сикофантом пролетариата. Что ж, и то хорошо, что он хоть в сикофанты попал.

[1]) Там же, стр. 254.

Если в зависимости от того, понимает ли данный представитель умственного труда „действительные отношения", или нет, он может быть либо идеологом, либо „сикофантом" (вот уж чего мы не знали, так не знали!), то спрашивается все-таки, откуда же взялся тот первый идеолог, который ради облегчения задачи И. Разумовского, превратил понятия и представления в идеологию?

Разумовский не замечает, какое непреодолимое противоречие скрыто в этом утверждении, и как это противоречие одно делает новый термин, изобретенный (в его настоящем виде) тов. Адоратским и И. Разумовским, и ненужным и вредным. Борьба классов всегда отражалась в сознании людей, как борьба идей, и лишь революции обнажали самую голую классовую сердцевину ее. Боролись фактически угнетенные классы против господствующих, а в сознании оно отражалось как борьба новых идей со старыми. Мы умеем искать научное объяснение этой борьбы и борющихся сторон. Но каково положение Разумовского? Кто же из этих двух контрагентов, противостоящих друг другу на протяжении всей истории человечества, является идеологами, и кто сикофантами. Кто ведает этим странным превращением из сикофанта в идеолога и обратно.

Пусть И. Разумовский размышляет пока над этими „вопросами", а мы пойдем далее.

Если не все люди умственного труда идеологи, то оказывается что не все „ныне принявшие идеологические формы области сознательной жизни всегда являются и будут являться такими идеологиями. Политика, право, религия, искусство, философия и т. д. — все это виды идеологии со времени разделения труда и, в особенности, в эпоху классовых противоречий. Но не все эти области и не всегда суть идеологии — в строго марксово-энгельсовом смысле этого термина. При ином, не идеологическом, реалистическом мировоззрении—право и нравственность, искусство, философская методология перестают быть идеологиями и превращаются в сознательное отражение материальных условий жизни. „Идеологизм" остается в них лишь постольку, поскольку он неизбежно свойственен в некоторой доле жизни сознания вообще"[1]). Будем последовательны. Идеологизм в некоторой доле свойственен жизни сознания, т.-е., говоря на понятном читателю языке, сознание—сумма понятий и представлений—в некоторой доле всегда будет искажать действительность. Это не так неверно, как это может показаться. Во всяком случае, элемент субъективности, о котором говорил Маркс, останется в нем несомненно, но дело не в этом, а в том, что, по мнению Разумовского, при некоем ином мировоззрении сумма представлений и понятий перестанет быть идеологией и станет сознательным отражением материальных условий жизни. Но что означает последнее „отражение"? Оно означает ни более, ни менее, что носители этого отражения будут сознавать связь своих представлений и понятий с материальными условиями жизни. Чтобы было еще более понятно, он приводит пример: „Разумеется, было бы метафизикой разделять на „идеологические" и „неидеологические" целые художественные эпохи, но несомненно, что в различное время искусство в большей или меньшей степени носит идеологический характер, что менее всего художественной идеологией было проникнуто первобытное искусство, и что ее вовсе не будет в искусстве будущего, тесно связанном с действительностью и с материальным производством"[1]). Нужно ли комментировать эту выписку? По моему, она совершенно достаточна для того, чтобы пролить яркий свет на то безнадежное состояние, в котором оказался Разумовский; я только напомню читателю, что, по его мнению, носитель искусства должен выражать эту связь с действительностью и материальным производством. Представьте себе, читатель, будущего поэта, поющего прелестные очи своей возлюбленной и сознающего свою тесную связь с действительностью и материальным производством в этот момент: и поэт, и возлюбленная, и читатель хором прокляли бы Разумовского, если бы по наговору его какой-либо злой рок обрек их на такое невозможное занятие. Или по мнению Разумовского лирика сама по себе есть род искусства, характерного только для идеологической эпохи? Да и кроме того, у читателя совершенно естественно тут же возникает вопрос: что это за мифическое „реалистическое мировоззрение"? откуда оно взялось? Нужно полагать, что этот „иной" не означает нечто еще несуществующее, ибо ведь и теперь есть и было в прошлом не мало систем понятий и представлений, правильно отражающих действительность. Правильное отражение не зависит от сознания о нем носителя идеологии. Идеология правильно отражает действительность, когда она ускоряет темп развития ее, способствует обратным влиянием победе наипередовому в ней. Скажут мне тут, что идеология господствующего класса не менее правильно отражает действительность, т.-е. точку зрения его. Это верно. Но встает вопрос о „действительности" и вместе в ней господствующего класса, о действительности отжившего.

Если действительно считать все существующим, то, разумеется это возражение резонное. Но ведь существующее существующему рознь.

Не следует ли припоминать при этом старика Гегеля? В его словах и знаменитом положении было много глубокого смысла, много истины.

Во все времена существования классового разделения общества существовали два (по крайней мере) противоположных мировоззрения; временами бессознательно, временами сознательно они противостояли друг другу. Если точка зрения господствующего класса в перечислен-

[1]) „Вестник Соц. Академии" № 4 за 1923 г., стр. 261.

[1]) „Вест. Соц. Академии", № 4, 1923 г., стр. 256.

ных Разумовским областях „сознательной жизни" была идеологической, значит ли другая точка зрения (противоположная)—реалистическая? Это не какой-нибудь праздный вопрос, это тот самый основной методологический по существу вопрос, к которому, в конце концов, и надлежит свести весь спор.

В годы буржуазной революции противостоят друг другу, в области господствующего права, скажем, феодально-монархические правовые понятия дворян и буржуазно-демократические—третьего сословия. Как носители первых, так и вторых не сознают связь, почти непосредственную обусловленность их представлений—классовой борьбы в стране; феодалы взывают к небу, третье сословие облачается в одежду героического прошлого, один класс господствует, другой идет к господству.

Адоратский прямо причислит их всех в идеологи—и конец разговору, тут для него даже нет проблемы. И. Разумовский же должен был бы несколько призадуматься, если бог дал ему на то достаточно возможности.

Разумовский не понимает, что и вопрос о соответствии или несоответствии представлений и понятий действительности данного класса в конце концов вопрос социологический.

Несмотря на то, что формально оба лагеря мыслят одинаково отвлеченно, имеют „превратное и искаженное" представление, однако, третье сословие несомненно побьет дворянство, и роль „идеологии" в этой победе будет далеко не из последних.

Французские материалисты имели очень смутное представление о связи их учения с происходящей борьбой классов, однако, в Вел. франц. рев. они ни в коей мере не были последней спицей в колеснице.

Одно искаженное представление непременно побеждает, а другое погибает. Вопрос о правильном или неправильном отражении действительности решается именно в этом бою, где по существу и устанавливается, что есть действительное и что призрак. Те самые законы, которые управляют победой, в этом бою управляют и развитием сознания.

Отсюда прежде всего вывод: общественная роль данной системы понятий и представлений, т.-е. их значение в действительности, не зависит от того, как мыслят ее носители об ее происхождении, а зависит от той классовой ситуации, которая ее вызывает.

Но раз вызванная к жизни система представлений и понятий продолжает жить и развиваться; по каким законам? Формально, т.-е. внешне, для носителя данной системы представлений, она развивается независимо по самой себе присущей логике. Фактически же, т.-е. в действительности, каждое данное время идеология (система представлений) так относится к своему вчерашнему дню, как действительность настоящая—ко вчерашней.

Против этой моей мысли особенно ополчился И. Разумовский. „В своем старании отделить форму от содержания и сделать ее малосущественной для понимания образования идеологий (курсив мой— *В. Р.*), тов. Румий забыл слова Гегеля: „Рассудок, наклонный к отвлечениям, часто прилагает определения содержания и формы и рассматривает содержание, как элемент существенный и самобытный, а форму как элемент несущественный и произвольный. Но оба эти элемента равно существенны; бесформенное содержание не существует точно так же, как не существует бесформенная материя..." [1]), не будем тревожить тень великого старика, ибо любому читателю моей статьи ясно, что И. Разумовский ни-ни не понял из того, что мною было сказано там; осмелюсь думать, что он обнаружил, кроме того, и изрядную долю хромоты в марксизме и в диалектике. Я не отделяю форму от содержания, не желаю рассматривать явления метафизически,—я стремлюсь понять существующее явление,—а это куда важнее десятка—другого талмудистических „изысканий" иного профессора. А существующее явление таково, что форма в своем развитии почти всегда запаздывает от развития содержания, форма консервативнее содержания. Разве наши учителя этого не говорили?

Энгельс пишет: „мы из за содержания не обращаем должного внимания на формальную сторону: каким образом, эти представления и т. д. возникли". Разве не ясно, что не я, а Энгельс виновен в тех грехах, что обнаружил у меня Разумовский? Он должен был бы учинить очную ставку Энгельса с Гегелем, а не меня с великим стариком, против которого ни Энгельс, ни вслед за ним я — не повинны.

Может ли система представлений—данная идеология—исчезнуть ранее того, как исчезли вызвавшие ее явления в жизни? Нет. Но может и очень не редки случаи, когда в действительности исчезают те причины, которые вызвали данную идеологию, а она продолжает существовать, сохраняя видимую прочность и неизменность; лучший тому пример история церкви.

В этом, на первый взгляд противоречащем общим социологическом построениям марксизма, факте обнаруживается лишь глубочайший консерватизм формы. Но даже и в таком случае такая кажущаяся непоколебимость данной формы идеологии ни в коей мере не свидетельствует еще о неизменности ее реального содержания, более того, самая неизменность и консерватизм формы имеет социологические причины, которые очень хорошо вскрыты у Плеханова в его ответе Лабриола.

„Сила традиции,—справедливо говорит Плеханов,—есть сила инерции. В истории идеологий часто приходится задаваться вопросом, почему данный обряд или обычай

[1]) „Вестник Соц. Академии", № 4 за 1923 г., стр. 225.

сохранился, не смотря на то, что исчезли не только отношения, вызвавшие его к жизни, но и другие родственные ему обычаи или обряды, порожденные теми же отношениями. Вопрос этот равносилен вопросу о том, почему разрушительное действие новых отношений миновало именно этот обряд или обычай, устранив другие. Отвечать на этот вопрос ссылкой на силу традиции, значит ограничиться повторением его в утвердительной форме. Как же помочь горю? Надо обратиться к общественной психологии" [1]); а что означает обратиться к общественной психологии, как не то же, что мы говорили выше, а именно—обратиться к социологии. Между общественной психологией и той психологией, которою думает объяснить свои странные (по меньшей мере) построения И. Разумовский—дистанция огромного размера, чтобы убедиться в этом—стоит только удлинить цитату из Плеханова на несколько строк. Обратившись к ней он приходит к выводу, что „тут все дело в ассоциации идей". — „Возникновением изменением и разрушением ассоциаций идей под влиянием комбинаций общественных сил в значительной степени объясняется история идеологий." [2]).

Когда я говорил в своей статье о необходимости уметь различать формальную сторону вопроса от содержания, Разумовский спрятался за спину Гегеля. Предложим лучше Плеханову беседовать с ним, быть может он сумеет научить,—И. Разумовского, когда можно и когда нельзя вызвать в свидетели великие тени. Такая концепция тем весьма выгодно отличается от построений Разумовского, что нет абсолютно никакой нужды в неизвестного чина, происхождения и звания идеологах, для того, чтобы свести концы с концами, а самое главное, ни в какой степени не противоречит учению Маркса. Нет также никакой нужды социологию заместить психологией, чтобы объяснить общественные явления, как это сознательно или бессознательно делает И. Разумовский.

Но вернемся еще на один момент к вопросу о форме и содержании идеологии.

В истории права,—говорит Плеханов,—надо всегда и заботливо отличать форму от содержания. С формальной стороны право, подобно всем другим идеологиям, испытывает на себе влияние всех, или, по крайней мере, некоторой части других идеологий: религиозных верований, философских понятий и проч. Уже одно это обстоятельство до известной,—иногда очень значительной,—степени затрудняет открытие зависимости, существующей между правовыми понятиями людей и их взаимными отношениями в общественном процессе производства. Но это еще только пол-беды. Настоящая же

[1]) „Критика наших критиков", стр. 332.
[2]) „Критика наших критиков" и, стр. 333.

беда в том, что на различных стадиях общественного развития всякая данная идеология в очень не одинаковой степени испытывает на себе влияние других идеологий. Так, древнее египетское и отчасти римское право было подчинено религии; в новейшей истории право развивалось (повторяем и просим заметить это: с формальной стороны) под сильным влиянием философии. Чтобы устранить влияние на право религии и заменить его своим собственным влиянием, философия должна была выдержать сильную борьбу. Эта борьба была лишь идеальным отражением общественной борьбы третьего сословия с духовенством, но она, тем не менее, в огромной степени затрудняла выработку истинных взглядов на происхождение правовых учреждений, так как, благодаря ей, они казались явным и несомненным продуктом борьбы отвлеченных понятий" [1]).

Хотя цитата и вышла большая, но зато мы с вами, читатель, имели удовольствие убедиться, что Плеханов, которого Разумовский так уважает, против него по всем интересующим нас вопросам.

Чем я до сих пор занимался? В сущности, пустым делом: доказательством того, что Разумовский не умеет логически мыслить—во-первых, во вторых, что он плохо усвоил основы марксизма и поэтому на каждом шагу искажает его и в-третьих, что взяв на себя роль исправителя позиции Адоратского, он лишь испортил дело, создав вместо более или менее единообразного построения Адоратского (правда и его единообразие чрезвычайно своеобразно) какую-то пеструю смесь мыслей своих и чужих.

Дело это по существу пустое, и если бы статья эта не появилась в „Вест. Соц. Академии", повторяю, пожалуй было бы грешно занимать время наших читателей на повторение азбучных истин.

Пора поставить точку. Там, где сейчас блуждает мысль тов. Адоратского и Разумовского—нет ничего, кроме пустых и абстрактных построений, не считающихся ни с чем,—кроме мудрствований Товарищей Адоратского и Разумовского гимназисты величали бы „грамматиками", а сами они—„идеологами", т.-е. людьми с извращенными и метафизическими понятиями. Мы же назвать их иначе, как талмудисты, не можем, хотя это прозвище и очень огорчает И. Разумовского. Заниматься выисканием отдельных примечаний и вскользь брошенных фраз, выдергиванием отдельных мест из живого текста, подсчетом слов и выражений, пространным толкованием совершенно ясных и не допускающих никаких кривотолков текстов—это ли не талмудизм?

Пытаться создавать некую новую методологию, когда у марксизма вопросы, волнующие товарищей Адоратского и Разумовского, давно решены общей методологической концепцией—по меньшей мере свидетельствует о некоем изъяне в понимании марксизма у них. Этот изъян и есть то, что я выше назвал талмудизмом.

[1]) „Критика наших критиков", стр. 331.

Это как будто чувствует и Разумовский.

Он пишет: „Маркс и Энгельс не всегда строго разграничивают два смежных понятия: идеализм и „идеологизм", (ах, какие невежды Маркс и Энгельс!—*В. Р.*) и очень часто использовывают более широкий термин „идеализм", взамен более узкого и специального. Между тем „идеологизм" или идеологическая точка зрения—понятие, носящее лишь методологическую окраску. *Это—идеализм в методах исследования, иначе говоря, априорный метод в применении к понятиям общественного бытия*" [1]). Давно бы так! Тратить бездну бумаги, исписать 51 страницу печатную для того, чтобы прийти все к тому же словоупотреблению большинства марксистских теоретиков—стоило ли порох тратить!

Если „идеологизм" или „идеологическая точка зрения" это то же, что „идеализм в методах исследования", то зачем было писать так много? Нужно было вместо всего этого написать одно предложение, примерно такого содержания: „Все идеологи до Маркса и в значительной мере и сейчас, вся буржуазная идеология страдает идеализмом в методах исследования". И это соответствовало бы, конечно, действительности. Даже те буржуазные идеологи, которые выражали интересы р е в о л ю ц и о н н о й буржуазии—франц. материалисты XVIII столетия—даже они не были свободны от идеализма в методе исследования общественных вопросов.

Но сведя весь вопрос к этому очень обычному и очень привычному для марксиста методу—тем самым ликвидируется тот вопрос, который не дает покоя и сна Разумовскому и тов. Адоратскому:—те самые причины, которые вызывают и развивают и д е а л и з м (религию тож)—вызывают и развивают идеалистический метод в обществоведении.

Вся история материализма с древних времен была историей борьбы за приведение в соответствие с действительностью своих представлений и понятий, она была исканием естественных объяснений явлениям и представлениям людей о них. Последним актом этой истории, последней областью, которую нужно было связать с действительностью, которой естественные причины надлежало открыть—были общественные науки. Этот последний и самый важный вопрос истории материализма не мог быть теоретически вырешен ранее, чем на сцену появился рабочий класс. Развитие капитализма вызвало движение рабочего класса на гребне которого Марксу и Энгельсу удалось проделать это с исчерпывающей полнотой, так что его последователям талантливым и не талантливым остается только приложить свои б о г а т ы е силы и свободное время на решение тех вопросов, которые выдвинуты жизнью сегодня, а не повторять ошибки старых опортунистов, эклектиков и просто... мало знающих людей, выдавая это за самоновейший марксизм.

В. Румий.

---

[1]) „Вестник Соц. Академии", № 4 за 1923 г., стр. 255.

Естествознание и диалектика.

Вопросы общего характера, стремление выработать материалистическое, научно обоснованное миросозерцание в настоящее время, можно сказать, стоят на первом плане. В настоящей статье я имею в виду коснуться вопроса о том, в каком соотношении находятся естествознание, в частности химия и диалектика. Протекают ли химические процессы как таковые диалектически; проявляется ли диалектика в развитии химических теорий. Итак, нам нужно ответить на два основных вопроса,—1) можно ли утверждать, что химические процессы являются процессами диалектическими; 2) развиваются ли химические теории диалектически.

Материал, которым мы воспользуемся, относится, насколько позволяют размеры настоящей статьи, ко всем отделам химии: неорганической, органической, биологической и т. д. Можно ли найти в химических процессах то, что характеризует диалектический процесс: —скачки, переход количества в качество, отсутствие резких, так сказать, абсолютных граней между явлениями, единство сил природы, развитие через противоречия, соединение в одном веществе прямо противоположных свойств и т. д? Приведем несколько примеров.

Одни из самых основных химических процессов, процессы образования и разложения определенных химических соединений, происходят скачками. Достаточно вспомнить синтез воды из водорода и кислорода. Нет таких соединений водорода с кислородом, которые представляли бы постепенный переход, напр., от водорода к воде; в момент химического соединения водорода с кислородом образуется вода, свойства которой резко отличаются от свойств водорода и кислорода. То же мы имеем и для реакции разложения определенных химических соединений,—и здесь процесс происходит скачком. Число определенных химических соединений, известных в неорганической и органической химии, не менее 200.000. Таким образом мы имеем по крайней мере, 200.000 скачков. Но условия образования определенного химического соединения являются в то же время условиями его разрушения. Температура, при которой из водорода и кислорода образуется водяной пар, есть в то же время та температура, при которой водяной пар разлагается на водород и кислорд. „Выходит так:

при температуре образования воды—вода уже разлагается. Это составляло в то время научный парадокс, который разрешим только при развитии понятий о диссоциации, введенных в науку Сент-Клер-Девиллем в 1857 г. Сущность дела в том, что при высоких температурах вода существует, но и разлагается, подобно тому, как летучая жидкость при некоторой температуре существует как жидкость и как пар". (Менделеев. „Основы химии", из. 7-е, стр. 83).

Такое важное свойство атомов, как валентность, меняется скачками, т.-е. атом может иметь одну, две и т. д. валентностей, но не может иметь $1^1/_2$, $2^1/_2$ и т. д. валентностей. Нередко мы имеем неорганические соединения, которые в одно и то же время обладают свойствами прямо противоположными, т.-е. являются одновременно и кислотами, и щелочами, напр., соединения алюминия, олова и др. так называемые амфотерных элементов. Ферменты, имеющие громадное значение для жизни растений и животных, синтезируют и в то же время разлагают одни и те же соединения, напр., жиры. Если рассмотреть процессы, протекающие в так называемой „мертвой" природе, напр., процессы, протекающие в земной коре на поверхности земли, такие процессы, как образование осадочных пород, разрушение горных пород, то все они являются процессами диалектическими. Итак, в „царстве мертвой природы" все процессы являются процессами диалектическими. Даже атом, эта прежде „неизменная сущность", как показывают исследования последних лет, также находится в процессе изменения. Мы можем говорить о „средней продолжительности жизни" элемента. Эта средняя продолжительность колеблется в таких пределах как 45.10^8 лет и 10^{-11} секунды. Ограничимся этими немногими примерами из области неорганической химии и рассмотрим теперь наиболее характерные факты из области органической и биологической химии.

Понятие „органическая химия" возникло в то время, когда еще не умели синтезировать веществ, встречающихся в растениях и животных, и приписывали способность синтезировать эти вещества особенной „жизненной" силе. Известный химик Берцелиус в своем знаменитом учебнике химии, вышедшем в 1808—1812 г.г., так определял органическую химию: „органическая химия является настолько своеобразной наукой, что химик, переходя от исследования неорганической природы к исследованию органической природы, попадает в совершенно чуждую область. Но в дальнейшем оказалось, что по существу нет никакой разницы между неорганической и органической химией ни в тех методах, которыми пользуется химик, ни в самих процессах. Если органическая химия и выделяется от неорганической, то исключительно по причине громадного фактического материала. Все то, что мы видели, рассматривая неорганические соединения, приложимо и к соединениям органическим. Теперь нам остается рассмотреть главнейшие факты из области биологической химии, т.-е. химии растения и химии животного.

Прежде всего ответим на вопрос, существует ли принципиальное отличие между химией растения и химией животного. Для типичных представителей, с одной стороны, растения, а с другой, животных наиболее характерными являются следующие отличия: 1) растение обладает способностью синтезировать углеводы из воды и углекислоты при участии хлорофилла на счет солнечной энергии; 2) из солей азотной кислоты и углеводов растение синтезирует белковые вещества. Животное не обладает этой способностью. Является ли эта грань абсолютной гранью? Нет мы имеем организмы, которые усвоивают углекислый пар из воздуха, создают из него углеводы без участия хлорофилла, без участия солнечного луча. Таким организмом является серобактерия, называемая беггиатоа. Эта бактерия развивается в чистом минеральном растворе, если только ей предоставлены углекислые соли кальция или магния. Из воздуха она поглощает углекислый газ, сероводород и кислород. С другой стороны, так называемые гетеротрофные растения (напр. грибы) неспособны синтезировать углеводы из воды и углекислоты, неспособны синтезировать белки, исходя из углеводов и солей азотной кислоты. Некоторые водоросли, напр., эвглена, могут питаться глюкозой и пептонами в полной темноте, при этом они теряют хлорофилл. Такие растения, как мухоловка, пузырчатка, выделяют кислоту и фермент, аналогичный ферменту пепсину, и „переваривают" такую пищу как мухи.

Итак, между растениями и животными в отношении химизма нет абсолютной грани. Но, быть может, эту грань можно найти в том, что у животных имеется нервная система, и деятельность этой нервной системы представляет нечто такое, что свойственно исключительно животному? На это можно ответить словами И. П. Павлова: „движение растений к свету и отыскивание истины путем математического анализа не есть ли в сущности явления одного и того же ряда"? („Экспериментальная психология и психопатология на животных" речь произнесенная на международном медицинском конгрессе в Мадриде в апреле 1903 г.). Если принять во внимание приведенные выше данные о химизме процессов, протекающих в растениях и животных, то выходит, что различие как будто и есть, но в то же время его и нет. „Как согласить это противоречие, — говорит К. А. Тимирязев:—то есть очевидное различие, то его нет. Выход прост, и противоречие понятно. Дело в том, что нет ни растения, ни животного, а есть единый нераздельный органический мир. Эти понятия (животного и растения) сложились в то время, когда были известны только самые крайние, резкие представители этих групп. Пока сравнение касалось дерева и лошади, никакое недоразумение не было возможно, но дело представилось в совершенно ином свете, когда пришлось принять во внимание всю совокупность живых существ. Тогда пришлось убедиться в единстве органического мира. В то время, как в животном, достигшем полного развития, устанавливается известное равновесие между приходом и расходом вещества, у растения рост, т.-е. накопление

вещества, идет почти вплоть до смерти. Различие растения и животного не качественное, а только количественное: в обоих совершаются одни и те же процессы, но в одном преобладают одни, а в другом—другие. Если в результате, в итоге оказывается окисление, трата вещества и проявление энергии, то мы имеем перед собою тип животного; если, наоборот, в итоге оказывается накопление вещества, поглощение энергии, то мы имеем перед собою тип растения".

Но и это различие, как указывает К. А. Тимирязев, не является строгим: „За особь в растении правильнее считать отдельный побег, который имеет ограниченный рост, целое же растение, напр., дерево, представляет организм, подобный кораллу, растущему неопределенное время." Далее мы встречаем следующее: „это противоречие исчезает, все вновь становится понятным, как только мы допустим, что поток органической жизни, когда-то, во тьме времен, пролагавший путь по одному широкому руслу, затем разбился на две ветви, так что теперь, стоя при их устьях, мы видим как бы два независимых течения и, только восходя к их отдаленному истоку, только стараясь обнять одним взглядом оба течения на всем их протяжении, приходим к убеждению, что это только два рукава одного общего могучего потока жизни („Жизнь растения", стран. 248–251, Москва 1923 г.).

Мы видели, что по химизму процессы, протекающие в растениях и животных, не имеют принципиально резких отличий. Итак, по существу химия растения подчиняется тем же закономерностям, что и химия животного. Если же окажется, что химия животного и растения по существу не отличается от химии „мертвой природы", то мы придем к единству сил, проявляющихся во всех явлениях природы, в данном случае химических.

Существует ли непроходимая пропасть между „живым" и „мертвым", или, быть может, те процессы, которые характерны для живого, являются не чем иным как процессами физико-химическими? Как на свойства, особенно отличающие „живое" от „мертвого", указывают на следующее:

1) Движение. Животные в большей степени, растения в меньшей обладают способностью к движению. Но капли масла, органических и неорганических смесей, капли ртути также обладают „амебоидными" движениями. Движения эти возникают в результате физических и химических процессов, вызывающих изменение в поверхностном натяжении жидкостей.

2) Процессы распада и синтеза веществ, т. е. процессы ассимиляции и диссимиляции. Но здесь дело сводится к химическим процессам, по существу не отличающимся от процессов, изучением которых занимается неорганическая химия.

3) Строение живого вещества. Но и здесь нет принципиальной грани. Привожу выписку из Менделеева: „При выделении из раствора углекислого кальция, при некоторых условиях, эта соль получается

в виде зерен, имеющих особое наслоенное строение, свойственное крахмалу, что имеет не только самостоятельный интерес, но и представляет пример получения минерального вещества в такой точно форме, в какой до сих пор известны были только органические вещества, вырабатываемые в растениях. Это показывает, что формы (клетки, сосуды, зерна) растительных и животных веществ, в каких они находятся в организмах, не представляют в себе чего-нибудь свойственного одним организмам, а суть результаты только тех особых условий, в которых образуются эти вещества. Траубе, а затем Монье с Фогтом получили при подобном же медленном образовании осадков (реагируя кремне-и угленатровою содью на сернокислые соли разных металлов) под микроскопом образования, во всех отношениях по виду сходственные с растительными клетками. („Основы химии", 7-е изд., стр. 439, прим. 46.)

4) Рост и деление. Но даже столь сложный процесс, как деление клеточного ядра путем кариокинеза, может быть воспроизведен в растворе хлористого натрия (поваренной соли), содержащем взвешенные частицы угля.

5) Ограниченность существования во времени. Живое существо живет только определенное время. Но явления радиоактивности показали, что атомы „мертвой материи" также существуют только определенное время.

Подведя итог всему, что было сказано до сих пор, мы можем сделать следующие выводы:

1) Природа (в данном случае по отношению к химическим явлениям) едина по существу. Нет мертвой материи, нет живой материи. Есть просто материя. Нет материи без движения и движения без материи. „Ощущение, мысль, сознание есть внутреннее состояние движущейся материи". (Плеханов, предисл. к „Людвигу Феербаху".) „Движение растения к свету и отыскивание истины путем математического анализа не есть ли в сущности явления одного и того же рода?" (И. П. Павлов).

2) И в химии „мертвой" природы, и в химии „живой" природы мы имеем дело с процессами. Все течет, все движется, все меняется.

3) Каждое явление в области химии мы должны рассматривать в процессе его возникновения, развития и уничтожения.

4) Все явления находятся в тесной связи между собою.

5) Нет резких граней между химизмом „живой" и „мертвой" природы.

6) В одном и том же веществе могут быть соединены свойства прямо противоположные: ферменты и синтезируют, и разлагают одно и то же вещество. Аминокислоты обладают и свойствами кислот, и свойствами оснований и т. д.

7) Химические процессы, при образовании определенных соединений, протекают скачками.

8) Количество переходит в качество, напр., вода (H_2O) и перекись водорода (H_2O_2), и т. д.

Вопрос о том, какое значение имеет строение, „архитектура“ молекулы, мы рассмотрим в следующей статье, там же мы рассмотрим и вопрос о развитии научных теорий в области химии, и вопрос о соотношении между техникой и „чистой“ наукой.

Я. С. Пржеборовский.

(Продолжение следует.)

По поводу статьи Эддингтона.

Речь Эддингтона, перевод которой помещен на страницах настоящей книжки нашего журнала, несмотря на свое специальное заглавие представляет значительный интерес—это весьма удачная сводка новейших работ, касающихся законов развития звездной системы.

Как справедливо отмечает Эддингтон, установленный астрономами и подтвержденный физиками—спектроскопистами факт, что звезды независимо от их теперешней температуры могут быть разбиты на две группы—на звезды потухающие и разгорающиеся, представляет собой наиболее революционное открытие, которое когда-либо сделано в области астро-физики. Блестящие исследования Адамса и Кольшютера показали, что спектроскоп дает возможность отличить свет звезды, имеющей малую плотность и еще сравнительно невысокую температуру от света звезды, остывающей и достигшей вновь той же невысокой температуры, какую она имела в более раннем периоде своего развития. Оказывается, что каждая звезда проходит через любую температуру за исключением максимальной дважды: один раз в период сжатия из газообразной туманности, следовательно, в период разогревания и во второй раз при остывании, когда ее размеры будут значительно меньше, а плотность соответственно больше. Это дает возможность отличать т.-н. „красные“ звезды-гиганты от красных звезд „карликов“.

Адамс и Кольшютер показали, в чем состоят различия в спектрах, которые раньше ускользали от внимания спектроскопистов, и физическими исследованиями подтвердили правильность своего объяснения. Это новая точка зрения производит переворот в области наших космогонических теорий. Раньше казалось, что все „красные“ и „желтые“ звезды—звезды потухающие, и что видимая нами вселенная приближается к т. н. „тепловой смерти“, т.-е. к равномерному распределению тепла. Теперь же мы видим, что значительная часть звезд, считавшихся ранее потухающими в действительности только еще разгорается. На-ряду с признаками угасания мы видим процесс возникновения. Перед нами открывается величественный диалектический процесс непрерывного возникновения развития и угасания в том мире, который мы еще по старой привычке до сих пор называем миром „**неподвижных**“ звезд!

Выясненные лабораторными опытами законы испускания и поглощения света накаленными газами различной плотности позволяют заглянуть глубже в процесс развития звезды. Наше солнце, наружные слои которого находят сейчас при температуре 5900 градусов, по Эддингтону не могла в предшествующие эпохи иметь температуру выше 6600 градусов на своей поверхности. Этот результат получается, принимая во внимание массу солнца.

Солнце, следовательно, находится сейчас в процессе потухания это т. н. „карликовая“ звезда. Высший предел температуры для любой звезды в процессе ее развития определяется ее массой. Так, наиболее яркая звезда из видимых на небе звезд—Сириус, имеющий массу в $2^1/_2$ раза большую, чем солнце, и достигший сейчас своей максимальной температуры на своей поверхности имеет температуру в 11000 градусов. Далее в высокой мере интересен открытый Эддингтоном закон, определяющий максимальный размер звезды, т.-е. ее максимальную массу. В раскаленной газовой туманности идет борьба двух противоположных сил: силы тяжести, вызывающей концентрацию туманности и силы светового давления, стремящейся рассеять светящуюся туманность. Пока концентрация массы невелика, т.-е. пока невелика общая масса клубка раскаленных газов световое давление уступает силе тяжести; по мере же увеличения массы, вследствие привлечения центром сгущения окружающей рассеянной разреженной материи световое давление начинает преобладать и для шаров имеющих массу от 10^{33} до 10^{35} граммов (1 с тридцатью тремя—пятью нулями) световое давление уже уравновешивает силу тяжести. Если масса будет еще больше, то световое давление берет верх над силой тяжести и тогда начинается рассеяние массы, а не концентрация. Получается процесс прямо противоположный; приведенная Эддингтоном таблица, показывающая как нарастает давление, обусловленное силой тяжести и какую часть составляет „эфирное давление“, т.-е. давление в противоположном направлении вызванное испусканием лучистой энергии, дает нам ясную картину диалектического процесса; мы видим, что противодействующая сила светового давления существует в зачатке еще задолго до того, как она получает преобладающее значение, и только на определенной стадии развития звезды количество переходит в качество.

Совершенно правильно подчеркивает Эддингтон громадное значение открытия Майкельсона. Майкельсону удалось в 1920 году практически осуществить соединение мощной астрономической трубы

с физическим прибором—интерферометром и таким способом достигнуть возможности непосредственно измерять угловые диаметры звезд. Чтобы показать насколько чувствительны эти измерения, Эддингтон пользуется следующим сравнением: звезда Гигант Бетельгейзе в созвездии Ориона, которая была измерена в 1920 году, имеет такие же видимые размеры, как медная копейка на расстоянии 80 верст! Этот замечательный успех—к сожалению, почти не отмеченный в популярной литературе—особенно интересен потому, что долгое время казалось невозможным измерять такие малые величины. Было теоретически доказано, что оптические приборы принципиально не могут дать такой точности: самая волнообразная природа света налагает этот предел. Открытие Майкельсона лишний раз доказывает, что всякий предел—понятие относительное. Если мы и сейчас не можем перешагнуть через этот предел, идя тем путем, которым шли и теперь идут обычно при конструкции оптических приборов, то это не исключает возможности переступить этот предел, придумав новый метод.

Наиболее интересная особенность, излагаемых Эддингтоном работ, состоит в том, что многие из вопросов, которые ставятся звездной астрономией, решаются в физических лабораториях, где, с одной стороны, воспроизводятся искусственно некоторые из явлений наблюдаемых астрономами, а с другой, отыскиваются законы, которые позволяют выяснить, как должны измениться хорошо известные нам физико-химические процессы при тех условиях, какие мы еще не можем осуществить в лаборатории и какие имеют место в раскаленной звезде.

Весьма интересно, что Эддингтон в своей статье говорит о волнах в эфире и вообще как-будто забывает о том, о чем с большой страстностью говорит в статьях, посвященных принципу относительности. Это тем более характерно, что начавшаяся сейчас в Западной Европе и в Америке „материалистическая реакция“ против принципа относительности идет под флагом механики эфира.

Читатели нашего журнала, может-быть, будут удивлены тем, что в некоторых местах своей речи Эддингтон употребляет антропоморфные выражения: „Атом летит дальше, неся с собой объявление об одной вакантной должности электрона“ и т. п. Это обычный у английских ученых прием отпускать в серьезных докладах шутки, которые иногда даже не отличаются особенным остроумием; тем не менее, принимая во внимание громадный интерес, который представляет статья Эддингтона, мы даем ее полный перевод без всяких сокращений—в таком виде, в каком она написана автором.

А. Тимирязев.

Внутренность звезд.

(Речь А. С. Эддингтона произнесенная в феврале 23 г. в королевском институте.)

13 декабря 1920 года, первый раз в истории, угловой диаметр звезды был измерен аппаратом, изобретенным проф. А. А. Майкельсоном. До этих пор каждая звезда казалась просто светящейся точкой и не пытались научиться отличать ее от геометрической точки. Но в этот памятный вечер 20-футовый интерферометр, построенный на Вильсоновской обсерватории, был направлен на звезду Бетельгейзе [1]), и измерения обнаружили, что эта звезда имеет диск диаметром в $^1/_{20}$ дуговой секунды, приблизительно видимый размер пол-пенса (медная монетка по размерам немного больше копейки) на расстоянии 50 миль. Расстояние Бетельгейзе приблизительно известно (к несчастью оно не может быть найдено так точно, как расстояние других звезд), так что мы можем из этих кажущихся размеров узнать приблизительно действительные. Бетельгейзе не меньше 200 миллионов миль в диаметре. Земная орбита может быть целиком помещена внутри ее.

Таким образом звезды, оказывается, не являются исключительно объектами сравнительно небольших размеров в роде солнца; между ними существуют поистине гигантские особи. Мы можем сделать другой шаг в астрономической таблице умножения—миллион земель равны солнцу: десять миллионов солнц составляют Бетельгейзе. Это касается объема, но не массы. Можно задать вопрос, должны ли мы, чтобы получить одного из этих гигантов, взять собранное в один комок вещество десяти миллионов солнц, или мы должны взять вещество солнца и увеличить в десять миллионов раз его теперешние размеры. Нет сомнения, что второй ответ ближе к истине. Я допускаю, что Бетельгейзе содержит больше вещества, чем солнце (может быть раз в 50 больше), но ее огромные размеры обусловлены преимущественно разреженностью, с которой распределено это вещество. Она представляет из себя огромный шар незначительной плотности, гораздо меньшей, чем плотность воздуха, между тем как в солнце вещество сжато до плотности большей, чем у воды. Будет ли звезда находиться в состоянии подобного пузыря или она будет плотной, как солнце, зависит от периода жизни, в котором мы ее застанем. Естественно думать, что звезды постепенно сгущаются из рассеянного вещества, так что они по мере развития их жизни делаются все плотнее и плотнее. На небесных примерах мы можем теперь видеть каждую ступень в развитии звезды. Большинство видимых простым глазом звезд находятся в начальном разреженном состоянии; это происходит не потому, что таких молодых звезд действительно больше, но потому, что они ярче и заметней благодаря их обширным разме-

[1]) Бетельгейзе—яркая звезда в созвездии Ориона.

рам. То, что я буду говорить о внутренности звезды, относится главным образом к молодым разреженным звездам—гигантским звездам, как их называют. То обстоятельство, что мы понимаем гораздо лучше свойства материи, находящейся в состоянии идеального газа, чем когда она сгущена, является причиной этого; хотя трудности изучения плотной звезды, подобной солнцу, нельзя назвать непредолимыми, но мы естественно сделали большие успехи в более легкой проблеме гигантских звезд.

Внутренняя температура.

Мы наблюдаем физические условия только на поверхности звезды и сначала может показаться невозможным узнать что-нибудь об условиях внутри нее. Рассмотрим, например, вопрос о температуре. Свойства света [1]), получаемого от Бетельгейзе, показывают нам, что она имеет температуру 30.000 Цельсия—не особенно высокая температура, оценивая даже по земным образцам. Но она, без сомнения, относится к слоям вблизи поверхности, из которых выходит наблюдаемый свет. Это лишь только температура на краю горнила, не дающая представления об ужасной жаре внутри него. Я не буду пытаться объяснить подробно каким образом мы справились с вычислением внутренней температуры, но я смогу, может быть, показать, что здесь есть направление, по которому можно итти, пользуясь соответственными математическими методами.

Упругость является хорошо известным свойством газа, привычным каждому благодаря ее практическому приложению в пневматических шинах. То, что дает газу его упругость или расширительную силу, является его теплотой, то есть энергией движения его молекул, несущихся по всем направлениям и постоянно стремящихся распространиться повсюду. Чем больше тепло, тем больше и расширительная сила. В любой точке внутри звезды должны существовать известные условия равновесия; с одной стороны, мы имеем давящий к центру вес всех наружных слоев, стремящихся сжать еще плотнее газ внутри; с другой—упругость заключенного внутри газа, стремящегося расшириться и отбросить верхние слои наружу. Так как ни то, ни другое не происходит и звезда сотни лет остается практически неизменной, мы должны заключить, что эти две тенденции уравновешиваются. В каждой точке упругость, а поэтому также и теплота, должна быть такой величины, чтобы выдержать вес верхних слоев. Это является главным указанием, посредством которого мы определяем сколько тепла должно быть внутри звезды на различной глубине.

[1]) Распределение энергии в спектре зависит от температуры. В самой грубой форме это выступает в хорошо известных эмпирических правилах, что красное каление соответствует менее высокой температуре, чем белое каление и т. д. Современная спектроскопия позволяет справиться с задачей определения температуры с помощью изучения спектра гораздо лучше. Прим. ред.

Внутренняя температура зависит от особенностей рассматриваемой звезды, но в общем в центре достигает от 2 до 20 миллионов градусов. Не нужно думать, что это есть такая степень жара, что она разрушает обычные представления о температуре. Эти температуры понимаются совершенно буквально. Температура есть способ описания быстроты движения мельчайших частиц вещества. В гелие при обыкновенной температуре средняя скорость атомов немного менее чем 1 миля в секунду; при 4 миллионах градусов она равна 100 милям в секунду. Это большая скорость, но не такая, выше которой наше воображение становится расплывчатым. Эрнест Редзерфорд описывает атомы гелия, движущиеся со скоростью 100.000 миль в секунду. Я не могу соперничать с ним. Обычно я встречаю со стороны моих коллег-физиков некоторое разочарование в наших атомах, рысцой трусящих в звездах.

Вещественная и лучистая теплота.

Мы должны, следовательно, представлять типичную гигантскую звезду, как массу, состоящую из вещества приблизительно с средней плотностью воздуха и раздутую до размеров по крайней мере в тысячу раз больших чем солнце. Атомы, из которых она состоит, носятся по всем направлениям со скоростью 100 миль в секунду, все время сталкиваясь и изменяя свои пути. Каждый атом притягивается внутрь тяготением всей массы и беспрестанно выталкивается опять наружу благодаря столкновениям с атомами, находящимися внизу. Энергия этого атомного движения образует огромный запас тепла, содержащийся в звезде, но она составляет только часть этого запаса. Звезда содержит еще запас теплоты иного рода—лучистой теплоты или волн эфира подобных тем, которые несут нам через 90 миллионов миль пустого пространства солнечную теплоту. Эти волны также носятся внутри звезды во всех направлениях. Они окружены веществом мешающим им распространяться во внешнем пространстве (разве только в незначительной степени). Эфирная волна, освобождаясь, улавливается и поглощается атомом, спускается в новом направлении и переходит от атома к атому; она может блуждать по этому лабиринту сотни лет, пока случайно не выйдет сама на поверхность звезды, освободившись снова для путешествия через пространство, до тех пор пока она не достигнет какого-нибудь отдаленного мира и, случайно войдя в глаз астронома, сделает известным ему, что звезда светит.

Обладание подобным двойным запасом тепла является свойством, которое встречается и в любом более привычном для нас нагретом теле. Это есть новая фаза материи, находящаяся выше области лабораторных экспериментов, хотя теория здесь, к счастью, настолько проста, что почти не может быть неопределенности в том, что случится. Является несомненным, что до-красна раскаленная масса железа

содержит кроме тепла, заключающегося в движении ее молекул, еще немного и этой лучистой теплоты, но она составляет меньше чем биллионную часть целого. Только в гигантских звездах должна эфирная доля возрастать до значительных размеров. До красна раскаленный металл испускает лучистую теплоту, но он не содержит заметного запаса ее, он превращает материальную теплоту, как это нам и требуется, в эту форму. Для звезды не существует этого способа; хотя она и состоит из элементов непрерывно преобразующих одну форму тепла в другую, она всегда содержит тысячилетние запасы тепла наготове и испускает свои излучения, освобождая лучистое тепло из этих складов. В старых теориях эта черта не была выявлена; предполагалось, что должны существовать конвекционные потоки, непрерывно переносящие материю снизу наверх, чтобы заместить поверхностное вещество, которое, излучая, охлаждалось. Теперь видно что трудности существуют скорее в другом направлении—насколько должен быть велик запас эфирных волн внутри звезды, чтобы они не вытекали из нея скорее, чем мы наблюдаем? Перемена точки зрения влечет необходимость изменений в старых теориях Лэйна и других и в общем значительно упрощает проблему.

В раскаленных веществах наших лабораторий тепло существует почти целиком в материальной форме, эфирная часть [1]) незначительна. В гигантских звездах тепло разделено между этими двумя формами приблизительно поровну. Не можем ли мы вообразить третьего состояния, в котором на этот раз тепло существует почти целиком в форме эфирных волн, а материальная часть незначительна? Нет сомнения, что мы можем вообразить это; но интересно и, я думаю, знаменательно, что мы не находим его в природе.

Давление света.

Вы слышали о давлении света,—что свет действительно имеет массу, вес, момент движения и производит незначительное давление на всякий предмет, заграждающий ему путь. Пучек света или эфирных волн подобен ветру, легчайшему ветру; но громадная энергия эфира внутри звезды производит сильный ветер. Этот ветер раздувает звезду. Он как-бы поддерживает верхние слои, уменьшая благодаря этому то противодействие, которое должна бы была оказывать их весу упругость газа. Это, конечно, должно быть принято в расчет при наших вычислениях внутренней температуры, делая ее ниже, чем предполагали старые теории. Точно так же как эфир и материя делят между собою тепловую энергию, эфирный ветер и упругость вещества распределяют труд поддержания тяжести лежащих выше слоев. Мы в состоянии вычислить те отношения, в которых происходит это разделение. В первом приближении остаются те же самые отношения

[1]) Т.-е. часть энергии в форме эфирных волн. Прим. ред.

почти везде во всем внутреннем пространстве, и отношение зависит только от массы звезды, но не от плотности или химического состава вещества. Кроме того, мы не нуждаемся ни в каких астрономических познаниях, чтобы выполнить эти вычисления; все постоянные в этой формуле были определены физиками в их лабораториях. Нам нужно знать средний молекулярный вес вещества, но я сообщу вам потом, как мы можем определить его приблизительно, несмотря на незнание того, какие элементы находятся внутри звезды; это принадлежит к выгодам обращения с очень высокими температурами.

Вообразим себе физика на планете закутанной тучами, который, никогда не слыша о звездах, задался целью сделать подобные вычисления для газовых шаров различных размеров. Пусть он начинает с шара, содержащего 10 грамм, потом идет в 100, 1.000 и т. д., так что каждый n-ный шар содержит 10^n грамм. Они увеличиваются в весе чрезвычайно быстро. № 1 имеет приблизительно вес письма; № 5—человека; № 8 — воздушного корабля; № 10—океанского парохода; затем сравнения подыскать уже трудно. Следующая таблица дает часть этих результатов:

№ шара.	Световое давление.	Давление вещества.
30	0,000016	0,999984
31	0,0016	0,9984
32	0,106	0,894
33	0,570	0,430
34	0,850	0,150
35	0,951	0,049
36	0,984	0,016
37	0,9951	0,0049
38	0,9984	0,0016
39	0,99951	0,00049
40	0,00000016	0,99999984

Ясно, почему я пренебрег остальной таблицей: она состоит из длинных рядов 0 и 9. Но для 33, 34 и 35 шара таблица делается интересной; затем ниже она опять переходит в девятки и нули. Рассматривая, как борьба между эфиром и материей управляет положением, мы видим, что этот спор слишком односторонен, чтобы быть интересным, исключая №№ от 33 до 35, где можно заметить кое-что более любопытное.

Теперь пусть покрывало из туч, за которыми работал наш физик, раздвинется, и он поднимет глаза на небо. Там он найдет тысячи миллионов газовых шаров, массы которых находятся между 33 и 35 шарами. Легчайшие из известных звезд немного менее шара № 33; наиболее тяжелые чуть побольше 35. Наиболее важными являются заключенные по величине между 33 и 34, когда световое давление становится важным фактором в положении.

Факт, что вещество вселенной скопилось сначала в единицы почти постоянной массы, является замечательным. Звезды весьма сильно отличаются друг от друга по яркости, плотности, темпера-

туре и т. д., но все они содержат приблизительно то же самое количество вещества. За незначительными исключениями они составляют от $^1/_2$ до 5-кратной массы солнца. Я думаю, не может быть серьезных сомнений относительно общих причин этого, хотя объяснение частностей может оказаться затруднительным. Тяготение является силой, которая сгущает материю; при отсутствии сопротивления оно втягивало бы все больше и больше материи в одно место, сооружая шары чудовищной величины. Напротив, световое давление (конечно при содействии центробежной силы вращения звезды) является важнейшей разрывающей силой; ее функции заключаются в предотвращении накопления больших масс. Но это сопротивление, как мы видим, делается значительным только тогда, когда масса достигла уже величины шара № 33; и если оно в самом деле оказывается действительным, накопление останавливается прежде, чем достигается величина 35-го шара, потому что тогда более пассивный участник (материальное давление) практически вполне исчерпан. Нам нет надобности точно знать как велико должно быть сопротивление, чтобы препятствовать этому накоплению, потому что когда это сопротивление начинает быть заметным, оно возрастает очень быстро и скоро достигает требуемой величины каким бы оно ни было. Массы звезд во всей вселенной свидетельствуют, что накопление благодаря силе тяготения продвинулось как раз до той точки, в которой действует уже противоположная сила, сделавшаяся достаточно могущественной, чтобы играть роль.

Восходящие и нисходящие температурные состояния.

Гомер Лэйн в 1870 г. показал, что если газовая звезда сжимается, то ее температура будет возрастать. Бетельгейзе является вышиной для первой стадии, когда температура поднялась гораздо выше, чем это нужно для того, чтобы звезда была светящейся. Она будет, сжимаясь дальше, делаться горячее, ее свет изменится из красного в желтый и затем побелеет. Но очевидно это не может продолжаться бесконечно. Когда конденсация продвинется достаточно далеко, вещество сделается слишком плотным, чтобы следовать законам состояния идеального газа. Тогда уже начинают властвовать другие законы. Повышение температуры делается менее быстрым, оно останавливается, и наконец температура падает. Мы можем вычислить, что наибольшая температура достигается при плотности около $^1/_4$—$^1/_8$ плотности воды. Солнце плотнее воды, так что оно прошло через вершину своего существования и находится в состоянии понижающейся температуры. Пока температура возрастает яркость звезды изменяется мало. Она делается горячее, но меньше. Вычисления показывают, что это возрастание излучения света и тепла на квадратный метр поверхности и уменьшение площади поверхности почти компенсируют друг друга, так что полное излучение остается почти

постоянным. Но на этом наклонном пути падающая темпертуара и уменьшающаяся поверхность сокращают количество света, которое в дальнейшем быстро падает между последовательными состояниями или типами, которые мы рассмотрели. Это вполне согласуется с наблюдениями.

На каком бы уровне мы ни взяли температуру, звезда будет проходить через него дважды—один раз восходя и другой—спускаясь. Обычно мы классифицируем звезды главным образом по их поверхностной температуре, потому что она зависит от того, что показывает нам спектральная характеристика света—его цвета и химических элементов, его излучающих. Но эта классификация смешивает вместе звезды, находящиеся в ранних—восходящих—и более поздних—нисходящих стадиях. Например звезда, подобная Бетельгейзе только что начинающая свою карьеру, попадает в один класс с плотной красной звездой, которая прошла этот путь и переживает второе детство. Обе они—красные звезды с низкой температурой, и это было достаточно удобно для первой попытки классификации. Норман Локнер всегда смело защищал существование ряда восходящих и нисходящих состояний, но в этом отношении он был почти одинок между спектроскопистами. В действительности он не имел особенного успеха в отделении звезд, находящихся в восходящем состоянии от нисходящих, хотя иногда он подходил очень близко к правильному критерию. Мы обязаны действительным распределением Рессслю и Герцшпрунгу. Они произвели его не посредством спектроскопии, а при помощи измерения абсолютной яркости звезд; большая яркость „восходящих" звезд, происходящая от их громадных размеров, позволяет всегда легко отличить их от „нисходящих" звезд в группах с низкой температурой. При высокой температуре эти две группы сливаются друг с другом.

Отделение этих двух групп и исследование истинного порядка звездной эволюции являются, вероятно самым, революционным и многообещающим из недавних открытий в астрофизике [1]). Это открытие начало вытеснять старый взгляд около 1914 года и стоит отметить, что это открытие было сделано благодаря наблюдениям, выполненным астрономами старой школы, притом не такими которых обычно называют астрофизиками. Эти данные были параллаксы, собственные движения, орбиты двойных звезд и т. д. Спектроскописты были введены в заблуждение относительно порядка эволюции, и это обстоятельство позволило показать соперничающей ветви астрономии ее истинную дорогу; но они были превзойдены не надолго. Адамс и Кольшюттер нашли легкий спектроскопический метод для отличия

[1]) Помимо выяснения механизма развития звезды, это открытие дало нам возможность показать, что среди звезд мы имеем как разгорающиеся, так и потухающие. Этим сразу отнимается всякая почва для рассуждений на тему, что весь звездный мир идет к концу к т. н. „тепловой смерти" (Прим. ред.)

восходящих звезд от нисходящих. Хотя нашим главным намерением является попытка прощупать внутренность звезды, мы, может быть, сможем на момент появиться на поверхности звезды, чтобы рассмотреть в чем состоит разница в поверхностных условиях на неплотной и сгустившейся звезде, особенно такая, которая дает возможность отличить их при помощи спектроскопа.

Условия на поверхности.

На состояние поверхностных слоев звезды, как кажется, могут иметь влияние два фактора: 1) интенсивность потока лучистой энергии, проходящего через них, и 2) интенсивность гравитационного притяжения, удерживающего их около звезды. Первая измеряется эффективной температурой, так что мы в конце концов имеем два переменных фактора—температуру и тяготение. Спектр будет, вероятно, изменяться смотря по тому как будут меняться условия, подчиненные этим факторам. Мы не должны ожидать, что мы окажемся способными классифицировать спектры как раз в простой ряд; они могут изменяться в двух направлениях. Принципиально, обычная классификация зависит от фактора температуры. Мы можем назвать такую последовательность продольной. Новый метод Адамса стремится выделить поперечную последовательность, соответствующую принципиально фактору тяготения. Мы можем сказать, что этот метод является действительно путем, позволяющим найти величину тяготения на поверхности звезды, хотя невозможно еще дать эту величину в действительных числах. Ясно, что в рассеянной стадии тяготение будет меньше, чем в плотной, благодаря большему расстоянию от центра до поверхности.

Эффект уменьшающегося тяготения состоит в том, что плотность при соответствующей температуре меньше. Это обстоятельство вводит в состояние газа важное изменение, а именно, ионизацию. При умеренно высокой температуре атомы начинают терять по одному или по нескольку из своих более свободно связанных электронов,—процесс называемый ионизацией. Высокая плотность мешает ионизации, низкая облегчает ее. Теория ионизации в звездной атмосфере была разработана главным образом М. Н. Сага, который достиг интересных результатов. Здесь мы должны только заметить, что ионизированные атомы дают начало различным спектрам, которые давно были отличены от спектров нейтральных атомов. Более низкая плотность атмосферы диффузных звезд дает ряд „усиленных“ [1]) линий, которые дает ионизированный атом сравнительно с „дуговыми“ [2]) линиями, происходящими от нейтрального атома. В общем разница не очень велика, но атомы некоторых элементов, для которых условия представляются наиболее критическими, являются особенно чувствительными к перемене плотности. Это и является критерием, который Адамс и Кольшюттер нашли эмпирически, и он позволяет совершенно легко отличать восходящие и нисходящие ряды. В тесных пределах отличают бблшие и меньшие звезды с теми же самыми спектральными сериями.

[1]) В спектрах некоторые линии при известных условиях бывают ярче других.

[2]) Линии, наблюдающиеся в пламени вольтовой дуги.

Хотя звезды начинают светить, достигнув температуры около 3.000° и возвращаются к этой температуре в конце своего блистающего существования, они не добираются все по температурной лестнице до одной и той же высоты. Более тяжелые звезды доходят выше, чем легкие звезды. Мы можем до некоторой степени вычислить высоту, до которой они дойдут; но я боюсь, что эти цифры в настоящее время очень сомнительны, хотя давно существует надежда на их улучшение. Температура поверхности солнца теперь равна около 5.900°; я не думаю, чтобы она поднималась когда-нибудь выше 6.600°; оно имеет массу недостаточную, чтобы пойти дальше в этом отношении. Сириус, который почти в $2^1/_2$ раза тяжелее солнца, дошел до 11.000°, и в настоящий момент практически проходит через максимум или только что повернул вниз. Однако известны более горячие звезды подобные Регулу и они должны быть и более массивными. С другого края находятся звезды масса которых меньше чем $^1/_7$ солнца, неспособные достигнуть 3.000° и едва светящиеся; но во всяком случае такие небольшие массы образуются очень редко по причине, объясненной в этой речи ранее. Что горячие звезды в среднем более массивны, чем холодные, является хорошо известным фактом.

Атомы и электроны.

До сих пор мы изображали внутренность звезды как толкотню между атомами и волнами эфира. Теперь мы должны ввести для участия в этом танце третий вид народонаселения. Это будет огромное число свободных электронов—ни с чем не связанных единиц отрицательного электричества. Более многочисленные чем атомы, электроны сталкиваются со скоростью в сотни раз большей, чем у атомов, соответственно их незначительной массе, которая равна только $^1/_{1850}$ массы атома водорода. Эти электроны появляются из заключающих их в себе атомов, которые освобождают их при высокой температуре. Атом сравнивался с миниатюрной солнечной системой; он представляет соединение соответствующего солнцу центрального ядра, несущего положительный заряд, и окружающих его отрицательных электронов, вращающихся на сравнительно больших расстояниях по круговым и эллиптическим орбитам и соответствующих планетам. Мы знаем для каждого элемента число электронов-спутников; натрий имеет 11, железо 26, олово 50, уран 92. Наша собственная солнечная система с 8 планетами может изображать атом кислорода. Термодинамическая теория, данная в главных чертах Нернстом, позво-

ляет нам приблизительно вычислить, сколько электронов оторвется при данных условиях температуры и плотности, и в типичных звездах большое количество их должно сделаться свободными.

Это обстоятельство позволяет разрешить нам главную трудность относительно молекулярного веса звездного вещества. Мы должны знать его, чтобы выполнить наши вычисления, относящиеся к состоянию звезды; на первый взгляд может показаться безнадежным определить молекулярный вес, не зная, из каких элементов состоит данный объем вещества, но предположим сначала, что температура так высока, что все электроны-спутники оторваны прочь. Атом натрия разделится на 12 частиц, именно, 11 электронов и один искалеченный атом, его атомный вес 23 делится между 12 самостоятельными частицами, так что средний вес каждой равен $^{23}/_{12}$=1,92. Возьмем затем железо: его атомный вес 56 распределяется между 27 частицами; средний—2,07. Для олова мы имеем 119 на 51; среднее 2,34. Для урана 238 деленное на 93; среднее 2,56. Какой элемент мы берем, почти не имеет значения; средний вес мельчайшей частицы (который и будет тем, что мы подразумеваем под молекулярным весом) всегда получается где-нибудь около 2. Если бы звезды были чуть-чуть горячее, чем они есть на самом деле, то наша задача сделалась бы очень легкой. К несчастью, они недостаточно горячи, чтобы произошло полное отделение, и действительная степень отделения будет зависеть от температуры звезды, вводя этим самым значительные усложнения. В общем, по крайней мере половина электронов отделена, и молекулярный вес должен быть взят между 3 и 4. Я надеюсь, что теория этой диссоциации электронов будет улучшена, так как она в настоящее время является главным препятствием для быстрого прогресса в теории строения звезд. Знание того, что молекулярный вес заключен между 3 и 4, является большой опорой для нас; но мы достигли состояния, когда для движения вперед является необходимым знать его для каждой звезды в более узких пределах.

Масса и яркость.

Мы изобразили физика на планете, покрытой тучами, который способен по лабораторным данным предсказать, как велики будут те массы, в которые должно собраться вещество вселенной. Дадим теперь ему более трудную задачу. Мы сообщим ему, что мы наблюдали эти газовые массы, и, выбрав одну, равную, скажем, 34 шару (см. табл. на стр. 180), предложим ему предсказать, насколько ярко она будет светить. Я уже упоминал, что звезда, пока она находится в состоянии идеального газа с возвышающейся температурой, практически сохраняет ту же самую яркость, следовательно, нет необходимости сообщать нашему физику других данных, кроме точной величины массы. Пользуясь той же моделью, как раньше, вообразим ряд ламп силой в 10 свечей, 100 свечей, 1000 и т. д.; задача эта состоит в том,

чтобы выбрать, какая лампа в этой серии приблизительно соответствует звезде. Я думаю, что теперь для него является возможным решить эту задачу и выбрать (правильно) 31-ю лампу. Но для этой цели недостаточно, чтобы он знал все о теплоте, запасенной во внутренности звезды; яркость звезды зависит от того, в какой степени просачиваются наружу эфирные волны, и это обстоятельство вводит нового участника—способность атомов материи препятствовать прохождению лучистого потока.

Другое имя для этой препятствующей способности—непрозрачность. Вещество, которое препятствует в сильной степени прохождению световых и тепловых волн, называется непрозрачным. Температура, возрастающая около центра звезды, побуждает тепло направляться наружу к уровню более низкой температуры; непрозрачность вещества препятствует этому потоку. Борьба между этими двумя факторами решает, сколько света и тепла будет вытекать и наружу. Мы вычислили внутреннее распределение температуры, так как мы знаем все о первом факторе; если, следовательно, мы можем наблюдать, что представляет внешний поток, то этим устанавливаем значение второго фактора—непрозрачности. Внешний поток может быть наблюдаем, так как он составляет тепло и свет, посылаемые нам звездой.

Одной из печальных сторон астрономии является беспорядочность наших сведений о звездах. Мы знаем массу какой-нибудь звезды очень точно, но не знаем ее яркости; мы знаем яркость другой, но не ее массу, для третьей мы можем иметь точные сведения о плотности, но не знать ничего другого. Для Сириуса, Проциона и Центавра наши сведения вполне полны и точны, но они не являются гигантскими звездами в состоянии идеального газа и поэтому эти сведения бесполезны для настоящей дискуссии. Но в предыдущий год нам посчастливилось получить полные и очень точные сведения об одной из гигантских звезд, Капелле [1]). Это тоже является одним из благодеяний, оказанных астрономии интерференционным методом наблюдения Майкельсона. Более блестящая, составляющая Капеллу (которая принадлежит к двойным звездам), имеет массу в 4, 2 раза больше, чем солнце, а яркость в 160 раз большую. Мы можем использовать эти факты, чтобы вычислить непрозрачность Капеллы описанным мною способом; она оказывается равной 150 в абсолютных единицах. Чтобы пояснить смысл этого, допустим, что мы попали на Капеллу и нашли область, плотность которой та же, что и привычной нам земной атмосферы; слой этого газа только в 6 дюймов толщиной образовал бы почти непрозрачный экран. Только $^1/_{20}$ лучистой энергии, падающей на одну сторону, будет проходить на другую, остальное будет поглощаться газом.

[1]) Капелла—яркая звезда в созвездии Возничего, хорошо видимая осенью и зимой. Прим. пер.

оглощение X[1])-лучей в звездах.

Сперва кажется изумительным, что 6 дюймов газа могут совершенно задержать волны эфира, но мы могли бы предвидеть нечто подобное на основании общих положений физики. В зависимости от длины волны мы даем эфирным волнам различные имена. Самыми длинными являются Герцовские волны, употребляемые в беспроволочной телеграфии, затем идут невидимые тепловые волны; затем—световые волны; дальше—фотографические и ультрафиолетовые волны. Далее мы имеем X-лучи, и, наконец, самые короткие из всех—γ—лучи, которые испускаются радиоактивными веществами.

Где в этом ряду поместим мы те эфирные волны, которые встречаются внутри звезды? Это есть вопрос только температуры [2]), и при звездных температурах эфирные волны будут теми, которые мы называем X-лучами, более точно, они будут очень „мягкими" X-лучами. Но X-лучи, и особенно мягкие X-лучи, сильно поглощаются всеми веществами. Непрозрачность, которую мы нашли на Капелле, является величиной того же самого порядка, как непрозрачность земных веществ для X-лучей, измеренная в лаборатории. Следующая таблица показывает некоторые из лабораторных результатов сравнительно с астрономическими данными о Капелле:

Длина волны (Å). В ангстремах.	Коэффициент поглощения (непрозрачность).			
	Алюминий.	Железо.	Серебро.	Капелла.
0,5	2	14	10	—
0,95	11	80	72	—
1,1	21	125	86	—
1,3	31	205	152	—
2,3	136	—	—	—
10	—	—	—	150

[1]) Английские авторы называют обыкновенно лучи Рентгена X-лучами, как назвал их сначала и сам Рентген. Прим. пер.

[2]) При повышении температуры наибольший процент излучаемых волн приходится на долю все более коротких волн; так, при сильном белом калении наибольшая энергия будет приходиться на долю синей части спектра с более короткими волнами, чем красная. При высокой температуре внутренности звезды максимум будет соответствовать лучам Рентгена; их будет в % отношении больше, но будут и другие волны—более короткие и более длинные, но в % отношении их будет меньше.

Мы сделали исследование поглощения X-лучей в звезде, параллельно исследования того же самого вопроса делаются в лаборатории. В одном отношении физик имеет большое преимущество, ибо он может менять материал, с которым он экспериментирует, тогда как мы должны довольствоваться веществом, составляющим звезду, какое оно есть. Но как вы видите из таблицы, физик заинтересован в нахождении того, как поглощение изменяется для волн различной длины. Мы можем последовать за ним в этом отношении и даже пойти дальше его, потому что он, благодаря известным практическим трудностям, принужден ограничиться длинами волн, находящимися в узких пределах, в то время, как мы, пользуясь звездами различной температуры, можем исследовать ряд волн, длина которых относится, по крайней мере, как 10 к 1. Правда, наши результаты пока еще не очень точны; мы имеем только одну звезду, Капеллу, для которой действительно возможно произвести хорошие определения, но можно и для других звезд найти приблизительные данные. Земные результаты показывают чрезвычайно быстрое изменение степени поглощения при незначительном изменении длины волны (как это видно из таблицы); астрономические результаты дают, наоборот, почти постоянный коэффициент поглощения. Мы, однако, не можем наверняка открыть, возрастает или уменьшается он с длиной волны; во всяком случае, здесь нет ничего подобного быстрому изменению, показанному в предыдущей таблице. Эта глубокая разница между астрономическими и лабораторными результатами приводит нас к необходимости более тщательных исследований теории поглощения в звезде.

Многое говорит за то, что такую работу надо выполнить.

Мы имеем преимущество перед нашим закрытым тучами физиком, так как можем предварительно бросить взгляд на настоящие звезды. Мы не можем позволить ему поступить так. Он не должен пользоваться для определения непрозрачности астрономическими обсерваториями, но должен быть способным предсказать ту или другую астрономическую величину из чистой теории и земных опытов. Эта задача особенно интересна потому, что она вводит нас сразу в те проблемы, которыми в настоящее время более всего занимаются физики экспериментаторы. Мы стремимся исследовать внутренности звезды, сейчас мы попадем во внутренности атома.

Теперь вообще все согласны с тем, что когда эфирные волны падают на атом, они не поглощаются непрерывно. Атом находится в покое, ожидая этого случая, и затем внезапно поглощает целую порцию разом. Волны укладываются в пучки, называемые квантами, и атом поглощает их не по выбору, но целым пучком или оставляет их в покое. Вообще говоря, порция бывает слишком велика для атомного пищеварения, поэтому некогда думать об этом; он падает жертвой своей собственной прожорливости,—через короткое время он лопается. Один из его электронов-спутников летит прочь с огромной скоро-

стью, унося на себе энергию, которую атом был неспособен удержать. Эти взрывы не могут продолжаться неопределенное время, разве только если происходит противоположный процесс ремонта. Путешествуя, выброшенный электрон встречает другой атом, потом и лопнувший атом в других условиях встречает свободный электрон и убеждает его остановиться и залечить его рану. Атом теперь починен и готов для другой порции, как скоро к этому представится случай.

По этой причине возникает большая разница между поглощением X-лучей в лаборатории и в звездах. В лаборатории атомы питаются не спеша; пучки X-лучей, которые они поглощают, могут быть доставлены им только в небольших количествах. Задолго до того, как атому представляется случай получить вторую порцию, он починен и подготовлен к ней. Но в звездах интенсивность X-лучей чудовищна; атомы сыты по горло и не могут извлечь никакой выгоды из этих многочисленных удач. Потребление пищи голодным охотником ограничено его ловкостью; при особенной удаче это потребление ограничено его пищеварительными способностями.

Лабораторные опыты являются испытанием ловкости атома в добывании пищи; звездные эксперименты испытывают как скоро он избавляется от пищи и готов к принятию новой. Поэтому и поглощение в этих двух случаях следует различным законам.

Захват электронов.

Чтобы предсказать звездный каэффициент поглощения, мы должны направить внимание на быстроту выздоровления лопнувшего атома. Атом странствует с объявлением о вакантной должности электрона, значительное число выброшенных электронов носится и пребывает в праздности. Многие из электронов, подойдя к атому и посмотрев, в чем дело, пойдут прочь. Как атом заставляет электрон в конце концов присоединиться, я дам вам решение этой проблемы, которое я склонен считать очень вероятным, хотя я нашел немногих согласных со мной. Мы можем сравнить электрон с блуждающей планетой, извне попавшей в солнечную систему, помня, однако, что планеты (электроны-спутники) предполагаются отталкивающими пришлеца, а солнце (положительное ядро) притягивающим его. Динамика учит нас, что, исключая существенно важный случай столкновения, пришлец в редких случаях будет захвачен, но, произведя некоторое возмущение, как правило, удаляется в бесконечность. Здесь есть исключения, вроде того, как солнце и Юпитер составляли заговор для захвата комет, но они были бы очень редки в условиях, соответствующих атому. В некоторых случаях пришлец изменяет картину в корне, захватывая

настоящую планету, вознаграждая этим себя за те случаи, когда забирали в плен его самого. Вероятно, в отношении восстановления атома получается в среднем столько же пользы, сколько и вреда.

Так как деликатный способ убеждения не годится в этих случаях, то атому для обеспечения себе электрона приходится прибегать к грубой обструкции.

По этой причине я держусь взгляда, что обычно захват электрона происходит благодаря его полету по направлению к положительному ядру атома. Это ядро имеет чрезвычайно сложное строение, напр., ядро железа состоит из 86 отдельных зарядов, находящихся в некотором состоянии равновесия. Если случайно электрон пробегает через эти нагроможденные массы, он возмущает их, освобождая при этом энергию; нет сомнения, что он будет отскакивать, но с меньшей скоростью, недостаточной, чтобы вынести его из сферы притяжения атома [1]). С помощью способа исключения, это кажется единственным методом, совместимым с законами динамики, которым атом может захватить электроны, необходимые для его восстановления. Поэтому я заключил, что настоящий электрон притягивается не чем иным, как положительным ядром—областью в центре атома с радиусом около 10—12 см.

Нужно напомнить, что ядро притягивает электроны и будет тащить в свои сети многих из тех, которые сначала не стремились туда.

Некоторые критиковали эту теорию с враждебностью, потому что она находится в полном согласии с законами динамики. На первый взгляд это не кажется мне важным возражением, но мы так привыкли иметь дело с атомом, поведение которого противоречит классическим законам, что теория, которая не противоречит им, должна рассматриваться с подозрением. Допуская пока, что это является сомнительной возможностью в загадочной области внутри атома, мы должны указать, что рассматриваемая проблема принадлежит к классу задач, в которых обычные динамические законы прилагались физиками с большим успехом. Это касается движения свободного электрона, не образующего, однако, часто какой-нибудь системы, построенной на строгих „квантовых" отношениях—проблема, которая встречается в теории проводимости электричества металлами, в термолонных явлениях и в рассеянии α и β лучей. В этих проблемах физики привыкли (правильно или неправильно) допускать, что классические законы динамики соблюдены, и мы только последовали их (хорошему или дурному) примеру. В частности, в резерфордовских опытах рассея-

[1]) Кинетическая энергия в момент столкновения с ядром безмерно больше, чем кинетическая энергия до вступления в сферу его притяжения, так что очень небольшое соразмерное изменение кинетической энергии, благодаря столкновению, уничтожило бы совершенно собственную энергию электрона. Неполная упругость столкновения является динамическим следствием сложности строения ядра. Столкновение двух простых зарядов может быть и вполне упругим, если только это не помешает водворимому ядру когда-либо возвратить себе утерянный электрон. Прим. автора.

ния классические законы силы оказались действительными почти до границ самого ядра. Теперь кажется вполне ясно, что наша звездная проблема должна быть разрешена тем же самым образом, хотя мы допускаем, что могут выступить неизвестные обстоятельства [1]).

Большим доводом в нашу пользу является обстоятельство, что эта теория действительно дает значение коэффициента поглощения, согласное с астрономическими наблюдениями. Так, для Капеллы вычисленное значение 110 совместимо с наблюденным значением 150.

Здесь есть известные сомнительные факторы, которые могут изменить результат в 2 или 3 раза, и мы не очень настаиваем на числовом совпадении. Но оказывается возможным предсказать по этой гипотезе яркость звезды с известной массой, подобной Капелле по величине, которая вполне решает проблему, предложенную нашему физику на облачной планете. Можно прибавить, что эта теория выясняет таким образом, почему поглощение в гигантских звездах почти не зависит от длины волны, но это является более элементарным результатом, который сделался очевидным сейчас же, как мы выяснили, что эта проблема связана со скоростью восстановления атома; некоторые противоположные теории о характере восстановления приводят к тому же заключению.

Источник звездной энергии.

Запас лучистого тепла и запас теплоты движущихся атомов в звезде можно сравнить с аккумуляторами могущественной станции. Однако мы не обнаружили динамо-машины. Эти аккумуляторы иссякли бы в несколько тысяч лет, если бы они не пополнялись. Что является источником энергии, поддерживающим (и в продолжение восхождения температуры увеличивающим) этот внутренний запас? Теперь мы думаем, что этим источником является внутриатомная энергия. Одна теория полагает, что внутри звезды более простые элементы превращаются постепенно в более сложные, и в этом процессе освобождается энергия; другой, более крайний взгляд, состоит в том, что материя, будучи вполне уничтожена, освобождает целиком энергию своего строения. Принимаем первую теорию. Наиболее замечательным из известных случаев является образование гелия из водорода. Мы не знаем, сколько гелия образуется из водорода, но мы знаем, что это происходит; мы знаем, что в этом процессе на сто исчезает 0,8 массы, и это должна быть масса энергии—эфирных волн,—освобождающейся, когда это превращение происходит. Эфирные волны весят очень мало, и полезная энергия этого источника колоссальна. Если 5% звезды состоит из водорода, который превращается в гелий, в виде первого шага при образовании более тяжелых элементов, то это предоставило бы энергию, достаточную для всех разумных требований.

Может быть мы можем ожидать, что самые молодые звезды почти целиком состоят из водорода, возникновение более тяжелых элементов имеет мало вероятия, начинаясь после того, как внутренность сделается достаточно горячей, чтобы способствовать этому процессу. Но тут возникает одно затруднение. Из астрономических соображений кажется невозможным допустить, что даже самые молодые звезды содержат более чем очень незначительное количество водорода [1]). Я уже указал на тот факт, что наши вычисления практически не зависят от химического состава звезды, но должно быть сделано одно исключение: должно соблюдаться условие—звезда не может состоять из водорода. Водород дает результаты совершенно иные, чем все остальные 91 элемент.

Допущение водорода, взятого в качестве материала, разрушает во многих случаях общее согласие между теорией и наблюдением; действительно, можно использовать отсутствие этого согласования как указание на то, что водород исчез и заменился нормальными элементами. Поэтому я думаю, что процесс образования элементов из протонов и электронов должен начаться раньше, чем достигнуто состояние, подобное звездному. Это очень интересный результат, к которому мы пришли; исследуя внутренность звезды, мы в состоянии отрицать присутствие водорода в качестве главного составного начала звезды, тогда как другие 91 элемент могут входить в состав звезды в любых количествах. Еще более любопытно, что прежде нам казалось, что звезды построены именно из водорода.

Примесь водорода уменьшает соотношение между энергией и давлением эфира и допускает поэтому тяготению вызывать образование больших масс. Случайное образование звезд с исключительно большими массами (от 20 до 80 раз больше солнца) могло обусловливаться возможностью преобладания водорода в области, где они возникали, вещество, так сказать, находилось в наиболее примитивной стадии эволюции элементов.

Мы не должны особенно заботиться о том, насколько близко привела нас к чему-нибудь подобному конечной истине эта грубая попытка проникнуть во внутренность звезды. Я думаю, вы сами могли видеть те руководящие факторы, которые играют роль в этой проблеме, и узнать, сколько здесь заключено интересного в различных отношениях. Отдельные результаты, уже достигнутые, достаточно хо-

[1]) В то время, как быстро движущиеся частицы пролетают, без сомнения, через атом допускаемым нами способом, медленно движущиеся электроны отбрасываются к поверхности. Эта мысль кажется порожденной в то время, когда считалось, что положительный заряд атома является большой сферой, по размерам идентичной атому, и кажется, что она исключается современными взглядами. Это игнорируется в распространенной теории электропроводности. Если и можно понять, что нейтральный атом таким образом отбрасывает электрон, то это едва ли удается сильно заряженным атомам в звездах.

[1]) По теории Нернста, наоборот, первичными являются атомы более тяжелых элементов. Прим. ред.

рошо согласуются с наблюдениями и дают нам возможность полагать, что мы начали верно в распутывании трудностей и не натыкаемся нигде на затруднения, кажущиеся непреодолимыми. Известно, что газообразная материя при очень высокой температуре является наиболее удобным видом вещества для целей математической физики. Понять все, что происходит в веществе, например, черной доски (на которой лектор чертил мелом), является действительно трудной проблемой, находящейся почти вне возможностей современной науки: но не нужно быть особенно увлекающимся, чтобы надеяться, что не в особенно отдаленном будущем мы сможем вполне понять такую простую вещь, как звезда.

(„Nature" 12 мая 1923 г. Vol. III № 2793).

Страница из пропаганды и деятельности Роберта Оуэна [1]).

(Агитация за проведение закона об улучшении условий фабричного труда детей и взрослых рабочих.)

I.

Роберт Оуэн не только у нас, но и у себя на родине, известен преимущественно, как автор „Опытов об образовании человеческого характера" и „Книги нового нравственного мира", даже менее того, как проповедник морального перевоспитания и морального перерождения человечества, как утопист, убежденный в том, что самый верный путь к водворению коммунизма, это—проповедь, обращенная ко всем людям без различия классов, ибо „истина—одна, и она раньше или позже победит порок и нищету".

Если мы бросим беглый взгляд на историю английского рабочего движения с начала XIX века до нашего времени, то убедимся, что все сторонники Оуэна (начиная от кооператоров, переходя к чартистам-оуэнистам и далее к христианским социалистам до современных гильдейцев) заимствовали у Р. Оуэна именно эту утопическую сторону его учения. Между тем Р. Оуэн, уже с первых шагов своей пропаганды, высказывает ряд идей, в которых он является несомненным предшественником современного научного социализма. На эту реалистически-объективную сторону его учения в свое время обратил внимание К. Маркс, когда он (в одной из сносок в I-м т. „Капитала") заметил, что Р. Оуэн „теоретически считал фабричную систему исходной точкой социального переворота". Но английские последователи Р. Оуэна неизменно игнорировали эту научно-объективную сторону его учения; в немалой степени она игнорировалась и игнорируется большинством его биографов, излагателей и критиков его миросозерцания, популяризаторов его идей.

Нижеследующая страничка из пропаганды и деятельности Р. Оуэна дает возможность убедиться, с каким арсеналом далеко не уто-

[1]) Настоящая статья представляет собой главу из работы о Р. Оуэне, готовящейся к печати.

тических воззрений Роберт Оуэн умел выступать в защиту своих планов, когда ему удавалось отвлечься от своей навязчивой идеи об образовании человеческого характера внешними обстоятельствами и обратиться к анализу экономической действительности.

* * *

Блестящий успех нью-лэнаркского опыта, внимание к нему и одобрение со стороны представителей господствующих классов, в особенности, со стороны высшей аристократии и сильных мира сего,— все это убедило Оуэна в том, что в своих мероприятиях в области улучшения положения рабочих он стоит на вполне правильном пути, и возбудило в нем надежду, что ему удастся склонить к таким же мероприятиям крупных английских промышленников, с каковой целью он начинает среди них агитацию.

Этой агитации Оуэн первоначально ставит сравнительно скромные цели—убедить фабрикантов в необходимости сокращения рабочего дня для взрослых рабочих и запрещения труда детей до десятилетнего возраста, а затем даже ограничивает ее борьбой только за улучшение условий детского труда.

В этой агитации, повторяем, Оуэн развивает ряд теоретических доводов в пользу своих предложений, выдвигающих перед нами автора „Опытов" в совершенно новом свете и представляющих значительный интерес для изучения генезиса социалистических идей.

„Опубликовав и пустив в обращение мои четыре опыта об образовании характера,—говорит Оуэн в своей „Автобиографии",—и познакомив таким образом публику с моими „новыми взглядами на общество", я обратился мыслью к проведению мероприятия общественного характера, которое существенно облегчило бы положение детей, подростков и взрослых рабочих, употребляемых в быстро развивающихся предприятиях — шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых льняных и пеньковых... Я имел к этому времени (1815 г.) непрерывный двадцатипятилетний опыт в мануфактурном производстве, будучи первым специалистом по выделке самых тонких ниток (от № 120 до № 300). Подобно тому как я открыл всем доступ в Нью-Лэнарк, и для меня был открыт доступ во все мануфактуры королевства. Я посетил большинство из них с севера на юг, чтобы составить правильное представление о положении детей и рабочих, в них работающих. Я также мог при этом убедиться, как велика была роль употребляемых на фабриках машин, в устройстве которых происходят с году на год непрерывные технические усовершенствования. Производя эти наблюдения, я не мог оставаться равнодушным к положению маленьких детей, а также взрослых рабочих, превращенных в рабов при этих новых механических силах. И сколько плохого ни говорили бы про американское рабство (т.-е. про рабство негров в Америке), белое рабство на английских фабриках было в этот период неограниченного произвола хозяев гораздо хуже, чем домашнее рабство, которое я

потом видел в Вест-Индии и Соединенных Штатах; в особенности, что касается пищи и одежды, а также в отношении здоровья, черные рабы были поставлены в лучшие условия, чем дети и рабочие, угнетаемые на фабриках Великобритании... Поэтому,—говорит далее Оуэн,—моим первым шагом в деле осуществления моих новых планов был созыв собрания шотландских фабрикантов в Глазго..." [1]).

Имея основание предполагать, что шотландские фабриканты едва ли откликнутся на его предложение собраться, если собранию поставить один только вопрос об улучшении положения фабричных рабочих, Оуэн на первый план выдвигает предложение ходатайствовать перед правительством об освобождении хлопчатобумажной промышленности от тяжелой пошлины, налагаемой на ввозимый из-за границы хлопок, и только на второй план ставит интересующий его более всего вопрос о положении рабочих.

Собрание состоялось в январе 1915 г. Речь, произнесенная Оуэном на этом собрании и посланная им потом для напечатания в „Глазговскую Хронику", не лишена интереса [2]).

„Вопрос, подлежащий нашему рассмотрению,—начинает Оуэн,— имеет интерес не только для лиц, непосредственно участвующих в хлопчатобумажном производстве, но интерес общенациональный". Оуэн подчеркивает, что только с этой точки зрения он намерен его рассмотреть. „В нынешнюю эпоху,—продолжает он,—борьба между нациями посредством оружия должна замениться борьбой на почве развития промышленности и искусств, и так как политическая важность хлопчатобумажной промышленности ныне должным образом оценена всеми странами Европы, которые видят и чувствуют, насколько эта отрасль промышленности содействовала увеличению нашего богатства и могущества, то ясно, что каждая из этих стран будет стремиться к получению от нее равных с нами выгод. Франция, Швейцария и Германия отчасти достигли этого, благодаря нашей прежней отрезанности от материка во время войны. Что же делают наши законодатели? Они ухудшают условия нашей борьбы за первенство. В то время как другие страны ведут по отношению к хлопчатобумажной промышленности покровительственную политику, всемерно поощряя ее развитие, английское законодательство накладывает на ввозимый сырой хлопок ввозные пошлины, являясь таким образом лучшим помощником соперничающих с Англией стран, из коих наиболее передовые, как, например, Америка и Франция, скоро займут первые места, оттеснив нашу родину на второй план.

„Но может быть правы те, которые, подобно одному из наиболее видных представителей правительства, заявляют, что в Англии хлопчатобумажная промышленность приняла слишком обширные размеры? Этот взгляд, насколько известно, приобрел слишком широкое распро-

[1]) The Life of Rob. Owen written by himself („Автобиография"), т. I, стр. 112—113.
[2]) Там же, т. I А.—приложение под заглавием: „Observation on the cotton trade etc".

странение среди самой уважаемой части общества, указывающей на крайний вред, приносимый этой отраслью промышленности населению, и выражающей пожелание об ее сокращении.

„Меня ничуть не удивляют подобные взгляды,—продолжает Оуэн.—Наоборот, я бы удивлялся, если бы их не существовало. И если б я не был твердо уверен, что это явление (т.-е. распространение хлопчатобумажной промышленности), не зависящее от желаний или нежеланий отдельных лиц, будет в конце концов иметь благодетельные последствия, я сам был бы склонен сделать те же заключения и присоединиться к тем же пожеланиям, потому что я знаю из личного опыта, что трудящиеся классы были гораздо более счастливы в земледельческом состоянии, чем ныне на больших хлопчатобумажных фабриках. В этих плачевных результатах мы однако могли только убедиться из опыта, и ныне, когда этот опыт уже приобретен, слишком поздно поворачивать наши стопы назад. Мало того. Если бы мы пожелали, мы не могли бы вернуться в наше прежнее положение, ибо без хлопчатобумажной промышленности наше увеличивающееся население не имело бы средств к жизни, не было бы необходимых средств на содержание нашей армии и флота. Наше существование, как независимой державы, ныне—увы!—зависит от расширения этой отрасли промышленности, которая не может быть заменена никакой другой. Приходится, поэтому, констатировать, что главная опора политического величия и процветания нашей страны есть промышленность, которая в том виде, как она развивается, является разрушительницей здоровья, нравственности и социального благоденствия массы народа, ею занятой“ [1]).

„Таково современное положение нашей страны. Она обладает отраслью промышленности, которая, прямо или косвенно, дает хлеб более чем трем миллионам ее жителей и снабжает государство значительной долей необходимых ему средств. Эта отрасль промышленности, однако, такого рода, что приносит тяжелый вред здоровью, нравственности и счастью большинства занятых в ней тружеников“...

„Но нельзя ли исцелить эти бедствия, не нанося вреда развитию промышленности и процветанию страны? Я верю и надеюсь, что это возможно. И в эту сторону каждый друг нашей страны, каждый друг человечества должен направить свои взоры“.

„И знаю, что есть люди, которые не задумываются над этим вопросом, есть еще другие, которые, раз им хорошо живется, мало заботятся о страданиях других людей. Не к таким людям, если таковые имеются в собрании, я обращаю свою речь. Я предпочитаю говорить с теми, которые способны заглянуть дальше текущего момента, которые умеют предвидеть грядущие последствия из существующих фактов, которые чувствуют интерес к благу своих ближних, которые сделали то открытие, что богатство не есть счастье и что видимое

[1]) Цит. „Observations“, стр. 16—17.

величие, основанное на бедствиях народа, нельзя назвать действительным и прочным могуществом“.

„Чтобы облегчить наше опасное и критическое положение, в котором мы очутились, мы должны наметить действительные меры, могущие улучшить положение миллионов людей, занятых в промышленности... Только с введением хлопчатобумажной промышленности, детей в нежном возрасте, когда их организм не успел еще приобрести надлежащей устойчивости, а ум нуждается в развитии, закабаливают на хлопчатобумажные фабрики—эти вместилища, в большинстве случаев, живых человеческих скелетов, почти лишенных разума,—где они, при нынешних порядках, в состоянии проскрипеть несколько горьких лет, приобретая скверные привычки, которые они, подобно заразе, распространяют среди соприкасающихся с ними людей. Только с введением этой отрасли промышленности рабочих и даже детей заставили работать больше 12 часов в день, не считая в том числе времени, отведенного для принятия пищи. Только с введением этой отрасли промышленности, бедность, преступления и несчастия с ужасной быстротой распространились среди нашего народа“.

„Можем ли мы не краснея обращаться к нашим законодателям с просьбой об издании законодательных актов, упрочивающих и расширяющих эту отрасль промышленности, и таким образом заставить их подписать смертный приговор здоровью, нравственности и счастью тысячи наших ближних, не сделав попытки предложить меры к уменьшению бедствий, создаваемых этой отраслью промышленности?“

„Если таково будет ваше решение, я не намерен присоединяться к подобным ходатайствам; нет, я всеми силами буду противиться расширению промышленности, которая тяжелее для занятых в ней рабочих, чем рабство в Вест-Индии для бедных африканских негров. Ибо, как глубоко я ни заинтересован в развитии хлопчатобумажной промышленности, как высоко я ни ценю расширение политического могущества моей родины, но, зная хорошо, на основании продолжительного наблюдения здесь (в Шотландии) и в Англии, бедствия, причиняемые этой отраслью промышленности, в нынешней ее постановке, занятым в ней рабочим,—я без колебаний заявляю: пусть лучше погибнет хлопчатобумажная промышленность, пусть пострадает политическое превосходство нашей страны (если оно зависит от этой промышленности), чем основывать их развитие на пожертвовании всем ценным в жизни тех, которые являются средством для поддержания этой промышленности и этого политического превосходства“ [1]).

Таково было содержание речи Р. Оуэна к шотландским фабрикантам. Каковы же были ее результаты? Об этом мы читаем в „Автобиографии“ Оуэна следующее:

„На многолюдном собрании, происходившем под председательством глазговского городского головы, присутствовали главные хлоп-

[1]) Цит. соч., стр. 17—18.

чатобумажники города и окрестностей. После того, как я изложил главные цели, для коих было созвано собрание, мною было предложено обратиться к правительству с ходатайством об уничтожении пошлин на ввозимый сырой хлопок. Это предложение было принято единогласными одобрительными возгласами. Я тогда предложил небольшую прибавку к резолюции—об обращении к правительству с просьбой об издании закона для облегчения положения детей и других служащих на хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных мануфактурах. В этой прибавке к резолюции заключались те самые пункты, которые я впоследствии изложил в законопроекте, внесенном мною в палату общин через сэра Роб. Пиля. Но в то время как предложение ходатайствовать перед правительством об уничтожении пошлин на хлопок было принято всеми присутствовавшими с энтузиазмом, ни одна рука не поднялась за облегчение положения тех, из которых участники этого собрания извлекали свою прибыль. Тогда я отказался участвовать в дальнейших выступлениях этого собрания, заявив собравшимся, что найду свой собственный путь как в вопросе о пошлинах, так и в вопросе об улучшении положения рабочих" [1]).

И Оуэн пошел своим „собственным путем". Этот путь, впрочем, не представлял собой ничего нового. Это был уже испытанный им путь пропаганды среди членов правительства и господствующих классов, путь, который, давая ничтожный успех, приносил не меньше разочарования, чем то, которое им было испытано на глазговском собрании,—путь, на который он, несмотря на все горькие разочарования, возвращался часто впоследствии, когда казалось сошел с него окончательно.

По возвращении с глазговского митинга, Оуэн послал копии своей речи членам правительства и всем членам обеих палат, а также опубликовал ее в лондонских и провинциальных газетах. Прибыв, некоторое время спустя, в Лондон, он нашел, что „его речь произвела благоприятное впечатление в общественных кругах". По вопросу о пошлине он был направлен к соответствующему члену правительства, который после некоторых переговоров с ним заявил, что пошлина будет отменена за исключением небольшого процента, который будет оставлен для специальных целей. Тогда же он узнал, что правительство также благоприятно настроено по вопросу об издании закона в пользу улучшения положения детей на фабриках. Ввиду этого он составляет проект закона, который ему вскоре удалось внести в парламент через знаменитого впоследствии Роб. Пиля. Защита этого законопроекта и содействие его прохождению через парламент составляет славную страницу в деятельности Оуэна, на которой не будем останавливаться ввиду того, что она достаточно известна; здесь мы познакомимся только с теоретическими взглядами, высказанными им по этому вопросу в указанный период.

[1]) The Life, стр. 114.

Со взглядами Оуэна на рабочий вопрос в широком смысле мы встречаемся на каждом шагу его произведений; но в частности с его взглядами на вопрос об улучшении положения рабочих на фабриках и значение фабричного законодательства, высказанными им в связи с вышеназванным законопроектом, мы можем познакомиться из следующих источников, кроме выше цит. речи: 1) „Заметки о результатах фабричной системы": 2) „Письма к британским хозяевам-фабрикантам"; 3) предложенного Оуэном „Проекта закона с приложением возражений его противников"; 4) „Автобиографии".— Дополнительные сведения о взглядах Оуэна и его противников и о защите Оуэном указанного законопроекта, а также о фактическом положении детей на фабриках можно почерпнуть из официального „Доклада о свидетельских показаниях по вопросу о положении детей, работающих на фабриках".

II.

В своих „Заметках о результатах фабричной системы" [1]) Оуэн описывает сначала в общих чертах промышленный переворот, происшедший под влиянием изобретения машин. Указав на рост богатства, явившийся результатом развития хлопчатобумажной промышленности, он замечает: „До сих пор законодатели привыкли смотреть на фабричную промышленность с одной только точки зрения, а именно, как на источник национального богатства; другие, очень важные последствия, вытекающие из расширения указанной отрасли промышленности, поскольку она будет предоставлена своему естественному прогрессу, еще ни разу не привлекали внимания законодательства. Между тем политические и моральные последствия, которые мы имеем в виду, вполне заслуживают, чтобы наиболее выдающиеся и мудрейшие государственные люди посвятили им наилучшие свои способности".

Указав на то, с какой силой дух корысти и любостяжания овладел господствующими классами при виде золотого денежного потока, рожденного расцветом промышленности и фабричной горячкой, Оуэн с прискорбием констатирует, что это косвенным образом отражается и на трудовом классе, где родители не колеблются пожертвовать благосостоянием своих детей, отдавая их в такие работы, при которых их физическая и нравственная организация становится несравненно ниже того, чем она могла и должна бы быть при „системе общей предусмотрительности и гуманности".

[1]) Полное заглавие: „Observations on the effect of the Manufacturing System with hints for the Improvement of those parts of it which are most injurious to Health and Morals. Dedicated most respectfully to the british Legislature, 1815 („Заметки о результатах фабричной системы с указаниями относительно улучшения тех сторон ее, которые наиболее вредны для здоровья и нравственности. Почтительнейше посвящается британским законодателям" „Автобиография", Прилож. II., стр. 38—45.

„Не более 30 лет тому назад, — продолжает Оуэн, — беднейшие родители считали четырнадцатилетний возраст своих детей слишком ранним для начатия ими регулярной работы. И они правильно судили, ибо, в этот период жизни, дети игрой и упражнениями на свежем воздухе приобретали основы крепкой телесной конституции, и если не все они были отдаваемы в книжное учение, то они изучали гораздо более полезную науку домашней жизни, вполне подходящую для этого возраста, которая, по достижении ими зрелости, когда они сами становились главами семей, получала для них больше цены (научая их экономии в расходовании своих заработков), чем половина получаемой ими при современных обстоятельствах заработной платы".

„Нужно также упомянуть здесь, что 12 часов ежедневной работы, считая в том числе время для регулярного отдыха и принятия пищи, тогда считалось достаточным, чтобы выжать всю рабочую силу из самых крепких взрослых рабочих: при этом нужно прибавить, что местных праздников тогда было гораздо больше, чем теперь, в каких бы то ни было частях королевства"...

„Теперь в фабричных округах среди родителей считается обычным посылать детей обоего пола 7—8 лет, зимой, как и летом, в 6 ч. утра, нередко еще до восхода солнца и нередко в стужу и снег, на фабрики, часто нагретые до очень высокой температуры и имеющие атмосферу, далеко не похожую на ту, которая благоприятна для человеческой жизни, при чем на этих фабриках они обыкновенно работают до 12 час. дня с часовым перерывом на обед, после которого они снова приступают к работе в большинстве случаев до 8 час. вечера".

„Положение взрослого рабочего, конечно, еще хуже. Работодатель смотрит на рабочего как на орудие для выжимания прибыли, а рабочий, с своей стороны, ожесточается до того, что если своевременно не будут приняты законодательные меры, чтобы парализовать это явление и улучшить положение рабочего класса, ожесточение это вскоре ввергнет страну в ужасную опасность, из которой не будет выхода".

Оуэн намечает в нескольких параграфах проект закона об ограничении применения детского труда на фабриках, который правительство должно провести в первую голову, чтобы отчасти парализовать отрицательное влияние фабричной системы. Мотивируя все выгоды этого закона, о чем подробно он будет говорить в дальнейших своих выступлениях, он восклицает: „Неужели же мы будем сочинять законы, осуждающие людей на тюрьму, ссылку и смертную казнь за похищение нескольких шиллингов, за вред, причиненный какому-нибудь домашнему животному или за порчу ветки на дереве, и в то же время будем воздерживаться от издания закона для обуздания тех, которых иным путем невозможно обуздать в их жажде прибыли, получаемой ими путем ограбления наших братьев, у которых

они отнимают здоровье, которых лишают досуга, т.-е. времени, которое они могли бы употребить на приобретение знаний и на свое духовно-нравственное усовершенствование, делая для них недоступным какой бы то ни было жизненный комфорт и какие бы то ни было рациональные наслаждения. Такая социальная система действий не может долго существовать. Она вырабатывает свое собственное исцеление при помощи той практики бедствий, которую она рождает (курсив наш. A. A. This system of proceedings cannot continue long; — it will work its own cure by the practical evils which it creates); и это произойдет самым опасным для общественного блага путем, если правительство не даст надлежащего направления промышленной жизни".

Особый интерес для рассматриваемого вопроса представляет „Письмо к британским хозяевам-фабрикантам о пользовании трудом детей на фабриках" [1]). Письмо это написано через три года после внесения в парламент, благодаря стараниям Оуэна, выработанного им билля в защиту детского труда и за год до принятия этого билля в искаженном виде парламентом.

Выразив надежду на то, что фабриканты, воспитанные в либеральных взглядах, без колебаний встанут на его точку зрения, Оуэн заявляет, что обращается единственно к тем, „которые не были настолько счастливы и не имели настолько досуга, чтобы задуматься над вопросами, подобными затрагиваемому", и подчеркивает, что темой его письма будет вопрос „о пользовании трудом малолетних детей и о безрассудной (unreasonable) величине рабочего дня, ныне установленного для лиц всех возрастов, работающих на современных фабриках".

„Такой практике, — заявляет тотчас же Оуэн, — мы должны приписать самые худшие последствия фабричной системы, и если мы оставим дело без изменения, вследствие ли нашего равнодушия к этому вопросу или вследствие нашего прекрасного и рокового самообольщения (egregiousand fatal delusion), будто на этом основано благосостояние нашей хлопчатобумажной промышленности, мы должны быть готовы перетерпеть все тяжелые последствия, являющиеся результатом возрастающих бедствий и деморализации трудящихся классов".

„Мое самое глубокое желание, — продолжает Оуэн, — привлечь к этому важному вопросу общественное внимание и покончить с неправильным взглядом, существующим относительно него в вашей среде — убедить вас, что продолжение этой практики противоречит интересам всех без исключения в нашей стране и что этот обильный источник всяких зол может быть уничтожен без малейшего уменьшения непосредственных прибылей каждого фабриканта".

---

[1]) Letter to british Master Manufacturers on the emplogment of Childern in manufactories. 30 марта 1818 г. „Автобиография", приложение II, стр. 197—204.

Обрисовав красноречиво все непоправимые моральные и физические бедствия, причиняемые ребенку ранним закабалением его на фабрику, Оуэн высказывает предположение, что всякий из его читателей согласится, что труд, получаемый от ребенка здорового, развитого, обладающего хорошими привычками и стремлениями, более ценен, чем получаемый от слабого, нездорового, глупого и неразвитого, с скверными привычками и стремлениями; и что едва ли найдется фабрикант, который предпочтет пользоваться плохим инструментом, когда есть возможность этот инструмент улучшить и усовершенствовать. Поэтому он предлагает фабрикантам отказаться от труда детей, не достигших 12 лет. „В тех мануфактурах,—прибавляет он,—в которых ловкость в работе легче приобретается детьми в раннем возрасте, они могли бы быть употребляемы на работу для приобретения этих технических навыков в продолжение пяти или шести часов в день в возрасте между 10 и 12 годами; но я того мнения, что выгоды, таким образом приобретенные, покупаются посредством превосходящих их в десять раз жертв со стороны детей, их родителей и всей страны. Я полагаю, что разумный рабовладелец, руководимый одним только принципом—возможно больше прибыли, не станет употреблять в работу недостигших зрелости рабов такого молодого возраста даже по 10 часов в день. Точно так же рассудительный фермер не станет запрягать на работу слишком молодых животных, а животных, достигших требуемого возраста, будет запрягать сначала только на несколько часов, постепенно приучая их к нормальной работе; не нужно также упускать из виду, что работа таких животных происходит в здоровой атмосфере. Между тем, у нас детей 7—8 лет заставляют работать с молодыми людьми и женщинами всех возрастов в продолжение 14—15 часов в день в помещениях, в которых атмосфера ни в коем случае не может считаться благоприятной для человеческой жизни".

Оуэн приглашает фабрикантов сделать сравнение между здоровыми, сравнительно хорошо обученными детьми шотландских крестьян, которые посещают школу до 14—15-летнего возраста, и слабыми, бедными, несчастными заморышами льняных и хлопчатобумажных фабрик, круглый год работающими от 14 до 15 часов в сутки, начиная и кончая свою работу зимой при ночном освещении.

„Но может быть,—продолжает Оуэн,—вы скажете, что не только согласны на законодательное регулирование труда детей, но вообще готовы от них отказаться, заменив их взрослыми рабочими, так как взрослый рабочий будет работать столько часов, сколько он согласился работать по с в о б о д н о м у договору, заключенному при его найме".

„Если бы работники наших фабрик были действительно свободны,—возражает Оуэн,—и имели право выбора между девятью и пятнадцатью часами ежедневной работы, то не было бы такой настоятельной необходимости для законодательного вмешательства в это дело. Но каково действительное положение рабочих в этом вопросе?

„Являются ли они хоть в каком-либо отношении свободными не только по видимости? Могли ли бы они отказаться работать установленные часы, если б число этих часов было даже двадцать? Какой другой выход они имеют и не является ли их с в о б о д а в данном с л у ч а е с в о б о д о й у м е р е т ь с г о л о д у?"

„Слишком продолжительная работа и заключение в четырех стенах фабрики преждевременно ослабляют и расстраивают все функции тела и мало найдется людей, способных сохранить здоровье и крепость тела при регулярной работе на наших фабриках в продолжение более 10 часов в день, исключая времени, требуемого для принятия еды".

„Но вам может показаться, что вы вообще не имеете никакого основания заботиться о здоровье и комфорте трудовых классов, раз вы можете достать нужное вам число рабочих за дешевую плату. Каждый владелец фабрики заботится более всего о том, чтобы получить труд возможно более дешевый, и так как на достижение этой цели постоянно направлены все его помыслы, то установление у себя низкой заработной платы он считает самым важным своим достижением. Каждый хозяин употребляет всевозможные меры, чтобы довести заработную плату до возможного минимума; и если только один в этом успевает, другие для своего самосохранения должны последовать его примеру. Но если посмотреть на это дело правильно, то нет зла, которого владельцы фабрик должны больше бояться, чем н и з к а я з а р а б о т н а я п л а т а или о т с у т с т в и е у р а б о ч е г о к л а с с а с р е д с т в о б е с п е ч и т ь себе р а з у м н ы й к о м ф о р т; ибо эти классы, благодаря своей численности, являются самыми главными потребителями всякого рода изделий производства. Нетрудно убедиться в том, что, когда заработки рабочих высоки, страна процветает; когда они низки, все классы страдают от высших до низших, но более всего страдают интересы мануфактуры, ибо прежде всего рабочий должен приобресть пищевые продукты и только оставшийся после этого излишек рабочий может употребить на приобретение мануфактурных изделий. Таким образом владельцы фабрик непосредственно заинтересованы в том, чтобы заработная плата рабочих была достаточна высока и чтобы он имел достаточно досуга и развития, дабы быть в состоянии истратить этот излишек с пользой и смыслом—что невозможно при нынешнем положении вещей".

Оуэн с изумительной глубиной анализирует дальнейшие противоречия, которыми в современном капиталистическом строе опутан рабочий вопрос.

„Рабочие,—говорит он,—могут быть угнетаемы и деградированы трояким образом: 1) вследствие пренебрежения их воспитанием в детстве; 2) посредством слишком длинного рабочего дня; в результате чего также рабочий, благодаря невежеству, не умеет делать надлежащего употребления из своего заработка, даже если он сравнительно высок; 3) посредством слишком низкой заработной платы.

„Но когда невежество, переутомление работой и низкая заработная плата сочетаются воедино, то не только положение рабочих становится несчастным, но всем высшим классам наносится существенный вред, в особенности же,—как только что было указано,—владельцам фабрик... Таким близоруким образом действий вы подрубаете сук, на котором сидите, вы умерщвляете курицу, несущую вам золотые яйца".

Оуэн старается убедить фабрикантов, что у него нет никаких причин желать их обмануть, так как он такой же фабрикант, как и они, и столько же, если не больше, заинтересован в процветании хлопчатобумажной промышленности. Он приглашает их задуматься над изображаемым положением вещей, чтобы убедиться, что ныне практикуемый образ действий вреден как для отдельных фабрикантов, так и для всей хлопчатобумажной промышленности и для всей страны. Он указывает далее на гибельные противоречия, в которые, вследствие этого, запуталась современная промышленность.

„Мы жалуемся,—восклицает Оуэн,—на несчастное положение наших рабочих,—в то же время мы их эксплоатируем с детства до старости таким образом и при такой обстановке, что, каковы бы ни были их заработки, они в массе должны быть несчастны.

„Мы жалуемся, что все наши рынки переполнены нашими мануфактурными изделиями, и в то же время мы заставляем малолетних детей и миллионы взрослых рабочих работать почти круглые сутки, расширяя и ускоряя применение беспрерывно совершенствуемых механических сил, чтобы эти рынки еще более переполнить.

„Мы жалуемся, что множество наших сильных, здоровых и активных работников сидят без работы; между тем, у нас работают дети—почти младенцы, а взрослые, имеющие работу, работают свыше сил, как будто мы нарочно задаемся целью держать безработными тех, которым следовало бы работать и чья работа принесла бы чрезвычайные выгоды как им самим, так и всей нации.

„Мы жалуемся на налоги в пользу бедных, которые стали таким вопиющим бедствием, что, если дело так будет продолжаться дальше, они грозят потрясением основам нашего общества. И одновременно с этим мы оставляем массу нашего населения в невежестве, допускаем портиться их здоровью и нравственности с детства, расстраиваем и развращаем в зрелом возрасте, готовим им преждевременную беспомощную старость и таким образом принимаем самые действительные меры, чтобы заставить трудящиеся классы обращаться к покровительству закона о бедных, как единственно надежному убежищу, увеличивая самое страшное бедствие, которое когда-либо поражало цивилизованное общество.

„Мы жалуемся, что иностранные сырые материалы невероятно дороги и дают землевладельцам, их возделывающим, громадную прибыль, между тем как изделия, которые мы из них изготовляем посредством сверхчеловеческих усилий наших рабочих—мужчин, женщин и детей,—лишенных в своей жизни малейших признаков комфорта и при содействии вечно-движущихся, стоящих вне соперничества механизмов, слишком дешева; вследствие чего нет возможности дать этим жалким существам средства хотя бы самого элементарного безбедного существования. В то же время, устанавливая крайне длинный рабочий день, мы тем самым оказываем всяческое содействие возрастанию цен на сырые иностранные материалы и уменьшению прибыли на изделия, изготовляемые нашими фабриками.

„Не нужно много здравого смысла,—продолжает Оуэн,—чтобы понять, что мы, как мануфактуристы, крайне заинтересованы, чтобы дети были надлежащим образом воспитаны, чтобы они приобретали здоровые и крепкие организации, чтобы со всех без исключения тружеников не требовалось—и чтобы им даже запрещалось—работать больше 12 часов в день с двухчасовым перерывом для отдыха, прогулки и приема пищи и чтобы за свой труд они получали достаточно хорошее вознаграждение, на которое они имели бы возможность приобрести здоровую пищу и наиболее необходимые мануфактурные изделия.

„Если отказ от работы детей до 12 лет и ограничение часов работы взрослых двенадцатью часами, включая сюда двухчасовой обеденный перерыв, поведут к частичному увеличению себестоимости производимых нами мануфактурных изделий, то, благодаря уменьшению предложения (в то время как ныне оно превосходит спрос), цены на эти изделия поднимутся в еще большей пропорции, и потребитель, по обыкновению, покроет эту разницу. Впрочем, эта разница будет слишком ничтожна в сравнении с колебанием цен на все изделия, производимым немногими спекулянтами, скупающими сразу громадные количества сырых материалов, из которых производятся эти изделия. В хлопчатобумажной отрасли, например, которая ныне является самой обширной (хотя явление это одинаково наблюдается во всех отраслях), предлагаемые улучшения увеличат издержки изготовления ниток, не более, чем на некоторую часть пенса на фунт, а в готовой ткани или муслине не более, чем на часть указанной части пенса на аршин, между тем как вышеупомянутые спекуляции увеличивают стоимость сырого материала с 1 шиллинга до 12 или даже до 18 шиллингов на фунт к выгоде нескольких индивидов, благоденствующих на счет всего народа"... „Между тем,—добавляет далее Оуэн,—эти самые обогащающиеся на чужой счет спекулянты противятся уничтожению вышеуказанных зол, затрагивающих жизненные интересы и разрушающих благосостояние самой большой и беспомощной части населения".

„Одним словом, друзья мои, если вы основательно и честно разберете этот вопрос, вы безусловно убедитесь, что нет никакого здравого основания для продолжения этой вредной и опасной практики, ныне господствующей в нашей промышленности и, вместо того чтобы противиться ее уничтожению, вы все вместе и каждый в отдельности заинтересованы в том, чтобы просить законодательную власть без-

отлагательно положить ей конец. И я уверен, что когда вы, беспристрастно и отбросив все предрассудки, рассмотрите этот вопрос, приняв в соображение все обстоятельства, вы единодушно пошлете об этом петиции в парламент из всех округов, где имеются фабричные предприятия".

Из всего изложенного видно, на какую широкую социально-экономическую основу Оуэн ставит вопрос об улучшении участи рабочих и о вмешательстве в это дело органов государства и какими меткими доводами он защищает его перед лицом фабрикантов и правительства. Но этим его аргументация не исчерпывается. Немало добавочных доводов мы находим в его письменных и устных выступлениях в защиту внесенного им в парламент (через посредство Р. Пиля) законопроекта об ограничении пользования детским трудом.

III.

История рабочего класса в Англии показывает, что Роберт Оуэн должен быть отнесен не только к числу первых борцов за вмешательство государства в отношения между трудом и капиталом, но что он должен быть назван инициатором фабричного законодательства в Англии [1]). Законопроект Р. Оуэна, как известно, был очень скромен; основные пункты его сводились к следующим трем требованиям: 1) о недопущении на хлопчатобумажные, шерстяные, льняные и т. п. фабрики труда детей не достигших 10 лет; 2) о сокращении до $10^1/_2$ часов рабочего дня несовершеннолетних, не достигших 18 лет; 3) о запрещении ночного труда указанной категории рабочих. В законопроекте как бы мимоходом вводится еще один пункт, касающийся предмета, столь дорогого сердцу автора „Нового взгляда на общество",

[1]) Еще до внесения в парламент законопроекта Оуэна в английском законодательстве существовал закон 1802 года, имевший целью улучшение положения детей на фабриках; но, как справедливо его характеризуют авторы „Истории фабричного законодательства" (Hutchins and Harrison, A History of Factory Legislation), это не был фабричный закон в собственном смысле, а запоздалое прибавление к изданному еще в XVI веке при королеве Елизавете закону о бедных. Как известно, согласно этому закону, на приходах лежала обязанность отдавать детей бедняков и круглых сирот в обучение какому-нибудь ремеслу. Исполняя этот закон, приходские надзиратели за бедными продавали в буквальном смысле слова несчастных малюток (в возрасте начиная с 5 лет) фабрикантам. Последние бесчеловечно эксплоатировали детей; на место умиравших маленьких мучеников всегда было вдвое больше кандидатов. Отдельные филантропы еще в конце XVIII века пытаются бороться с этой бесчеловечной эксплоатацией; между ними мы видим д-ра Персиваля, организатора „Манчестерского гигиенического о-ва", и Джисборна, автора „Исследования об обязанностях человека", которые, указывая обществу на вопиющие факты из области эксплоатации детей, начинают агитацию в пользу ограничения применения детского труда. Под влиянием этой агитации английское правительство издает в 1802 г. „Закон относительно здоровья и нравственности учеников в мануфактурах". Толчком к изданию этого закона послужил скандальный процесс одного фабриканта, который до того истязал своих малолетних учеников, что их вопли нарушили душевное равновесие английского судьи,

а именно, об элементарном обучении малолетних работников [1]). Следует отметить, что Оуэн, которому хорошо было известно, как фабриканты ловко умели обходить требования закона, имевшие в виду пользу рабочих, выдвигает в своем билле ряд мер к обеспечению его выполнения и среди них проект об учреждении института фабричных инспекторов, которых он называет „платными наблюдателями".

Мы не станем останавливаться на всех подробностях прохождения билля через парламент или, как выражается сам Оуэн, на тех мытарствах, которые пришлось претерпеть самому биллю, так и его автору, пока, наконец, через четыре года после его внесения этот билль в истерзанном и изуродованном виде (Spoilt and untilated) стал законом.

Фабриканты и покровительствовавшее им правительство, само имевшее в своей среде крупных фабрикантов, прибегает ко всем мерам, чтобы заставить инициаторов законопроекта отказаться от своей затеи и чтобы провалить дело. Прежде всего в ход было пущено самое излюбленное и действительное из парламентских средств — оттяжка, волокита, от которых, не успевши увидеть свет, гибли все благие начинания; рассмотрение небольшого законопроекта растягивается на 4 года; его сдают в комиссию, составленную из его врагов, которые затевают расследование вопроса, рассчитанное на бесконечное время. На этом деле Оуэн убедился, как ведутся дела в парламенте, что он и отмечает в своей „Автобиографии" в выражениях, которые свидетельствуют о полном его разочаровании в политической мудрости этого учреждения. Но так как авторитет „доброго хозяина" Ньи-Лэнарка был слишком высок и опыт, им проделанный, говорил сам за себя, то у врагов оуэновского законопроекта возникает мысль опорочить доброе имя Оуэна, выкопать из его жизни что-нибудь та-

приговорившего фабриканта к 12 месяцам арестантских работ за то, как сказано в приговоре, что он заставлял своих учеников работать при условиях, благодаря которым они должны были на всю жизнь остаться изуродованными и увечными. Указанный закон, ограничивая работу детей 12 часами в сутки, запрещал ночную работу, предписывал хозяевам давать ученикам ежегодно новую одежду, учить их читать и писать. Кроме того закон предписывал белить два раза в году внутренние стены фабрик известью и хорошо проветривать все помещения, где работают и живут ученики. Но особенность этого закона заключается в том, что все статьи его, за исключением пункта о побелке и проветривании, распространились только на те фабрики, где работали ученики, взятые от приходов. Это видно не только из прений при обсуждении законопроекта и из самого текста его, но также из того факта, что фабриканты, пользовавшиеся трудом детей, взятых не от приходов или благотворительных заведений, т.-е. детей, взятых по свободному договору с их родителями, были свободны от исполнения этого закона. Фактически закон этот вообще не выполнялся, так как надзор за его выполнением был поручен мировым судьям.

[1]) „Указанные... лица должны в продолжение 4-х лет после принятия их на работу быть обучаемы получаса в каждый рабочий день чтению, письму и арифметике в отдельных помещениях, находящихся в стенах промышленного заведения или поблизости от него, или в какой-либо общественной школе, находящейся вблизи промышленного заведения" (См. Mr. Owen's Bill for regulating the hours of work in mills and factories, „Автобиография", т. A., стр. 23—32).

кое, что могло бы подорвать его авторитет и доверие к нему в тех сферах, где таковое к нему имелось. Когда этот ход не удается, начинается кампания перекрестных допросов в комиссии, стремление сбить, запутать в противоречиях, выдвигается тяжелая артиллерия возражений, основанных на экономических и политических доводах, вопли о торжестве иностранной конкуренции, о гибели отечественной промышленности, о гибели мощи и величия Англии и пр. Но когда Оуэн, несмотря на все это, не отказывается от своего дела, тогда прибегают к последнему средству,—законопроект посредством поправок подвергается такому изуродованию, что Оуэну он становится противен, а в глазах фабрикантов теряет девять десятых своей остроты и в таком обезвреженном виде становится для них приемлемым.

Остановимся подробнее на возражениях противников билля. Оуэн перечисляет эти возражения в 12 пунктах [1]). Они в общем сводятся к следующему.

Противники билля прежде всего возражают принципиально против вмешательства правительства в отношения между свободным работником и его нанимателем, что является, по их словам, „в высшей степени опасным, граничащим с насилием, антиконституционным новшеством".

Противники билля далее уверяли, что малолетние, работающие на фабриках, поставлены в лучшие условия, чем лица того же возраста, работающие в той же отрасли промышленности у себя на дому; что указанный билль, урезывая свободу труда лиц, работающих в промышленных заведениях с количеством рабочих выше двадцати, ведет к увеличению цен на английские мануфактурные изделия, между тем только „максимальная экономия" при пользовании человеческим трудом может довести английские мануфактурные изделия до той дешевизны, при которой они в состоянии соперничать с иностранными изделиями.

Билль этот, по уверению его противников, задается целью не только понизить производительность труда в Англии, но также препятствовать большим семьям самостоятельно без посторонней поддержки общими усилиями их членов зарабатывать средства к существованию, „ограничивая их свободу и право распоряжаться собой" и ставя такие семьи в необходимость прибегать к помощи от приходов.

Он, далее, наносит вред нравственности рабочего, выбрасывая их по вечерам слишком рано толпами на улицу, лишает глав семей их естественных прав контроля над их детьми и распоряжения их рабочей силой, ставя на место власти родительской власть администрации. В частности, что касается детей, то они, шатаясь без надзора по улицам, привыкнут к лени и безделью, что явится более опасным для их здоровья и нравственности, чем работа на фабриках.

[1]) См. Mr. Owen's Bill. „Автобиография", приложение 9, стр. 27—30.

Фабриканты далее возражают против навязываемой им обязанности давать на свой счет образование своим малолетним рабочим. Они, далее, заявляют, что во всех фабричных округах общественных и частных школ (ежедневных и воскресных) гораздо больше, чем в прочих частях королевства, и что потому в фабричных округах гораздо меньше надобности в принудительном обучении, чем где-бы то ни было.

Особенно фабриканты считают себя задетыми проектом введения платных наблюдателей за исполнением закона. Они, с одной стороны, обижены недоверием к ним со стороны инициаторов законопроекта, а с другой стороны, видят в проектируемом институте попытку к назальному вторжению посторонних в их частные дела. Назначение четвертными сессиями мировых судей оплачиваемых из бюджета графства надсмотрщиков с правом доступа в промышленные заведения во всякое время и с обязанностью делать доклады этим сессиям о состоянии промышленных заведений и пр., „есть гнусная инквизиторская мера, которая ляжет невыносимым бременем на бюджет графства. В одном только ланкастерском графстве тысяча или более помещений под действием этого билля. Графство принуждено будет оплачивать банду шпионов и осведомителей, что очень чувствительно отразится на его бюджете". „Назначение таких оплачиваемых инспекторов сделает общественным достоянием тайны каждого предприятия; все помещения подобного предприятия станут доступными для посторонних и подвергнутся их непрерывным вторжениям, которые будут тем своевольнее и назойливее, чем с большим усердием этот оплачиваемый надзиратель будет исполнять возложенные на него обязанности, по самой природе своей отталкивающие для тех, которые по своим качествам годились бы для их исполнения и привлекательные для лиц противоположного характера. Если таким лицам будет вручена подобная власть, то это наложит незаслуженное пятно на главных деятелей национальной индустрии".

Таким образом, как мы видим, предприниматели повели очень серьезную кампанию против билля Оуэна, проявив большую чуткость и понимание вещей при защите своих интересов, ясно предвидя, что проведение этого закона, создав нежелательный и опасный прецедент, может повести к дальнейшим и более существенным ограничениям в области самодержавной эксплоатации рабочих капиталистами.

Но Оуэн, которому почти одному приходилось выступать против всей капиталистической клики, все же парирует ее наступление хорошо отточенным оружием.

Основным возражением фабрикантов, как явствует из вышеизложенного, является ссылка на свободу договора и на догму невмешательства в отношения между трудом и капиталом. Мы только что видели, с какой заботливостью эти европейские плантаторы отстаи-

вают свободу своих рабов. Они отстаивают ее принципиально, находя нарушение ее посредством издания закона, полезного для рабочих, „преступным новшеством", „явным посягательством на английскую конституцию"; они отстаивают ее, когда речь идет об иностранной конкуренции, находя, что вмешательство государства в отношения между трудом и капиталом может воспрепятствовать необходимой „экономии" (проще говоря максимальной эксплоатации) при пользовании трудом рабочих; они отстаивают ее, защищая права родителей „распоряжаться трудом своих детей" путем отдачи их в фабричную кабалу; фабриканты, далее, ссылаются на свободу договора и свободу торговли, когда речь идет об их обязанности содействовать образованию несовершеннолетних рабочих, о назначении фабричных инспекций и т. д.

Мы выше видели, как едко характеризует эту свободу Оуэн в „Письме к хозяевам-фабрикантам". Свобода рабочего при договоре с фабрикантом—мнимая свобода. В действительности рабочий под влиянием нужды должен согласиться на все условия, диктуемые ему фабрикантом; в противном случае он не получит работы и обречен на голод. Свобода договора для рабочего есть свобода умереть с голоду. Отсюда вытекает, как следствие: для того, чтобы уравновесить силу фабрикантов при заключении ими договоров с рабочими, необходимо, чтобы другая равная общественная сила стала на сторону рабочих. Такой силой может быть только государство; только оно способно оказать рабочему максимальную поддержку в его состязании с фабрикантом. Одной из заслуг Оуэна перед рабочим классом является то, что он был в числе первых, выдвинувших и обосновавших требование о вмешательстве государства в отношения между трудом и капиталом.

Против второго утверждения фабрикантов, что в домашней промышленности рабочие поставлены в худшие условия, чем на фабриках, Оуэн не возражает по той простой причине, что домашняя промышленность была еще худшим видом эксплоатации, чем фабричная промышленность. Оуэн стремится пока к улучшениям в фабричной отрасли, где проведение желательных мероприятий было несравненно легче, чем в разрозненной домашней промышленности, которую Оуэн, видя грандиозные успехи крупного производства, считал обреченной на быстрое вымирание.

Оуэн прежде всего задается целью установить перед комиссией, какова действительная величина рабочего дня на фабриках и в мануфактурах и каков возраст детей, там работающих [1]). Фабриканты уверяют, что детей моложе 9 лет на фабриках не встречается и что рабочий день их не превышает 12—13 часов. Оуэн же устанавливает, что в Лидсе, Стокпорте и других фабричных местностях работа малюток 4—5 лет не редкость. В Стокпорте он лично исследовал вопрос о работе детей — и что же? Ему пришлось видеть на фабриках детей 4-х лет, и в одном случае даже 3-хлетнюю девочку. Работа таких малюток состоит в подбирании с пола спадающих во время работы клочков хлопка. Что же касается нормы рабочего дня, то Оуэн указывает на собственное заявление Роб. Пиля, что у него на фабриках рабочий день продолжается 15 часов. Джордж Гаульд полагает, что рабочий день в 16 часов тоже не редкость. Такова продолжительность рабочего дня, например, на фабриках Готта в Лидсе или на льнопрядильне Маршаля в период, когда дела хороши, и нужно спешно выбросить товар на рынок или выполнить заказ. В Стокпорте рабочий день в 1815—1816 г.г. продолжался даже 18 часов, начинаясь в 3—4 ч. утра и кончаясь в 9 ч. вечера.

Одно из главных возражений фабрикантов, как мы видели, заключается в том, что сокращение рабочего дня поведет к удорожанию производства, что отразится чуть ли не на международном положении Англии. Против этого Оуэн приводит чрезвычайно веский довод собственного опыта. На своей фабрике в Нью-Лэнарке он постепенно сократил рабочий день с 14 до 12, а затем до $10^3/_4$ часа, вследствие чего увеличение издержек производства составило один фартинг на ярд, т.-е. 2%; но рядом с этим увеличилась производительность труда. Он уверен, что не пройдет и года (последнее сокращение рабочего дня произведено им 1 января 1816 г.) и вследствие указанного увеличения производительности труда изготовление ниток при рабочем дне в $10^3/_4$ часа будет обходиться столько же, как и при рабочем дне в $11^3/_4$ часа. Нужно к этому прибавить, — замечает Оуэн,—что когда рабочий день продолжался $11^3/_4$ часа, в вечерней школе в среднем обучалось 100 человек детей; после же сокращения до $10^3/_4$ ч. число обучающихся в ней детей поднялось постепенно до 390 человек. Опыт Оуэна таким образом доказывал, что сокращение до известных пределов рабочего дня ведет, с одной стороны, к повышению производительности труда, а с другой—содействует образованию и развитию рабочих, которые своим досугом пользуются не только для „ленивого шатанья" по улицам, как уверяют фабриканты.

Оуэн остроумно разбивает один из главных доводов фабрикантов, что запрещение детского труда понизит заработки семьи. Дело в том, что в тот период в фабричных округах наблюдалось, как общее явление, стремление старших членов семьи эксплоатировать младших. В действительности это не вело к улучшению положения семьи, а только к угнетению детей. То обстоятельство, что младшие члены семьи и в частности маленькие дети вносили свою долю в общую кассу, приводило к следующим двум последствиям: или к тому, что старшие члены семьи могли предаваться пьянству на счет заработков детей, или—что наблюдалось чаще,—к тому, что фабриканты понижали заработную плату, сводя ее к таким размерам, при которых только совокупность заработков всех чле-

[1]) См. Report of the minutes of Evidans on the State of Childern employed in Manufactories, 25 april—18 june 1816, ordered by House of Commons to be printed.

нов семьи давала минимум средств необходимых для ее содержания [1]). Чтобы препятствовать родителям преждевременно эксплоатировать труд своих детей, Оуэн предлагает, чтобы было выставлено требование приема на фабрики только таких детей, которые умеют удовлетворительно читать и писать.

Противники билля, стремясь уменьшить впечатление, произведенное доводами Оуэна, основанными на его практике, и стремясь привести его в противоречие с самим собой, стараются запутать и сбить его вопросами, но Оуэн с удивительной ловкостью парирует удары этого перекрестного допроса, неизменно подтверждая теоретическими рассуждениями и практическими данными защищаемые им основные положения [2]).

IV.

Если мы подведем итог всему вышеизложенному, то увидим, в какую широкую раму социально-экономического анализа утопист Оуэн вставляет трактуемый вопрос и с каким реализмом он его трактует.

Оуэн обнаруживает удивительную глубину в понимании социально-экономической действительности, когда, в речи, обращенной к собранию шотландских фабрикантов, констатирует, что развитие хлопчатобумажной промышленности, иначе говоря, что новая форма экономической жизни есть „явление, не зависящее от желания или нежелания отдельных лиц", и вместе с тем находит, что политические и экономические условия „не позволяют нам вернуться в прежнее положение, если б мы даже этого пожелали". Таким образом он ясно видел объективную необходимость и экономическую выгоду нового строя.

В то же время он отмечает двухсторонность нового экономического процесса, когда говорит, что „главная опора политического величия и процветания страны (т.-е. промышленность)... является разрушительницей здоровья, нравственности и социального благоденствия массы народа, ею занятой".

Как же найти выход из этого бедственного положения? Задаваясь этим вопросом, Оуэн смотрит не назад, подобно многим социальным реформаторам той эпохи, вздыхавшим „о старой счастливой (земледельческой) Англии". Он отлично понимает, что возврата назад не существует. Значит ли это, что положение трудовых масс безвыходно? Нет, выход есть, его нужно искать в самой экономической действительности, в развивающейся промышленности, которая „вырабатывает свое собственное исцеление при помощи той практики действий, которую она рождает". А что это исцеление должно скоро наступить, об этом он говорит неоднократно в прежних своих и в выше цитированных сочинениях, повторяя, что „такая система действий не может долго существовать"; что ожесточение рабочих против эксплоататоров-капиталистов так велико, что „оно вскоре ввергнет всю страну в ужасную опасность, из которой не будет выхода"; короче говоря, он предсказывает в ближайшем будущем взрыв социальной революции, которую он надеялся предупредить практическим применением своего социального рецепта.

[1]) См. выше цитир. „Report", стр. 37 и др.

[2]) Данные, сюда относящиеся, мы находим в указанном „Report'e", на котором мы не можем здесь останавливаться подробнее.

Таким образом мы видим, что Роб. Оуэн, когда ему удавалось отвлечься от своей утопической идеи-фикс об образовании характера и сосредоточиться на анализе экономической действительности, способен был приблизиться к правильному пониманию диалектики социального процесса, пониманию, поразительному в этом самоучке, никогда не претендовавшем на титул ученого.

Не менее реализма и чувства действительности Оуэн обнаруживает в постановке и разрешении рабочего вопроса (в узком смысле этого слова). Чтобы полнее охватить его взгляды (в ту эпоху — до 1818 г.) на этот вопрос, нужно принять во внимание все им высказанное касательно этого в „Опытах", где, рядом с его теоретическими рассуждениями, мы находим много данных из его собственной практики в этой области [1]).

Оуэн на заре капиталистического строя дал рабочему вопросу ту постановку, которую он приобрел впоследствии, когда рабочий класс выступил самостоятельно на борьбу с эксплоатацией предпринимателей.

Оуэн теоретически и практически доказал, что уменьшение рабочего дня и улучшение других условий жизни рабочего (и на первом плане повышение его жизненного уровня) увеличивают производительность труда и таким образом не уменьшают прибыли фабриканта, а, наоборот, даже способствуют ее увеличению.

Уже в сравнении рабочего с машиной, делаемом Оуэном в „Открытом письме к директорам фабрик", заключаются все доводы в пользу указанного основного положения. Это сравнение, проникнутое иронией и горечью по адресу эгоистических и близоруких предпринимателей, гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда, и вполне отвечает воззрениям наиболее передовых представителей развитого и демократизированного капиталистического общества на труд и способы его эксплоатации (тэйлоризация труда). Опережая на много десятков лет это воззрение, Оуэн, как он сообщает в указанном письме, с самого начала своей службы в фабричных предприятиях смотрел на вверенных ему рабочих, на машины и все другие отделы фабрики, как на сложную систему, состоящую из многих частей, и комбинировал эти части так, что каждый рабочий, каждая пружина,

[1]) Среди этого материала наибольший интерес без сомнения представляет его остроумное „Открытое письмо к директорам фабрик".

каждый рычаг, каждое колесо приносили хозяину фабрики возможно больше выгод.

И тем не менее, или вернее говоря именно поэтому, он считает необходимым поставить живую машину, т.-е. рабочего, в наилучшие условия труда.

Оуэн рассуждает в высшей степени просто, и его логика должна казаться неотразимой для культурного предпринимателя, когда он, проводя указанную аналогию между неодушевленным механизмом и живой машиной, уверяет, что производительность этой последней будет увеличена оттого, что ее силы и способности будут усовершенствованы путем воспитания; оттого, далее, что ее будут держать в чистоте, хорошо смазывать, т.-е. снабжать достаточным количеством хорошей пищи, умело с ней обращаться, т.-е. не будут подвергать ее душу излишним раздражениям, не будут перенапрягать чрезмерной работой, давая необходимый отдых, и будут удовлетворять другим ее жизненным потребностям, дабы тело было здоровым, работоспособным, не требовало „починок" и не разрушалось преждевременно. Он подтверждает все сказанное самым убедительным доводом, взятым из собственной практики. „Я истратил,—говорит он,—много времени и денег на улучшение живых машин и уже теперь время и деньги, затраченные мной на фабрику в Нью-Лэнарке, приносят более 50% дохода, хотя эти улучшения только вводятся и пока еще достигнута лишь половина их благодетельных результатов; в ближайшем же будущем такие затраты несомненно будут приносить 100% выгоды" (см. вышеуказанное „Открытое письмо", The Life, т. I, 259—262).

Считая достаточно высокую заработную плату одним из основных условий интенсивности и производительности труда, Оуэн, как мы видели в вышецитированном „Письме к британским хозяевам-фабрикантам", подходит к этому требованию с иной стороны; он утверждает, что „владельцы фабрик непосредственно заинтересованы в том, чтобы заработная плата рабочих была достаточно высока", ибо „эти классы, благодаря своей численности, являются самыми главными потребителями всякого рода производства". При низкой заработной плате страдают интересы всей страны, но прежде всего — интересы мануфактуры; поэтому,—подчеркивает свою мысль Оуэн,—„нет зла, которого владельцы фабрик должны бояться больше, чем низкая заработная плата". Этой идее о важности и примате внутреннего рынка Оуэн, в связи с экономической стороной своего коммунистического плана, дает более подробное обоснование в „Докладе Совету лэнаркского графства".

В том же „Письме к британским хозяевам-фабрикантам", как мы видели, Оуэн рядом с главным вопросом о раннем закабалении детей останавливается также на вопросе „о безрассудной величине рабочего дня", установленного для лиц всех возрастов на современных фабриках, и уверяет фабрикантов, что от этой практики можно отказаться без всякого вреда для их прибылей. Подводя итоги

всем формам угнетения рабочего, он уверяет, что тройное угнетение посредством лишения рабочего всякого образования, переутомление его работой и ничтожного вознаграждения его труда, вредя интересам всей страны, приносит прежде всего вред самим фабрикантам, „которые таким близоруким образом действий подрубают сук, на котором сидят, умерщвляют курицу, несущую им золотые яйца".

Второй тезис, выдвигаемый Оуэном, заключается в признании за рабочим морального права на отдых; при этом Оуэн утверждает, что досуг, давая возможность рабочему развивать свою личность, косвенно содействует увеличению производительности его труда и более целесообразному и полезному израсходованию рабочим своего заработка.

Требование достаточного отдыха для рабочего Оуэн обосновывает и экономическими и моральными доводами. Оуэн стремится перевоспитать рабочего, погрязшего в невежестве, сделать из него высшее существо. С другой стороны, он считает очевидным право рабочего на „невинные и безвредные" удовольствия, ибо лишенный таковых рабочий прибегает к тем грубым удовольствиям, которые так пагубно отражаются на нем духовно и физически. „Поэтому,—заключает (в своих „Опытах") Оуэн,—кто хочет выработать в человеке такой характер, который доставил бы ему возможно больше счастья, тот должен добросовестно позаботиться о предоставлении ему возможности отдыхать телом и душой". Против уверений фабрикантов, что рабочий, наоборот, будет пользоваться своим отдыхом для пьянства и разврата, Оуэн выдвигает данные своего собственного опыта. Сокращение рабочего дня на его фабрике в Нью-Лэнарке привело к более прилежному посещению рабочими вечерних бесед и лекций, библиотеки, залы для игр и танцев. Летом рабочие пользовались своим досугом для обработки своих садиков и огородов. Наконец, часы досуга могут быть использованы для ознакомления рабочих с новыми усовершенствованиями в области его профессии. Отдых, укрепляя тело рабочего и давая ему возможность умственного развития, делает труд рабочего более производительным. В настоящее время положение, что труд развитого рабочего производительнее труда мало развитого считается аксиомой; но в те времена утверждать нечто подобное значило проповедывать вредные беспочвенные новшества и итти вразрез с существующими взглядами и установленной практикой.

Оуэн с отчетливой ясностью видел основное противоречие, существующее в капиталистическом строе, между его политической внешностью и экономической сущностью. Называя поэтому свободу рабочего свободой умереть с голоду, он категорически требовал вмешательства правительства в отношения между трудом и капиталом. Сколько сарказма и глубокого возмущения в его словах, когда он указывает, какими драконовскими мерами в самой передовой капита-

листической стране защищается собственность ничтожного большинства и как мало уделяется внимания защите самых ценных прав и интересов подавляющего большинства. „Неужели же мы будем сочинять законы, осуждающие людей на тюрьму, ссылку и смертную казнь за похищение нескольких шиллингов, за вред, причиненный какому-нибудь домашнему животному или за порчу ветки на дереве, и в то же время будем воздерживаться от издания закона для обуздания тех, которых иным путем невозможно обуздать в их жажде прибыли, получаемой им путем ограбления наших братьев, у которых они отнимают здоровье, которых они лишают досуга, т.-е. времени, которое они могли бы употребить на приобретение знания и на свое духовно-нравственное усовершенствование, делая для них недоступными какой бы то ни было жизненный комфорт и какие бы то ни было рациональные наслаждения".

Для правительства Оуэн выдвигает политическую сторону рабочего вопроса. Немало строк он посвящает доказательству того, что закабаление рабочего чуть ли не с пятилетнего возраста и чрезмерная эксплоатация в продолжение всей жизни, переутомляя рабочего, лишая его минимального досуга, не дают ему возможности надлежащего воспитания в детстве и духовно-нравственного развития в дальнейшие годы жизни и превращают его в невежественное существо с плохими привычками и наклонностями, а такие граждане,—предостерегает Оуэн правительство,—являются самым худшим элементом для управления. Но к еще худшим результатам для правительства приводит сама эта чрезмерная эксплоатация, вызывая в рабочих ожесточение, которое „вскоре ввергнет страну в ужасную опасность, из которой не будет выхода".

Арк.А-н.

Август Бебель.

(Заметка).

Только 10 лет отделяют нас от смерти Бебеля, но каких 10 лет! Теперь мы можем совершенно беспристрастно подойти к его жизненному подвигу, ибо он принадлежит вполне истории. Поэтому же исторически надо понять и его „ошибки". Вскоре после его смерти, всего через год началась мировая война и одновременно начались стремления со стороны шейдемановцев прикрыться дорогим для рабочих всего мира именем Бебеля. И тут эти враги рабочего класса поступали совершенно разумно, со своей точки зрения, ибо не было имени во Втором Интернационале, столь дорогого и близкого всем рабочим, как имя Бебеля.

В нем рабочие видели как бы воплощение своей мечты, когда при взгляде на его небольшую, хрупкую изящную фигуру вспоминали,

что и он тоже рабочий, продолжавший стоять у станка вплоть до конца 80-х г.г. С раннего детства Бебель изведал бедность и нужду и необходимость постоянной работы, чтобы иметь насущный кусок хлеба. Он родился в 1840 г. в Кельне и самые ранние его воспоминания связаны с казармой, где его отец был солдатом, с пограничным постом на бельгийской границе, где его отец и умер. Мать вышла вторично замуж за брата мужа и к первым впечатлениям прибавились еще тюремные в Браувейлере, где его отчим был служащим. Он умер в 1846 г. и семья осталась на попечении чахоточной матери, которая умерла в 1853 г. Маленький Бебель остался круглым сиротой. На 1854—1858 г.г. падают годы его ученичества у мастера-токаря, а в 1858—1860 г.г. его „годы странствования". Над этим стоит призадуматься. На пороге его сознательной жизни мы видим его бодро шагающим из одного города южной Германии и Австрии в другой и по обычаю еще средневекового мастерства знакомящегося на местах с особенностями производства. Производство, да еще в столярном и токарном деле, носило тогда исключительно кустарный, ремесленный характер и Германия была еще полна быта „старосветских помещиков". И представим себе, чем стала Германия к моменту жизненного заката Бебеля—страной наиболее мощного и наиболее организованного промышленного капитализма в его империалистической форме. Нелегко дался путь от ремесленного подмастерья к вождю мирового промышленного пролетариата и самому Бебелю. В этом отношении незаменимый социологический материал дают его мемуары: „Из моей жизни". Он был полон массы противоречий, борьба с которыми ему давалась нелегко. Но зато то, к чему он приходил, крепко врезалось в него и становилось неразрывной частью его „я". И, быть может, это-то его происхождение и поможет нам разобраться в его „ошибках".

Небольшие немецкие города, как Зальцбург или Фрейбург, где ищущий юноша-лютеранин ради самообразования становится членом католических союзов подмастерий, не могли удовлетворить пытливого юношу, и с 1860 г. мы его видим в Лейпциге сперва работающим в чужой мастерской, а с 1863 г. заводящего свою собственную, из которой Бебель ушел только в конце 80-х г.г.

Работая много часов в мастерской, Бебель находит время продолжать работу над своим образованием, и мы видим его членом политического общества, где во главе стояли буржуазные демократы. Новый мир открылся перед ним и мир настолько увлекательный, что он не слышал раздававшихся уже в рабочей среде предостерегающих голосов против хождения на поводу у либералов. 19 февраля 1861 г. он попадает впервые на собрание, первое большое собрание в его жизни, на котором уже выступает оппозиция в лице будущих соратников Бебеля—Вальтейха и Фрича. Но сейчас Бебель их противник,

он не сторонник классового отъединения пролетариата от буржуазии и только жизненный опыт заставил его отойти от либерализма. Даже больше того: пламенная агитация Лассаля не увлекла Бебеля, и он остался в стороне от первых попыток организации немецкого рабочего класса, хотя они и были в том же городе, где и он вел культурно-просветительную работу среди рабочих же. Равным образом не присоединился он к Вальтейху и Фричу, когда те основали в противовес политехническому обществу—свое чисто рабочее просветительное общество „Вперед". Тут, думается, сказывается два момента: во первых, положение Бебеля—ремесленника и хозяина, а, во вторых, малое его политическое развитие. Не забудем, что главное влияние на его развитие оказал с 1865 г. Либкнехт, ознакомивший его с основами марксизма, а с „Капиталом" он познакомился уже в 70-х г.г. в тюрьме. Но было в молодом токаре, с волнением слушавшим, как его же товарищи рабочие осмеливаются выступать против образованных господ и мечтавшим о том же, глубокое сознание общности положения с другими рабочими и чутье, классовый инстинкт, который во многом помог ему. А перед ним стояло дело чрезвычайной важности. С 1865 г. он сходится с Вильгельмом Либкнехтом, и с того времени они идут рука об руку, совместно они основывают в 1867 г. саксонскую народную партию, от которой оба проходят в северо-германский рейхстаг. В 1868 г. саксонская народная партия принимает программу Интернационала, а в следующем 1869 г., в Эйзенахе, они основывают социал-демократическую рабочую партию. И с этого времени имя Бебеля неразрывно связано с делом социализма в Германии и во всем мире.

Хотя еще в 1868 г. Бебель совместно со своими товарищами по саксонской народной партии примкнули к Интернационалу, но в нем он не играл никакой роли. Это и понятно, Германия только-только переживала свой промышленный переворот, сам Бебель — ремесленник—живой свидетель экономической отсталости Германии, где еще только закладывались профессиональные союзы и в ожесточенной борьбе оформлялось классовое политическое сознание рабочих. Все это не могло не сказаться в том, что Германия не принимала активного участия в жизни Первого Интернационала. И вот тут-то все же обнаружилось очень интересное явление, которое потом, в еще более резкой форме, сказалось у нас в России. Основателями Интернационала вместе с Марксом явились английские рабочие, вожаки уже давно существовавших трэд-юнионов, но как только они попадали в парламент, они тотчас становились заурядными либералами и ни о какой самостоятельной, даже относительно, рабочей политике в парламенте не поднималось и речи до начала XX ст. Значит, никаких традиций для классовой пролетарской политики не было, скорее надо сказать обратное—была традиция для рабочих, уже освященная английским опытом слияния с либералами. И вот тут-то сказались самые крупные стороны Бебеля. Попав в 1867 г. в учредительный северо-германский рейхстаг, он очутился в полном одиночестве, ибо был в единственном числе (Либкнехт попал уже в следующий рейхстаг). И вот Бебель, ремесленник Бебель, противник, как мы видели, самостоятельных рабочих организаций и представитель демократической саксонской народной партии, сразу же занимает исключительное положение в рейхстаге и вместе с тем закладывает основы парламентской тактики рабочих в эпоху органической мирной обстановки. Здесь, конечно, многое надо отнести на счет классового инстинкта, но на одной стихийности далеко не уйти. Перед Бебелем стояли воспоминания о том, как вела себя германская буржуазия в 1848—1849 г.г. и совсем недавно в момент конституционного конфликта, и как она пошла в объятия Бисмарка после войны 1866 г. Вот эта-то обстановка, это-то предательство буржуазии, одним словом, практическая борьба и помогли Бебелю заложить основы марксистской парламентской тактики.

Современный социализм давно определен как соединение массового рабочего движения с теоретическими построениями социализма, главным образом, в лице марксизма, и вот именно таким соединением теории и практики и явилась вся дальнейшая жизнь Бебеля.

По мере роста производительных сил Германии одиночество 1867 г. все более и более уходило в область предания, но вместе с тем надвигались другие опасности и здесь Бебель был на чеку. С самого начала своей политической парламентской деятельности он столкнулся с двумя крайностями: с одной стороны, лассальянцы в лице Швейцера устремляли все свое внимание на классовую борьбу с буржуазией и были не прочь от соглашения в пику либералам с феодалами, с другой стороны, Либкнехт перегибал палку в другую сторону и пытался принизить классовое содержание рабочей политики до простого сотрудничества с буржуазией ради политической реформы. Вот здесь-то и помогла Бебелю диалектичность его мышления. Он нашел для своего времени совершенно верную и на долгое время ставшую классической формулу использования парламентской трибуны, как средства постоянной непрерывной агитации и разоблачения, не отказываясь в то же время от органической работы улучшения законопроектов в пользу рабочего класса. И мы видим в его парламентских речах образцы того и другого. Не надо только делать из этого фетиша, возводить в абсолютную систему. Надо помнить обстоятельства места и времени, которые создали эту тактику. Забывая это, мы впадем в парламентский кретинизм, чем страдала в годы перед войною германская с.-д.

Плеханов как-то дал сравнение ораторского таланта Бебеля и Жореса и показал, как, несмотря на глубокое и серьезное фактическое

он не сторонник классового отъединения пролетариата от буржуазии и только жизненный опыт заставил его отойти от либерализма. Даже больше того: пламенная агитация Лассаля не увлекла Бебеля, и он остался в стороне от первых попыток организации немецкого рабочего класса, хотя они и были в том же городе, где и он вел культурно-просветительную работу среди рабочих же. Равным образом не присоединился он к Вальтейху и Фричу, когда те основали в противовес политехническому обществу—свое чисто рабочее просветительное общество „Вперед". Тут, думается, сказывается два момента: во первых, положение Бебеля—ремесленника и хозяина, а, во вторых, малое его политическое развитие. Не забудем, что главное влияние на его развитие оказал с 1865 г. Либкнехт, ознакомивший его с основами марксизма, а с „Капиталом" он познакомился уже в 70-х г.г. в тюрьме. Но было в молодом токаре, с волнением слушавшим, как его же товарищи рабочие осмеливаются выступать против образованных господ и мечтавшим о том же, глубокое сознание общности положения с другими рабочими и чутье, классовый инстинкт, который во многом помог ему. А перед ним стояло дело чрезвычайной важности. С 1865 г. он сходится с Вильгельмом Либкнехтом, и с того времени они идут рука об руку, совместно они основывают в 1867 г. саксонскую народную партию, от которой оба проходят в северо-германский рейхстаг. В 1868 г. саксонская народная партия принимает программу Интернационала, а в следующем 1869 г., в Эйзенахе, они основывают социал-демократическую рабочую партию. И с этого времени имя Бебеля неразрывно связано с делом социализма в Германии и во всем мире.

Хотя еще в 1868 г. Бебель совместно со своими товарищами по саксонской народной партии примкнули к Интернационалу, но в нем он не играл никакой роли. Это и понятно, Германия только-только переживала свой промышленный переворот, сам Бебель — ремесленник—живой свидетель экономической отсталости Германии, где еще только закладывались профессиональные союзы и в ожесточенной борьбе оформлялось классовое политическое сознание рабочих. Все это не могло не сказаться в том, что Германия не принимала активного участия в жизни Первого Интернационала. И вот тут-то все же обнаружилось очень интересное явление, которое потом, в еще более резкой форме, сказалось у нас в России. Основателями Интернационала вместе с Марксом явились английские рабочие, вожаки уже давно существовавших трэд-юнионов, но как только они попадали в парламент, они тотчас становились заурядными либералами и ни о какой самостоятельной, даже относительно, рабочей политике в парламенте не поднималось и речи до начала XX ст. Значит, никаких традиций для классовой пролетарской политики не было, скорее надо сказать обратное—была традиция для рабочих, уже освященная английским опытом слияния с либералами. И вот тут-то сказались самые крупные стороны Бебеля. Попав в 1867 г. в учредительный северо-германский рейхстаг, он очутился в полном одиночестве, ибо был в единственном числе (Либкнехт попал уже в следующий рейхстаг). И вот Бебель, ремесленник Бебель, противник, как мы видели, самостоятельных рабочих организаций и представитель демократической саксонской народной партии, сразу же занимает исключительное положение в рейхстаге и вместе с тем закладывает основы парламентской тактики рабочих в эпоху органической мирной обстановки. Здесь, конечно, многое надо отнести на счет классового инстинкта, но на одной стихийности далеко не уйти. Перед Бебелем стояли воспоминания о том, как вела себя германская буржуазия в 1848—1849 г.г. и совсем недавно в момент конституционного конфликта, и как она пошла в объятия Бисмарка после войны 1866 г. Вот эта-то обстановка, это-то предательство буржуазии, одним словом, практическая борьба и помогли Бебелю заложить основы марксистской парламентской тактики.

Современный социализм давно определен как соединение массового рабочего движения с теоретическими построениями социализма, главным образом, в лице марксизма, и вот именно таким соединением теории и практики и явилась вся дальнейшая жизнь Бебеля.

По мере роста производительных сил Германии одиночество 1867 г. все более и более уходило в область предания, но вместе с тем надвигались другие опасности и здесь Бебель был на чеку. С самого начала своей политической парламентской деятельности он столкнулся с двумя крайностями: с одной стороны, лассальянцы в лице Швейцера устремляли все свое внимание на классовую борьбу с буржуазией и были не прочь от соглашения в пику либералам с феодалами, с другой стороны, Либкнехт перегибал палку в другую сторону и пытался принизить классовое содержание рабочей политики до простого сотрудничества с буржуазией ради политической реформы. Вот здесь-то и помогла Бебелю диалектичность его мышления. Он нашел для своего времени совершенно верную и на долгое время ставшую классической формулу использования парламентской трибуны, как средства постоянной непрерывной агитации и разоблачения, не отказываясь в то же время от органической работы улучшения законопроектов в пользу рабочего класса. И мы видим в его парламентских речах образцы того и другого. Не надо только делать из этого фетиша, возводить в абсолютную систему. Надо помнить обстоятельства места и времени, которые создали эту тактику. Забывая это, мы впадем в парламентский кретинизм, чем страдала в годы перед войною германская с.-д.

Плеханов как-то дал сравнение ораторского таланта Бебеля и Жореса и показал, как, несмотря на глубокое и серьезное фактическое

содержание, речи Бебеля были полны пафоса ненависти к буржуазному строю, почему носили огненный характер. Действительно, в его речах поражает это соединение, которое и делает их особенно увлекательными. Заложив основы мировой пролетарской тактики в парламенте, Бебель оформил ее в своих отчетах о парламентской работе германской с.-д.

В момент Франко-прусской войны Бебель и Либкнехт вопреки большинству своих товарищей сумели найти подлинно марксистскую формулу отношения к ней. В своей мотивировке воздержания от голосования военных кредитов они указали на преступный характер войны с обеих сторон как со стороны Бисмарка, так и со стороны Наполеона. Их отношение подтвердилось и после Седана и разгрома империи Наполеона, они стали уже бороться с аннексионистскими стремлениями Бисмарка, что и привело их на два года в крепость. Не побоялся Бебель с высоты парламентской трибуны солидаризироваться и с Парижской Коммуной, как раз в те дни, когда Тьер с помощью „своего исконного врага немца" топил в море крови первую рабочую революцию (майская речь Бебеля).

Тюрьма много дала Бебелю—во-первых, в ней (это полная ирония судьбы и полная противоположность русской царской практики) он поправил свое здоровье и окреп, и вследствие этого смог вплотную заняться своим самообразованием и изучить марксизм. Одновременно он написал „Крестьянские войны в Германии" и заложил основы своей книги, которая является одной из наиболее читаемых во всем мире—„Женщина и социализм". В этой книге он развил детально старую марксистскую мысль, что по положению женщины мы можем легко судить о степени экономического и политического развития того или другого общества, а вместе с тем он вскрыл, что освобождение женщины может явиться только в результате всеобщей эмансипации. Одна глава из этой книги, посвященная „социалистическому обществу", является единственным марксистским произведением, пытающимся нарисовать картину будущего общества. К этому вопросу Бебель вернулся еще в своих двух парламенстких речах 1893 г., когда германский рейхстаг обсуждал „социал-демократические картинки будущего". Эта дискуссия имеется и в русском изд. Глаголева под названием „Государство будущего. Стенографический отчет дебатов германского рейхстага". Своей книгой „Женщина и социализм" Бебель поставил на очередь дня и женское пролетарское движение, при чем отметил двойственную задачу, стоящую перед каждой женщиной, и поставил на очередь дня и половую проблему, которую разрешил очень смело. Для теперешнего молодняка очень важно знать, каким путем Бебель пришел к следующим словам: „Удовлетворение половой потребности такое же частное, личное дело, как и удовлетворение каждой другой естественной потребности человеческого организма, лишь бы это не приносило вреда себе и другому. В остальных случаях половая и сердечная жизнь никого не касается". Международное женское рабочее движение связано самым тесным образом с именем Бебеля. Вместе с тем он уже в этой работе показал применение марксистского метода к изучению сложных проблем и показал неплохо, если „это совершенно ненаучная книга" по определению буржуазных ученых, несмотря на свой объем и серьезный материал, стала одной из любимейших книг международного пролетариата.

Что Бебель никогда не был застывшим догматиком, а, наоборот, всегда тактику приспосабливал к определенному времени, ясно видно из того, как он явился одним из создателей революционной практики германской социал-демократии в момент исключительных законов. Этому вопросу он посвятил 3-й том своих мемуаров, и из них ясно видно, как Бебель комбинировал в это время легальную работу с нелегальной. Кто изучает практику большевизма после 1905 г., тому будет очень интересно узнать, как разрешали наши предшественники схожую задачу. Вокруг этого в свое время разгорелся спор: так В. Левицкий в своей книге „Бебель" пытается доказать (особенно ярко во 2 изд., вышедшем уже после революции 1917 г.), что Бебель, как „чорт ладана, боялся подполья" и не поддавался на провокацию уйти в него. На это Зиновьев в ст. „Бебель в эпоху подполья" („Просвещение", март 1914 г.), показывает, что Бебель был только против централизации подпольного аппарата, но за него и вместе с тем рассказывает о том, что пропустил Левицкий, а именно, как обрушился Бебель на „трехзвездие" Гехберга, Шрамма и Бернштейна, когда те вздумали в 1878 г., уже после издания закона против социалистов, доказывать, что в нем повинны сами социалисты, так как де они слишком стремились орабочить партию, и тем оттолкнули от себя благородных либералов. Бебель умел, подобно большевикам, комбинировать надполье с подпольем, подчиняя первое второму, понимая последнее не как специфическое „заговорщицкое учреждение", а как борьбу с неурезанными лозунгами, подчиненную конечной цели.

Как видит читатель, Бернштейн думал ревизовать марксизм уже давно, ликвидаторство совершенно не оригинальное русское явление. Но с ним и с подобными стремлениями справа Бебель беспощадно боролся до конца своих дней. Когда в 90-х г.г. Бернштейн снова решил пересмотреть марксизм и ликвидировать социальную революцию, а с нею и классовую партию пролетариата, и заменить все это классовым дружным сотрудничеством и реформочками, Бебель занял снова боевую позицию и обрушился на ревизионизм. Наиболее известны три его выступления: на Ганноверском партейтаге 1899 г. (имеется и на русском языке), на Дрезденском партейтаге 1903 и на Амстердам-

ском международном конгрессе 1904 г. (есть на русском языке). Интересно самое построение его ганноверского доклада. Неоднократно в нем Бебель скорбит о том, что в партии разучились мыслить, почему сразу же не смогли разобраться в софизмах Бернштейна. Себя он причисляет к профанам и указывает, что в философской части спора „я этого ничего не понимаю, но вынес такое впечатление, что Бернштейну здорово досталось". Это, конечно, только своеобразное кокетство, так как в противном случае ему незачем было бы постоянно скорбеть, что многие члены партии разучились теоретически мыслить. Ввиду заявленного им же самим профанства, да еще потому, что партейтаг не ученое общество, он все внимание сосредоточивает на социологической стороне бернштейниады. Прежде всего он постоянно указывает на неоригинальность взглядов Бернштейна. Бебель останавливается на следующих основных вопросах: „обостряются ли общественные отношения или же смягчаются". Детальный анализ промышленности, торговли и сельского хозяйства показывает Бебелю, что ни о каком смягчении противоречий говорить не приходится, при чем он указывает, что Бернштейн допускает большую ошибку, что статистические данные берет не сравнительно,—Бебель старается брать по преимуществу буржуазных теоретиков, которые в своих чисто научных работах побивают Бернштейна и его „среднее сословие", при чем пример Саксонии (детальнейший анализ статистики подоходного налога) он считает решающим для всего спора („От решения зависит все, если прав Бернштейн, побиты мы, и—обратно"). Вопрос об улучшении или ухудшении положения рабочего класса просто не решается, а равно и вопрос о заработной плате—ведь суть спора в следующем: „улучшилось ли оно и относительно по сравнению с господствующими классами". И классовая борьба не смягчается: „если формы стали человечнее, то от этого классовые противоположности не стали мягче". И примером служит статистика стачек 1898 г., года—высокой промышленной конъюнктуры, когда 53% всех стачек пришлось на стачки оборонительные. И что ждет тогда в годы кризиса? спрашивает Бебель. К тому же и промышленники начинают организовываться, и Бебель уже предвидит, что тресты и синдикаты станут для капиталистов могучими орудиями борьбы с рабочим классом. Что в сравнении с ним даже самые богатые профсоюзы? И в предвидении обострения классовой борьбы Бебель готов пойти на обязательность членства в профсоюзах, так как предстоят бои не на жизнь, а на смерть. Это вплотную приводит Бебеля к вопросу о социальной революции и экспроприации экспроприаторов, и он считает, что без этого не обойтись, и тому же мы имеем и прецеденты буржуазной экспроприации—вспомните процесс первоначального накопления, описанный Марксом, земельную экспроприацию крестьянства

в Германии и освобождение негров в Северной Америке. Вообще надеяться на буржуазию нечего, она ничего не даст, и советы не отпугивать ее, не задевать ее религиозных предрассудков, ни к чему не ведут. Надо твердо стоять на старой испытанной позиции. Мы нарочно привели подробное изложение этой речи, так как в ней сказались наиболее характерные черты Бебеля, как ученого исследователя. Для него теория тесно связана с практикой, почему он гордо заявляет „у нас нет догм", мы должны следить за изменением обстановки и мы не останавливаемся перед изменением ряда программных требований (приводится целый ряд отброшенных положений, главным образом наследие лассальянства) и в начале своей речи Бебель приводит следующие слова: „Мы находимся в процессе постоянного духовного линяния". Эту мысль можно продлить и дальше и указать, что новая шуба является расширенным воспроизводством старой и в конце концов приведет ко взрыву.

Но, относясь страстно к каждой попытке принизить теорию и практику марксизма, Бебель не шел до конца и всегда останавливался перед организационным разрывом с ревизионистами и оппортунистами. Даже когда баденцы голосовали за бюджет, Бебель в своей магдебургской речи в 1910 г. ограничился только словесными упреками (речь имеется на русском языке в „Нашей Заре" 1910 г., кн. 8—9), но зато с гораздо большей силой напал на следующем партейтаге на Люксембург, когда та требовала более активной политики. В этом мы видим не „ошибки" Бебеля, а его принадлежность к тому поколению, которое созрело в эпоху органического мирного роста капитализма и которое создало Второй Интернационал. А между тем время наступало совершенно иное, совершенно непохожее на то, когда начинал свою деятельность юный токарь. Приближались те бури, которых он так ждал и о которых он говорил всегда с таким огнем. Вот в этой известной ограниченности, связанной со всем прошлым, мы и видим источник всех „ошибок" Бебеля. Время мировой политики финансового капитала требовало новой революционной тактики, на которую старые вожди уже были не в силах. Иные времена требовали уже иных—новых песен.

Но и тогда лично Бебель был подлинно первою любовью мирового пролетариата. В нем и русские, и японцы и негры видели как бы прообраз грядущей судьбы всего рабочего класса. И понятна та скорбь, которая охватила весь рабочий класс, когда в августе 1913 г. разнеслась весть об его кончине.

Когда читаешь его мемуары, а их надо читать и изучать, поражаешься тому, как вся жизнь Бебеля растворяется в жизни его класса, как все свободное от работы для заработка время принадлежит его классу. Такой слиянности, такого гармоничного сочетания

личной жизни растворенной в коллективной с полным сохранением всех своих выдающихся индивидуальных черт, мы имеем очень немного примеров. Поэтому мы поймем, какое чувство вызывал Бебель у Маркса и Энгельса, когда они увидали, что немецкий пролетариат вышел из младенчества, во время которого он уже их поражал в лице Вейтлинга своей гениальностью и когда они увидели рабочего Бебеля—организатора и вождя своего класса. Период Бебеля т. Ленин в его некрологе характеризует как период накопления и собирания сил перед решительным боем. До этих боев и предшествовавшего ему времени войны со всею ее подлостью Бебелю не удалось дожить. И среди предшественников наступающего нового дня будет вечно жить эта изящная хрупкая фигура токаря Бебеля, который показал нам, тип грядущего человека [1]).

Ст. Кривцов.

[1]) В журнале „Коммунистическая Мысль" 1923 г., кн. 8. стр. 30—33, дана составленная тов. Розановым библиография о Бебеле. 1. Произведения Бебеля на русском языке. 2. Литература о Бебеле.

Социологическое исследование Макса Вебера о городе [1]).

В своей рецензии на последнюю книгу А. Допша [2]) Белов назвал ее „критическим обзором накопившейся литературы и исследований" и признал за ней ценность лишь постольку, поскольку она является таковым. Ибо остальное—попытка решения ряда основных вопросов поздне-римского и ранне-средневекового развития представляется Белову возможной лишь на основании ряда конкретных, локальных и совершенно микроскопических исследований. Пока они не сделаны, попытки итоговых работ могут повести лишь к поспешным и недостоверным обобщениям, ибо таким работам в данной области еще не пришло время, они слишком рано появились („verfrüht"), а потому и обречены заранее на неудачу [3]). Мы невольно вспомнили этот суровый приговор одного крупного немецкого историка над другим, не менее выдающимся его собратом, когда приступили к чтению работы социолога Макса Вебера о городе. Ибо, если слишком рано делать даже чисто исторические конкретные сопоставления, то неужели настало время для серьезной, научной, т.-е. построенной на точном материале исторических знаний и фактов, социологии? Однако к Максу Веберу суровый приговор Белова не приложим. И эта неприложимость его зависит как от темы, так и от метода Вебера. Как ни сложны и ни запутаны некоторые специальные вопросы, входящие в общую проблему возникновения городского строя (античного и средневекового), тем не менее ряд исследований все же многое уяснил и известное представление об основных линиях развития все-таки создал; в этом отношении Макс Вебер находится в более благоприятном положении. Но, конечно, не только в этом дело. Метод Макса Вебера, его подходы к занимающим его проблемам таковы, что позволяют ему делать обобщения без риска заранее обречь свою попытку на неудачу. Макс Вебер, по справедливому замечанию проф.

[1]) M. Weber, „Wirtschaft und Gesellschaft", II Teil, Kapitel VIII: „Die Stadt" (Grundriss der Socialökonomik, III Abteilung), Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr, 1922.

[2]) „Wirtschaftliche und sociale Grundlagen der europäischen Kulturentwickelung", I—II B., 1918—1920.

[3]) „Historische Zeitschrift", 120 B., 2. H. (1919), S. 327—334.

Ясперса [1]), всегда мыслит конструктивно, социологически, но при этом остается конкретным, так как понимает, что для абстрактной социологии время еще, действительно, не настало. Вот в этом-то соединении социологических устремлений и конструктивного мышления с чутьем конкретной исторической действительности и заключается своеобразие Макса Вебера, который на всем протяжении своей работы является и социологом, и историком одновременно. Лучшим способом охарактеризовать его метод представляется нам ознакомление с теми приобретениями и результатами, к которым пришел Макс Вебер, ибо, ведь, по тому, насколько хорошо достигнута цель, мы можем судить о пригодности средств ее достижения. Для этого мы изберем узкий круг вопросов—трактовку средневекового города у Макса Вебера,—привлекая его экскурсы в область античной истории в качестве параллелей или контрастов, на фоне которых резче выделяются специфические черты средневекового города.

ГЛАВА I.

Город и его эволюция.

I.

Макс Вебер начинает свою работу с определения понятия города и конструирования возможных его типов. Но, как мы сейчас увидим, и это понятие, и эти типы не представляют собой каких-либо предвзятых схем, а, напротив, исходят из конкретной действительности и помогают в ней ориентироваться. „В экономическом смысле"—по мнению Макса Вебера—можно лишь там говорить о городе, где туземное, местное (Ortsansässig) население удовлетворяет экономически-существенную часть своих ежедневных потребностей на местном же рынке и притом в значительной части продуктами, произведенными туземным же населением—или населением ближайших окрестностей—для сбыта на рынке (стр. 514). Таким образом существенным признаком города в экономическом смысле является „наличие регулярного обмена благ на месте самого поселения в качестве существенной составной части получения прибыли и удовлетворения потребностей жителей, т.-е. наличие „рынка" (стр. 514). „Город есть рыночное поселение" (Marktansiedelung). Но это еще далеко не все, так как это определение касается лишь экономической стороны дела. А между тем город есть сложный комплекс явлений, есть определенное живое, конкретно-историческое образование, которое надо охватить во всем его многообразии. Города суть „поселения с сильно выраженным, по крайней мере относительно, торгово-промышленным характером", к которым приложим целый ряд признаков, а именно следующие: 1) наличие укрепления, 2) рынка, 3) собственного суда и права объединения бюргеров, 4) характера корпоративности (Verbandscharakter) и связанной с ним автономии и автокефалии. Не все города, которые мы знаем, обладают всеми этими признаками: так, современные азиатские города древнего Востока никогда не были самостоятельными общинами, автономными корпорациями, ибо этому мешала ритуальная связанность членов одного рода или даже одного племени [1]). Поэтому мы имеем здесь лишь отдельные корпорации внутри города, но не город, как корпорацию. Однако все города Запада,—как в древности, так и в средние века,—соответствовали в той или иной степени данной выше характеристике, т.-е. представляли собой не только место развития ремесла и торговли в экономическом смысле, укрепление, а иногда гарнизон, в политическом отношении. И судебный округ в административном,—но и известную корпорацию в правовом отношении eine schwurgemeinschaftliche Verbrüderung (стр. 534). Для античного и средневекового города, в отличие от восточного, характерно то обстоятельство, что он является союзом бюргеров, составляющим общественную организацию официального характера и снабженным особыми органами—бюргеров, находящихся к тому же в одинаковом правовом положении [2]). Таков западно-европейский город в готовом сложившемся виде. Но как он образовался, как возник? Этот старый вопрос, породивший огромную литературу и 5—6 гипотез его возможного решения, играет большую роль и у Макса Вебера. Но так же, как к самому определению города, так и к вопросу о его происхождении, он подходит все с той же точки зрения, учитывающей всю сложность и все многообразие явления, называемого городом. „При анализе этого процесса—заявляет М. Вебер с самого начала—надо строго различать формально-правовую его сторону от явлений, существенных с политической и социологической точки зрения, что не всегда делалось в споре разных теорий городского развития друг с другом" (стр. 535). Город в хозяйственном смысле надо отличать от города в административно-политическом смысле. В этом последнем отношении особенно существенны два момента: 1) то обстоятельство, что город с самого начала был крепостью и местом нахождения гарнизона, и 2) особые отношения военно-политического характера, в частности, принцип самоэкипировки войска. Предшественниками городских крепостей были сеньёральные бурги (Herrschaftliche Burgen), которые почти везде, где имело место городское развитие, были тесно связаны с ним (в древнем Китае, Индии, в Египте и Месопотамии,

[1]) Jaspers, Max Weber, Rede, 1920.

[1]) Так, в Китае, Японии и Индии вовсе не существовало города, как автономной корпорации с населением из бюргеров,—как носителей определенных сословных привилегий. Были гильдии, профессиональные объединения (Япония), чиновничьи-сословные организации (Китай), касты (Индия), но не автономные общины.

[2]) „Ihre Qualität als eines anstaltsmässig vergesellschafteten, mit besonderen und charakteristischen „Organen ausgestatteten Verbandes von Bürgern, welche gemeinsamen Recht unterstehen, also ständische Rechtsgenossen sind", S. 529.

в гомеровской Греции, у этрусков, кельтов и германцев). Эти бурги, особенно распространенные в англо-саксонской Англии, были важны для господина тем, что давали ему военное господство над страной (стр. 515). Город, как особое политическое образование (politische Sondergebilde), примыкал обычно к такому бургу, принадлежавшему королю, знатному господину или союзу таковых. Экономически заинтересованное в обмене промышленной деятельности население, естественно, скоплялось здесь. Рынок и бург примыкали друг к другу, совпадая локально; так было в средние века и в эпоху античной „полис“ [1]). Это отнюдь не значит, однако, что город произошел из бурга или из сеньёральной вотчины. „Ойкос“[2]) и рынок сосуществовали в городе, но как две равные силы, иногда вступавшие в борьбу, иногда устанавливавшие между собой известную общность интересов на экономической почве. Ибо владелец бурга—он же и представитель ойкоса в городе—боролся обычно лишь с политическим, но не с экономическим развитием города. В экономическом отношении город, как рынок, давал, ведь, вотчиннику возможность взимать со своих держателей денежные оброки, так как представлял собой для этих последних локальный рынок сбыта их продуктов; к тому же вотчинники приобретали, благодаря рынку, возможность продавать свои натуральные доходы (стр. 580). Поэтому в средние века основание городов было часто выгодной в хозяйственном отношении операцией (städtegrundung—Erwerbsgeschäft), в противоположность древности, где оно первоначально являлось военным делом, основанием города-крепости („militärische Festungsstadtgrundung“). Столкновение экономических интересов „ойкоса“ и рынка начиналось лишь в том случае, если вотчинник стремился перейти к собственному промышленно-ремесленному производству, что обычно становилось возможным лишь при наличии достаточного количества рабочих сил. Однако далеко не так мирно обстояло дело в сфере политических взаимоотношений между бургом и экономически заинтересованным населением примыкавшего к нему города. История этих взаимоотношений—очень важный пункт в эволюции городских учреждений („Verfassungsgeschichtes“) (стр. 521), в свою очередь очень сильно повлиявшей и на социально-экономическую структуру города. В то время как в Элладе и Риме имело место соединение нескольких общин, синойкизм, покоившийся на слиянии нескольких родов (gentes), средневековый бюргер вступал в городскую корпорацию, как индивидуум, а не как бывший член какой-либо иной общины. Правда, средневековый город, как и античный, представлял собою, между прочим, и религиозный союз (Kultverband), но христианская община была вероисповедным объединением отдельных верующих, а не ритуальным союзом родов (стр. 534). Бюргеры, уже

[1]) „Полис“—греческий город.

[2]) „Ойкос“—собственно значит дом; в научной литературе этот термин принят для обозначения большого самодовлеющего хозяйства „хома“.

более или менее сплоченные в определенные объединения,—результат позднейшего развития. В начале бюргеры противостояли сеньёру, как масса лиц, заинтересованных в рынке и рыночном обмене, и город зачастую принадлежал сеньёру. Если рассматривать дальнейшее развитие города с чисто-формальной точки зрения, то эта масса лиц превращалась в автономную корпорацию бюргеров, где каждый был „Rechts und Binggenosse“,—т.-е. активным и равноправным членом общины—лишь в результате политических привилегий со стороны сеньёров. Конечно, такие привилегии всегда имели место: мы уже указывали на выгодность основания городов для сеньёра. Но существовали и иные пути и способы создания или возникновения городских корпораций. К тому же самый способ возникновения, взятый формально, как чисто юридическое явление, еще не выясняет и не исчерпывает всего процесса возникновения города. Кроме законного способа создания городской корпорации—сверху, существовал и незаконный—снизу,—путем акта корпоративного объединения („Vergesellschaftung“), со стороны бюргеров, так называемый „conjuratio“. Нередко оба способа комбинировались, и привилегия являлась в результате „conjuratio“. Классической страной „conjuratio“, истинной их родиной была Италия, особенно большие итальянские и отчасти немецкие города (Генуя, Кельн); поэтому мы остановимся несколько подробней на ходе этого процесса в Италии.

До возникновения „Conjuratio“ город-бург представлял собой арену действия самых различных социально-политических сил: епископ и его окружение, должностные лица светских вотчин с властью вотчинно-политического характера (Amtsgewalten), крупные городские ленники, вольноотпущенные из бывших министериалов короля и епископов, их городские и сельские подвассалы, родовые землевладельцы с аллодиальной собственностью, владельцы внегородских бургов со своей свободной и крепостной клиентелой, профессиональные союзы производительных классов городского общества,—словом,—как говорит Вебер,—„hofrechtliche, lehenrechtliche, landrechtliche, korchliche Gerichtsgewalten nebeneinander“ (стр. 537) [1]). „Conjuratio“, конечно, упрощало эту сложность, вливало ее в известные формы; оно приводило к союзу всех тех из этих сил, которые обладали военной мощью, к объединению местных землевладельцев, к обеспечению известных правовых гарантий (Rechtspflege) в интересах горожан и, наконец, „к монополизации экономических шансов“ (стр. 537). Все это, конечно, было завоевано не сразу: образование „conjuratio“ еще не тождественно с приобретением всех этих прав и возможностей. Вначале городом по-прежнему продолжал управлять сеньёр-епископ, но при участии собрания горожан. Однако уже в конце XI века выступают на сцену „consules“,—номинально ежегодно сменяемые должностные лица, номи-

[1]) „Вотчинные, ленные, земские, церковные, судебные власти рядом друг с другом“ (стр. 537).

нально выборные от всех горожан, фактически—выбираемые лишь определенными слоями аристократии. Эти лица на первых порах нередко происходили даже из среды бывших судебных чиновников епископа. „Consules" присвоили себе значительную долю в области управления, суда и военной власти. Над ними существовал, однако, контроль, осуществлявшийся особой комиссией мудрых „sapientes" (credenza), состоявшей частью из бывших шеффенов, частью из членов аристократических родов (Honoratioren), фактически в эти комиссии входили представители фамилий, наиболее могущественных в военно-экономическом отношении. На этой стадии движения была явно заметна тенденция к известному социальному компромиссу: все наиболее влиятельные слои населения стремились поделить между собой, пропорционально их силе, места в городском совете и различные городские должности. Вскоре, однако, обнаружилось, до какой степени все движение проникнуто противоленными тенденциями, т.-е. направлено против какой бы то ни было политической зависимости от городского сеньёра. А так как он был обладателем бургов и раздатчиком ленов, то движение направилось естественно против ленной формы этой зависимости. Консулы—эти новые соправители сеньёра—должны были ни в коем случае не принимать ленов ни от него, ни от своих бывших господ, и не коммендироваться им в качестве вассалов (стр. 537). Цель ясна: исключить возможность личной и экономической заинтересованности консулов и их зависимости от вотчинников, которая могла бы отразиться на их административном поведении или политической позиции. Первым важным политическим завоеванием этого противовотчинного и противосеньёрального движения было запрещение представителям аристократии (сеньёрам или королю) строить бурги внутри городского округа. Это запрещение достигалось как законным, так и насильственным путем, и его результатом было то обстоятельство, что бург, расположенный внутри города, становился городским бургом. Сеньёрам и рыцарям оставалось лишь строить бурги вне города и его округа, и оттуда в случае недовольства угрожать городу, что они впоследствии и делали. Но об этом речь будет итти ниже. Сейчас нам важно отметить еще одно крупное завоевание бюргерства—на этот раз уже в юридической области,—создание особой городской юрисдикции, процессуальной процедуры и городского права. „Право бюргеров—пишет М. Вебер—было сословным правом сотоварищей общины, связанных присягой. Его компетенции подлежали в силу принадлежности к сословию городских бюргеров или зависимых от них держателей"[1]). В Германии, в крупных городах развитие шло аналогично: так в Кельне, Магдебурге вначале во главе управления стоял епископ с шеффенами, которые впоследствии превратились из его чиновников в представителей городской коммуны, к тому же поставленных под контроль представителей „conjuratio" (стр. 538). В Страсбурге к концу XII века епископа, как главу города, сменил городской совет, состоявший из представителей бюргерства jurati и 5-ти министериалов епископа (стр. 541). В южно-германских городах шультгейсс, чиновник, назначаемый или по крайней мере утверждавшийся сеньёром, долгое время оставался шефом города, так что город мог избавиться от этого контроля лишь путем покупки этой должности (стр. 541). Однако, наравне с шультгейссом все больше значения постепенно приобретал бюргермейстер, как представитель объединения бюргеров, а с развитием цехов—профессионального объединения (стр. 541). С XIII века во всех брабантских, ирландских и голландских городах наряду с шеффенами, назначаемыми графами, выступают на сцену представители бюргерства—„jurati" и бюргермейстер с коллегией. На первых порах эти отношения везде колеблются, и фактическое соотношение сил (Punkte der faktischen Machtverteilung) еще очень мало и слабо регулировано формально (стр. 538—539). Но и во Франции возникновение городских корпораций (Stadtgemeinde) происходило путем узурпации со стороны союзов бюргеров, купцов и городских рентнеров и их объединения либо с живущими в городе рыцарями (на юге Франции), либо с братствами (confraternitates) и цехами ремесленников (на севере) (стр. 539). В Англии типичной формой городского объединения была торговая гильдия с монополией мелкой торговли внутри города. Это не значит, однако, что города произошли из гильдий: напротив, гильдии возникли в городах (539), а наряду с ними возникали и „чисто-экономические, расчлененные по профессиям" организации—цехи (rein-ökonomische, beruflich gegliederte Einungen: Zünfte) (стр. 540) Какими же средствами располагал город для достижения всех этих завоеваний? Ведь, они часто были, действительно, завоеваниями в буквальном смысле этого слова, т.-е. результатом ожесточенной борьбы, так что ссылка на социально-политическое значение или влияние городской знати, на экономическую мощь зажиточных слоев недостаточна. Здесь выступает военно-политический момент: в то время как на Востоке (Персия, Азия, Индия) солдаты были лишены обладания орудиями войны, что имело последствием военную безоружность подданных (militarische Wehrlosigkeit der Untertanen), и бюргеры были невоенным элементом (der Bürger war der Nicht-Militär),—на Западе, как раз напротив, в виду отсутствия профессиональных войск—особенно на первых порах—господствовал принцип самоэкипировки войска: как крестьянские и рыцарские войска, так и городская милиция строилась по этому принципу. Поэтому сеньёр представлял значительную силу лишь в сравнении с каждым отдельным своим подданным или с их небольшими группами. Стоило ему, однако, вызвать недовольство или противодействие всей их массы,—и он становился слабым, ибо это была масса вооруженных и боеспособных людей. А такое противодействие возни-

[1]) Das Bürgerrecht war ein ständisches Recht der Mitglieder der bürgerlichen Schwurgemeindegenossen. Ihm unterstand man kraft Zugehörigkeit zum Stande der Stadtbürger oder von ihnen abhängigen Hohtersassen (S. 538).

кало, конечно, когда сеньёр предъявлял экономические требования, казавшиеся почему-либо слишком тяжелыми, особенно требования денежных платежей. „Факт возникновения сословий на Западе—и только здесь—объясняется этим обстоятельством",—пишет М. Вебер: „и точно так же объясняется возникновение корпоративных и автономных городских общин [1]). Предъявление экономических требований со стороны сеньера особенно естественно по отношению к горожанам; ведь мы видели, что основание города сеньер рассматривал нередко, как выгодное предприятие. С другой стороны, так же естественно, что как раз горожане, достигшие уже большой экономической силы, не хотели быть объектом сеньера и его целей; а так как они были в то же время вооруженными людьми, то в силу именно этого соединения в их руках военной и экономической мощи им и удалось добиться своей цели и создать городскую автономию. Все „conjurationes—пишет М. Вебер—были объединениями вооруженных слоев городского населения. Это было решающим в положительном смысле моментом" [2]). Если мы попробуем задать себе теперь вопрос, к какой же теории возникновения городского строя средних веков примыкает М. Вебер,—нам трудно будет сразу на него ответить. Следя за построением нашего автора, мы даже вовсе забыли бы о существовании этих теорий, если бы он сам в одном месте вскользь не напомнил нам о них. Этим мы вовсе не хотим умалить значение этих гипотез: может быть, только на их основе и стало возможно построение Вебера. Но как далеко он ушел от них и от их споров! Город не произошел ни из вотчины, ни из общины, ни из бурга, ни из рынка, а из того и из другого и из третьего одновременно,—вот как можно охарактеризовать его вывод. Или точнее: город, и в частности средне-вековый город, возник, как результат сложных, перекрещивающихся процессов—экономических, социальных и военно-политических,—и сразу же выступил на сцену в виде сложного комплекса явлений, в котором нашли свое место те различные силы развития, которые его создали и вызвали к жизни. Дело обстояло не так, что корнем, исходной точкой роста города было то или иное явление—цех, рынок, бург и т. д.,—а из него путем постепенного усложнения вырос стебель, и на нем расцвел цветок—сложившийся город, во всем его многообразии и своеобразии. Нет, как раз наоборот: все силы развития, все элементы, из которых построился город, даны в самом начале процесса. Самый этот процесс заключался лишь в их дальнейшем развитии и известном комбинировании этих элементов в определенную систему, называемую городом. Интересно отметить, что и Допш во II-м издании своей работы „Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit" [3]) склонен

[1]) Die Entstehung der Stände im Occident—und nur hier—erklärt sich daraus und ebenso aber die Entstehung der korporativen und der autonomen Stadtgemeinden.

[2]) Alle Conjurationes waren Zusammenscheusse der werhaften Schichten der Stätte. Das war das positiv Entscheidende (S. 543).

[3]) См. Dopsch, цит. соч., II Auflage, Weimar 1921, II Teil, „Das Städtewesen".

считать основами городского развития те же явления, что и Вебер (рынок, бург, общину, вотчину). Это легко объяснимо: ведь такое построение напрашивается само собой как попытка подвести итоги 4-м главным теориям городского развития (общинной, вотчинной, рыночной и бурговой теориям). Такую попытку делает и Допш, и Вебер. Но какая глубокая разница! В то время как Допш не идет дальше того простого наблюдения, что в каждой теории есть зерно истины, М. Вебер связывает их положительные результаты в одну широкую и цельную картину. Эта картина явилась результатом сопоставления различных черт и явлений, присущих разным городам как античным, так и средневековым. Если, однако, сделать дальнейший шаг к конкретизации построений, то придется разделить города на разные группы и при том произвести это деление в различных направлениях,—в экономическом, социальном, военно-политическом. В первом случае критерием или основанием деления будет служить преобладание тех или иных целей экономической деятельности (потребительных или производительных),—во втором—та или иная форма взаимоотношений основных слоев городского населения и, наконец, в третьем,—та или иная степень военно-политической мощи города. В форме такого подразделения на виды и группы удобно описать и осветить все многообразие городской жизни в разные времена, а затем на основании такого описания попытаться построить понятие городского хозяйства и объяснить смысл, причины и цель хозяйственной политики городов („Stadtswirtschaftpolitik"). При этом надо, однако, все время твердо помнить, что эти „типы" городов не соответствуют в каждом случае какой-либо исторической конкретности, а суть лишь разрезы действительности, искусственно произведенные в целях удобства описания и классификации, что в одном и том же конкретном городе могут совмещаться черты различных типов, и что, наконец, переходы везде текучи („Die Übergänge sind überall flüssige",—любимая фраза М. Вебера).

II.

В экономическом отношении М. Вебер делит город на две основных группы: город потребителей (Konsumentensstadt) и город производителей (Produzentenstadt). Это не значит, конечно, что в „Konsumentenstadt" живут только потребители, а в „Produzentenstadt"—только производители; и те и другие имеются на-лицо в городах обоих типов. Но в „Konsumentenstadt" шансы на прибыль (Erwerbschancen) для производителей или купцов определяются присутствием на месте крупных потребителей (Grosskonsumenten), как бы различно они ни были экономически организованы, т. е. эти шансы косвенно или прямо зависят от покупательной силы княжеских или иных крупных домов [1]).

[1]) Denn für die Erwerbschancen ihrer Gewerbetreibender und Händler ist die Ansässigkeit jener, untereinander ökonomisch verschieden gearteten Grosskonsumenten an Ort und Stelle ausschlaggebend (S. 545).

Различные „Konsumentenstädte" отличаются друг от друга в зависимости от того, какие именно социальные слои являются крупными потребителями. В роли таких „Grosskonsumenten" могут выступать либо сеньёры со свитой их вассалов (Fürstenstadt), либо чиновники (пример—Пекин), либо крупные землевладельцы—рантье, проживающие в городах доходы со своих владений (Москва до 1861 г.), либо, наконец, городские рантье, т.-е. представители городской аристократии, в руки которой стекаются городские земельные ренты (städtische Grundrenten), обусловленные монопольным положением городских земельных участков в процессе обмена (durch monopolistische Verkehrlage von Stadtgrundstücken bedingt), и таким образом косвенно имеющие своим источником как раз городское ремесло и торговлю (последний вид был очень распространен во все времена, особенно в древности с раннего периода до Византийского и в средние века). Для „Produzentenstadt", напротив, характерно то обстоятельство, что рост населения и покупательная сила его покоятся либо на наличии фабрик или мануфактур, обеспечивающих городские территории (современный тип—Эссен), либо на наличии промышленной деятельности в форме ремесла (Gewerbe in Form des Handwerks), при чем товары высылаются во вне (nash auswärts versendet werden—der asiatische antike und mittelalterliche Typus,—стр. 515). „Это—ремесленный город (Gewerbestadt)", в котором крупными потребителями являются предприниматели или торговцы и рантье, а массовыми потребителями—рабочие и ремесленники. Ему противостоит город торговцев (Händlerstadt), где покупательная сила крупных потребителей покоится либо на том, что они прибыльно сбывают (detaillieren) на местном рынке чужие продукты (Gewandschneider средних веков), либо, напротив, местные продукты продают за пределы города, либо, наконец, приобретая чужие продукты, сбывают их сами во вне, при помощи применения складочного права (Stapelung) на месте или без такового (города-посредники торговли—„Zwischenhandelstädte", стр. 516). Итак, и здесь, и там мы имеем потребителей и производителей, при чем последние, как само собой ясно, являются, конечно, везде в то же время и потребителями. Но важно то, от чего зависят Erwerbschancen, а следовательно, и покупательная сила населения: определяется ли она присутствием вотчинников и рантье, образующих рынок для ремесла, дающих ему работы и тем самым заработок ремесленникам, становящимся также в первую очередь потребителями, или же она объясняется наличием сильно-развитого ремесла, продуцирующего и на местный рынок, и на окрестность, и дающего покупательную силу занятому им населению. В первом случае, если брать его в типическом виде, не соответствующем вполне конкретной действительности—ремесленная деятельность служит лишь средством пропитания и поддержания „Existenzminimum'а" для занятого им населения, т.-е. ремесленники живут за счет тех средств, которые перепадают им от представителей знати в виде платы за их товары или в виде

заработка (в случае работы на-заказ). Здесь ремесленник ближе к типу рабочего, чем к типу предпринимателя, хотя бы даже мелкого. Во втором случае, ремесленник производит в конечном счете не столько на вотчинников и рантье, сколько, главным образом, на своих же собратьев—ремесленников и торговцев, только другой профессии. Специализация и профессиональное разделение труда в этом случае зашли уже далеко: ремесленники одних цехов становятся покупателями товаров, произведенных другими, т.-е. потребителями продуктов промышленного производства, а не только приобретателями средств пропитания. Деньги, вырученные за работу, идут уже не только на потребительные цели, но и на производственные; ремесло является особым видом мелкой промышленности, и производительная роль ремесленников имеет большее значение в экономической жизни города, чем их потребительная роль. Ремесленники суть в этом случае по преимуществу производители, и город есть „Produzentenstadt". Отсюда следует, что принадлежность города к тому или иному экономическому типу в значительной мере зависит от социальной природы городского населения: при преобладании в городе землевладельческой аристократии имеем город потребителей (Konsumentenstadt), при преобладании ремесленников—город производителей (Produzentenstadt), а при преобладании торговцев—„Händlerstadt". А отсюда в свою очередь следует, что намеченные типы могли соответствовать различным стадиям развития города: первый тип—той стадии, которую Вебер называет в дальнейшем изложении городом аристократических родов (Geschlechterstadt), а второй тип—стадии плебейского города (Plebejerstadt). Но и население плебейских городов не состоит исключительно из одних ремесленников так же как и город аристократических родов—из одной землевладельческой аристократии. Социальная структура городского населения очень сложна, а потому типические черты города потребителей и города производителей большей частью соединяются в одном и том же конкретном городе. Этим объясняется, может быть, и некоторая двойственность хозяйственной политики городов, о которой речь еще впереди, и которая, несомненно, стоит, в связи с пестротой социального состава городского населения, отражая на себе интересы различных его слоев. Нам предстоит поэтому поближе познакомиться с социальной структурой и социально-политическим развитием средневекового города. Мы указывали только что на пестроту социального состава городского населения. Это легко объяснимо, если принять во внимание, что и в средние века, и в древности и в странах передней Азии город был поселением, которое возникало путем скопления в одном пункте жителей, переселявшихся сюда из разных областей, и которое держалось исключительно благодаря этому постоянному притоку из деревни (стр. 527). Поэтому в средневековом городе можно найти и вольноотпущенных, и крепостных, и рабов, и знатных вотчинников, и их дворовых людей, и чиновников (Hofbeamte), министериалов и воинов, монахов и священников (стр. 527). Так было, однако, лишь на первых порах.

Вскоре из этой пестроты стали выкристаллизовываться определенные слои, в разные периоды городской истории задававшие тон городской жизни. Прежде всего сами вотчинники скоро уразумели выгодность использования своих крепостных и рабов в качестве рентного фонда (Rentenfond). Эти последние обучались ими ремеслу, а затем отпускались на рынок для свободного сбыта своих продуктов при условии уплаты господину некоторого оброка (Leibzins), составлявшего, повидимому, известную долю заработка или дохода ремесленника. Естественно, что эти бывшие крепостные, таким образом, постепенно эмансипировались от своей прежней зависимости: так, город издавна сделался местом постепенного перехода из состояния несвободы к свободе, путем денежно-хозяйственной и промышленной деятельности. Это не значит, что городские ремесленники произошли именно из этих крепостных, используемых в качестве рентного фонда: ведь приток сельского населения приносил с собой весьма разнообразные элементы не только несвободные, но и свободные. Важно лишь отметить, что и сословная политика средневекового города в ранние эпохи его существования способствовала возникновению принципа: „городской воздух делает свободным“ (Stadtluft macht frei), ибо, на первых порах, когда арена промышленной деятельности была еще очень широка, всех звали в города, охотно давали новым поселенцам права бюргеров (иначе обстояло дело впоследствии, когда эта арена сузилась, и город замкнулся; но об этом ниже). Далее, внутри городского населения стали намечаться две различных тенденции развития: одна вела к социальной нивеллировке и к сплочению городских жителей в одно целое в противовес внегородской вотчинной аристократии, другая—к выделению из состава бюргерства особой г о р о д с к о й аристократии. Несмотря на то, что в политической борьбе городов с их сеньерами явно сказывалось влияние первой тенденции (вспомним conjurationes), во внутренней социальной жизни города победила вторая. В результате как средневековый, так и античный город пережил ряд стадий социально-политического развития, начиная с господства городской аристократии, проходя этапы бурной борьбы ее с различными слоями ремесленников и торговцев и кончая той или иной формой преобладания некоторых слоев демократии. Первую из этих стадий Вебер называет „Geschlechterstadt“, вторую—„Plebejerstadt“. Самые эти стадии и процесс перехода от одной к другой носили весьма различный характер. Нас интересуют здесь, главным образом, следующие типы: 1) античный, преимущественно греческий город (полис), 2) средневековый итальянский город, 3) английский средневековый город и 4) континентальный город средних веков. Общим для всех этих типов признаком социально-экономической природы аристократических родов (Geschlechter) является, во-первых, то обстоятельство, что их социальная мощь покоится на з е м л е в л а д е н и и, на доходах, возникших не из собственной промышленной деятельности, и, во-вторых, особый аристократический образ

жизни (стр. 544) [1]). Но в разных странах и в разные времена конкретные черты этой аристократии и история ее борьбы с плебсом были, конечно, различны. В И т а л и и возвышение аристократии было вызвано в значительной мере финансовыми потребностями военной, колониальной и торговой политики, которая сделала необходимым привлечение патрициата к управлению (стр. 545). Поэтому, например, в Венеции „dux“, назначавшийся ранее из Византии, стал, начиная с 726 г., избираться знатью, сделался дожем и начал в свою очередь борьбу со знатью, стремясь превратиться в городского короля. Дож сам был крупным вотчинником и крупным купцом (Grossgründherr и Grosshändler), являлся ставленником той же знати, и его возвышение вначале выражало собой первую стадию возвышения знати. Однако знать пересиливает монархические тенденции дожа, и в XI в. начинается ограничение его власти со стороны знати, в руках которой концентрируется путем накопления имуществ „денежно-хозяйственная и политическая сила“ („Geldwirtschaftliche Vermögensbildung und politische Macht“, стр. 545). Дальнейшее развитие заключалось в выделении из среды знати Большого Совета, принимающего решения, и Малого—управляющего (1187 г.). Назначение дожа узкой выборной комиссией из среды нобилей (вместо прежних выборов), фактическое ограничение выбора городских чиновников и должностных лиц лишь из рядов узкого круга фамилий и даже закрытие списка этих последних (1297 – 1315 гг.), солидарность интересов и особая техника управления (краткосрочность должностей, коллегиальность и отсутствие бюрократизма) делали эту узкую массу, этот тонкий слой нобилей, разбогатевших на заморских предприятиях экономического и политического характера, очень сплоченной и дисциплинированной. На примере Венеции особенно ясно видно, какое большое значение имела именно внегородская колониальная политика города для усиления и развития аристократии. Венецианские „Nobiles“, так же как и их античные собратья, не были купцами по профессии: это были, наоборот, большей частью рантье — землевладельцы, которые наживались в связи с расцветом заморской торговли, дававшей им возможность, благодаря их земельным богатствам внутри и вне города, извлекать большие денежные доходы именно в качестве рантье, а иногда и путем косвенного участия в предприятиях (Gelegenheitsunternehmer). В других итальянских городах, где монопольное положение городской торговли во вне не было столь определенно, а потому общность интересов не была столь ясна, шла непрестанная борьба между отдельными представителями аристократии, между различными аристократическими фамилиями. Результатом этой борьбы явилось некоторое возвышение непривилегированных слоев знати, которые раньше были выключены из участия в управлении, и известный компромисс между

[1]) 1) Das ihre sociale Machtstellung auf Grundbesitz und auf einem nicht dem eigenen Gewerbebetrieb entstammenen Einkommenrechte ruhte; 2) ritterliche Lebensführung (S. 544).

этими двумя группами: выбор особой комиссией из нобилей чиновника, долженствовавшего представлять интересы второй группы. Этот чиновник—„подеста"—приглашался обычно из среды нобилей какой-либо чужой городской корпорации сроком на год и облекался высшей судебной властью, а иногда и правом военного командования,—конечно, под контролем городского совета. Однако, с конца XII-го—начала XIII-го века начинают заявлять свои права совсем иные, неаристократические классы населения итальянских городов: так-наз. „popolo", народ. В экономическом смысле этот „popolo", так же как и массы немецких торговцев и ремесленников, объединенных в цехи, состоял из различных социальных элементов: прежде всего его можно разделить на предпринимателей, с одной стороны, и ремесленников—с другой. Вождями масс в борьбе против нобилей были, главным образом, первые. Они финансировали борьбу и создавали „клятвенные объединения цехов" [1]), направленные против аристократических фамилий, а ремесленники лишь поставляли массы в бой. В Италии „popolo" в XIII в. составлял особую общину внутри города (т.-наз. „mercadanza" или „credenza"), особое государство в государстве. Во главе этой общины стоял так-наз. „capitanus popoli", ежегодно избираемый и приглашаемый извне, наподобие „подесты" и несший весьма важные функции, игравший большую роль в городе. Так, он жил в особом укрепленном помещении, имел свою милицию, свои органы управления. Рядом с юрисдикцией подесты выступает юрисдикция „капитана", как представителя купечества, т.-е. особый, отдельный суд по делам купцов и ремесленников (стр. 563). „Подеста" не имел права вмешиваться в судебные тяжбы между пополанами, и нередко „капитан" приобретал всеобщую юрисдикцию, конкурировавшую с полномочиями подесты, становился кассационной инстанцией для жалоб на приговоры последнего. Представители цехов при „капитане" (anziani) претендовали на право защищать членов „popolo" перед судом. Больше того: каждая из обеих городских общин - городская коммуна и „popolo"—имела особые статуты, и иногда „popolo" добивался того, что решения коммуны имели силу лишь с его согласия и, следовательно, отмечались в особых статутах.

Наконец, „капитан" (capitanus) стал участвовать в целях контроля в заседаниях коммунальных коллегий, получил право в отсутствие „подесты" созывать бюргерство и приводить в исполнение решения совета, начал принимать участие в управлении финансами (особенно, в распоряжении имуществом осужденных) и в контроле над ними, а иногда и в управлении войском. Словом, формально он был ниже подесты, фактически—сильнее его. В случае успеха такая политика приводила к полному выключению знати из участия в городском управлении: ибо, ведь, должности „popolo", таким образом, становились

[1]) Eidverbrüderungen der Zünfte.

недоступными для нобилей, в то время как коммунальные должности делались все более доступными для членов „popolo".

Но это было лишь чисто формальным, кажущимся выключением: на самом деле на должности „пополан" все же проникали представители нобилей—для этого им стоило только гарантировать политическое подчинение с своей стороны и записаться в какой-либо цех, что не мешало им оставаться теми же аристократами, которыми они были и до этого вступления в цех. Так аристократизировался самый состав цехов. Надо, однако, иметь в виду, что здесь идет речь о зажиточных, так сказать, буржуазных слоях „popolo", о так-наз. „popolo grasso", с семью главными цехами которого (цехи нотариусов, судей, врачей и пр. „либеральных профессий", оптовых торговцев, менял и т. д.) произошло вскоре слияние знати, вступившей в них; с тех пор все должностные лица избирались из среды этих цехов, и лишь после ряда восстаний стали принимать участие в управлении—по крайней мере формально—и 14 цехов так-наз. „popolo minuto", т.-е. цехи мелких ремесленных предпринимателей („gewerbliche Kleinunternehmer").

Но вовсе лишенные собственности на орудия производства слои ремесленников (подмастерья), опиравшиеся зачастую в своей борьбе с „popolo grasso" на нобилей,—ибо противоположность интересов цехов мелких ремесленников интересам предпринимательских цехов очень резко сказывалась при развитой и мануфактурной организации производства [1]) („Verlagssystem")—нигде не достигали власти на долгое время. Да это и понятно: цехи, которые с самого их возникновения использовались городской коммуной в смысле привлечения их к участию в разных работах по обслуживанию нужд городского управления, стали особенно важны для города в финансовом и административном отношении, с тех пор как в их среде появились крупные предпринимательские и интеллектуальные силы. Совсем другое дело „пролетарский слой странствующих ремесленников" („die proletarische Schicht der wandernden Handwerksburschen", стр. 564), он долгое время не был нужен городу, как корпорации, а потому везде и стоял за бортом государственного корабля, в то время как „Mercadanza"—вначале представлявшая собой неполитический союз купцов и ремесленных предпринимателей—все более и более становилась нормальной формой политической организации „popolo". И хотя основная тенденция развития всего движения „popolo" заключалась в стремлении к организованной защите его интересов перед городским судом и властями, находившимися в руках аристократии, но раздробленность самой знати давала ему возможность пользоваться для своих надобностей и военными силами части рыцарства. Однако, и „широкие массы низших слоев ремесленников", заинтересованные „в регули-

[1]) Система, при которой купец или предприниматель (нередко это одно и то же лицо) поставляет материал целому ряду рабочих, либо просто дает им работу, заказ: он—единственный, монопольный покупатель их изделий, т.-е. скупщик (ср. Бюхер, „Entstehung der Volkswirtschaft", XV Aufl., I B., S. 185—186).

ровке приобретательской деятельности в смысле мелко-буржуазной политики пропитания" (Regelung des Erwerbes im Sinne kleinbürgerlicher Nahrungspolitik", M. Weber, стр. 572), если и не достигали политической власти непосредственно, то косвенно являлись одним из факторов, создававших своеобразную форму этой власти—„тиранию", которая в Италии носила название „синьории": она возникла в процессе борьбы „popolo" со знатью, и ее поддерживал, кроме слоя беднейших ремесленников, еще и ряд других социальных слоев. При синьории власть находилась обыкновенно в руках представителя какой-либо одной зажиточной фамилии, которая тем самым резко выделялась из массы прочих подобных фамилий, становясь над ними.

Целый ряд причин давал пищу синьории: мирный характер бюргерства, отвыкшего от военной службы, рационализация военной техники и образование профессиональных войск, а также развитие и преуспеяние тех групп в среде знати, которые—как, напр., рантье и ростовщики—были и социально, и экономически заинтересованы в наличии „двора" в городе. Те же причины представляли некоторые шансы к преобразованию синьории в наследственное патримониальное княжество, возникновение которого можно считать пунктом, завершающим цикл развития итальянских городов. „Развитие итальянских городов,—замечает по этому поводу М. Вебер,—которое шло от города, как составной части патримониальных и феодальных союзов, через период самостоятельного господства знати, приобретенного революционным путем, затем через господство цехов к синьории и, наконец, пришло вновь к городу, как составной части относительно рациональных патримониальных союзов,—это развитие не имеет себе полной аналогии в остальном средневековом Западе" (стр. 574). Зато на первый взгляд поражающе сходно с только что бегло намеченной социально-политической эволюцией итальянских городов шло развитие в древней Греции и в Риме. Начать с того, что экономическая структура аристократических фамилий была очень сходной: и там, и здесь это, главным образом, рантье и предприниматели, лишь косвенно участвующие в делах своими капиталами („Gelegenheitsunternehmer" по терминологии Вебера), но не купцы (самая работа купца считалась, как известно, унизительной, даже позорной для родовитого человека, особенно в древности). Так же сходна и история борьбы аристократических фамилий и родов с плебсом в Риме и демосом в Элладе. Итальянские „капитаны" напоминают римских трибунов или спартанских эфоров. Мелкие ремесленники и в античном городе также редко достигали власти, а тем более господства. Следствием демократизации античного города было то же проведение в жизнь и закрепление официального характера городских политических союзов и перемена в системе городского управления: создание краткосрочных должностей. Сходно и явление тирании—везде, впрочем, локально ограниченное. Но на-ряду с этими сходными чертами имеется и ряд крупных различий. Прежде всего основным классовым противоречием античной

„полис" является противоположность не рантье и ремесленников, а городских патрициев, имеющих в своих руках средства вооруженной защиты, как кредиторов и ростовщиков, и крестьян, как должников. Далее—„полис", это—береговой город, береговая община воинов („eine Küstensiedelungsgemeinschaft von Kriegern"): он еще делится на филы и фратрии—остатки первоначальных военно-сакральных подразделений, наподобие „сотен" древних германцев (стр. 557). Средневековый город есть по-преимуществу (за исключением некоторых итальянских городов)—город сухопутный, и возник он иначе. Другое отличие—в окружающей обстановке: античный город боролся с городскими „королями", и возникновение римского сената и магистратов или афинского ареопага есть результат постепенного превращения городской монархии в коллективную магистратуру; средневековый город боролся со своими городским сеньером. Если, однако, несмотря на все эти различия, мы наблюдаем здесь и так много сходства, то причина тому в особом характере как итальянского, так и античного города: и тот, и другой—правда, в весьма различной степени—суть не просто города, но города-государства (Stadtstaaten). Остальные средневековые города—средне-европейские и северно-европейские—имели этому гораздо меньше сходных с античным городом черт, чем итальянские.

Так, напр., английские города проделали совершенно своеобразный цикл социально-политического развития, обусловленный большой силой королевской власти в Англии. В Англии—еще более, чем в других странах Европы — города были вначале бургами и обладали властью над городской округой („Stadtmark"). Но после норманнского завоевания (XI в.) бурги стали строиться преимущественно вне городов, и города все более и более становились поселениями, ориентированными, главным образом, на экономике („ökonomisch-orientierte Korperschaften", стр. 548). Короли смотрели на них, как на опору против феодальных сил и на объект обложения. „Conjurationes" протекали в Англии обычно в форме образования гильдий, которые и правили фактически городом. И в Англии города, конечно, нередко получали привилегии от короля, но эти привилегии так же, как и „conjurationes" не делали город автономной корпорацией: это были обычные сословные привилегии внутри сословного государства, и—только. Итак, английские города представляли из себя сначала принудительные союзы (Zwangsverbände), облагаемые королевской властью различными налогами и повинностями; затем в результате раздачи им королевских привилегий они стали экономически привилегированными сословными городами бюргеров-землевладельцев с очень ограниченной автономией; наконец, фактические заправилы в городе — гильдии—были признаны и королевской властью, и им было поручено даже управление финансами. Но военная слабость городов и сила королевской власти привели к тому, что в Англии так и не возникло понятие территориальной городской общины („gebietskörperschaftlicher

Gemeindebegriff", стр. 550). Это обстоятельство повлияло и на социальную структуру и эволюцию английского города: мы знаем уже, что в Италии борьба города с сеньером за политическую и юридическую самостоятельность была в то же время и социальной борьбой ремесленников с землевладельческой знатью. В Англии эта политическая борьба протекала гораздо более вяло и заглушенно, а потому там не было и такой резкой классовой борьбы внутри города: город находился обычно в руках купеческой олигархии, которая с возникновением парламента и развитием интерлокальных связей и интересов объединилась в сословие бюргеров; но это объединение вылилось не в форму отдельных городских корпораций бюргеров, а в форму бюргерского сословия в национальном масштабе („Hier findet sich ein interlokaler, nationaler Bürgerstand", пишет Вебер, стр. 551). На континенте, и в частности в Германии, социальная борьба в городах развивалась во многом аналогично итальянским городам. И здесь городской совет вначале находился в руках знатных городских фамилий, но затем цехи сделались вскоре носителями оппозиции со стороны выключенных из участия в управлении групп бюргеров,—оппозиции, нередко переходившей в революцию. И в Германии цехи не были однородны по своему социальному составу: движение цехов и здесь в значительной мере означало выступление против городской буржуазии, против землевладельческой аристократии. Поэтому начало борьбы цехов со знатью совпадает с периодом наибольшей силы города во вне и политической самостоятельностью внутри. Однако, в Германии „клятвенное объединение бюргеров", напоминающее „conjurationes", было переходящим явлением: дело кончалось либо приемом представителей цехов в городской совет, либо полным растворением всего бюргерства в цехах. Но даже и в том случае, когда в цехи вступало действительно все бюргерство, включая сюда и аристократические фамилии, такое растворение носило в значительной мере формальный характер и отнюдь не было тождественно с полной демократизацией города: ибо патриции, попадая в цехи, завоевывали их изнутри, отодвигая на задний план купцов, лично занимавшихся торговлей, в пользу рантье-аристократов. Согласно теории, право вхождения в цехи приобреталось ученичеством, а на практике оно покупалось или даже передавалось по наследству. „Отчасти внутри цехов зияли экономические и социальные противоречия,—говорит М. Вебер,—а отчасти—и это в большинстве случаев—цехи представляли из себя исключительно союз „избранных" джентльменов, объединившихся для замещения городских должностей из их среды" [1]). Таковы главные особенности средневекового города средней Европы. Если мы теперь бросим еще раз беглый взгляд на

[1]) Teils klafften innerhalb der Zünfte ökonomische und sociale Gegensatze, teils und meist waren sie ein reiner Wahlverband von Gentelmen für die Besetzung der Gemeindeämter" (S. 560).

основные отличия античной городской демократии и античного города от города и городской демократии средних веков, то они выступят особенно рельефно в двух направлениях: 1) в средневековом городе представителем низших слоев населения, материально необеспеченных и нуждающихся масс, был ремесленник-подмастерье, т.-е. безработный в области промышленного труда; в античном городе таковым являлся пролетарий, т.-е. бывший владелец земельного участка, впоследствии обезземеленный и политически деклассированный; 2) в то время, как античный город сам был носителем высшей военной техники, город средних веков, несмотря на наличие бурга, противостоял в военном отношении могуществу короля, сеньёров, рыцарей; поэтому средневековый бюргер был по-преимуществу „homo oeconomicus", а ангичный—„homo politicus". Это последнее обстоятельство обусловлено все тем же основным различием: полис есть город-государство, каковым редко являлся средневековый город (за исключением городов Италии). Как ни велики отличия в ходе эволюции средневековых городов различных стран Европы, но в одном пункте, в одном отношении „круг развития", по мнению М. Вебера, универсален: „в эпоху Каролингов города были,—говорит он,—не чем иным—или почти не чем иным, — как административными центрами управления отдельных округов (Verwaltungsbezirke) с известными особенностями сословной структуры; в современном патримониальном государстве они вновь значительно приблизились к этому положению и выделяются лишь своими особыми корпоративными правами. В промежуточные периоды своего развития они были везде в той или иной степени коммунами с автономной хозяйственной политикой" (стр. 574). Что означает первая часть этого определения средневекового города, т.-е. в чем заключалась городская автономия, мы уже знаем в общих чертах; но нами еще не уяснена вторая его часть, т.-е. не раскрыто значение и содержание хозяйственной политики города. К ее разбору мы сейчас и обратимся.

III.

Вопрос этот очень сложен и спорен; тем более важно и интересно познакомиться с тем, что дает точка зрения Вебера для его уяснения. Об особом городском хозяйстве и городской хозяйственной политике говорят, обычно, применительно к тому периоду городского развития, когда господство в городском управлении принадлежало цехам. О политической роли цехов нам уже приходилось попутно говорить. Но цехи, которые Вебер определяет как „расчлененные по профессиям, чисто экономические объединения" [1]), были в значительной мере носителями городской хозяйственной политики. Однако, Вебер предостерегает от смешения этой последней с городским хозяйством и от конструиро-

[1]) „Beruflich gegliederte, rein ökonomische Einungen".

вания городской экономической политики в виде особой ступени хозяйственной эволюции народов, — наподобие того, как это делал в свое время Бюхер. Сущность и основное содержание городской экономической политики средних веков М. Вебер видит в следующем: в результате всего предшествовавшего процесса исторического развития для средних веков даны определенные условия городского хозяйства, которые можно было бы назвать естественными для этой эпохи (в чем они заключаются, сейчас увидим); — эти-то естественно-данные условия экономическая политика средневекового города и стремится зафиксировать, применяя для этой цели целый ряд мер и средств хозяйственного регулирования; делает она это в интересах обеспечения непрерывности и дешевизны массового питания, а также и постоянства шансов на прибыль (Erwerbschancen) для ремесленников и купцов. Каковы эти естественные условия, каковы меры, принимаемые для их фиксации и, наконец, каково взаимоотношение экономических интересов различных слоев городского населения — вот основные вопросы, которые возникают при этом. Ответ на них должен конкретизировать наше представление об экономической политике средневекового города. „Естественные" условия, о которых только-что шла речь, заключаются в следующем: 1) в определенном характере производства, которое представляет собою: в техническом отношении ремесло (Handwerk), в организационном отношении — мелкую промышленность, уже разделенную на отрасли и профессии, но еще бедную капиталом или даже вовсе лишенную его[1]), и в экономическом отношении—„Lohnwerk"[2]) или preiswerkliche Kundenproduktion[3]), 2) в определенном отношении города к окрестности, к городской округе, население которой является, с одной стороны, поставщиком продуктов сельского хозяйства на городской рынок, а с другой стороны - покупателем городских товаров и ремесленных изделий на том же рынке. Таким образом, городской рынок есть тот узел, в котором встречаются два важных для города качества сельской округи—как района сбыта и как поставщицы предметов питания. Таковы „естественные условия". Теперь поставим следующий вопрос: как происходит хозяйственное регулирование этих условий, и чем оно вызывается?

Мы уже указывали на то обстоятельство, что всякий город есть в той или иной мере и Produzentenstadt и Konsumentenstadt и—город

[1]) „Spezialisierter kapitalloser oder kapitalschwacher Kleinbetrieb".

[2]) „Lohnwerk"—работа (за определенное вознаграждение) на заказчика-потребителя, являющегося одновременно поставщиком и иногда производителем сырого материала, необходимого для работы (ср. Bücher, „Die Entstehung der Volkswirtschaft", 1920, I B., XV Auflage, S. 175).

[3]) „Preiswerkliche Kundenproduktion" — работа на сбыт, производимая при помощи собственных орудий и рассчитанная на определенный круг потребителей; продукт труда, слагающийся из собственного сырого материала ремесленника и его рабочей силы, продается им за определенную цену (ср. Bücher, цитированное сочинение, стр. 183).

производителей, и город потребителей. Поэтому всякая политика, направленная на регулирование отмеченных выше естественных условий, неизбежно должна носить двойственный производственно-потребительский характер, должна стремиться удовлетворять как производительные, так и потребительные интересы городского населения. Так, напр., надзор за доброкачественностью и за сбытом товаров исходит отчасти из соображений охраны потребителей,—особенно, поскольку этот надзор является одновременно и контролем над ценами,—а отчасти и из необходимости поддержания определенной репутации фирм, производящих и сбывающих эти товары. Взаимоотношение города и сельской округи носит тоже двойственный характер: так, с одной стороны, городская экономическая политика стремится принудить окрестных крестьян покупать все им необходимое в городе, что делается явным образом в производительных интересах города, то-есть в целях обеспечения городским ремесленникам района сбыта для их продуктов. Теми же соображениями вызываются и различные формы борьбы с конкуренцией сельских ремесленников,—так, напр., разрешение продавать изделия на рынке только городским ремесленникам, состоящим в одном из цехов данного города. С другой стороны, однако, та же политика стремится принудить городских производителей продавать товары только на городском рынке и препятствует предварительной покупке кем-либо этих товаров вне рынка, что диктуется уже потребительными интересами города. Целям охраны потребительных интересов служит и так-называемое складочное право (Stapelrecht), т.-е. обязательство купцам держать на городском рынке товары (как местные, так и ввозные) до тех пор, пока не будут удовлетворены все городские потребители, а также и связанный со складочным правом „Stapelzwang", т.-е. принуждение ввозить какой-либо товар (напр., хлеб) преимущественно в данный город[1]). Несомненно, что, кроме этих интересов производителей и потребителей, хозяйственная политика города отражает на себе еще и классовые интересы различных социальных слоев городского населения и в значительной мере определяется ими. Так, в интересах ремесленников ведется борьба с возникновением различных форм капиталистической зависимости, иногда запрещается система скупки и мануфактуры („Verlagssystem"), устанавливается контроль над капиталистическими займами (Kapitalleihe), производится регулировка сбыта и поставки сырья; в интересах местных городских купцов делается попытка провести монополию в посреднической торговле и завоевать привилегии во внешней торговле. „Эти основы городской хозяйственной политики—говорит Вебер—в главных своих чертах имеются на-лицо почти всюду; они варьируются лишь благодаря большому числу возможностей весьма различных

[1]) Ср. К. Бюхер, цитир. соч., I, стр. 124, и К. Ritzler: „Über Finanzen und Monopole im alten Griechenland", S. 83 и сл.

компромиссов между разными сталкивающимися интересами" [1]). Однако, это еще далеко не все: то или иное направление хозяйственной политики средневекового города определяется не только экономическими целями потребления и производства и классовыми интересами разных слоев городского населения, но и размерами района приложения промышленной деятельности города („Erwerbsspielraum"). То, что было сказано выше о городской экономической политике, относится к тому периоду развития городов, когда этот район был слишком тесен для промышленной деятельности городского населения, когда круг не-городских потребителей,—благодаря более быстрому промышленному развитию города сравнительно с деревней,—стал непропорционально узким относительно к кругу городских производителей, которым грозило перепроизводство и недостаток средств к существованию. Чтобы как-нибудь избежать этого, они и начали распространять и на производственные отношения самого ремесла свою „мелко-буржуазную политику пропитания" („Kleinbürgerliche Nahrungspolitik"), ограничивая число подмастерьев и монополизируя места мастеров для известных слоев местных жителей. Это значило, что ремесло самоограничивается, само ставит рамки дальнейшему увеличению числа занятых в нем лиц, чтобы таким образом, путем выключения из своей среды целого ряда социальных элементов, спасти самое свое существование. Если посмотреть на это самоограничение ремесла с другой его стороны, то дело сведется к тому, что сельская округа не в состоянии прокормить возросшее торгово-промышленное население, и этот недостаток не в силах возместить даже и торговля между отдельными частями страны, ибо успешное участие в ней города, ведь, зависит в свою очередь от монопольного положения городских купцов данного города во внешней торговле, а его далеко не всегда удавалось достигнуть. Исследователь греческого городского хозяйства, Курт Рицлер [2]), дает нам великолепную параллель к этому явлению в древне-греческой полис: „С достижением предела доходов, даваемых местным сельским хозяйством,—говорит он,—достигается и предел того количества населения, которое может прокормиться на родине, т.-е. в родном городе" [3]). М. Вебер тоже привлекает для параллели со средневековьем античный город,—только он берет его в несколько иной период его существования, а именно в ту эпоху, когда в античном мире уже было налицо разделение труда (в производственном смысле) между отдельными областями и местностями, когда усиливались обменные связи, и в результате этих процессов и **внутри** греческой „полис" начали развиваться такие хозяйственные тенденции, которые должны были стать в резкое противоречие к формам ее политической организации, как маленького государства. Но хотя обменные связи и росли и развивались, однако отсутствие крупного, объединяющего государства исключало возможность какого бы то ни было их регулирования в государственном масштабе. Маленький городок противостоял здесь не только своей сельской округе, но и целому ряду заморских стран, представлявших собою, главным образом, поставщиков сельско-хозяйственных продуктов. Поэтому греческий город этой эпохи, как справедливо замечает Рицлер, страдал не столько от перепроизводства, сколько от недостатка ввоза и от недопроизводства: античный город перерос рамки своей окрестности не только экономически,—как это было в средневековой Европе,—но и **политически**: он был с самого начала **государством**, которое естественно не могло просуществовать исключительно за счет своего собственного сельского хозяйства и собственного ремесла. С развитием внешней торговли и обмена эта невозможность сказалась особенно резко; именно этот обмен плюс отсутствие объединяющей государственной организации и обусловил собой недостаток средств пропитания в городе, а не слишком быстрое развитие ремесла внутри города, как это было в средние века. Город древней Греции страдал как от развития обмена, так и от недостаточности его развития: ему нужно было ввозить из-за границы (т.-е. из других городов-государств) много продуктов как промышленного, так и сельско-хозяйственного производства, а сделать это ему было очень трудно, так как в силу недостаточности развития обменных связей он не обладал ни необходимой для этой цели экономической мощью, как торговый центр, ни политическим могуществом, как государство. Что же касается развития внутри-городской промышленности, то она была в древней Греции следствием отмеченных выше явлений: она развивалась в результате повышенного спроса на ремесленные изделия, и продукты ее производства в свою очередь нуждались в сбыте во вне. Городу предстояло, по мнению Рицлера, так или иначе попытаться справиться с возникавшей таким образом задачей: совместить хозяйственные потребности, вызванные развитым, но не урегулированным обменом с политическими формами маленького города-государства. Рицлер намечает два возможных пути, два способа разрешения этой задачи: 1) либо попытка преодоления былого самодовления полиса путем экономического, а иногда и политического завоевания тех стран, с которыми необходимо было установить обменные связи (пример: Афины, Делосский союз), 2) либо, напротив, возвращение к былой аутаркии полиса (пример: Спарта). М. Вебер рассматривает преимущественно первую из намеченных Рицлером возможностей. Обратимся и мы сначала к ней. Указывая на уже известную нам разницу в социальной структуре полиса и средневекового города (там—знать и массы обезземеленных и задол-

[1]) Diese Kernpunkte der sog. Stadtwirtschaftspolitik, durch ungezählte Kompromissmöglichkeiten kollidierender Interessen variiert, finden sich in den Grundzügen fast überall wieder (573).

[2]) См. K. Riezler, „Über Finanzen und Monopole im alten Griechenthum",— „Zur Theorie und Geschichte der antiken Stadtwirtschaftts". Berlin. 1907.

[3]) Mit der Ertragsgrenze der heimischen Landwirtschaft ist auch die Grenze der Volkszahl, die zu Hause ernährt werden kann, erreicht. (Riezler, стр. 84).

жавших крестьян, здесь—вотчинники и ремесленники), М. Вебер отмечает, что интересы низших классов населения полиса были, главным образом, потребительными интересами и все более становились таковыми в процессе развития полиса. Если в раннюю пору и заметны начатки цеховых организаций, то в классическую эпоху демократии они совершенно исчезают, и их место занимают деления по демам и трибам. „Свободные союзы" городов эпохи демократии не носили характера цехов, так как не были объединениями ремесленников с монополистическими целями. Недостаточность продукции свободного ремесла для удовлетворения государственных надобностей вызывала развитие рабского ремесла, успешно конкурировавшего со свободным. Гоплитный строй войска, часто отвлекавший граждан—и горожан, и крестьян—от их работы для исполнения воинских обязанностей, заставлял гоплита оставлять на своей земле рабов: они были для него так же необходимы, как держатели для средневекового рыцаря. Такое развитие рабского труда в случае организации цехов, несомненно, принудило бы свободных ремесленников принимать в них и рабов, что, однако, оказало бы плохую услугу политическому значению цехов. А мы, ведь, видели уже, как важно было это последнее и для их хозяйственного процветания. Те слои населения, которые стояли во главе городского движения в средние века, т.-е. живущие в городе крупные предприниматели и ремесленники [1]) мелко-капиталистического типа, не были у власти в античном городе. „Ибо подобно тому, как античный капитализм,—говорит Вебер,—был ориентирован преимущественно политически—на государственных доходах, постройках, государственном кредите, расширении государственной территории и добыче пленных (рабов), на привилегиях для промышленной деятельности и на земельных пожалованиях, на заморской торговле и податях с подчиненных государств,—точно так же и античная демократия, т.-е. крестьяне, составлявшие ядро войска гоплитов, была заинтересована больше всего в завоевании земель для поселения, а городская мелкая буржуазия—в прямых или косвенных рентах из карманов зависимых общин". „Цеховой политике в средневековом духе не дали бы возникнуть уже одни только интересы дешевого обеспечения войска гоплитов, состоявшего, главным образом, из землевладельцев" (Вебер, стр. 587). Как видим, М. Вебер все время имеет здесь в виду полис, устремившуюся к завоеванию необходимых ей территорий, вышедшую за пределы аутаркии. Это обстоятельство и ряд только что отмеченных особенностей античного города делали невозможной экономическую политику в стиле средних веков, но в то же время создавали почву для иного рода хозяйственной политики. Ее проводили, наприм., эсимнеты в Афинах, и она состояла в следующем:

[1]) „Stadtsässige bürgerliche Grossunternehmer und die kleinkapitalistischen Handwerker".

принимались меры против продажи крестьянских земель представителям городской знати и против ухода крестьян в города; ограничивались работорговля и посредническая торговля, а также роскошь; иногда ограничивался, а иногда и вовсе запрещался вывоз хлеба и зерна, „все мероприятия,—говорит Вебер,—которые в значительной мере означают мелко-буржуазную городскую хозяйственную политику, соответствующую экономической политике средневековых городов" (М. Вебер, стр. 570). Столь велики различия между средневековым и античным городом в тот период его развития, который берет Вебер, и в том случае, когда попытка преодоления аутаркии хоть до некоторой степени удается при сохранении той же экономической основы (как это было в древнем Риме, который здесь имеет в виду Вебер). Но во втором из намеченных Рицлером случаев эти различия гораздо меньше, и черты сходства выступают яснее. В хозяйстве города, стремящегося вернуть себе поколебленную обменом аутаркию (самодовление), появляются некоторые черты, очень сходные со средневековым городом: „отрасли производства,—говорит Рицлер,—необходимые для местного потребления, должны быть созданы внутри города" [1]), начинается вмешательство городских властей в процесс образования рыночных цен, издаются законы против скупки товаров, появляется складочное право, запрещение вывоза предметов, существенных для государства или для потребления и производства, ограничение права покупки земельной и прочей недвижимой собственности. „Задача полиса, как кормилицы бюргеров, заключается в том, чтобы всячески защищать их, как потребителей и производителей, против всех не-горожан" [2]). При этом не следует, однако, упускать из виду, что причины и условия, породившие экономическую политику античного и средневекового города, во всяком случае различны: в то время как в древности она была вызвана расширением обменных связей, которые полис не могла использовать вследствие своих особенностей, как маленького города-государства, в средние века ее направление определялось сужением района приложения промышленной деятельности городского ремесла.

Мы изложили основные линии сложного и многостороннего исследования М. Вебера.

Резюмируем те выводы, к которым он пришел:

1) средневековый город есть рыночное поселение, являющееся в то же время укрепленным пунктом и автономной корпорацией.

2) Происхождение города надо мыслить себе не в виде постепенного развития всех этих признаков из какого-либо одного

[1]) Riezler, цит. соч., стр. 84.
[2]) Riezler, цит. соч., стр. 85.

начала, а в виде ряда сложных, перекрещивающихся процессов—социально-экономических и военно-политических. В частности, корпоративную автономию город приобрел в результате вооруженной борьбы бюргеров с сеньёром, борьбы, ставшей возможной в силу господства принципа самовооружения войска. Эта борьба в свою очередь сильно повлияла на социально-экономическое развитие города.

3) Средневековый город, как и всякий иной, есть одновременно и город потребителей (Konsumentenstadt) и город производителей (Produzentenstadt) с бо́льшим или меньшим уклоном то в сторону одного, то в сторону другого из этих типов.

4) Степень и характер этого уклона зависят от характера социальной структуры города, которая очень сложна и разнообразна. Средневековый город составился первоначально из комбинации рыночного и бургового, вотчинного населения, а потому в нем можно различить три основных класса: a) землевладельца и рантье всякого рода, b) купцы, c) ремесленники. Последние в свою очередь подразделяются на ремесленную буржуазию и подмастерьев-рабочих. Социальная борьба, носящая в то же время и политический характер,—ибо является борьбой за господство в городе, за участие в городском управлении,—разыгрывается вначале между сеньёриальными землевладельческими элементами и рыночными. Затем она продолжается внутри этих последних между различными слоями ремесленников и купцов.

5) В процессе этой борьбы и в процессе развития ремесла создается особая хозяйственная политика города, которая ставит своею целью хозяйственное регулирование „естественных условий" в производственно-потребительных интересах городского населения. При этом городские сословные различия игнорируются, и деревня рассматривается, как объект хозяйственной политики города. Упомянутые выше „естественные условия" суть: a) специфический характер производства—слабое капиталом ремесло и b) наличие известной взаимной зависимости города и сельской округи. Направление и характер регулирования этих „естественных" условий определяется: a) двойственностью социально-экономической структуры города, как совокупности производителей и потребителей, b) столкновением классовых и сословных интересов разных слоев городского населения и c) размерами района сбыта для продуктов городского ремесла.

Попытка резюмирования и даже изложения такой работы, как труд Вебера, по необходимости упускает из виду всю тонкость, сложность и многосторонность ее построения, давая лишь самые основные, общие выводы. От живого организма остается скелет; но, может быть, по этому скелету легче ориентироваться и в самом организме.

Теперь нам предстоит, пользуясь знакомством с конкретным содержанием работы Вебера, поближе рассмотреть его метод.

II.

Метод Макса Вебера.

(„Эмпирическая социология".)

Изложенное нами исследование о городе составляет лишь небольшую часть обширной социологической работы М. Вебера: „Хозяйство и общество", работы, которая содержит в себе, помимо конкретно-исторических глав и большое абстрактно-социологическое введение, намечающее основные понятия социологии и ее конечные задачи. Поэтому говорить о методе Вебера—значит говорить о его социологии.

Мы будем иметь в виду именно его, специфическую, веберовскую социологию, а не социологию вообще, и анализировать ее в конкретных достижениях по вопросу о городе и его эволюции, а не в ее теоретических декларациях, обещаниях и намерениях.

Но термин социология принадлежит к числу тех многосмысленных слов, которые могут выражать большое количество самых разнообразных, иногда даже противоположных понятий. Больше того: даже самая правомерность употребления этого термина и самое право на существование социологии, как особой науки, постоянно оспаривались и оспариваются до сих пор [1]). И, однако,—несмотря, с одной стороны, на очень распространенное отрицательное отношение к социологии, а с другой, на весьма малоудовлетворительные результаты большинства делавшихся до сих пор попыток построения социологических систем,—социология все же стоит в центре внимания всех, кто изучает общественные явления, и всякое социологическое их рассмотрение вызывает особый, повышенный интерес. Все это показывает, что потребность в социологии назрела, но средств к ее удовлетворению еще недостаточно. Однако и эти средства, т.-е. имеющиеся в распоряжении конкретных исторических дисциплин материалы, могут быть использованы весьма различно. Отсюда и разница в понимании существа социологии. Чтобы охарактеризовать специфические черты социологии М. Вебера, мы вынуждены будем поэтому сначала отграничить ее от ряда других „социологий". Довольно обычное понимание сущности „социологии" сводится к тому, что это есть абстрактная, теоретическая, систематическая наука об обществе, как таковом, как об известной системе взаимно-связанных элементов. Эта наука занимается только обобщением накопленных конкретными дисциплинами фактов, выводя из них определенные законы развития общества. При этом, конечно, в наше время речь идет уже не об общих законах эволюции всяких обществ, а,—со времен Маркса,—о законах развития каждого данного общества. Мы говорили уже о том, что потребность в такого рода социологии назрела, но при всех попытках ее построения должное

[1]) Ср. хотя бы недавно вышедшую брошюру Below'a: „Soziologie, als Lehrfach".

принималось за сущее, желательное за достигнутое; творцы социологических систем полагали, что достаточно только обобщить все известные факты, постулировать подмеченные взаимозависимости явлений в виде законов развития—и социология готова. Те немногие мыслители, которые составляли исключение, в сущности, и не оставили по себе никаких социологических систем, а дали лишь методологические указания (пример: Маркс). Макс Вебер не занимается только что очерченным выше видом абстрактной социологии,—почему и как—об этом ниже. Он не склонен заниматься и его разновидностями: так, он не предается установлению обязательных для всех народов фаз и ступеней развития в духе Бюхера или Зомбарта и в этом отношении солидаризируется с Марксом [1]). Правда, в абстрактной части своей книги, он противоставляет социологию, которая „создает идеально-типические понятия и ищет универсальных законов всего происходящего,—истории, стремящейся к каузальному анализу индивидуальных явлений" [2]). Каковы бы ни были, однако, цели социологии в понимании Вебера, нас интересуют не они: ибо социология до сих пор и страдала именно тем, что очень хорошо ставила себе задачи и очень плохо их выполняла. Поэтому социология Вебера занимает нас не как новая система или теория, а как метод, практически применимый в целях более или менее широкого освещения и истолкования исторических явлений. Вебер как раз тем и отличается от прочих социологов, что при выполнении социологических задач результаты его работы характеризуются гораздо бо́льшей конкретностью, бо́льшей близостью к истории, чем обычно. И, однако, пропасть между заданием и выполнением не так уж велика, и его работы носят всегда социологический характер. В чем же дело? Почему же Вебер—социолог даже в конкретных своих исследованиях?

Несомненно, что история есть основа всего обществоведения; ибо, ведь, история есть наука о развитии человеческих обществ во всей их конкретности. Поэтому науки систематические,—как политическая экономия, теория права и проч.,—невозможны без соответствующих конкретно-исторических дисциплин. Это ясно. Так же ясно и то, что и социология возможна только на почве истории и не только в том смысле, что история есть объект социологии, черпающей из нее материалы для абстрактных построений, но и в ином смысле, утверждающем более тесную связь между социологией и историей. Социология есть переведенная на язык общих понятий история. Разница между социологией и отдельными систематическими общественными науками, как политическая экономия, лишь в том, что последние переводят на язык общих понятий конкретные явления отдельных сторон процесса общественного развития, а первая—процесс развития общества в целом. Однако и построение такой социологии можно ставить себе задачей лишь в виде конечной цели всякого конкретного исследования; между нею и этим последним необходимо вдвинуть ряд промежуточных звеньев, проделать ряд предварительных работ. Это и делает М. Вебер. Он пишет историю под знаком социологии, он на пути к ней, но сознательно самоограничивается. И это дает хорошие результаты: ибо, да позволено будет здесь это естественно-научное сравнение, прежде чем строить теории эволюции видов, необходимо уяснить себе их сравнительно-морфологическое строение. М. Вебер и занимается такой сравнительной анатомией или эволюционной морфологией: изучая различные виды одного и того же явления—города, он сравнивает их между собой в процессе их развития. При этом сравнении выступают известные сходства и различия: античный город развивался в форме города-государства, итальянский—в несколько аналогичной форме, средне-европейский—уже иначе, хотя также достигал корпоративной автономии; английский вовсе лишен был ее. Это—не фазы, не схемы, не стадии, это—ряд сопоставлений, ценность которых заключается в том, что они уясняют сущность каждого из сопоставляемых явлений, и не только по сходству, но и по контрасту. При чем не только итальянский город уясняется из сравнения со сходным с ним античным, но и отличный от него английский, конечно, при условии наличия известных элементов сходства. Этот прием Вебера основан на том простом свойстве нашего мышления, что всякое понятие познается нами путем отграничения от других сходных или отличных понятий. Таким образом М. Вебер собирает, классифицирует, описывает, сопоставляет ряд конкретных исторических процессов; уже одно это выводит его за пределы специального исторического исследования и делает его работы по крайней мере сравнительно-историческими обзорами. Но Вебер, ведь, не только описывает, но и объясняет, т.-е. устанавливает известные связи—причинные связи—между явлениями. Будучи самостоятельным исследователем во многих областях, которые он затрагивает, Вебер на основе конкретного изучения составляет

[1]) Ср. следующее категорическое заявление Маркса (из письма к редактору „Отечественных Записок"): „Ему (моему критику. *А. И.*) непременно нужно превратить мой очерк генезиса капитализма в историко-философскую теорию общего хода экономического развития, которой фатально должны подчиняться все народы (каковы бы ни были исторические условия, в которых они находятся)"... „но прошу у него извинения. Это значило бы задать мне много чести, и приписывать мне ошибочное мнение, в котором я ничуть не повинен"... „События поразительно аналогичны между собой,—но происходившие в исторически различной среде, приводят к совершенно различным между собой результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сравнивая их между собой, легко найти ключ к уразумению этих явлений. Но никогда нельзя прийти к их пониманию, пуская в ход повсюду и всегда одну и ту же отмычку какой-либо историко-философской теории, самое высшее достоинство которой заключается в ее надисторичности"... (Курсив везде наш. *А. И.*). Достаточно сопоставить эти слова Маркса с данной выше характеристикой метода Вебера, чтобы убедиться в том, что последний идет к социологии в значительной мере по пути, проложенному Марксом, несмотря на серьезные разногласия обоих мыслителей в других пунктах.

[2]) „Die Soziologie bildet Typenbegriffe und sucht generelle Regeln des Geschehens" („Wirtschaft und Gesellschaft", S. 9).

себе впечатление о конкретном ходе того или иного исторического процесса, и в своем сравнительно-историческом обзоре описывает этот процесс в виде ряда причинно связанных друг с другом явлений. Такое причинное, объяснительное описание может опять-таки производиться весьма различными путями. Исследователь может задаваться целью объяснить весь сложный комплекс явлений из какого-либо одного корня, из одного начала, одной основной причины: так, например, город произошел из бурга, рынка, вотчины или общины. Такой прием, который мы позволим себе назвать дурным монизмом, вызывается, конечно, потребностью найти хоть какое-нибудь объяснение явлению, но невольно влечет за собой известное насилие над фактами: в интересах цельности построения невольно появляется стремление ослабить те черты явления, которые не мирятся с гипотезой автора, например, отодвинуть на задний план общинные элементы средневекового города, если автор противник общинной теории, или, напротив, вотчинные элементы, если он противник теории вотчинного происхождения городов. Конечно, несмотря на все недостатки такого метода, он представляет шаг вперед уже в том смысле, что дает возможность подойти к явлению с определенной точки зрения и таким образом подчеркнуть и осветить то ту, то другую его сторону, до того остававшуюся неосвещенной. Можно итти и обратным путем—вместо одного „начала" взять в качестве исходных пунктов несколько „начал", т.-е. рассматривать несколько исторических явлений, предшествующих данному, требующему объяснения явлению, в виде основных его причин. При применении такого приема каждая сторона или черта объясняемого явления будет выводиться из соответствующей ей основной причины или „начала", при чем эти стороны сложного комплекса останутся раздробленными, мало связанными друг с другом: так происхождение города, поскольку он бург, объясняется из наличия бурга, поскольку он рынок—из понятия рынка и т. д. Такой метод, который мы позволим себе назвать дурным плюрализмом—очень часто встречается у историков. Так, очень видные современные немецкие историки, Допш и Белов, стоят на такой методологической позиции. Когда речь идет о процессе эволюции общества, то эти „начала" или „причины" нередко превращаются в „факторы" или „движущие силы" исторического развития. При этом их метафизический характер выступает, пожалуй, еще яснее (факторы экономический, социальный, политический и т. д.).

Конечно, если покинуть почву объяснительного описания и перейти к абстрагированию, то можно избрать и иной путь, отличный от двух предыдущих: можно вовсе оставить всякие „начала" и „факторы" и говорить лишь о содержании и форме общественного развития (о базисе и надстройке), принимая развитие производительных сил в процессе борьбы общественного человека с природой за тот основной стержень, диалектическое движение которого и представляет собой, в переводе на язык социально-политических и правовых

отношений, процесс общественной эволюции. Здесь диалектическое развитие производительных сил не причина, не фактор, а то содержание, которое и есть само историческое развитие, облекающееся в соответствующие ему формы социальной, политической, правовой структуры общества. Подобного рода материалистический монизм можно, конечно, только приветствовать. Но одно дело—постулировать его в принципе, как теорию, а другое дело—применить к объяснению всего многообразия конкретной действительности, как метод. Чтобы можно было приступить к такому конкретному применению этого метода, нужно проделать сложную и тонкую предварительную работу. Ее-то и пытается выполнить М. Вебер. Мы уже видели, из каких соображений он отказался покамест от заоблачных высей абстракции и предпочел ограничиться установлением ряда исторических сопоставлений. Описывая конкретные виды городов, М. Вебер не пытается ни вывести их путем насилия над фактами из того или иного „начала" или „фактора", ни из нескольких таких начал. У него нет никакой теории происхождения городов, а есть лишь история этого процесса или, вернее, история ряда таких процессов. И, когда М. Вебер указывает на роль экономических, военно-политических, социальных, правовых, даже религиозных процессов в развитии города, то речь идет не о ряде отдельных факторов и даже не о взаимодействии факторов: М. Вебер говорит о взаимодействии явлений. Он дает нам не теорию взаимодействия факторов, которая была бы, конечно, неудовлетворительной, а историю взаимодействия многообразных явлений, переходящих одно в другое, сливающихся друг с другом, противоречащих друг другу и сталкивающихся между собой. Это, если хотите, тоже плюрализм, но не тот—принципиальный, сбивающийся на эклектику, бессильный что бы то ни было объяснить и за то способный все, что угодно, запутать, а плюрализм совсем особого рода: во-первых, он не только не противоречит возможности абстрактно-социологического построения, но, напротив, расчищает дорогу к нему, объединяя ряд явлений и процессов, этот сложный переплетающийся клубок,—в некое целое и, во-вторых, он помогает ориентироваться в конкретной действительности тем, что наглядно показывает механику этого сложного взаимодействия, в то же время нисколько не упрощая его и имея таким образом возможность оттенить и изобразить всю пестроту отношений не хуже, чем это делается в специальном историческом исследовании. Это тот самый плюрализм, который еще Гете выразил в следующих словах: „Kein Lebendiges ist ein Eins, immer ist's ein Vieles". Ясно, что здесь нет никакого противоречия ни с социологией, ни с монизмом: если все живое не „однородно", а „многообразно", то это еще не значит, что оно не есть целое и не может быть рассмотрено, как таковое. Напротив, то, что обычно называется конкретно-историческим и социологическим методом, сливается здесь в один метод, который сам М. Вебер довольно удачно называет „эмпирической социологией".

Этот термин может показаться внутренно-противоречивым лишь в том случае, если под „социологией“ понимать исключительно абстрактно-систематическую науку и твердо верить в возможность ее построения из одних общих понятий, без предварительного приведения в порядок данных конкретного исследования. Тем самым мы подошли к другому пункту в методологии М. Вебера: его отношению к конкретным, специальным, локальным историческим исследованиям. Мы позволим себе быть кратким в этом вопросе. Ясно, что только идя конкретно-локальным методом, можно надеяться достигнуть каких-либо результатов при исследовании специальных проблем исторической науки. Также ясно, однако, и другое: время от времени необходимы работы, подводящие итоги ряду таких исследований и тем самым дающие толчок к новым исследованиям. Важно только, чтобы они появлялись своевременно, т.-е. когда накопилось достаточно материала, и основывались именно на конкретном изучении, а не на работе фантазии. И если рассматривать труд Вебера, как работу историческую, то она вполне удовлетворяет этим двум условиям. Поэтому эмпирическая социология М. Вебера не только не противоречит локальной истории, но, напротив, находится с ней в самой тесной связи. Зато такое противоречие действительно имеет место тогда, когда „социолог“ или иной представитель систематической дисциплины слишком теоретичен, заботится только о чистоте своих понятий, а историк, как представитель конкретной науки, страдает недостаточной продуманностью общих понятий или же просто пренебрежительным отношением к ним, как к роскоши [1]). Вебер чужд подобной узости; его работа о городе—ценное историческое исследование. А в социологическом отношении она тоже только выигрывает от того, что не устанавливает „универсальных законов всего происходящего“: ибо пока это еще невозможно; но можно и должно стремиться к этому. Работы, подобные разбираемой нами, представляют собой конкретные попытки такого рода, делают первые шаги на пути к социологическому освещению исторических явлений. И в этом—их огромная ценность.

А. Неусыхин.

[1]) Это противоречие особенно ярко отразилось в любопытном споре Допша с Зомбартом по поводу 11 издания „Современного капитализма“. См. Grünberg's „Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung“, 1919, Jahrg. IX, Heft 2—3.

Средства обращения и капитал.

(К вопросу о монистическом понимании денежного рынка.)

> „Пока просвещенная экономия толкует о „капитале“ ex professo, она с величайшим презрением взирает на золото и серебро как на форму капитала, в действительности в высшей степени безразличную и бесполезную. Как только она начинает говорить о банковом деле, все это совершенно изменяется, и золото с серебром становятся вдруг капиталом par excellence“...
>
> [К. Маркс. „Капитал“, т. III, ч. 2-я изд. „Моск. Книгоиздат.“ 1908 г., стр. 110].

I.

Спор о средствах обращения и капитале тянется свыше ста лет. В своей книге „Учение о деньгах и кредите“ [1]) проф. Каценеленбаум снова поднимает этот вопрос. Речь идет о том, следует ли различать при так называемых кредитных сделках ссуду денег (средств обращения) и ссуду капитала, или же всякая ссуда есть всегда ссуда капитала.

Маркс в свое время уделил этому вопросу много внимания. Все относящиеся к данной контроверзе материалы Энгельс сгруппировал в V отделе третьего тома „Капитала“.

Маркс вел борьбу на два фронта: с одной стороны он критиковал точку зрения Тука, Фуллартона и других, устанавливавших различение между средствами обращения и капиталом, но устанавливавших его неправильно [2]); с другой стороны — он вскрывал ошибочность

[1]) З. С. Каценеленбаум, „Учение о деньгах и кредите“, ч. II.: „Кредит и кредитные учреждения“, Ярославль 1922 г., лекция 2-я: „Денежный рынок“.

[2]) Ср. два варианта теории Тука. „Но при этом просматривается то, что только те экземпляры, которые образуют внутреннее обращение страны, могут быть обозначаемы названием денежного обращения страны, между тем как нечеканное золото следует рассматривать только как капитал. Различие между металлом как товаром или капиталом и монетою как деньгами или обращением страны может быть показано в тех случаях когда чеканка подвергается уплате монетного налога, или где, как в Гамбурге, употребительные в ежедневных сообщениях деньги (Courant-geld) состоят главным образом из различных чужих сортов монеты, которая по условной ценности переходит из рук в руки, между тем как все платежи в торговых делах производятся на банковые деньги

точки зрения видных английских банковых практиков, в частности г.г. Нормана и Оверстона, утверждавших, что при кредитных сделках мы всегда имеем дело только с ссудой капитала, и вносивших вообще чрезвычайную путаницу в этот вопрос [1]).

Проф. Каценеленбаум, принимающий в основном Марксову теорию кредита, в вопросе о различении денег и капитала становится на ту точку зрения, что при кредитных сделках этому различению не должно быть места, что в данном случае речь идет всегда о ссуде капитала и только капитала.

Развернув довольно полно и подробно критическую аргументацию, Маркс в то же время нигде не дал догматического изложения своей точки зрения. С полной ясностью на этот счет высказался лишь Энгельс в своих примечаниях, вкрапленных в самый текст „Капитала", при чем высказался в том смысле, что в зависимости от конкретных условий сделки нужно различать ссуду денег и ссуду капитала.

Возникает вопрос, является ли точка зрения Энгельса в то же время и точкой зрения Маркса, правильно ли развил Энгельс мысль Маркса [2]). И если б нам удалось установить, что Энгельс не „извращает" Маркса, то все же остается основной вопрос: кто же, в конце концов, прав в этом споре о деньгах и капитале, — те ли, кто утверждает, что при кредитных сделках может итти речь о получении заемщиком только капитала, или же те, кто различает ссуду денег и ссуду капитала.

(Banco-geld), т.-е. через перевод капиталов, которые в виде чистого серебра лежат в банках". (Выдержки из сочинения Тука „История цен". — „Сочинения Давида Рикардо". Перевод Н. Зибера. С.-Петербург 1882 г., стр. 655—656.)

Совершенно иной критерий предлагает Тук для различения средств обращения и капитала в другом месте своего труда. „Банкирское дело, оставляя в стороне выпуск банкнот с платежом предъявителю, может быть разделено на две отрасли, отвечающие установленному Адамом Смитом делению сделок между торговцами и торговцами и между торговцами и потребителями. Одна отрасль банкирского дела состоит в том, чтобы собирать капитал с тех, кто не имеет непосредственного помещения для него, и распределять его или передавать тем, кто имеет для него помещение. Другая отрасль состоит в том, чтобы принимать вклады из дохода своих клиентов и уплачивать им сумму, когда она им понадобится на предметы потребления... Первая есть обращение капитала, последняя — обращение средств обращения". (Цит. по „Капиталу", т. III, ч. 1-я, изд. Гос. Изд. 1922 г., стр. 428, примеч.) См. относящиеся к этому взгляду Тука замечания Маркса в XXVIII гл. III т. 1-й ч. „Капитала".

[1]) Ср. „Капитал", т. III, ч. 1, гл. XXVI, и т. III, ч. 2, гл. XXXII.

[2]) В таком именно смысле был поставлен вопрос проф. Каценеленбаумом в семинарии теоретической экономии Института Красной Профессуры. По мнению профессора, Энгельс неправильно толкует Маркса в своих примечаниях: у Маркса нет того различения денег и капитала, которое проводит Энгельс.

Не приходится, разумеется, говорить о том, какое значение имело бы констатирование факта непонимания, — мало того, искажения Энгельсом взгляда Маркса. Если бы удалось доказать это хотя бы в одном данном конкретном случае, — в споре о деньгах и капитале — то тем самым поставлен был бы вопрос вообще об аутентичности II и III т.т. „Капитала" с тем, что написал Маркс.

Речь при этом идет не только о больших „тонкостях" теории. Тот или иной ответ на вопрос имеет большое практическое значение. Говоря о финансовых комбинациях Лоу. Макс Вирт в своей „Истории торговых кризисов" замечает: „Он (Лоу. *А. М.*) смешивал деньги с капиталом, и эта ошибка приводила созданные им предприятия и операции, на зло совершенно верной мысли, нередко лежавшей в их основании, после кажущихся блистательных успехов, к конечному крушению, — неизбежному следствию ложного принципа. Итак, Лоу смешивал, как мы уже сказали, деньги с капиталом, и так как он по опыту знал, что бумажные знаки через кредит во многих случаях совершенно заменяют деньги, то он думал, создавая бумажные знаки, создать капитал, и через это простое средство обогатить страну" [1]).

Огромное значение имеет различение ссуды средств обращения и ссуды капитала при анализе конъюнктур. Проф. П. Момберт в своем „Введении в изучение конъюнктур" посвящает этому вопросу специальную главу „Der Kapital- und Geldmarkt" [2]).

II.

В первой части нашего небольшого исследования мы ставим себе задачу проверить, правильно ли развил Энгельс мысль Маркса; другими словами, мы хотим выяснить, имеется ли у Маркса различение денег и капитала при так называемых кредитных сделках.

По самому характеру поставленной задачи нам придется оперировать с текстом „Капитала", и цитаты, порой довольно длинные, при этом неизбежны. Но мы надеемся, что соответственные выдержки из „Капитала" в значительной мере помогут нам уяснить вопрос и по существу.

Мы начнем с цитаты из того примечания, в котором Энгельс с ясностью, не оставляющей места никаким сомнениям, ставит и решает вопрос о деньгах и капитале... „Это представление, перенесенное из банкирской конторы в политическую экономию, создало спутывающий спорный вопрос, является ли то, что банкир наличными деньгами предоставляет в распоряжение своего торгового клиента, капиталом, или же только деньгами, средством обращения, currency? Чтоб разрешить этот — по существу простой — спорный вопрос, мы должны стать на точку зрения клиентов банка. Все зависит от того, чего те требуют и что получают.

Если банк соглашается дать своему торговому клиенту заем просто под личный его кредит, без представления с его стороны обеспечения, то дело ясно. Клиенту безусловно авансируется определенного

---

[1]) Макс Вирт, „История торговых кризисов в Европе и Америке", перев. с немецк., С.-Петербург 1877 г., стр. 12.

[2]) Dr. Paul Mombert, „Einführung in das Studium der Konjunktur", Leipzig 1921 г., S. 93—131.

размера стоимость как дополнение к его капиталу, которым он до сих пор располагал. Он получает аванс в денежной форме, т.-е. получает не только деньги, но и денежный капитал.

Если же он получает ссуду, выданную под залог ценных бумаг и т. п., то это аванс в том смысле, что ему даются деньги под условием их обратной уплаты. Но это не авансирование капитала. Потому что ценные бумаги тоже представляют капитал и притом на большую сумму, чем ссуда. Следовательно, получатель берет меньшую стоимость капитала, чем отдает в залог; такая операция отнюдь не представляет для него приобретения добавочного капитала. Он совершает сделку не потому, что ему нужен капитал,—он уже имеет его в своих ценных бумагах,—а потому, что ему нужны деньги. Здесь, следовательно, перед нами ссуда денег, а не капитала.

Если аванс выдается под учет векселей, тогда исчезает и форма аванса. На-лицо простая купля-продажа. Посредством передаточной надписи вексель переходит в собственность банка, а деньги—в собственность клиента; о возврате их с его стороны нет и речи. Если клиент покупает наличные деньги векселем или другим орудием кредита, то это такой же аванс, не больше, не меньше, как если бы он купил наличные деньги каким-нибудь другим товаром,—хлопком, железом, хлебом. И всего меньше может быть тут речь об авансировании капитала. Всякая купля-продажа между торговцем и торговцем есть передача капитала. Ссуда же имеет место только там, где передача капитала не является взаимной, а происходит односторонне и на срок. Поэтому ссуда капитала посредством учета векселей может иметь место только там, где вексель—бронзовый вексель, который отнюдь не представляет проданного товара и которого не берет ни один банкир, раз он знает, что это за вексель; следовательно, в нормальной учетной сделке клиент банка не получает никакого аванса ни капиталом, ни деньгами; он получает деньги за проданный товар.

Таким образом случаи, когда клиент требует у банка и получает капитал, очень ясно отличаются от тех, когда он получает в ссуду деньги или покупает деньги у банка" [1]).

На конкретном примере, при помощи анализа соответствующих форм кредитных сделок Энгельс устанавливает различие между получением в ссуду денег и капитала.

Соответствует ли это тому, что говорил Маркс?

В самом начале V отдела III тома „Капитала", в главе XXI, Маркс заявляет: „Прежде всего мы рассмотрим своеобразное обращение капитала, приносящего проценты. Затем, во вторую очередь, следует рассмотреть тот особый способ, каким он продается как товар, именно как он ссужается, а не уступается раз-на-всегда.

Исходной точкой служат деньги, которые А ссужает В. Ссуда может быть сделана под залог или без залога; однако первая форма

[1]) „Капитал", т. III, ч. 1-ая, стр. 414—415, Гос. Изд., 1922 г.

более древняя, если исключить ссуды под товары или долговые обязательства, как-то: векселя, акции и т. д. Эти особые формы нас здесь не интересуют. Мы имеем здесь дело с капиталом, приносящим проценты, в его обычной форме" [1]). Отсюда ясно, что, во-первых, Маркс ставит себе задачу дать анализ „капитала, приносящего проценты", вообще, выяснить сущность кредита, как такового, и что, во-вторых, случаи, рассмотренные Энгельсом под № 2 и № 3 (номерами 1-ый, 2-ой и 3-ий мы будем в дальнейшем обозначать для краткости анализируемые Энгельсом случаи бланкового кредита, ссуды под залог и учета), Маркс считает „особыми формами", анализом которых он не собирается заниматься.

Но все же в дальнейшем ему приходится касаться интересующего нас вопроса. Так, в частности он приводит диалог между Оверстоном и представителем парламентской комиссии (парламентский отчет под № 3758). „Следовательно, вы хотите сказать, что затруднения купцов здесь в стране в периоды недостатка в деньгах вследствие высокой нормы учета состоят в том, чтобы получить капитал, а не в том, чтобы получить деньги?—Вы смешиваете две разные вещи, которых я в этой форме не соединяю; трудность состоит в том, чтобы получить капитал, и точно так же трудно получить деньги... Трудность получить деньги и трудность получить капитал одна и та же трудность, рассматриваемая в два различных момента ее развития" [2]). По поводу этого диалога Маркс замечает: „Здесь рыба снова крепко попалась. Первая трудность—учесть вексель или получить ссуду под залог товара. Трудность состоит в том, чтобы превратить деньги в капитал или торговый знак стоимости капитала. И эта трудность выражается, между прочим, в высоком размере процента. Но раз деньги уже получены, в чем же тогда состоит вторая трудность? Если речь идет только о платеже, разве кто-нибудь найдет трудность в том, чтобы освободиться от своих денег? А если речь идет о купле, разве у кого бы то ни было встречалось когда-нибудь в эпоху кризиса затруднение купить товар? И если даже допустить, что это касается особого случая вздорожания хлеба, хлопка и т. д., то ведь трудность эта могла бы выражаться не в стоимости денежного капитала, т.-е. не в размере процента, а только в цене товара; и эта трудность ведь преодолевается тем, что у нашего человека теперь имеются деньги для купли" [3]).

Снова возвращается Маркс к этому вопросу, критикуя первый вариант туковского различения средств обращения и капитала. „Если же говорят, что банк дает при этом в ссуду капитал, а не средства обращения, то это имеет двоякий смысл. Во-первых, что он дает в ссуду не кредит, а действительную стоимость, часть своего собствен-

[1]) Там же, стр. 324—325.
[2]) Там же, стр. 417.
[3]) Там же, стр. 417—418.

ного или положенного у него вкладом капитала. Во-вторых, что он дает в ссуду деньги не для внутреннего, а для международного обращения, дает мировые деньги; а для такой цели деньги всегда должны находиться в своей форме сокровища, в своей металлической телесности, в форме, в которой они не только представляют форму стоимости, но сами равны той стоимости, денежной формой которой они являются. Хотя это золото как для банка, так и для экспортирующего торговца золотом представляет капитал, банкирский капитал или купеческий капитал, однако спрос на него возникает не как спрос на капитал, а как на абсолютную форму денежного капитала. Он возникает именно в тот момент, когда иностранные рынки переполнены ненаходящим реализации английским товарным капиталом. Следовательно, при этом требуется капитал не как капитал, а капитал, как деньги, в форме, в которой деньги суть общий товар мирового рынка; а это—первоначальная форма денег, благородный металл. Следовательно, отлив золота не a mere question of capital, не простой вопрос капитала, как говорят Фуллартон, Тук и др., но a question of money, вопрос денег, хотя и в их специфической функции. То обстоятельство, что это не вопрос внутреннего обращения, как утверждают защитники Currency-Theorie, конечно, не служит доказательством того, что это только вопрос капитала (question of capital), как полагают Фуллартон и другие. Это вопрос денег (a question of money) в той форме, в которой деньги служат международным платежным средством“ [1]).

На стр. 440—441 Маркс приводит два конкретных примера, явно друг от от друга отличающихся по своему содержанию—те „особые формы“, о которых он говорит в XXI гл.,—и ставит затем вопрос: „В какой же мере можно рассматривать ссуду банка лицу A, как ссуду капитала или просто как ссуду платежных средств?“.

На поставленный вопрос Маркс ответа не дал. Энгельс же непосредственно вслед за этим вопросом поместил примечание, в котором повторил то, что говорил в цитированном нами примечании в XXVI гл.

Во второй части третьего тома „Капитала“ Маркс снова возвращается к интересующему нас вопросу. „Единственные трудные вопросы, к которым мы теперь подходим в нашем исследовании кредита, суть следующие: „и во-вторых: в какой степени денежное стеснение, т.-е. недостаток в ссудном капитале, выражает собою недостаток в действительном капитале (товарном капитале и производительном капитале?) В какой степени, с другой стороны, оно совпадает с недостатком денег как таковых, с недостатком средств обращения?“ [2])

В главах XXXII и XXXIII—решающие замечания, на которые ссылается Энгельс. „В периоды угнетения спрос на ссудный капитал есть спрос на платежные средства и ничего более... Поскольку купцы

[1]) Там же, стр. 438.

[2]) „Капитал“, т. III, ч. 2, изд. „Моск. Книгоиздат.“, 1908 г., стр. 13—14.

и производители могут доставить надежное обеспечение, спрос на платежные средства есть просто спрос на средства для того, чтобы превратить капитал в деньги; поскольку же это не имеет места, следовательно, поскольку аванс платежных средств доставляет капиталистам не только денежную форму, необходимую для платежа, но также недостающий для этой цели эквивалент в какой бы то ни было форме, постольку спрос на платежные средства есть спрос на денежный капитал“ [1]). „Различие между выпуском средств обращения и ссудой капитала обнаруживается лучше всего в процессе действительного воспроизводства... При развитом кредитном деле, когда деньги концентрируются в руках банков, эти последние и являются, по крайней мере номинально, той стороной, которая авансирует деньги. Такого рода авансирование касается лишь денег, находящихся в обращении. Это авансирование средств обращения, а не авансирование капиталов, приводимых благодаря этому в обращение“ [2]).

И, наконец, следующее чрезвычайно характерное замечание, выявляющее точку зрения Маркса: „Спрос и предложение ссудного капитала были бы тождественны со спросом и предложением капитала вообще... лишь в том случае, если бы вовсе не существовало денежных заимодавцев, а вместо них имелись бы капиталисты, владеющие машинами, сырыми материалами и т. п. и отдающие эту свою собственность в ссуду или в наем—подобно тому, как теперь сдаются дома,—промышленным капиталистам, которые сами являются собственниками части этих предметов. При таких обстоятельствах предложение ссудного капитала было бы тождественно с предложением элементов производства промышленным капиталистам или товаров купцам“ [3]).

Количество цитат можно было бы увеличить; но, думается нам, и приведенных вполне достаточно для того, чтобы можно было судить, прав ли был Энгельс, когда он, продолжая мысль Маркса, находил, что нельзя сваливать в одну кучу все различающиеся по своему содержанию сделки, фигурирующие в обиходе капиталистической практики под одним общим названием кредитных. Совершенно ясно, что Энгельс в своих примечаниях лишь систематизировал отдельные высказывания Маркса и на конкретных примерах иллюстрировал применение общих принципов абстрактной теории.

III.

Поскольку учение о кредите есть часть марксовой экономической системы и поскольку в основе всех экономических построений Маркса лежит его теория стоимости, постольку нам кажется правильным, исходя из понятия стоимости, как основного, проанализировать сначала сущность кредитной сделки как таковой, и затем те „особые формы“, которые рассматривает Энгельс.

[1]) Там же, стр. 53.

[2]) Там же, стр. 69.

[3]) Там же, стр. 56—57.

Категории, с которыми нам в дальнейшем придется иметь дело, это—товар, деньги, капитал. Не развертывая полностью их характеристики, мы установим лишь их отличительные признаки с точки зрения стоимости и лишь в той мере, в какой это нам нужно в данном конкретном случае.

В то время как товар мы можем мыслить, как единство стоимости и потребительной стоимости, для характеристики денег и капитала нужно ввести функциональный признак. Деньги—это стоимость, выполняющая одну или одновременно несколько из функций: мерила стоимости, средства обращения, средства платежа или сокровища. Капитал—стоимость, приносящая прибавочную стоимость.

Сведенные к своему первоисточнику — деньги и капитал — представляют по существу разные функции одной и той же субстанции. Одна и та же субстанция—стоимость-товар в зависимости от того, какую она выполняет в данное время функцию, может являться либо деньгами, либо капиталом.

Когда мы говорим о товаре, деньгах и капитале, мы имеет дело не с застывшими, окаменевшими образованиями. Поскольку в основе этих явлений лежит стоимость,—товар, деньги, капитал—подвижные общественные отношения, переходящие одно в другое, одно другое сменяющие.

Этих методологических предпосылок не следует забывать, когда мы приступаем к анализу, сущность которого состоит в том, чтобы уметь отличать эти с одной стороны столь близко соприкасающиеся с другой стороны столь различные категории.

Общая формула движения стоимости при кредитной сделке имеет следующий вид [1]):

$D \rightarrow D \rightarrow T \rightarrow D' \rightarrow D^2$

D находится в кассе кредитора.

Это—стоимость=деньги, поскольку, находясь в кассе, D выполняет функцию сокровища.

Кредитор ссужает D заемщику.

Он ссужает D, как D, которое вернется в виде $D = \triangle D$, т.-е. дает заемщику стоимость в форме денег с тем, что эта стоимость не только вернется к нему (кредитору), но принесет еще некий прирост $\triangle$, новую стоимость.

Для кредитора с передачей D в руки заемщика это D превращается в стоимость, функция которой состоит в производстве прибавочной стоимости; следовательно, стоимость=деньги с момента перехода от кредитора к заемщику превращается для кредитора в стоимость=капитал.

[1]) Маркс дает формулу:

$$D — D — T — D' — D'.$$

Ввиду того, что D, возвращающееся к заемщику из оборота, и D, попадающее от заемщика к кредитору, величины разные, и первое при „нормальных" условиях всегда больше второго—иначе для заемщика ссуда теряет смысл,—мы считаем более удобным обозначать эти D различно: D′ и D^2.

Для заемщика—если мы возьмем кредитную сделку в чистом виде, не осложненную залогом и не в специфической форме учета — полученное им от кредитора D должно также функционировать в качестве превращающегося в новое D′, чреватое прибавочной стоимостью, т.-е. D для заемщика — стоимость, которая приносит стоимость=капитал.

Одна и та же стоимость D является стоимостью—деньгами пока находится в кассе кредитора и превращается в стоимость = капитал после передачи ее в качестве ссуды заемщику.

Этот случай, соответствующий в коммерческой практике бланковому кредиту, рассмотрен Энгельсом под № 1.

Посмотрим, что происходит, когда в обеспечение ссуды вносится залог—у Энгельса казус № 2. Для упрощения предположим, что, во-первых, в залог внесен товар и что, во-вторых, ссуда выдана в размере залога (обычно она меньше).

Можно ли этот случай подвести под общую формулу кредитной сделки $D — D — T — D' — D^2$?—Отнюдь нет.

У кредитора—стоимость-деньги. У заемщика—стоимость-товар. В результате ссуды под залог стоимости и кредитора и заемщика остаются прежние; тот и другой обмениваются лишь потребительными стоимостями: у кредитора стоимость из формы денег превращается в форму товара, у заемщика—из формы товара—в форму денег.

Первая часть нашей формулы

$$D \rightarrow D,$$

которая отображает перемещение стоимости от кредитора к заемщику при бланковом кредите, теперь выглядит так:

$$D \rightleftarrows D$$

При предположении, что ссуда=залогу (в действительности она обычно меньше, и это лишь укрепляет нашу позицию) равновеликие стоимости проделывают прямо-противоположные движения. С точки зрения перемещения стоимости (а если мы говорим о ссуде капитала, то речь идет именно о стоимости) после сделки нет никаких изменений по сравнению с тем, что было до сделки.

В предприятии заемщика функционирует в качестве капитала стоимость, которая была в предприятии и до займа (в форме товара). Кредитор получает процент за предоставление не стоимости, а потребительной стоимости, за превращение стоимости заемщика из одной формы в другую.

С точки зрения тех авторов, которые выдвигают момент доверия, как основной признак кредита, равно как и тех, которые придают существенное значение формальному юридическому признаку и считают характерным для кредитных сделок обращение в предприятии заемщика чужого капитала, ссуда под залог не должна бы, собственно, фигурировать в числе кредитных сделок.

Когда мы на основании анализа ссуды под залог утверждаем, что в данном случае дело идет о получении заемщиком от кредитора денег, а не капитала, то в такой общей форме наше утверждение имеет силу лишь при так называемых нормальных условиях.

При диалектическом рассмотрении явлений экономической действительности мыслима такая комбинация условий, когда ссуда денег при нашей сделке может превратиться в ссуду капитала. Но тогда дело будет итти о модификации основного явления.

Допустим, например, что заем сделан в момент благоприятной конъюнктуры, и заемщику под залог 1.000 пуд. хлеба, оцененных в 1000 руб., выдали ссуду в 750 руб. С нашей точки зрения в данном случае имеет место ссуда денег. Через некоторое время конъюнктура резко изменилась к худшему и заложенный хлеб оценивается теперь в 500 руб. Дальше, если допустить, что заемщик не внес по требованию кредитора дополнительного обеспечения и что кредитор не успел во-время реализовать заложенный хлеб по достаточно высокой цене, то создается такое положение, что 250 р. (разница между ссудой и залогом) функционируют в предприятии заемщика, как дополнительный капитал: из стоимости-денег, чем была ссуда в момент заключения сделки, часть полученной ссуды превратилась в стоимость-капитал.

Если принять во внимание различные модификации, которые могут иметь место, то возможен и такой, казалось бы, парадоксальный случай—парадоксальный с точки зрения сторонников взгляда, что при сделке № 2 всегда ссужается дополнительный капитал — когда заемщик не только не получает дополнительного капитала, а, наоборот, капитал получает кредитор.

Мы не будем касаться ростовщических сделок. Но, если, следуя проф. Каценеленбауму, включим в число кредитных сделок и потребительски-кредитные сделки, и проанализируем ломбардные операции, то, несомненно, обнаружится масса случаев, когда в конечном счете излишек стоимости остается в руках кредитора и функционируя в качестве стоимости, приносящей прибавочную стоимость, превращается в капитал[1]). В то время как по внешней своей форме эти

[1]) Вот что сообщает нам автор, специально изучавший ломбарды в России: „Умеренная и осторожная оценка принимаемых в заклад вещей ведет к тому, что и вещи не проданные с аукциона обычно в громадном числе продаются ломбардом с прибылью. Вот сведения о продаже московским городским ломбардом вещей, оставшихся от аукциона в 1916 г.

В течение всего 1916 года предлагалось к продаже—16.477 закладов.

Из них продано с 1 торга	15.621	закл.
„ „ „ со 2 торга	679	„
Осталось за ломбардом	177	„
Из них ломбардом продано из магазина	164	„
Осталось непроданными	13	„
При этом из 164 закл. продано с прибылью	128	„
„ „ „ „ „ „ без прибыли	26	„
„ „ „ „ „ „ с убытком	10	„

В общем следует признать, что ломбарды при опытном ведении дела оценки закладов обеспечены вполне по своим ссудам". (П. А. Кириллов, Ломбарды в России. Н.К.Ф. Финанс.-Экон. Бюро. 1922 г., стр. 56—57).

сделки в обиходе житейской коммерческой практики фигурируют в качестве ссуды заемщику и с точки зрения проф. Каценеленбаума являются ссудой капитала, на деле они являются даже не ссудой, а полной передачей в собственность так называемым заемщиком так называемому кредитору стоимости-капитала.

Внешняя форма сделки и внутреннее содержание ее находятся в данном случае в несомненном противоречии.

С точки зрения того, как явление выглядит с внешней стороны и с чем мы имеем дело в действительности, с точки зрения различения формально-юридической внешности и экономической сущности, которую можно распознать исключительно при помощи анализа стоимостных отношений, не представит трудности решить вопрос, если мы усложним наш пример предположением, что в залог внесен не товар, а ценные бумаги, либо возьмем сделку, рассматриваемую Энгельсом под № 3.

IV.

Выступая сторонником монистического понимания денежного рынка, проф. Каценеленбаум не дает критического разбора точки зрения сторонников различения денег и капитала. В отношении упоминаемого им Тука этого не нужно, поскольку взгляды последнего в достаточной мере полно разобраны и опровергнуты Марксом.

Не трудно было также ему разделаться с точкой зрения авторов сборника „Русские биржевые ценности 1914—1915 г.г.": ненаучное различение денег и капитала не представляет трудности для опровержения. Хотя нужно признать, что критические замечания профессора с методологической точки зрения неправильны.

Признавая ненаучным деление стоимости на деньги и капитал на основании количественного признака[1]), мы все же должны констатировать, что в основе этого деления лежит совершенно правильно вводимый в понятие капитала количественный момент. Поскольку капитал есть стоимость, приносящая прибавочную стоимость, а в условиях капиталистической действительности стоимость для того, чтобы приносить прибавочную стоимость, должна иметь некоторую величину, определяемую конкретными условиями каждого отдельного предприятия, постольку, по нашему мнению, количественный момент входит в понятие капитала.

Методологически неправильно опровергать точку зрения авторов сборника предъявлением требования установить цифру, с которой

[1]) Следующим образом формулируют свою точку зрения авторы сборника: „Под денежным рынком обычно понимают соединение двух рынков—рынка краткосрочных помещений и рынка капиталов. Краткосрочный рынок снабжает народное хозяйство, главным образом торговлю и промышленность, оборотными средствами... Капитальный рынок имеет своим назначением предоставление заемщикам не просто денег, а денег, соединенных в кассы, т.-е. капиталов" („Русские биржевые ценности 1914—15 г.", стр. 126).

данная сумма денег становится капиталом. „Раньше всего, что собственно представляют собою „деньги, соединенные в массы“ и в чем отличие этих денег от „денег просто“? Установить здесь какую бы то ни было логическую грань не представляется возможным. Что такое „масса денег“, которой можно присвоить название капитала, есть ли это 10, 100, 1.000 или миллион рублей? До какого размера сумма денег представляется „деньгами просто“ и с какого размера она превращается в массу?“ [1]).—Теоретическая экономия не занимается составлением прейс-курантов.

Ошибка авторов состоит в том, что они хотят в основу классификации положить признак, имеющий значение лишь для части явлений, которые подлежат классификации—для капитала, и никакого значения для другой группы явлений—для денег.

Упоминанием о Туке и опровержением точки зрения авторов сборника ограничивается критическая часть отдела, посвященного контроверзе о деньгах и капитале. Странным кажется, что автор совершенно обошел молчанием Маркса и Энгельса, взгляды которых ему несомненно известны, поскольку он принимает марксову теорию кредита.

Переходя к обоснованию своей точки зрения, профессор Каценеленбаум ставит альтернативный вопрос: „Что следует понимать под тем „капиталом“, который передается в данном случае в чужое предприятие для обращения, надо ли под ним понимать капитал в вещной форме, в форме всех разновидностей вещного капитала, или же под ним следует понимать капитал в форме денежных знаков? Лежит ли в основе кредита передача чужому предприятию зданий, орудий производства, сырья или же в данном случае речь идет о передаче в чужое предприятие монеты?“ [2]).

Прежде всего на счет „монеты“. „Монета“ вместо „денег“ пущена автором в оборот, очевидно, для вящшего посрамления противников: не нам, разумеется, объяснять автору двухтомного „Учения о деньгах“, что между „монетой“ и „деньгами“—дистанция огромного размера, что „деньгами“ в нашем бренном мире интересуются многие, в том числе часто и те, кто ищет так называемого кредита, а для того, чтоб найти интересующихся „монетой“, придется, пожалуй, обратиться к литературным образцам и заняться психологией Скупого рыцаря и Плюшкина.

На поставленный выше вопрос автор отвечает: „Не трудно видеть, что в основе кредита лежит передача одними лицами другим для временного обращения в их предприятиях вещного капитала, а отнюдь не монеты“ (там же). Любопытно сопоставить это со взглядом, высказанным в свое время г. Норманом, директором Английского банка, при опросе его в парламентской комиссии. „Не угодно ли будет вам пояснить, что разумеете вы под капиталом, помимо банкнот и металлических денег?—Я полагаю, что обыкновенное определение капитала таково: это товары или услуги, употребляемые в производстве 3636. — Все ли товары вы включаете в слово капитал, когда говорите о проценте?—Все товары, употребляемые в производстве 3637. — Все это вы разумеете под словом капитал, когда говорите о проценте?—Да. Допустим, что хлопчатобумажному фабриканту требуется хлопок для своей фабрики; по всей вероятности, он раздобудет его таким образом, что возьмет ссуду у своего банкира и отправится с полученными таким образом банкнотами в Ливерпуль и купит хлопок. Что ему действительно требуется, так это хлопок; банкноты или золото ему требуются только как средство получить хлопок. Или, напр., ему требуются средства для расплаты с рабочими; тогда он снова занимает банкноты и уплачивает ими заработную плату своим рабочим; рабочим, в свою очередь, требуется пища и квартира, и деньги являются средством для платежа за них“ [1]).

Всякий беспристрастный читатель заметит, что в положении, выставленном проф. Каценеленбаумом, и в приведенных только что рассуждениях о капитале и деньгах г-на Нормана имеется чрезвычайно много общего и в первую голову то „...открытие, что банкноты и золото являются средством что-нибудь купить, что их берут взаймы не ради их самих“ [2]).

В дальнейшем, в результате анализа роли денег в кредитных сделках, профессор в следующих словах резюмирует свой вывод: „В современном хозяйстве каждая кредитная сделка является по существу передачей чужому предприятию для временного обращения известной доли национального вещного капитала, а по форме—передачей заемщику со стороны кредитора известной суммы денег“ (цит. соч., 21 стр.).

Положение безусловно правильное, если б оно было отнесено не к „каждой кредитной сделке“, а только к тому типу их, который может быть подведен под категорию сделок бланкового кредита. Поскольку же понятием кредитные сделки охватываются также и ссуда под залог и учет—а проф. Каценеленбаум их не выделяет, следовательно, и к ним относит свой вывод—постольку это положение, как мы, надеемся, доказали выше, неправильно.

Если автор, принимая учение Маркса о кредите, принимает также его учение о капитале—что было бы вполне естественно, ибо у Маркса все части его экономической системы находятся в органической связи,—то нужно было бы доказать, где ошибка в рассуждениях Энгельса и Маркса, выделяющих ссуду под залог, как сделку,

[1]) З. С. Каценеленбаум, „Учение о деньгах и кредите“, ч. II, Ярославль 1922 г., стр. 17.

[2]) Там же, стр. 18.

[1]) К. Маркс, „Капитал“, т. III, ч. 1, стр. 403.

[2]) Там же, стр. 404.

в которой мы имеем дело с ссудой денег, а не капитала [1]). Если же у автора имеется свое понимание капитала, то нужно было бы познакомить с ним читателя, и тогда выяснилось бы, насколько оно совместимо с учением Маркса о кредите.

Отсутствие ясного определения понятия „капитал" тем более досадно, что по отдельным замечаниям, разбросанным в разных местах книги, может составиться впечатление, что автор слишком „овеществляет" капитал и в своем понимании приближается к трактовке капитала, как „товаров, употребляемых в производстве", а такая трактовка идет в разрез с марксовым учением о капитале и вряд ли совместима с его учением о кредите.

Для учебника, быть может, и достаточно тех аргументов, которые приводит автор в защиту своего взгляда, но для научного обоснования спорного положения их, разумеется, мало. Поставив себе задачу доказать, что „все эти предположения о существовании двух разновидностей явления кредита, кредита, как спроса и предложения денег, и кредита, как спроса и предложения капиталов, основаны на недоразумении", автор выполнил лишь часть задачи: он доказал, что при кредитных сделках речь идет вообще об обращении капитала, и сконструировал понятие кредита, соответствующее одной группе явлений—явлениям типа так называемого бланкового кредита. Проф. Каценеленбауму несомненно не удалось опровергнуть взгляды тех, кто различает деньги и капитал при кредитных сделках и обосновывает свою точку зрения теоретически—не так, как это сделали авторы статей вышеупомянутого сборника „Русские биржевые ценности 1914—1915 г.г."—в частности аргументацией профессора совершенно не задеты взгляды Маркса и Энгельса, а из более современных сторонников различения средств обращения и капитала—Р. Гильфердинга [2]).

Ошибка проф. Каценеленбаума состоит в том, что он конструирует общее понятие кредита, исходя—сознательно или бессознательно—из случая бланкового кредита. Под созданное таким образом понятие кредита автор механически подводит затем все сделки, фигурирующие в хозяйственном обиходе под названием кредитных. Анализа „особых форм" профессор не дает.

Если принять определение автора, по которому „кредит есть

[1]) С точки зрения кредитора всякая ссуда денег есть ссуда капитала, поскольку она всегда должна заканчиваться для него получением процента. Но точка зрения объективная, научная, опирающаяся на стоимостный анализ, совпадает с точкой зрения заемщика, различающего ссуду денег и ссуду капитала.

[2]) „Деньги всегда ссужаются под процент, следовательно для ссужающего всегда принимают характер капитала. Поэтому, наоборот, всякие ссужаемые деньги, каковы бы ни были потом их действительные функции, будут ли эти деньги исходным пунктом нового производительного капитала, или же они обслужат лишь процессы обращения уже существующего капитала,—во всех этих случаях ссужаемые деньги рассматриваются, как капитал, и спросна деньги, как платежное средство, смешивается со спросом на них, как на денежный капитал" (курсив мой. *А. М.*). (Р. Гильфердинг, „Финансовый капитал", Гос. Изд. 1922 г., стр. 80 примеч.)

такая форма междухозяйственного оборота, при которой капитал передается на время для обращения в чужое предприятие с целью извлечения дохода" и признать, что эта формула имеет силу для всех так называемых кредитных сделок, в том числе и для ссуды под залог, тогда придется также признать, что в последнем случае, как и в случае бланкового кредита, имеет место передача дополнительного капитала в предприятие заемщика. Или, переводя это на язык цифр, получим: если в предприятии было товара на 1.000 руб. и заемщик заложил его—допустим для упрощения, что ссуда равна залогу—за 1.000 руб., то теперь в предприятии вместо одной—две тысячи рублей.

Выше, при помощи абстрактного анализа, мы исследовали явления, имеющие место в данном случае, и видели, что такое утверждение несостоятельно. Но и с эмпирической точки зрения можно убедиться в неправильности его. Уже простая бухгалтерская запись, имеющая своей задачей в первую голову фотографирование процессов, происходящих в хозяйстве, констатирует разницу в природе сделок № 1 и № 2: в то время, как в первом случае она регистрирует одно движение „вещественного" характера от кредитора к заемщику и противоположное движение „невещественного" характера (обязательство) от заемщика к кредитору, во втором случае регистрируются два взаимно-противоположных движения и оба „вещественного" характера. Вполне реальная осязаемая сущность этих движений сама за себя уже кое-что говорит.

Особенно наглядной станет ошибочность утверждения, что при ссуде под залог в предприятии заемщика на-лицо два капитала—собственный, отданный в залог, и дополнительный, полученный от кредитора—если взять тот случай, когда „нормальное" течение сделки нарушается. Предположим, что заемщик не может вернуть ссуды—потому ли, что его предприятие убыточно, потому ли, что ссуда даже не „дошла" до предприятия: заемщик потерял, растратил или т. п. деньги, полученные от кредитора. Какой „капитал" выбывает в этом случае из предприятия—если решать вопрос не с формальной точки зрения, а по существу, с точки зрения экономического эффекта—1.000 или 2.000 руб.?—Вряд ли кто-либо затруднится ответить.

Не спасут положения также ссылки на то, что поскольку весь риск в отношении залога—вся прибыль и весь убыток—ложится на заемщика, следовательно, заложенный заемщиком товар, ценные бумаги и т. п. нужно считать его, заемщика, капиталом на-ряду и одновременно с той суммой, которая входит в предприятие заемщика от кредитора. Нельзя проводить аналогию между тем положением, когда товар лежит на складе у будущего заемщика, и тем, когда тот же товар функционирует в качестве залога. Капитал в товарной форме на складе у заемщика—потенциальный капитал для предприятия, поскольку в любой момент его можно реализовать, хотя бы даже и с убытком, и заставить функционировать в истинной его роли—стоимости, приносящей прибавочную стоимость. Если же допустить, что

нельзя реализовать товар, то вряд ли он в таком случае сможет быть использован в качестве залога. Ссуды под залог выдаются лишь при том условии, что залог имеет какую-либо цену: ссуда—обычно какая-то дробь залога.

Попадая к кредитору, товар-залог связывается, и условием его освобождения является возврат кредитору эквивалента; прибыль и убыток в отношении его не является результатом его функционирования в качестве капитала, как такового, в предприятии заемщика. Повышение и понижение его стоимости в связи с изменением конъюнктуры происходят как бы „сами собой". Те явления, которые имеют место при изменении стоимости залога, если не фетишизировать прибыль и убыток, лишь подтверждают справедливость положения, что в данном случае дело идет об одной стоимости—для предприятия заемщика,—но в разных формах.

В самом деле, что значит—получена прибыль на товар, находящийся у кредитора в качестве залога? Если проанализировать, что при этом происходит во взаимоотношениях заемщика и кредитора, то мы увидим, что это обозначает возможность увеличения, а обыкновенно и фактическое увеличение ссуды в соответственной пропорции. Обратно—в чем проявляется убыток на товаре, отданном в залог?—Экономический эффект убытка—требование дополнительного обеспечения, либо возврата ссуды. Наиболее осязательно обнаруживается связь между колебаниями величины обеспечения и величины ссуды в так называемых онкольных счетах.

В этом именно и заключается не формально-юридическая, а принципиальная разница—разница в экономической природе—между куплей-продажей и ссудой под залог. В первом случае происходит окончательный обмен эквивалентами; при ссуде—условный. Колебания в стоимости залога—прибыль или убыток—непосредственно отражаются на ссуде: стоимость-капитал в предприятии заемщика после ссуды, как и до ссуды, одна. Ее изменения обнаруживаются, как созвучные колебания эквивалентов.

Для уяснения природы того или иного явления следует изучать его не только в нормальных условиях, но также и в условиях нарушенного равновесия системы. Сторонники монистического взгляда на природу кредитных сделок, как сделок, при которых имеет место всегда только ссуда капитала, должны были бы взять на себя труд объяснить, в чем нуждаются фабриканты, купцы и т. д. „в известные моменты кризиса, именно при полном крушении кредита, когда становится невозможным не только продавать товары и ценные бумаги, но и учитывать векселя, и когда не остается ничего иного, как платеж наличными или, как говорят купцы, касса?" [1]). В чем нужда тогда—в вещном ли капитале, который имеется в изобилии, или в деньгах, как таковых, в их функции платежного средства?

[1]) К. Маркс, „Капитал", т. III, ч. I,, стр. 445.

Нет ничего удивительного в том, что английские банковые дельцы не слишком тонко разбирались в деталях теоретико-экономического анализа. Здоровый инстинкт практиков и здравый смысл людей дела заменяли им теоретические предпосылки в их „экономической политике"... „В глубине души у него (Нормана. *А. М.*), Оверстона и других пророков currency principle таится нечистая совесть, так как они путем искусственного законодательного вмешательства стремились сделать капитал из средства обращения как такового и повысить процент" [1]).

Тук проработал колоссальный конкретный материал для своей „Истории цен". Чутьем исследователя-эмпирика он нащупал правильное решение проблемы—различение денег и капитала, но не смог его теоретически обосновать.

Маркс и Энгельс, руководствуясь методом стоимостного рассмотрения явлений капиталистического хозяйства, дали совершенно определенное и ясное решение спорного вопроса. На тех же самых страницах, на которых Маркс развертывает свое понимание кредита, он устанавливает также различение средств обращения и капитала. Проф. Каценеленбауму, с одной стороны принимающему марксову теорию кредита, с другой стороны, выступающему сторонником „монистического" понимания денежного рынка, нужно было либо доказать ошибочность марксова решения рассматриваемой нами контроверзы, либо свое монистическое решение достаточно обосновать и связать с теорией стоимости, на которую опирается в конечном счете теория кредита. Ни того, ни другого мы в „Учении о деньгах и кредите" не находим.

А. Мендельсон.

[1]) К. Маркс, „Капитал", т. III, ч. I, стр. 405.

нельзя реализовать товар, то вряд ли он в таком случае сможет быть использован в качестве залога. Ссуды под залог выдаются лишь при том условии, что залог имеет какую-либо цену: ссуда—обычно какая-то дробь залога.

Попадая к кредитору, товар-залог связывается, и условием его освобождения является возврат кредитору эквивалента; прибыль и убыток в отношении его не является результатом его функционирования в качестве капитала, как такового, в предприятии заемщика. Повышение и понижение его стоимости в связи с изменением конъюнктуры происходят как бы „сами собой". Те явления, которые имеют место при изменении стоимости залога, если не фетишизировать прибыль и убыток, лишь подтверждают справедливость положения, что в данном случае дело идет об одной стоимости—для предприятия заемщика,—но в разных формах.

В самом деле, что значит—получена прибыль на товар, находящийся у кредитора в качестве залога? Если проанализировать, что при этом происходит во взаимоотношениях заемщика и кредитора, то мы увидим, что это обозначает возможность увеличения, а обыкновенно и фактическое увеличение ссуды в соответственной пропорции. Обратно—в чем проявляется убыток на товаре, отданном в залог?—Экономический эффект убытка—требование дополнительного обеспечения, либо возврата ссуды. Наиболее осязательно обнаруживается связь между колебаниями величины обеспечения и величины ссуды в так называемых онкольных счетах.

В этом именно и заключается не формально-юридическая, а принципиальная разница—разница в экономической природе—между куплей-продажей и ссудой под залог. В первом случае происходит окончательный обмен эквивалентами; при ссуде—условный. Колебания в стоимости залога—прибыль или убыток—непосредственно отражаются на ссуде: стоимость-капитал в предприятии заемщика после ссуды, как и до ссуды, одна. Ее изменения обнаруживаются, как созвучные колебания эквивалентов.

Для уяснения природы того или иного явления следует изучать его не только в нормальных условиях, но также и в условиях нарушенного равновесия системы. Сторонники монистического взгляда на природу кредитных сделок, как сделок, при которых имеет место всегда только ссуда капитала, должны были бы взять на себя труд объяснить, в чем нуждаются фабриканты, купцы и т. д. „в известные моменты кризиса, именно при полном крушении кредита, когда становится невозможным не только продавать товары и ценные бумаги, но и учитывать векселя, и когда не остается ничего иного, как платеж наличными или, как говорят купцы, касса?" [1]). В чем нужда тогда—в вещном ли капитале, который имеется в изобилии, или в деньгах, как таковых, в их функции платежного средства?

[1]) К. Маркс, „Капитал", т. III, ч. I,, стр. 445.

Нет ничего удивительного в том, что английские банковые дельцы не слишком тонко разбирались в деталях теоретико-экономического анализа. Здоровый инстинкт практиков и здравый смысл людей дела заменяли им теоретические предпосылки в их „экономической политике"... „В глубине души у него (Нормана. *А. М.*), Оверстона и других пророков currency principle таится нечистая совесть, так как они путем искусственного законодательного вмешательства стремились сделать капитал из средства обращения как такового и повысить процент" [1]).

Тук проработал колоссальный конкретный материал для своей „Истории цен". Чутьем исследователя-эмпирика он нащупал правильное решение проблемы—различение денег и капитала, но не смог его теоретически обосновать.

Маркс и Энгельс, руководствуясь методом стоимостного рассмотрения явлений капиталистического хозяйства, дали совершенно определенное и ясное решение спорного вопроса. На тех же самых страницах, на которых Маркс развертывает свое понимание кредита, он устанавливает также различение средств обращения и капитала. Проф. Каценеленбауму, с одной стороны принимающему марксову теорию кредита, с другой стороны, выступающему сторонником „монистического" понимания денежного рынка, нужно было либо доказать ошибочность марксова решения рассматриваемой нами контроверзы, либо свое монистическое решение достаточно обосновать и связать с теорией стоимости, на которую опирается в конечном счете теория кредита. Ни того, ни другого мы в „Учении о деньгах и кредите" не находим.

А. Мендельсон.

[1]) К. Маркс, „Капитал", т. III, ч. I, стр. 405.

ТРИБУНА.

К теории общественных классов.

(По поводу одного примечания.)

В № 7—8 нашего журнала за 1922 год мною была помещена статья „К критике теории классов у А. А. Богданова", в которой я пытался доказать, что учение этого мыслителя, в общем эклектическое, в отношении к теории классов—идеалистично по своей сущности, а потому не может быть согласовано с материалистическим учением Маркса.

В № 11—12 того же журнала, в качестве неожиданного приложения к статье И. И. Степанова „Страх смерти против исторического материализма (Ответ тов. М. Н. Покровскому)" имеется маленькое примечание (на стр. 111), направленное против этой моей статьи. В примечании указывается, что я сделался жертвой досадного недоразумения, не сумев отличить того, что в богдановских сочинениях является повторением и развитием мыслей Маркса и Энгельса. Добросовестно воображая, что веду необходимую самооборону марксизма, я на многих страницах статьи, сам не замечая того, приглашаю отбросить бесспорные идеи Маркса и Плеханова. Собственная моя теория (стр. 89—92 моей статьи) открыла бы совершенно новую эру в истории обществознания, если бы только у меня хватило времени и сил на полный пересмотр того, что сделано в этой области Марксом, Энгельсом, Плехановым и Каутским...

В качестве фактического материала против моих соображений тов. Степанов выдвигает единственную цитату из I тома „Капитала" Маркса: „Необходимость вычислять периоды разлития Нила создала египетскую астрономию, а вместе с тем господство касты жрецов, как руководителей земледелия". „Да, тов. Удальцов, в Египте каста жрецов достигла господства, как руководительница земледелия",—с торжеством подчеркивает эту мысль Маркса тов. Степанов, защищая таким образом теорию Богданова об образовании классов на основе выделения в обществе организаторских функций.

* *

Необходимо, прежде всего, установить предмет спора. В своей статье я критиковал развиваемую Богдановым теорию классообразования, доказывая, что нельзя в основу происхождения классов класть момент выделения в обществе организаторских функций. О чем же говорит приводимая т. Степановым цитата из Маркса? О том, что в Египте, в связи с особыми природными условиями этой страны, каста жрецов получила господство. Итак, дело идет не о происхождении нового класса, а о приобретении социальной группой господства в стране, вследствие той роли (руководство земледелием), которая выпала на ее долю в Египте в связи с

разливами Нила. Жречество, духовная аристократия, возникает и в странах, где нет разливов Нила, но господство этой касты, характерное для Египта, ставится Марксом в связь с местными природными особенностями этой страны.

Это во-первых. А во-вторых, я имел в виду общую теорию классообразования, а не специальный случай социального развития в Египте, стране с совершенно своеобразными природными условиями (разливы Нила). Именно это своеобразие условий и создало в Египте такую своеобразную особенность в его общественном строе, как господство касты жрецов в качестве руководителей земледелия.

Мне кажется, таким образом, что тов. Степанов, выдвигая против меня свою единственную цитату из Маркса, сам сделался жертвой довольно досадного недоразумения.

Последуем, однако, вслед за тов. Степановым и рассмотрим ближе социальный строй древнего Египта.

Египетское общество, поскольку оно нам ближе известно, представляет собою уже в архаический период своей истории общество с ясно выраженной социальной дифференциацией, с сложившейся земельной аристократией, духовной (каста жрецов) и светской, с сложным государственным аппаратом, бюрократически организованным. Как бы ни сложился этот общественный строй,—сам тов. Степанов, в составленном им совместно с А. А. Богдановым „Курсе политической экономии", в основу социального развития Египта (также Месопотамии и Китая) кладет завоевание [1]),—это далеко уже не первобытная стадия общественного развития; господство касты жрецов, о котором говорит Маркс в приводимой тов. Степановым цитате, имеет своей предпосылкой весьма сложную социальную организацию: эта каста представляет собою в Египте группу представителей крупного церковного землевладения и хозяйства.

Как же сложился хозяйственно-организаторский опыт этой касты, сделавший ее, в связи с разливами Нила, руководительницей земледелия в стране? Думается, вполне естественно предполагать, что руководство крупным церковным хозяйством и явилось той школой, в которой мог сложиться еще в период, предшествующий объединению страны, крупно-хозяйственный организаторский опыт, необходимый для руководства хозяйством всей страны после ее политического объединения. Выделение из общей массы мелких крестьянских хозяйств более крупных ставило перед руководителями последних более сложные хозяйственно-организационные задачи, особенно в связи с ежегодными разливами Нила; усложнение задач вызвало усложнение и методов их решения; более широкий хозяйственно-организационный опыт фиксировался более систематически, давая начало научному опыту (зачатки астрономии и геометрии), тесно связанному в ту эпоху с религией, с религиозным „опытом". Церковное хозяйство, наиболее рационально по тому времени организованное, служившее образцом для светского крупного хозяйства, выделяет из массы населения его „организаторов", касту жрецов, возвышает их над общей массой мелких хозяйств с их мелким организаторским опытом [2]). Крупное хозяйство и крупно-организаторский опыт—таковы

[1]) Том I, изд. 2-ое, 1918 года, стр. 47—4.

[2]) Крестьянский мелко-хозяйственный опыт не может сделаться основой ни крупного хозяйственного регулирования жизни страны (ср. спор народников с марксистами о возможности развития общественного регулирования хозяйства (социализм) на основе крестьянского хозяйства, хотя бы и общинного), ни слагающегося научного опыта; крестьянское знание природы не идет дальше наших русских народных „примет", носящих чисто случайный, эмпирический характер, далеких от какого-либо обобщающего, научного значения.

предпосылки для господства касты жрецов, владеющих зачатками научного опыта, развитие которого требуется „необходимостью вычислять периоды разлития Нила".

Факт раннего развития крупного церковного хозяйства документально устанавливается для другой страны, имеющей много общих природных свойств с Египтом (разливы мощных рек),— для древней Месопотамии. Опубликованные в 1908 году М. В. Никольским „Документы хозяйственной отчетности древнейшей эпохи Халдеи" [1]) обнаруживают такое крупное церковное хозяйство, захватываемое мало-по-малу царским двором и чиновничеством, с поразительно детально разработанной системой управления и хозяйственной отчетности, уже в архаическую, сумерийскую эпоху для одного из многих государств (Ширпурла или Лагаш), на которые распадалась в то время Месопотамия. Мы видим в этой системе управления и отчетности ту школу, которую должны были пройти будущие администраторы объединенной позднее Вавилонии.

Итак, какое же конкретное содержание вкладываем мы в общую формулу Маркса о социальном развитии Египта, цитируемую тов. Степановым?

„Необходимость вычислять периоды разлития Нила создала египетскую астрономию, и вместе с тем господство касты жрецов, как руководителей земледелия". Процесс приобретения этой кастой жрецов господства представляется нам в таком виде: еще до объединения страны, в период, характеризуемый существованием множества местных мирков, как бы самостоятельных, замкнутых обществ, раскинувшихся вдоль Нила (впоследствии „номы"),— следовательно, когда нельзя еще было говорить о руководстве земледелием всей страны, вдоль всего течения реки,— мы имеем в Египте крупное церковное землевладение и хозяйство, которое, в связи с разливами Нила, усложняет организационные задачи, создает более высокий технический опыт представителей духовенства, зачатки научного опыта (астрономия и геометрия); политическое объединение Египта, только и делающее возможным настоящее руководство земледелием страны,— регулирование разливов Нила на всем протяжении нильской долины, крупные ирригационные сооружения, — еще более выдвигает касту жрецов, как носителей наиболее организованного хозяйственного опыта [2]).

Тов. Степанов может не соглашаться с такой точкой зрения, но во всяком случае он должен согласиться, что этой точке зрения нисколько не противоречит приводимая им цитата. Нарисованная мною картина социального строя древнего Египта представляет собою пример возможной конкретизации той общей формулы, которая дана была Марксом, не имевшим в данном случае своей задачей дать конкретную картину социального развития Египта во всей ее сложности [3]).

Способ возражения, примененный тов. Степановым,—противопоставление выдвигаемой мною общей картине социального развития одной только голой цитаты из Маркса, — представляется мне, поэтому, большим упрощением вопроса; идя таким путем, вместо обращения к богатству конкретной исторической действительности мы очень скоро придем к талмудическому толкованию цитат и дедукциям из них, как методу исследования, к „чистой" схематике,— худший способ понимания марксизма. Особенность историко-материалистического учения Маркса и состоит в том, что оно выводится из конкретной действительности, ею диктуется, а не привносится откуда-то извне. И нельзя научное исследование конкретной действительности, хотя бы и в области абстрактной социологии, заменить одним анализом цитат, хотя бы и из Маркса!

Выдвигание в исследовании на первое место цитат вместо анализа действительности имеет еще и другую опасность. Стоит кому-либо изложить теорию Маркса не при помощи цитат из различных его сочинений, но путем обоснования ее на конкретном историческом материале (повторяю, только этот метод и есть метод Маркса), — как это и пытался я сделать в критикуемой тов. Степановым статье, — чтобы получился совершенно неожиданный эффект: самые подлинные положения Маркса некоторым марксистам кажутся чем-то новым, своеобразным, продуктом индивидуального „творчества" самого автора, как бы отрицающего Маркса и заменяющего марксизм своей доморощенной теорией!

* * *

Мне кажется, в своей статье, критикуемой тов. Степановым, я привел уже достаточно конкретно-исторических фактов против теории тов. Богданова, пока еще тов. Степановым не опровергнутых. Я позволю себе, поэтому, дополнить теперь свои соображения, если уж это так необходимо, также и цитатой из Маркса: „Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием,— наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист. Высшая власть в промышленности становится аттрибутом капитала подобно тому, как в феодальное время высшая власть в военном деле и суде была аттрибутом земельной собственности" [1]).

Таким образом, согласно Марксу, „организаторская" функция является следствием владения капиталом или земельной собственностью, а не наоборот. Эта организаторская функция принимает в каждой общественной формации особый, своеобразный характер, что не учитывается тов. Богдановым, который придает понятию „организаторская функция" слишком абстрактный, а потому однородный характер, стирающий своеобразие, какое придает этой функции каждая новая формация. В первобытном обществе, обществе бесклассовом и вместе с тем общественно организованном, организаторская функция (управление общественным хозяйством) может носить общественно-трудовой характер, тогда как в обществах классовых (общественно-неорганизованных) функция эта (управление частным предприятием) приобретает характер эксплоататорский.

„Функции управления, наблюдения и гармонизации делаются функциями капитала, как только подчиненный ему труд становится кооперативным. Но, как специфическая функция капитала, функция управления приобретает известные характерные особенности.

---

[1]) Древности Восточные. Труды Вост. Комиссии Моск. Арх. Общ., т. III, вып. 2, Спб. 1908.

[2]) Бо́льшая географическая защищенность страны от завоевателей, сравнительно, напр., с Месопотамией, также играет роль в развитии того господствующего положения в государстве жреческой касты, какое имело место в Египте. В Месопотамии, в которой земледелие страны также зависит от регулирования разливов мощных рек, и где астрономия также достигла высокой ступени развития,—благодаря частой смене завоевателей, намечавшееся в ранний период господство теократии скоро сменяется господством светской бюрократии.

[3]) Другой пример такой конкретизации дает сам тов. Степанов в упомянутом уже мною „Курсе полит. экономии"; ср. стр. 47—48, 191—192.

[1]) „Капитал", т. I, гл. XI (Кооперация), стр. 297—298 (изд. 1909 года, пер. Базарова и Степанова).

„Прежде всего, движущим мотивом и определяющей целью капиталистического процесса производства является возможно большее самовозрастание стоимости капитала, т.-е. возможно большее производство прибавочной стоимости и, следовательно, возможно большая эксплоатация рабочей силы капиталистом... Управление капиталиста есть не только особая функция, возникающая из самой природы общественного процесса труда [1]), и входящая в состав этого последнего, она есть в то же время функция эксплоатации этого общественного процесса труда и, как таковая, обусловлена неустранимым антагонизмом между эксплоататором и объектом его эксплоатации... Кроме того, кооперация наемных рабочих есть только результат деятельности капитала, эксплоатирующего этих рабочих одновременно...

„Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием [2]),— наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист. Высшая власть в промышленности становится аттрибутом капитала подобно тому, как в феодальное время высшая власть в военном деле и в суде была аттрибутом земельной собственности“ [3]).

Вся эта длинная выписка из I тома „Капитала“ подтверждает высказанные мною в первой моей статье соображения. Классы образуются не на основе выделения организаторских функций, противопоставляемых функциям исполнительским, но на основе монополизации различного рода средств производства, делающихся средствами эксплоатации. Каждая новая форма эксплоатации, характеризующая новый господствующий общественный класс, выдвигает и новую „организаторскую“ функцию. Так, организаторская функция капиталиста возникает вместе с превращением труда подчиненных капиталу рабочих в кооперативный труд, являющийся особым видом эксплоатации этих рабочих. Капиталист становится руководителем промышленности, как владелец капитала, эксплоатирующий лишенных средств производства рабочих. Одним словом, „организаторская“ деятельность в классовых обществах есть функция деятельности эксплоататорской, основанной на монополизации средств производства.

В чем же эти мои утверждения, лежавшие в основе всех моих главных возражений против теории классов Богданова, противоречат идеям Маркса?

Право, мне кажется, что, направив против меня свое „примечание“, тов. Степанов сам сделался жертвой досадного недоразумения.

У. Адальцов.

[1]) Поскольку подчиненный капиталу труд становится кооперативным. *А. У.*

[2]) Функции непосредственного и постоянного надзора переходят к особой категории наемных работников, „промышленным обер-офицерам и унтер офицерам“, как выражается Маркс.

[3]) „Капитал“, т. I, гл. XI (Кооперация), стр. 296—29.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

В Издании „Московского Рабочего“ вышла, чрезвычайно богатая, по количеству нового материала, книга Д. Рязанова—Очерки по истории марксизма. „Московский Рабочий“, 1923. Стр. 640.

Содержание.

I. Материалы для биографии Маркса и Энгельса.

Маркс и Энгельс в их переписке до революции 1848 года.
Юношеские годы Энгельса.
Страничка из жизни Маркса.
Маркс и „Нью-Йоркская Трибуна“.
Маркс и венская „Пресса“.
„Исповедь“ Маркса.

II. Карл Маркс и Ф. Энгельс в эпоху Первого Интернационала.

Анархистский товар под флагом марксизма (Маркс и Бакунин в шестидесятых годах).
История без ковычек (ответ Мерингу).
Маркс и Энгельс, как шовинисты (Новое открытие Ю. Гарденина).
Вальян и Маркс.

III. Из истории марксизма в России.

По поводу одной легенды (Герцен против Маркса).
Карл Маркс и русские люди сороковых годов.
Две правды.
Маркс и Р. К. П.

IV. Взгляды Маркса и Энгельса на внешнюю политику.

Англо-русские отношения в оценке Маркса.
Маркс и Энгельс о Балканском вопросе.
Маркс и Энгельс о Польском вопросе.

Собрание сочинений Г. В. Плеханова, под редакцией Д. Рязанова. Гос. Издат., Москва 1923 г.

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса выпустил из издаваемого полного собрания сочинений Г. В. Плеханова семь томов.

Предполагавшееся оглавление двадцати шести томов этого издания было приведено в № 5—6 „Под знаменем марксизма“ за 1922 г. Ниже мы помещаем перечень вышедших томов с точным указанием содержания, приводя изменения по сравнению с проспектом, помещенным в указанном номере.

Том I. Стр. 364. (Без изменений).
„ II. „ 406. Предисловие редактора.

Приветствие немецкой социал-демократии в Копенгагене.
А. П. Щапов.
Об издании „Библиотеки современного социализма".

Социализм и политическая борьба.

Наши разногласия.

Программа группы „Освобождение Труда".
Современные задачи русских рабочих.
Предисловие к брошюре „Кто чем живет?"
Предисловие к „Речи о свободе торговли".
Морозовская стачка.
Предисловие к брошюре „Чего хотят социал-демократы".
Второй проект программы русск. соц.-демократ.

Том III. Стр. 429. Добавлено:

Предисловие редактора.
Политические задачи русских социалистов.
Политическое социально-революционное обозрение.
Еще раз о принципе и тактике русских социалистов.
Предисловие к четырем речам рабочих.

Приложение.

Недоразумения между рабочими и администрацией на Новой бумагопрядильной фабрике.
Конец забастовки рабочих на Новой бумагопрядильной ф-ке.
Еще о забастовке на Новой бумагопрядильне.
Стачка рабочих на Новой бумагопрядильной ф-ке в С.-Петербурге.

Указанного ранее предисловия к брошюре „1 мая 1891 г." нет.

Том IV. Стр. 333. Добавлено:

Предисловие редактора.
Анархизм и социализм.
Сила и насилие.

Том VII. Стр. 331. Предисловие редактора.

О книге Л. И. Мечникова: „Цивилизация и великие исторические реки".
К шестидесятой годовщине смерти Гегеля.
К вопросу о развитии монистического взгляда на историю.
Предисловие к третьему изданию.
Гл. I. Французский материализм XVIII века.
„ II. Французские историки времен реставрации.
„ III. Социалисты-утописты.
„ IV. Идеалистическая немецкая философия.
„ V. Современный материализм.
Заключение.
Приложение I. Еще раз г. Михайловский, еще раз „триада".
„ II. Ответ критикам.
Приложение. Л. Мечников (некролог).

Том VIII. Стр. 411. Добавлено:

Приложение.
Фр. Энгельс „Людвиг Фейербах" в переводе Г. В. Плеханова с его предисловием и примечаниями.

Том XI. Стр. 398. Добавлено:
Предисловие редактора.
Статьи против П. Струве (I, II и III).

Н. Ленин (В. Ульянов)—Собрание сочинений. Москва. Госиздат.
Вышли из печати следующие тома:

Том II. Экономические этюды и статьи 1894—1899 гг., стр. 552 (Изд. 1923 г.).
„ III. Развитие капитализма в России, стр. 548 (Изд. 1923 г.).
„ IV. „Искра". 1900—1903 гг., стр. 364 (Изд. 1922 г.).
„ VI. Революция 1905 г., стр. 628 (Изд. 1922 г.).
„ VII. Революция 1905—1906 гг. Часть первая—От октября 1905 года до роспуска Первой Госуд. Думы, стр. 352 (Изд. 1921 г.).
„ VII. Революция 1905—1906 гг. Часть вторая—От роспуска Первой Госуд. Думы до начала избирательной кампании во Вторую Думу, стр. 304 (Изд. 1922 г.).
„ VIII. 1907 год, стр. 663 (Изд. 1923 г.).
„ X. Материализм и эмпириокритицизм, стр. 328 (Изд. 1923 г.).
„ XIV. Буржуазная революция 1917 г. Часть первая—От февральской революции до июльских дней, стр. 317 (Изд. 1921 г.).
„ XIV. Буржуазная революция 1917 г. Часть вторая—От июльских дней до Октябрьской революции, стр. 536 (Изд. 1921 г.).
„ XV. Пролетариат у власти. 1918 год, стр. 688 (Изд. 1922 г.).
„ XVI. Пролетариат у власти. 1919 год, стр. 544 (Изд. 1922 г.).
„ XVII. Пролетариат у власти. 1920 год, стр. 477 (Изд. 1923 г.).
„ XVIII. Пролетариат у власти. Часть первая—Переход к новой экономической политике. 1921 год, стр. 455 (Изд. 1923 г.).
„ XIX. Национальный вопрос (1910—1920 гг.), стр. 300 (Изд. 1921 г.).

БИБЛИОГРАФИЯ

София.—Проблемы духовной культуры и религиозной философии. Под редакцией Н. А. Бердяева, при ближайшем участии Л. П. Карсавина и С. Л. Франка. Берлин 1923 г.

Николай Бердяев. Смысл истории. Изд. „Обелиск". Берлин 1923 г.

Слишком неблагодарная и неплодотворная задача—дать читателю изложение этих книг, еще менее—критиковать их. Смешно от человека, страдающего дальтонизмом, требовать различения таких цветов, какие он смешивает по самой природе своей болезни. Так же смешно от авторов вышеупомянутых книг требовать, чтобы они просто верно излагали то, в отношении чего их умственные взоры давно уже поражены. Участники вышеупомянутых изданий страдают самым неизлечимым видом слепоты—слепоты сошедшего уже с исторической сцены класса. Поэтому наша рецензия не будет рецензией в собственном смысле этого слова, а лишь рядом замечаний по тем вопросам, которые, по нашему мнению, могут помочь уяснить читателю идеологию и цели врага.

Центральное место среди трудов рыцарей Софии, дамы достаточно почтенного возраста и достаточно истрепанной в истории философии, занимает статья Франка о „Философии и религии". С нее и начнем мы наше путешествие, которое мы могли бы сравнить со странствованиями по пустыне, если бы нам в дороге не встречалось такое обилие священной воды.

Разбираемую проблему Франк прежде всего объявляет коренной проблемой человеческого бытия, вопросом жизни или смерти, „вечным вопросом" человеческого духа. На это мы можем только заметить, что выдавать *свое* дело за дело *всего* человечества, *свой* распад за его распад, *свои* желания за его желания не представляет чего-нибудь нового в истории, а что же касается желания Франка погрузиться в лоно вечного, то подлинно вечное творят лишь те, кто разрешает задачи времени. И менее всего можно достичь их решения с „последней ясностью" и „проникновением в глубину", которыми клянется Франк, витая в темных пространствах веры среди призраков религии.

Как же решается Франком „вечный вопрос" и философии, и религии? Весьма определенно, но... не ново. „Философия по существу, по целостной и универсальной своей задаче, есть не логика, не теория познания, не постижение мира, а *богопознание*... *Единственный предмет философии есть бог*" („София", 7). Этой точке зрения нельзя отказать в „последней ясности", но она была ясна еще 1000 лет тому назад.

„Философия и религия имеют не только один и тот же предмет. Методы постижения его также родственны. Философское творчество предполагает религиозную строенность и религиозную устремленность духа; в основе всякого философского знания лежит религиозная интуиция" („София", 9). Философия таким образом должна потерять значение систематического знания, науки, путь к которой одинаково доступен для всех смертных. Она получает специальное задание—обосновать интуицию *избранных*. Так совершается первый шаг по пути обоснования „философии неравенства", которую в ближайшем будущем обещает смиренный Николай Бердяев. Ибо не всякому ведь дано испытывать „непосредственное *общение* с божеством, живое *прикосновение* к божественному", которое, по Франку, составляет последнее основание религиозной веры (там же, 9). Кто может положиться на

достоверность таких прикосновений, столь летучих и столь неосязаемых? Это может сделать лишь *посвященный*. Смысл всей философии заключается в выделении посвященных.

Предмет философии есть бог. Но философия как логическое знание по самой своей природе не может постичь живого бога веры, как говорит Франк. Философия, следуя ему, ставит своей целью „познавательное раскрытие объекта интуиции". Но как познавать то, что не познаваемо? Никакие поиски интуитивных корней логического за пределами логического—ничего не дают. Между тем и другим остается пропасть. Выход из противоречия есть лишь „умудренное неведение", docta ignorantia, Николая Кузанского. В меру своих сил философия должна служить религии. Но когда она доходит до последних оснований, она должна сознаться в своей некомпетентности.

Выяснив это, мы можем оценить статью Франка. Вся новая философия развивалась, прямо или косвенно, под флагом борьбы с религией. После Канта уже стало ясно, что она не годится для обоснования теологии. Но для реакции нет большей силы, чем религия, вернейшее средство на протяжении веков для господства над массами. Религия *должна быть* обоснована. Логика не совместима с догматами церкви. В основе самих логических категорий должно быть найдено сверхчеловеческое. Философия способствует не укреплению, а разрушению религии, воспитывая дух критики и приводя к материализму,—она должна тогда проповедывать неведение. Это „неведение" не есть просто неведение, а *умудренное революцией неведение*.

К тому же ведет „Путь православия" Карсавина. Он дальше раскрывает смысл этой философии. Революционная буржуазия требовала некогда отделения церкви от государства. Умудренная опытом революции, отдаленная от производства, а потому и самая реакционная часть класса—верхи буржуазной философии и публицистики, еще связанные в российских условиях с помещиком и не все освободившиеся из крепостнической идеологии, ныне уже против всякой „секуляризации" и всякого „отделения". „Государство—часть церкви, церковь в направленности ее на политический лад",—поучает некогда историк, а ныне богослов Карсавин. Церковь не должна была быть равнодушной даже в февральскую революцию. „Церковь должна была указать, что невозможно русское неправославное государство и что нелепо государство православное с президентом, парламентаризмом и четырьмя хвостами, более приличествующими врагам божьим (!), что, наконец, немыслимо отделение церкви от государства. И в сознании всего этого - глубокая правда монархических течений в среде самой церкви: вожделений о царе и призывов к царству" („София", 59—60). Но Карсавин понимает немыслимость браться сейчас за меч во имя церкви и до поры до времени намекает на необходимость подумать о единении всех черных сил. Знаменательно здесь, что церковь ставится как бы даже выше государства. Но разгадка этого в том, что церковь оказалась *наиболее устойчивой* частью аппарата угнетения умирающих ныне классов. Под сенью ее и естественнее всего сейчас собирание их сил. Усиливающаяся религиозность есть первый признак ослабления класса.

Жалкое впечатление оставляет нелепая статья Н. Лосского о „Коммунизме и философском мировоззрении". Этот господин обижен тем, что его выслали из России, хотя он не выступал нигде против коммунизма, и что его удалили в 1921 г. из университета за защиту догмата троичности. Этот ребенок почтенного возраста не понимает, в чем вред троичности. Но нам кажется, что Лосского следовало удалить из университета не только за догмат троичности, но и за его *невежество*. Странно сказать, но патентованные профессора философии, излагая материализм, кажутся либо заведомыми обманщиками и шарлатанами, либо невеждами. Франк в одном месте

пишет, что материализм „слепо отрицает всю сферу духовных явлений"; нужно ли напоминать читателю, что материализм объясняет их в полном согласии с выводами современной науки как результат деятельности материи. Лосский, как меткую характеристику материализма, приводит следующее замечание, принадлежащее якобы некоему „рабочему" (мы думаем, что этот „рабочий" был таким же рабочим, каким г. Лосский является коммунистом): „Они сначала сделают, а потом подумают; а следовало бы сначала думать, а потом делать". Для хоть что-нибудь понимающего в материализме человека „характеристика" говорит сама за себя и... за знания в этой области профессора философии г. Лосского.

Так Лосский, видите ли, тоже „во имя господа бога" коммунист. Он полагает даже, что именно материализм, который ведет к эгоизму и погоне за личным земным благополучием, несогласуем с коммунизмом, и наилучшей коммунистической философией является его, г. Лосского, виталистический идеал-реализм. Остается только признать ошибкой истории, что на деле коммунизм сочетается с таким ему несвойственным и так мало известным профессорам философии мировоззрением. Лосский даже находит общую черту в своем учении с Богдановым, с чем последнего мы и поздравляем.

Комический инцидент с коммунизмом г. Лосского кончается, однако, тем, что он признает (наконец-то!), что хотя коммунизм и совершенная форма общества и даже будет осуществлен в царстве божьем, в царстве святых, где личной собственностью не будет даже тело индивидуума, но здесь, на земле, он неосуществим, и более пригоден капитализм (стр. 91). Так и напишем. Проф. Лосский признал превосходство капитализма... и вернулся на стезю праведных. История может развиваться дальше.

Но тут, на ее пути, супротив нее выходит новый воин во всеоружии Апокалипсиса. Это—Николай Бердяев. Он должен разгадать нам „Смысл истории".

Восходящий класс не нуждается в том, чтобы искать в историческом процессе какие бы то ни было сверхъестественные силы, его направляющие. Он достаточно убежден в разрешимости для себя своих субъективных целей, чтобы искать в истории кем-то вложенных, неведомо как, целей объективных. Наоборот, пред умирающим классом неотвратимый ход исторического развития, обрекающий его на смерть, выступает как судьба, как тайна. Философия истории, по Бердяеву, занимается судьбами человека. Сам Бердяев признает связь этой постановки вопроса с эпохой. „Я думаю, что не может быть особенных споров о том, что не только Россия, но и вся Европа, и весь мир вступают в катастрофический период своего развития. Началась какая-то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития существенно меняется" („Смысл истории", 8).

Предмет философии истории выше мы уже определили. Как же постигается он? В сфере положительного знания Бердяеву делать нечего. Оно не признает принципиально „тайн". Тайны можно только разгадывать. Для божественных же тайн и подавно нужен особый талант. И вот Бердяев рисует три стадии отношения человека к истории: органическую, стадию „историзма" и стадию постижения „исторического", прямо противоположную предшествующей. В „историзме" человек хочет освободиться от тайн. „Историзм" есть идеология эпохи просвещения. Его завершение есть исторический материализм. Он один окончательно разрушает историческое предание. Исторический процесс в нем одном окончательно лишается души внутренней таинственной жизни. „Историзму", механически разлагающему историю и необходимые причинные связи, Бердяев противоставляет органическое и интуитивное познание ее тайн. „Разум должен быть приобщен и к первобытной мудрости человека, к тем правоощущениям бытия, правоощущениям жизни, которые зарождаются на заре человеческой истории и даже на заре доисторической жизни, в том атомистическом понимании мира, которое свойственно всем народам на самой первоначальной стадии" (14). Историческому изучению Бердяев противоставляет историческое предание как некоторое a priori, абсолютную категорию исторического мышления. А писание, как известно, есть лишь часть предания. Предание же покоится на памяти. Воспоминание есть универсальный исторический метод. Таково открытие г. Бердяева. Такой памятью, которая охватила бы всю историю, может обладать лишь стоящий уже одной ногой в могиле класс. Старцы лишь, а не люди дела, имеют воспоминания. Их вера в судьбу есть жалоба судьбе, ничего не сулящей уже им впереди. В связи с этим у старца иное отношение и к прошлому, и к будущему. Прошлое более реально, чем будущее (234). „Философию не может занимать настоящее. Философия истории есть не философия эмпирической действительности, а философия миров загробных" (27).

В субъективной памяти поколений людей прошлое всегда подергивается туманом. История есть миф, возглашает Бердяев. Французская революция, напр., есть миф, раскрытый Тэном. Однако, к сожалению, г. Бердяев, мы все знаем, что история Тэна есть миф, раскрытый Оларом.

Но если в основе исторического процесса лежит какая-то тайна,—он не довлеет себе. Он—производен. Земной истории предшествует, по Бердяеву, история небесная. Мы опускаем все рассуждения Бердяева („Возвышенность" предмета в них прямо пропорциональна навеваемой на читателя скуке) о всем совершающемся в божественном лоне, и лишь спросим, как проверить истину Бердяевских откровений? И нет ничего нелепее для такого искушенного мужа, как Бердяев, земную трагедию класса облекать в небесные ризы. И перенесенная на небо смерть есть смерть. Ибо поистине в наши дни закатом класса г. Бердяева завершается и по отношению к небу последний акт трагедии—гибель божественного.

Во времени Бердяеву нечего ждать. В противовес времени в таком случае ему остается выдвинуть лишь тяжелую артиллерию вечного. Однако и эти грозные пушки быстро оказываются сделанными из весьма ветхого картона. Вечное становится реальностью лишь для того, для кого скоро нереальным станет время. Класс г. Бердяева переступает его порог.

Но Бердяеву мало общих соображений о судьбе и вечности. Его еще смущают демоны этого мира. И он углубляется в его историю. Оригинальное открытие здесь г. Бердяева заключается в том, что в основе социализма лежит еврейство. Конечно, г. Бердяев сам против погромов, он выполняет более подлую роль—их идеолога. Задача эпохи, по Бердяеву, есть борьба христианства и еврейства. Что значит эта постановка вопроса? Идея пролетариата есть мессианская идея. Маркс—еврей. Евреи ждали земного мессию. Социализм хочет осуществить земной рай. Евреи — старые бунтовщики. Они же легче всего становятся революционерами и социалистами. От них — все качества... Поздно, поздно познал все это г. Бердяев! 15 лет тому назад он нашел бы себе более подходящую работу, чем чтение лекций и писание книг.

Лучшей исторической эпохой—было средневековье. В средние века, по Бердяеву, были накоплены творческие силы, разрушенные новым временем. Это дело их аскетизма, легенду о котором, кстати, давно пора отбросить. Средневековье подготовило науку (!). До него человек чувствовал себя в лапах демонов природы. Оно освободило (!) его от них. И в наши дни спасение—в возвращении к средневековью. В статье о „конце Ренессанса" („К современному кризису культуры") Бердяев писал: „Без страха и уныния должны мы вступить из дня новой истории в ночь средневековья. Пусть померкнет ложный и обманчивый свет" („София", 45). Ночь есть лучшее время для дельцов определенной марки.

Кризис нашей культуры есть кризис гуманизма. „Гуманизм, по своему

смыслу и уже по самому своему наименованию, означает вознесение человека, постановку человека в центре, восстание человека, его утверждение и раскрытие" („Смысл истории", 166). Но это и есть отпадение человека от бога, т.-е., по Бердяеву, источник всех бед и напастей. В этом Бердяевская диалектика истории. И поэтому задача заключается в преодолении гуманизма.

„Гуманистической Европе наступает конец, начинается возврат к средневековью" (212). Разложение гуманизма одинаково свидетельствуют Ницше, Маркс, Р. Штейнер, Пикассо и А. Белый („какая смесь одежд и лиц, времен, наречий, состояний"...). Ницше человека отрицает в сверхчеловеке, Маркс—в коллективе. „У Маркса вырисовываются неясные, но страшные черты нечеловеческого (а какого?) коллектива, во имя которого отрешается человек. Человек признается средством и орудием для появления нечеловеческого коллектива, в котором должен погибнуть лик человеческий" (189—190). Поистине чудище „обло, озорно и лаяй". Можно ли придумать худший пасквиль на марксизм?

Марксизм есть не только наследник, но и завершитель гуманизма. Он один не только не отрицает человеческой личности, но, примиряя ее с коллективом, указывает на то, какие условия в этом коллективе и в единстве с ним могут обеспечить ей полное развитие. Но что до этого Бердяеву?

Он тоже против голого индивидуализма. Он — за корпоративизм... средневековья (198). Так завершается путь Бердяева к крепостничеству. „Это есть,—говорит он сам,—как бы возвращение к цеховому средневековому строю" (198). Конечно,—„на новых основаниях" после опыта революции.

И социализм тогда, конечно, есть явление, вытекающее на почве недостатка и скудости (202), анархизм—на почве злобной ненависти и мстительности (205). Поистине своя природа чудится Бердяеву во всем его окружающем.

В прогрессе человечества бывают убеждены лишь восходящие классы. Им он несет лучшее. Нисходящие не ждут будущего: они ждут конца. Бердяев живет предчувствием этого конца. Но этот конец есть не конец истории, а приближение конца для той идеологии, во имя которой выступает Бердяев.

И напрасно повторяет Бердяев старую сказку о безнравственности теории прогресса, на костях сотен поколений строящей царство будущего. Это значит подменивать прогресс тем же концом. Ибо смысл жизни для того, кто борется за прогресс, есть не конечная какая-то цель, а сам прогресс, труд и становление.

По Бердяеву „утопия земного рая" неосуществима потому, что нельзя в относительных условиях земного существования осуществить абсолютное. Но коммунисты создают не бесплотный рай, а борющееся с природой трудовое общество. Абсолютное для них не противоположно относительному, а живет в нем. Единственное абсолютное есть движение вперед. Задача истории разрешается в ее пределах задавшим задачу человечеством.

Бердяеву нечего ставить своему классу задачи. Они не могут быть им разрешены. Бердяеву лишь остается строить философию неудач. История человечества не удалась, она — сплошная неудача (237—239). Таков грустный итог его размышлений. Остается ждать конца, покоряясь судьбе.

На этом мы можем и кончить нашу растянувшуюся заметку, расстаться с „философией миров загробных". Живым опасно долгое общение с мертвыми.

Н. К.

„Анналы"—журнал всеобщей истории, изд. Российской Академии Наук, т.т. I—II—III, 1922—1923 г., стр. 260+327+304.

В одной из последних книжек журнала „Современные Записки", изд. в Париже правыми с.-р., находящийся в „научной командировке" проф. Кизеветтер дал обзор исторической литературы России за годы революции. Он утверждает, что русские историки не перестали заниматься своей исследовательской работой, но в условиях „большевистской России" они не могут публиковать своих трудов, не могут свободно высказаться. Лживость этого утверждения доказывают три №№ журнала „Анналы". Журнал дает нам представление о положении академической науки (истории) в России, о ее достижениях и возможностях, правда, исключительно в области западно-европейской истории. Вопросов русской истории журнал касается лишь в связи с прошлым Запада.

„Анналы" выходят под редакцией академика Ф. И. Успенского и корреспондента академии наук Е. В. Тарле. Журнал объединил вокруг себя почти целиком все значительные силы буржуазной исторической науки России. Кроме Е. Тарле, статьи которого занимают видное место в журнале, там работают Н. Кареев, В. Бузескул, Ф. Ф. Зелинский, Н. Гревс, Л. Савин, (покойный) С. Жебелев, С. Ольденбург и др. Уже одно то, что журнал сгруппировал вокруг себя столь значительные силы, должно привлечь к нему внимание марксистов России.

Как повлияла война и революция на историков, внесла ли она изменения в их методологию исследования, повлияла ли она на направление их научных интересов?

„Анналы" выходят в стране, где нет „свободы печати", но это не мешает его сотрудникам защищать в научной области далеко не марксистские и весьма не революционные взгляды.

В первой книге журнала в статье „От редакции" мы читаем: „Широкая терпимость ко всем взглядам и точкам зрения, представленным в науке,—обязательна для редакции". Следует, однако, внести небольшое ограничение в столь категоричное утверждение: марксисты-историки в журнале не представлены. Вряд ли, конечно, потому, что марксизм не является течением в науке и не потому также, что в России нет марксистов-историков. Мы констатируем в данном случае факт, не вдаваясь в его оценку и выяснение причин.

Цели журнала редакция формулировала точно: журнал должен стать органом обмена мнений и научных сообщений, обслуживающим русских специалистов; он должен дать возможно более полную регистрацию научной исторической литературы Запада и „в частности будет принята во внимание мало у нас пока известная, колоссальная и с каждым месяцем быстро растущая литература по истории великой войны и революционных переворотов, за нею последовавших в разных странах Европы". „Анналы" предполагают заняться изучением ряда важных технических и методологических вопросов исторической науки. Наконец, программа журнала предусматривает освещение вопросов экономической истории. „У нас,—читаем мы в статье „От редакции", („Ан." № 1) в настоящее время нет (да и прежде не было) ни одного органа, посвященного экономической истории... За отсутствием его „Анналы" будут пристально следить за успехами этой важной отрасли исторического знания". Столь широкая программа журнала должна усилить наш интерес к единственному органу исторической науки в России. В какой мере 3 книги журнала выполнили задание программы? И прежде всего о методологии истории в трактовке „Анналов". Первая книга журнала открывается статьей Е. Тарле: „Очередные задачи", в которой автор рассматривает вопросы методологии истории. „От схемы через теорию—к общему историко-философскому построению,—пишет он:—вот прямой путь исторического мышления, вот обобщающая работа, начинающаяся после собирания, установле-

ния и проверки фактического материала". Все указанные моменты имеют решающее значение для исторического исследования. История—наука о конкретных фактах, о законах, движущих их изменением; она имеет в виду факты социального значения и рассматривает их в развитии. Момент развития, как и социальная сущность „факта"—вот что делает историю наукой о законах состояния и борьбы классов. Еще до недалекого прошлого историческая наука занималась собиранием фактов. „Установление факта и выяснение его причин"—эта первая задача историка сделалась единственной задачей исторического исследования. Указанное направление в методологии истории последних десятилетий объясняется, по мнению Тарле, „неслыханным обогащением науки материалами совсем особого характера, фактами экономической истории." Но этот материал повелительно требует для объяснения предварительной систематизации и упорядочения. И в увлечении собиранием фактов историческая наука игнорировала схемы, частные теории и общие историко-философские построения. Накопление материала не только делало пока невозможным обобщения, оно шло на пользу критике: „критика делалась все бдительнее и проницательнее; потоки новых и новых фактов в подавляющем большинстве случаев шли на пользу не творцам систем, но критикам." Таким образом в самом конце XIX ст. и в первые годы XX в. не только не были построены новые исторические теории, обобщающие фактический материал, но и рушились старые, десятилетиями установившиеся схемы. Этот кризис исторического знания наметился еще до войны. В 1913 г. на апрельском всемирном конгрессе историков в Лондоне можно было заметить: „растерянность перед лавиной нового материала; сознание, что многие удобные, имевшие часто большое методологическое, служебное значение схемы и теории разбиты этою лавиной в куски и унесены прочь и, главное, стремление к новым конструкциям..." Лондонский конгресс историков подчеркнул: „что без конструкции—нет науки, а есть лишь складочное место материалов." Война 1914—1918 г.г. углубила этот кризис исторического знания. Она обнаружила, по словам Е. Тарле: „что мы не понимали очень многого, нереально смотрели на многое и принимали фантомы за действительность." Революционная буря послевоенной эпохи действовала в тот же направлении. Последнее десятилетие подчеркнуло правильность мысли О. Конта о значении революционных кризисов для методологии. „Рвется старая ткань, обнажаются концы и начала, выступает стихия"... Историк в эпоху переворотов учится понимать значение законов исторического развития, роль масс, все те истинно движущие силы исторического процесса, которые в „мирные эпохи" покрыты скорлупой государства, культуры, кажущиеся вечными ценностями. „Насколько прост и поверхностен, в качестве историка, блестящий Вольтер,—пишет Е. Тарле,—сравнительно с самым скромным и маленьким историческим писателем, пережившим революцию." Таким образом намечавшийся еще до войны и революции кризис истории направляет методологию в сторону углубления синтетической мысли и усиливает интерес к социально-экономической истории. „Синтезирующие способности ума являлись бы драгоценнейшими качествами историка",—замечает Е. Тарле.

Невольно хочешь сравнить взгляды Е. Тарле с „ревизией" методологии истории у Р. Виппера. Последний в своей книге „Круговорот истории", вычеркивает все, что создано научной мыслью XIX ст., зовет назад от индустриализма. Для него война, революция послужили стимулом для отказа от социальной истории. Не массы, а личности, не интересы, а идеи, не состояние классов, а факты внешней истории народов—вот что должно интересовать нас, утверждает Р. Виппер. И это все под влиянием социальных сдвигов и колоссальной борьбы масс в наши дни! Е. Тарле не пошел по этому пути. Он, собиратель фактов экономической истории по преимуществу, зовет теперь нас к социологическим обобщениям на основе внимательного изучения фактов социально-экономической истории. Все это бесспорно отрадное явление. Но ошибся бы тот, кто предполагал бы увидеть здесь движение по пути к единственно научной методологии истории, к марксизму. Е. Тарле объявляет войну „псевдоистории", т.-е. такой истории, которая излагает „как бы в аллегорической или криптографической форме другую историю, историю своего собственного времени или той ближайшей к нему эпохи, которая идейно еще является для него современностью". Но борьба с „модернизацией" в историческом исследовании для него связана с борьбой против всякой „задней мысли". „Посторонний психологический ингредиент—вот самый страшный враг исторического изучения, исследовательского наблюдения",—замечает Е. Тарле. Но что следует понимать под понятием „посторонний психологический ингредиент"? Тенденциозность не только в смысле заранее установленного результата исследования, к которому произвольно подбирают факты, но и непосредственную связь исследования с современностью. Е. Тарле зовет к „объективизму" и под ним понимает часто отделение историка китайской стеной от современных событий.

Мы так долго останавливались на разборе статьи Е. Тарле, чтобы дать представление об общем направлении журнала. Здесь нет марксистской ясности, однако видно некоторое движение вперед. Но в какой мере статья Е. Тарле credo всех сотрудников журнала? В вопросах методологии истории в „Анналах" амплитуда колебаний довольно широка. На-ряду с Е. Тарле, Р. Зелинский предполагает, что „не может эстетика господствовать над политикой, как и наоборот, но безусловно над обеими господствует этика", С. Жебелев в статье: „Чем дорога нам древняя Греция" занимается исследованием того, почему Греция „не важна, а дорога" современному читателю, и отвечает на свой вопрос так: „Мой ответ—независимо от того, правилен он или неправилен,—будет признан только теми, кто склонен мыслить себя самого, как и каждого из остальных людей, индивидуально. Кто отрицает человеческую индивидуальность, как таковую, того мой ответ не только не удовлетворит, но, пожалуй, раздражит"... И этот индивидуальный, не общеобязательный ответ С. Жебелева гласит: „Греция дорога нам тем, что она первая провозгласила веру в человека в его настоящем, вселила в человека надежду на его будущее, привила к человеку любовь к его прошлому"...

Н. Кареев в рецензии на книгу Н. Васильева „О падении законов Римской империи и античной культуры", где автор обсуждает судьбы античного мира с точки зрения „вырождения человечества", имея исходным пунктом положение, что самое происхождение человека „вырождение, появление уродов среди обезьян", остается „объективным" и заявляет: „Н. А. Васильев в своей книге является человеком широко образованным и ученым. Со многим в его взглядах согласиться не приходится, хотя многое, с другой стороны, и верно". Терпимость Н. Кареева характерна для журнала, который под флагом научной объективности скрывает часто симпатии к весьма ретроградным взглядам или граничит с каким-то безразличием в вопросах теории. Приведем еще один пример. В. Бенешевич дает отзыв на книгу С. Лурье: „Антисемитизм в древнем мире". Автор „примыкает к той группе ученых, которые, исходя хотя бы из одного того, что везде, где только ни появляются евреи, вспыхивает и антисемитизм, делает вывод, что антисемитизм возник не вследствие каких-либо временных или случайных причин, а вследствие тех или иных свойств, постоянно сопутствующих еврейскому народу". Рецензент весьма одобрительно отзывается о книге. Он высказывает симпатии автору и заявляет: „Не кроется ли причина антисемитизма также и в том, что евреи принимают живейшее участие в жизни новой родины, и поэтому они становятся мишенью для нападения политических противников". Мы цитируем все это для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что „Анналы", благодаря своей „терпимости", являются не только органом нового в исторической методологии, но и весьма сомнительных и достаточно ретроградных взглядов.

Материал журнала распадается на три части: самостоятельные исследо-

вания по отдельным вопросам всеобщей истории: сообщения и критический разбор научных достижений в области истории и, наконец, статьи и отзывы по вопросам войны и колоссальной, ей посвященной, литературе. Последняя часть начинает в конце концов занимать преобладающее место в журнале. В № 3 журнала вопросам, связанным с исследованием истории войны 1914—1918 г.г., отведено почти $^2/_3$ книги. Широко освещена богатая мемуарная литература. Но в каком духе идет исследование материала? Вне всякой связи с революционным движением европейских стран и, что еще существеннее, вне всякой связи с той конкретной социально-экономической средой, которая эту войну породила. К сожалению, мы не можем здесь останавливаться на разборе этой богатой библиографической части журнала. Но приведем один, два примера. И. Попов дает отзыв о книге Э. Бернштейна: „Германская революция" и свой восторженный отзыв он кончает так: „ей, этой новорожденной демократии, в первых же шагах пришлось отстаивать свое право на существование в холодной атмосфере Европы, среди враждебных стихий революционных страстей"... Но чаще в журнале проскальзывает игнорирование современного рев. движения в Европе: оно как бы не существует для историков... Чтобы уяснить себе размеры и характер этого безразличия к судьбам революции, следует остановиться на разборе двух статей Е. Тарле, которые и по своему научному значению и по их актуальности имеют большую ценность. Первая статья: „Три катастрофы. Вестфальский мир, Тильзитский мир, Версальский мир" („Анналы" № 2), а вторая—„Англия и Турция. Исторические корни и развитие конфликта" („Анналы" № 3). В первой статье Е. Тарле дает интересный очерк судеб Германии в моменты смертельной опасности для нее на протяжении последних трех столетий: эпоха после тридцатилетней войны (Вестфальский мир 1648 г.), Тильзитский мир 1807 г. и Версальский мир после войны 1914—1918 г.г. „Из трех катастроф, пережитых Германией за всю ее историю, Версальский мир представляется самою глубокою и мрачною,—читаем мы у Тарле—.Историческая обстановка, в которой осуществляется Версальский мир, тяжелее и безнадежнее для Германии, чем историческая обстановка, бывшая после Вестфальского и Тильзитского мира"... Версальский мир подорвал окончательно существование Германии, как самостоятельной державы. Если в XVII ст. Германия была страной земледельческой и могла поэтому приспособиться к своей экономической изоляции, уйти во-внутрь; если после 1813 г. капитализм развился лишь в некоторых частях Германии, а в общем и целом страна осталась еще аграрной и, как таковая, могла легко перенести разрыв международных хозяйственных связей, то в 1917 г. Германия, как страна индустриальная, не может больше существовать при разрыве международных хозяйственных связей; она неминуемо погибнет. В 1648 г. и в 1807 г. Германии, потерпевшей поражение в войне, пришлось испытать тяжелую руку победителей, но только Версальский мир подорвал существование страны на много десятилетий. Нет надежды на ликвидацию „подлого мира" ни силами Германии, ни содействием Англии и Америки. Только новая мировая война, война между Англией и Францией или революция во Франции спасет Германию. Но последняя возможность, по мнению Тарле,—теоретическое предположение. Участь Германии предрешена уже территориальным положением страны между врагами, сдавленной ими со всех сторон. Е. Тарле путем исторических аналогий устанавливает какую-то провиденциальность в судьбе Германии и совсем нам не объясняет зависимость между безвыходностью ее положения и кризисом капиталистического общества. И в самом деле. Мир 1919 г. не дает Германии выхода в отличие от трактатов 1648 и 1807 г.г. Почему? Здесь дело не в фатуме или сверх-жестокости Антанты, а в безысходности положения и победителей, и побежденных. И те, и другие в тупике, существование одних предполагает гибель других только потому, что капиталистическая система не может больше существовать без уничтожения отдельных народов, так же, как она предполагает страдания

рабочих во славу капиталистов внутри страны. Во второй статье: „Англия и Турция" Тарле ярко рисует сущность Севрского договора, как и всей системы „Версальского мира". Он объясняет нам, почему традиционная цель политики Англии, требование сохранения Турции, вытекала из потребности для Англии не дать России усилиться за счет „больного," и как эта цель сменилась во время войны стремлением к уничтожению Турции. Россия перестала быть угрозой после войны 1914—1918 г.г, и теперь надо спешить с разделом Турции... Но Кемаль-Паша пытается восстановить самостоятельную Турцию,—надо успеть урвать побольше... Е. Тарле ярко и остроумно рисует столкновения в турецком вопросе между Францией и Англией, взаимозависимость между участью Турции и Рура, но и здесь отсутствие революционных перспектив, нежелание понять основную причину столь острых конфликтов нашей эпохи сводит его анализ к историческим аналогиям публициста.

Значительную часть трех книжек журнала занимают статьи, информирующие читателей о послевоенных достижениях исторической науки или сводки работ по определенному вопросу. Самостоятельные исследования занимают, к сожалению, очень скромное место в журнале. Статьи Бутенко, Платонова, Корнилова не лишены, правда, интереса, но мы, к сожалению, лишены возможности останавливаться здесь на их подробном разборе.

„Анналы",—единственный серьезный исторический журнал в России, при всех отмеченных выше особенностях его. И, как ни восторгается Добиаш-Рождественская в своей статье „Впечатления академического Парижа" непобедимой традиционностью среднего, как ни отдыхает ее душа „от чувства качки, которая ныне владеет миром" в своеобразной атмосфере иногда точно остановившегося, но здорового и честного быта Парижа", и она вынуждена признать, что в исторической дисциплине, как и вообще в науке, во Франции застой.

Кое-кто из ученых России начинает шевелиться, но в целом и у нас „академический мир" остается таким же консервативным, каким был. „Время для жатвы давно наступило,—читаем мы в статье Е. Тарле „Очередные задачи",—может быть, не далеко уже и жнецы. Они идут и выведут историю из ее кризиса, вооруженные марксизмом. „Анналы," серьезный журнал исторической науки, нас в этом лишний раз убеждают.

Ц. Фридлянд.

Н. Ленин и Г. Плеханов. Против А. Богданова. Изд. „Красная Новь". М. 1923, стр. 168.

Г. В. Плеханов против Богданова. Украйна.

Материализм становится в порядок дня. Еще вчера наша молодежь за политическими треволнениями физически не имела времени заниматься теоретическими вопросами; поле философии находилось в безраздельном владении идеалистов и буржуазных упадочников.

И этот буржуазно-упадочный характер, господствовавший в философии за первые годы революции, обнаруживался не только в том, что университеты были в руках таких матерых мракобесов и религиозных кликуш, как Степпун, Карсавин, Франк, Бердяев и иже с ними, но и в том поразительном на первый взгляд явлении, что целый ряд людей, субъективно очень расположенных к рабочему классу, развивали теории, вся объективная значимость которых и была в их стремлении разрушить основы мировоззрения пролетариата—материализм.

Я этим не имею в виду Богданова—он давно является оппортунистом теоретически и ренегатом политически, его роль в рабочем движении давно сыграна и лично он никакого отношения к рабочему классу не имеет. Я имею в виду то относительно большое количество молодых энтузиастов, ко-

торые группировались вокруг пролетариата, которые—что грех таить, по нашей преступной беспечности и беззаботности,—будучи прекрасными коммунистами, развивали и проповедывали реакционную точку зрения и взгляды Богданова. Я имею в виду тех товарищей, которые, подобно тов. Минину, не ведая что творят, своим не продуманным до дна нигилизмом расстраивали наши ряды.

Я имею в виду... да мало ли кого можно было бы иметь в виду, говоря это, грешников по части теории у нас достаточно, с излишком.

Если до сих пор такому положению дел можно было найти достаточно оснований и причин (одно „не до этого!"—что стоит), то теперь уже причин тому нет никаких, даже то чрезвычайно шаткое основание, что „есть дела поважнее" (как будто вопрос о судьбах мировоззрения не важное дело!), теперь выбито из-под ног флегматичных и ленивых, насчет умственной работы, товарищей; мы имели достаточно случаев убедиться как вредно такое пренебрежение к теории отзывается на практике классовой борьбы.

Молодежь теперь массами тянется к учебе; университеты, рабфаки, курсы, совпартшколы — огромная масса жаждущей знаний молодежи, она оформливает мировоззрение, ей надо всемерно помочь.

Она сама инстинктивно тянется к материализму. Быстрый успех целого ряда изданий материалистических книг и руководств—тому прекрасный пример.

Но пора уже теперь перестать подносить ей популярщину, страдающую чрезмерным схематизмом и дубоватой неповоротливостью формулировок и изложений.

Пора уже дать рабочей молодежи классические труды материализма.

„Помилуйте! — вопит благочестивый педагог, в сморщенный мозг которого не укладывается ничто новое, — ведь все классические марксистские труды „полемические!"

И слава аллаху!

Лучше всего усваивается и больше всего удовольствия получает пролетарский читатель от полемических трудов.

Уже на что жестокая полемика—„Ответ Плеханова Богданову"?—кажется дальше итти некуда, или Ленина „Эмпириомонизм"—иной благочестивый педагог в обморок может упасть от тех резкостей, которые Ленин наговаривает всей этой братии. А отчего? Оттого, что педагог не может понять психологию борьбы, борющегося.

А рабочая молодежь, ведь, упивается, читая эти полемические памятники, чувствуя все внутреннее родство свое с этими страстными борцами.

Необходимо только, чтобы издатели тоже заботились немного об интересах читателей.

Всего больше затруднений чувствует учащийся при чтении, ибо ему не известна бывает очень часто, почти в большинстве случаев, та обстановка, в которой происходила полемика.

Каждый полемический памятник должен издаваться с более или менее подробной статьей, ставящей себе задачу ввести читателя в обстановку и эпоху, в которых была она написана. Без этого чтение, а тем более понимание их, становится чрезвычайно затруднительным.

Сделали ли это два вышеупомянутых издателя? Нет, и в этом основной недостаток издания.

„Красная Новь" смутно чувствуя эту потребность снабдила свое издание предисловием тов. Я. Я.

И хотя статья не плохая (и даже „наоборот"!) тем не менее задачу эту она выполнить не в силах.

Предисловие горячо (и очень убедительно) доказывает необходимость сейчас вести войну с богдановщиной, но почему и в какой обстановке тогда возникла и велась борьба—этого оно не объясняет.

А ведь на обеих работах лежит печать борьбы с ликвидаторством, с богоискательством, с идеологией упадка, с реакцией 1908—1910 г.г.!

Это, повторяю, основной недочет изданий.

Я только упомяну еще о том, что первые два письма к Богданову появились за границей под заглавием „Materialismus militans" и при повторении в сборнике „От обороны к нападению" сделан ряд изменений. Издательство имело резон не восстанавливать заграничный текст, ибо тогда пришлось бы восстановить ряд политических выпадов, не имеющих теперь особого значения. Но восстановить заглавие—было необходимо. Materialismus militans!—воинствующий материализм—куда как красиво звучит! А что всего важнее—это лучше соответствует подлинному содержанию статей.

В сущности говоря, центр тяжести статей ведь не Богданов—он лишь повод к тому, чтобы развить и уточнить материализм, воюя с идеализмом.

Materialismus militans—это и подчеркивает.

Не можем не отметить, что издание „Красной Нови" с технической стороны значительно лучше украинского.

Материалист.

Хрестоматия по французскому материализму XVIII века. Выпуск I. „Бог, природа и человек". Под ред. и с пред. проф. И. С. Плотникова. Птгр. „Прибой", 1923, стр. 238.

Овладение какой-либо научной дисциплиной, отдельной системой, невозможно без проработки и овладения историей этой дисциплины историей этой системы. Изучение генезиса в подобных случаях позволяет видеть, насколько данная система шагнула вперед по сравнению со своими предшественницами. Такое историческое изучение предмета способствует более основательному усвоению самого предмета.

Исторический метод особенно необходим при изучении философии. Зачастую у предшествующих мыслителей находишь готовыми обоснованные ответы на возражения позднейших критиков. Незнание классиков философии не дает права на самостоятельное философское мировоззрение.

Утверждение в принадлежности к диалектическому материализму, как научно-философскому мировоззрению, обязывает знать его предшественников, ближайших „духовных предков", обязывает знать историю материализма. Если к этому положению присоединить другое, по которому никакая книга о мыслителе не может вполне заменить книги самого мыслителя, то станет ясным, что всякое удовлетворительное издание классиков материализма является в наши дни положительным достижением.

Перед Советской Россией, с ее стихийно развивающимся через школьное и внешкольное образование материалистическим миросозерцанием, буквально встает трудная задача издания в переводах всего богатого наследия мировых классиков материализма.

Одним из ближайших „предков" диалектического материализма Маркса и Энгельса является, как известно, французский материализм „эпохи просвещения". Деятели его, столь замалчиваемые буржуазной историей философии на страницах книг и университетских кафедрах, должны быть представлены у нас хотя бы в своих основных и главнейших произведениях. Пока готовятся „академические" издания, большинству читающей массы приходится довольствоваться тем немногим, что есть на русском языке.

Одной из первых попыток представить в переводе французских материалистов XVIII века является издание в Петрограде хрестоматии, составленной из целого ряда отрывков этих мыслителей. Фрагменты хрестоматии — не идеальные источники для изучения философских систем, но они могут по-

служить для первоначального ознакомления, и вполне пригодны для школьного усвоения предмета.

Характер хрестоматии требует особо осторожного и продуманного выбора отрывков, а также искусного их расположения. Последняя задача редакцией петроградской хрестоматии выполнена вполне удовлетворительно. При установлении следований отделов, редакция, видимо, отправлялась от массового читателя, а для последнего, конечно, более целесообразно отнесение отдела „гносеологии материализма", в конец книги. По тем же соображениям приходится признать удачным ознакомление читателя с „теорией материи" до отдела „тело и душа".

Несколько иначе обстоит дело с выбором отрывков. Конечно, Ламеттри, Гольбах и Дидро по праву наполняют многие страницы книги; конечно, с Гельвецием лучше подождать до второй части хрестоматии, посвящаемой философии общества, но Дидро представлен весьма не полно. Он гораздо ярче и богаче, чем можно подумать на основании включенных мест. Нам представляется чрезвычайным упущением отсутствие хотя бы 10—15 страниц из его Элементов физиологии. Те фрагменты Дидро, которые посвящены в данном произведении естественной классификации существ, звучат гораздо фундаментальнее и глубже, чем афористическое „всякое животное более или менее человек", и т. д.; те фрагменты, в которых Дидро выявляет себя трансформистом, показали бы читателю неосновательность отнесения его, по крайней мере в отношении истолкования природы, к метафизикам и заставили бы редакцию согласиться, что мыслитель не так уже далек от современной теории эволюции (см. 15 стр. предисловия). Основные принципы дарвинизма: изменчивость видов, наследственность и естественный отбор—на-лицо у Дидро.

Точно так же включение нескольких отрывков из тех же Элементов и из Отвержения книги Гельвеция позволило бы читателю увидеть, насколько глубоко была разработана в XVIII веке теория познания материализма, Фейербах в свергнутом виде, со своей диалектикой чувств разума, уже заключается в Дидро. А это позволило бы освободить многие страницы хрестоматии от сенсуалистической психологии Кондильяка, который, по существу, не был законченным материалистом. Таким образом гносеологии французского материализма не посчастливилось.

Поскольку в возможностях редакции было дать ряд новых переводов на русский язык, следовало бы ввести Человека-растение Ламеттри, особенно, те места, где имеются моменты диалектики. Равным образом, следует пожалеть, что не представлены Робине (есть только указание в хронологической таблице) и Боннэ. Правда, оба не были связаны дружбой или перепиской с плеядой Дидро-Гольбах-Гельвеций, но ведь в таком же положении находился и Ламеттри. Тем интереснее показать, что материализм XVIII века был не личным воззрением трех друзей из Парижа, но более широким направлением. Дидро благожелательно отзывался о Робине, хотя и полемизировал с ним, но ведь пункты несогласия были у него и с Гельвецием! Такие же благожелательные отзывы получал и швейцарец Боннэ в Корреспонденции Гримма.

Что касается „Исторической подготовки франц. материализма", то нам кажется, что Письма Вольтера дают в этом отношении мало материала. Не лучше ли было дать кое-что из Локка. Поскольку речь идет об исторической подготовке, нельзя замыкаться в границах Франции, ибо это создает искусственность. Мы не остановились бы даже перед несколькими местами из Спинозы, но в трактовке „мудреца из Гааги" у нас, видимо, с редакцией хрестоматии принципиальные разногласия, о которых не место говорить в библиографической заметке.

Если редакция так строго относилась к отбору материалистов, то нам непонятно включение д'Аламбера и даже Вольтера. Оба не были материалистами, разошлись с материалистическим ядром Энциклопедии. Что может дать, напр., отрывок д'Аламбера по вопросу о боге и мире на-ряду со страницами Гольбаха? И он же—по вопросу о свободе воли?—Д'Аламбер, который в конечном счете свободу воли признавал?

Чтобы покончить с хрестоматией, укажем,— и редакция, несомненно, согласится с нами,— что так разработанная синхронистическая таблица почти ничего не дает: длинная вертикальная линия, наверху „Кабанис, 1757", внизу—„1808", и больше ничего. Черта, долженствующая так представлять Гольбаха, вовсе выпала; о Дидро мы узнаем, напр., кроме рождения и смерти, что он в 1743 г. женился, а в 1773—1774 г.г. был в Петербурге, но ни о заточении его в Венсенском замке, ни об Энциклопедии и ее преследованиях читатель ничего не узнает.

Предисловие к хрестоматии в той своей большей части, которая посвящена французскому материализму, вполне удовлетворительно и отвечает своему назначению, но начало предисловия, где автор говорит о материализме вообще, вызывает просто недоумение. Читатель узнает, что, напр., „существование внешнего материального мира" есть лишь „логический постулат", прыжок, что признание его основано на „вере", что субъективный идеализм обладает „логической цельностью". Конечно, логики разные бывают... Во всем этом для автора руководящим авторитетом является Б. Столинер, о „знаменитом" предисловии которого к Очеркам по истории материализма Плеханова уже достаточно говорилось в № 1 нашего журнала. Вероятно, под влиянием того же авторитета в области марксизма автор предисловия вновь поднимает разговор об „иероглифах", как точке зрения критического материализма, о чем тоже говорилось уже более чем достаточно.

При всех наших замечаниях мы все же должны подчеркнуть, что ряд отрывков появляется в хрестоматии изд. „Прибой" впервые на русском языке и что, вплоть до издания французских материалистов полностью, данной хрестоматией можно и нужно пользоваться.

И. Л.

Классики естествознания.

Книга IV. П. Н. Лебедев. Давление света. Под редакцией П. П. Лазарева и Т. П. Кравца. Госиздат 1922 г. Цена 40 коп. зол.

Есть целый ряд работ по естествознанию, с упоминания и изложения которых начинаются чуть не все книги, относящиеся к данному вопросу, от школьного учебника до десятитомного немецкого Handbuch'а. Благодаря этому их знают все, многие при случае на лекции или уроке могут процитировать пару-другую фраз из какой-нибудь подобной работы, но, кроме историков естествознания и специалистов по той области, к которой относится такая работа, не многие сами ее читали. И особенно этого в вину ставить никому нельзя, так как многие из таких „классических" работ затеряны в старых „мемуарах" различных академий, которые теперь найти даже при всем желании весьма трудно, другие написаны на мало известных языках. Многих отпугивает возраст подобных трудов; считается, что естествознание настолько шагнуло вперед за последнее время, что для нас ничего интересного в исследованиях даже величайших ученых прошлых веков не имеется.

А между тем достаточно только просмотреть две-три таких основных работы, чтобы убедиться в обратном. Важнейшие вопросы естествознания трактуются в них с поразительной ясностью, часто отсутствующей при изложении тех же вопросов у современных авторов.

Часто оказывается, что мысли, которые считаются последними откро-

вениями нашего времени, высказывались еще давно. Ломоносов, напр., более 150 лет тому назад вполне ясно сознавал необходимость применения физических методов в химии и всю важность изучения вопросов, стоящих на границах физики и химии, и даже писал диссертацию под заглавием „Элементы математической химии", хотя математика еще до нашего времени остается жупелом для многих химиков. Карно, один из основателей термодинамики, еще в начале XIX века показал преимущество двигателей внутреннего сгорания перед паровыми машинами. Можно было найти и много других примеров такого же рода. Оствальд, всегда энергично отстаивавший необходимость знакомства с историей своей науки для естествоиспытателей, был инициатором издания серии под названием „Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften", пользующейся широкой известностью. Во Франции также была издана серия книг аналогичного характера. В России лишь в 1916 г. издательство „Природа" сделало попытку в этом направлении, но ему удалось за два года выпустить лишь три книги из задуманной им серии под названием „Классики естествознания". Госиздат, учитывая важность этого начинания для развития и популяризации естествознания в России, решил продолжать начатое „Природой" дело, привлекши к участию в работе редакционную коллегию „Природы", дополнив ее целым рядом других ученых. За год Госиздату удалось выпустить 6 выпусков „Классиков".

Из предыдущего можно было бы пожалуй подумать, что в „Классиках" издаются труды ученых, далеких от современности, но такое заключение было бы неверным. В естествознании классическими считаются все работы, являющиеся основными, так сказать, открывающими данную область. Поэтому, напр., Оствальд нашел возможным уже в 1913 г. напечатать в своих „Классиках" законченные только в 1910 г. работы П. Н. Лебедева по световому давлению.

С этих же работ начал „Классиков естествознания" и Госиздат. Выпуск, посвященный им, содержит три статьи; одну короткую заметку теоретического характера под заглавием „Об отталкивательной силе лучеиспускающих тел", статью о давлении света на поглощающие и отражающие тела и статью о давлении света на газы. В первой заметке Л. пытается определить, какую долю ньютоновской силы притяжения составляет для различных тел световое отталкивание. Это отталкивание двух светящихся тел есть результат давления испускаемого ими света. Давление это на основании теоретических соображений было предсказано Максвеллом, Бартоли и Больцманом. Давление солнечных лучей на 1 кв. метр поверхности поглощающего тела равно всего $^2/_3$ миллиграмма. Но для тел небольших размеров соотношения между тем притяжением, которое они производят друг на друга, и отталкиванием вследствие излучения делаются другими. Л. вычисляет, что два шарика, температура которых равна 0° Цельсия, а диаметр 8 миллиметрам, не отталкивают и не притягивают друг друга. Если же диаметр их уменьшится до двух тысячных миллиметра, то сила отталкивания будет в миллион раз превышать силу притяжения.

Вторая статья „Опытное исследование светового давления" излагает результаты экспериментальных работ Л., посвященных доказательству существования светового давления и измерению его величины. Прибор, служивший для этой цели, чрезвычайно прост по своей идее. К стеклянному стерженьку, подвешенному к тонкой стеклянной же нити, крестообразно прикреплялась металлическая перекладина, на концах которой находились металлические кружочки. Если два пучка света падали на эти кружочки (при этом, конечно, у одного кружочка освещалась одна, а у другого противоположная сторона), то давление света заставляло стерженек поворачиваться на некоторый угол (конечно, весьма малый), измеряя который можно было определить величину этого давления. Энергия пучка света измерялась поглощением его в калориметре. Стоит только вспомнить ничтожную величину светового давления, чтобы понять, с какими колоссальными трудностями

были сопряжены исследования Лебедева. Однако трудности эти были побеждены, и сам Л. так формулирует результаты своей работы (стр. 42—43) [1]):

1) Падающий пучок света производит давление как на поглощающие, так и на отражающие поверности.

2) Силы давления света прямо пропорциональны энергии падающего луча и не зависят от цвета.

3) Наблюденные силы давления света, в пределах погрешностей наблюдений, количественно равны Максвелло-Бартолиевым силам давления лучистой энергии.

Еще Кеплер предположил, что кометные хвосты с их характерными формами обязаны своим происхождением давлению солнечных лучей. Аррениус указал, что световое давление вообще может играть чрезвычайно важную роль в разрешении многих космологических проблем. Теоретическое решение вопроса о давлении света на газ осложняется тем, что молекулы газа нельзя рассматривать как вполне поглощающие шарики. Все это заставило Л. предпринять опытное исследование давления света на газы. Изложение результатов его исследований по этому вопросу дано в третьей статье сборника. Чтобы дать понятие о тех трудностях, которые пришлось преодолеть Лебедеву, достаточно сказать, что сила давления света на газы едва достигает сотой доли той силы, с которой свет давит на твердую поглощающую поверхность. Понятно также, что из газа нельзя приготовить никаких поверхностей, и остается только удивляться, с какой гениальной простотой обошел все эти затруднения Л. Он заставил газ, двигающийся под влиянием силы светового давления, толкать крошечный поршень, соединенный с так наз. крутильными весами, позволявшими оценить величину силы, действовавшей на поршень. Однако, как ни прост на первый взгляд так й прибор, Лебедеву в течение трех лет пришлось сделать и испробовать более двадцати поршневых приборов различных типов, прежде чем ему удалось сконструировать прибор, удовлетворяющий всем поставленным требованиям. Спектральными наблюдениями уже давно было установлено высокое содержание так-наз. углеводородов в кометах, и поэтому Л. исследовал давление света на пять различных газообразных углеводородов. Мы опять приведем результаты этого удивительного по тонкости исследования в собственной формулировке Л.:

„1) Существование давления света на газы установлено опытным путем.

2) Величины этого давления прямо пропорциональны энергии пучка света и коэффициенту поглощения газа.

3) В пределах ошибок наблюдений и вычислений соотношение, указанное Фитцжеральдом, количественно удовлетворяет наблюдениям".

К книге приложена краткая биография П. Н. Лебедева и ряд примечаний, написанных редакторами.

Книга V. Г. Гельмгольц. О сохранении силы. Перевод и примечания академика П. П. Лазарева. Госиздат 1922 г. Цена 70 коп. золотом.

Как известно, в установлении закона сохранения энергии, если не считать более ранних предшественников, принимало участие три человека: Р. Майер Д. П. Джоуль и Г. Гельмгольц. Хотя работа Гельмгольца и появилась позже работ Майера и Джоуля, значение ее чрезвычайно велико потому, что из всех трех исследователей Г. лучше других владел математикой и поэтому сумел избежать тех ошибок и неясностей, которые так долго мешали правильной оценке работ Майера.

Сам Г. формулирует цель своего исследования следующим образом: „Мы исходим из допущения, что невозможно при существовании любой про-

[1]) Из этой формулировки выброшены несколько фраз, имеющих чересчур специальный характер.

извольной комбинации тел природы получать непрерывно из ничего движущую силу. Из этого положения Карно и Клапейрон уже вывели теоретически ряд частью известных, частью еще экспериментально не доказанных законов относительно удельной и скрытой теплоты различных тел природы. Задачей настоящего сочинения является проведение указанного принципа совершенно тем же способом через все отделы физики отчасти для того, чтобы доказать применимость его во всех тех случаях, где законы явлений уже достаточно изучены, частью, чтобы с помощью этого принципа, опираясь на многоразличные аналогии более известных явлений, сделать дальнейшие заключения о законах еще не вполне изученных явлений, и дать таким образом в руки эксперимента путеводную нить" (стр. 9—10).

Первые три §§ содержат формулировку и доказательство принципа сохранения энергии по отношению к механическим системам. Здесь Г. вносит мало нового в обычные теоремы классической механики. § 4, озаглавленный „Механический эквивалент тепла", содержит рассмотрение тех процессов, при которых до сих пор предполагалась абсолютная потеря силы (стр. 23), именно: удара неупругих тел и трения. Г. рассматривает здесь опыты Джоуля и теоретические работы Карно, Клапейрона и Больцмана. Несмотря на то, что энергетическая сторона химических процессов была изучена в то время сравнительно слабо. Г. считает возможным с своей точки зрения механистического истолкования явлений природы и на них распространить закон сохранения энергии. „Согласно нашему представлению возникающее при химических процессах тепло является количеством живой силы, которая получается из определенного количества работы химических сил притяжения, и предыдущий закон представляется в данном случае выражением закона сохранения энергии" (стр. 28).

Закон, о котором упоминает Г., состоит в том, что если мы из двух веществ A и B получаем третье AB, то количество тепла, которое выделится при этом, не зависит от промежуточных ступеней этого процесса, мы можем, напр., соединить тела A и B с телом D и полученные соединения AD и BD соединить друг с другом в тело ABD_2, а его разложить в соединения AB и D_2, или непосредственно соединить A и B—конечное количество тепла, выделившееся или поглощенное в результате всех этих операций, будет одно и то же. Этот закон был высказан Гессом.

Дальше (§ 5) Г. рассматривает механический эквивалент электрических процессов. Рассматривая явления электролиза и электро-химические процессы в гальванических элементах, Г. уже тогда высказывает мысль о том, что каждый атом несет с собой определенное количество электричества. Эта мысль об атомном строении электричества была развита впоследствии Г. в его знаменитой фарадеевской речи и легла в основу современной электрохимии. Г. делает попытку распространить закон сохранения энергии и на так называемые термо-электрические явления, заключающиеся в возникновении тока между местами спаев двух различных металлов при условии несдинаковости температур этих спаев. Статья Г. заканчивается приложением закона сохранения к магнитным и электро-магнитным явлениям. В кратком заключении Г., ссылаясь на опыты Депре и Дюлонга, высказывает убеждение в приложимости закона сохранения к процессам, происходящим в организме животных.

На современного читателя статья Г. не производит особенного впечатления. Самая манера письма, заключающаяся в полном отсутствии личных местоимений, лишает читателя, не знакомого с историей физики, возможности оценить долголичного участия Г. в установлении закона сохранения. Однако, очевидно, современникам Г. его исследование казалось чересчур новым, так как редактор „Annalen der Physik" Поггендорф не принял статьи Г.

Кроме того, исследование Г. было чрезвычайно ценно потому, что проведя доказательство закона сохранения энергии через все области физики,

он сумел придать всем доказываемым положениям несравненно более совершенную математическую обработку, отсутствовавшую у Р. Майера.

Биография Г. и примечания написаны редактором. К сожалению, совершенно не выяснен вопрос оригинальности выводов некоторых формул и о позднейших работах по тем вопросам, которые во время написания исследования еще не были вполне решены. Мало знакомому с историей физики читателю самостоятельно в этом разобраться трудно и вследствие этого у него может создаться известное чувство неудовлетворенности. Русское издание представляет перевод не первого издания статьи Г., появившегося в 1847 г. по дополненной и проредактированной самим Г. для полного собрания сочинений в 1881 г. статьи.

Внешность издания гораздо хуже позднейших выпусков „Классиков". Приложенный к книге портрет Г., относящийся к периоду создания им закона сохранения энергии, если не ошибаюсь, впервые появляется в России.

Книга VII. Сади Карно. Размышления о движущей силе огня. Перевод С. Э. Фриша. Под редакцией и с примечаниями В. Р. Бурсиана и Ю. А. Круткова. Госиздат 1923 г. Цена 40 коп. золотом.

Карно умер рано (36 лет), и единственное оставшееся после него печатное произведение—„Размышления", если не считать опубликованных его братом выдержек из его дневника. Несмотря на то, что в „Размышлениях" Карно стоит на точке зрения вещественной теории тепла, считая тепло некоторым неуничтожаемым веществом, которое он называет теплородом, точке зрения, оставленной уже в 50 годах XIX века, после работ Р. Майера, Джоуля и Гельмгольца, рассмотрение процессов, совершающихся в паровых машинах, приводит его к формулировке одного из важнейших принципов естествознания, обычно называемого вторым законом термодинамики. Карно схематизирует процессы, происходящие в различных паровых машинах. „Получение движения в паровых машинах всегда сопровождается одним обстоятельством, на которое мы должны обратить внимание. Это обстоятельство есть восстановление равновесия теплорода, т.-е. переход теплорода от тела, температура которого более или менее высока, к другому, где она ниже",—пишет он. Или в другом месте: „Возникновение движущей силы обязано в паровых машинах не действительной трате теплорода, но его переходу от горячего тела к холодному" (стр. 10). Там же вполне ясно Карно высказывает мысль о невозможности постройки машины, работающей за счет о д н о г о резервуара тепла или, как говорит Оствальд, perpetuum mobile второго рода. Хотя по закону сохранения энергии (впрочем, во времена Карно еще не известному) тепло всегда может быть превращено в работу, и мы имеем огромные запасы тепла в воде океанов, атмосферном воздухе и т. п., но использовать его мы, к сожалению, не в состоянии, и Карно сознавал это: „Согласно этому принципу, недостаточно создать теплоту, чтобы вызвать появление движущей силы: нужно еще добыть холод; без него теплота стала бы бесполезна" (стр. 10).

Карно не только обогатил науку новым принципом, огромное значение и смысл которого были вполне оценены и развиты в работах Клаузиуса, В. Томсона и Больцмана, ему также принадлежит заслуга введения одного необыкновенно плодотворного приема, известного под именем „кругового цикла Карно". Сущность этого приема, излагаемого во всех учебниках физики, физической химии и термодинамики, состоит в том, что мы, рассматривая некоторый воображаемый процесс между каким-либо веществом и двумя телами различной температуры, в результате которого все возвращается в первоначальное состояние, можем вычислить р а б о т у, получаемую благодаря тому, что вещество, забирая некоторое количество тепла от более теплого

тела, отдает его телу более холодному. „Круговые процессы“ нашли применение в разнообразнейших областях физики и химии, напр., итальянский физик Бартоли доказал при помощи кругового процесса существование светового давления, Вант-Гофф разработал свою знаменитую теорию растворов и т. д.

Помимо этого в книге Карно содержится много мыслей, показывающих, насколько выше стоял он современных ему инженеров и техников. В то время, как другие искали возможности улучшения машин при помощи замены воды другим легковипящим веществом, ему с точки зрения высказанной им теоремы было ясно, что: „Движущая сила тепла не зависит от агентов, взятых для ее развития; ее количество исключительно определяется температурами тел, между которыми, в конечном счете, производится перенос теплорода“ (стр. 23). Поэтому ему были ясны и преимущества двигателей внутреннего сгорания, работающих при гораздо большей разности температур, чем паровые машины.

Из приложенного к книге факсимиле Карно (отрывок из его дневника) видно, что если бы не преждевременная смерть, то Карно, без сомнения, был бы в состоянии формулировать оба закона термодинамики и заложить ее основы на несколько лет раньше. Вот это замечательное место:

„Тепло нечто иное, как движущая сила или, вернее, движение, изменившее свой вид; это движение частиц тел; повсюду, где происходит уничтожение движущей силы, возникает одновременно теплота в количестве точно пропорциональном количеству исчезнувшей движущей силы. Обратно: всегда при исчезновении тепла возникает движущая сила“.

„Таким образом можно высказать общее положение: движущая сила существует в природе в неизменном количестве, она, собственно говоря, никогда не создается, никогда не уничтожается; в действительности она меняет форму, т.-е. вызывает то один род движения, то другой, но никогда не исчезает“.

Вычисленный Карно механический эквивалент тепла 370 kgm. на 1 бол. калорию совпадает с числом Р. Майера и недалек от современного (427 kgm).

Книга Карно написана очень ясно и логично. Недаром он был учеником Политехнической школы, где учились и преподавали величайшие математики Франции. Перевод вполне удовлетворителен. Примечания редакторов В. Р. Бурсиана и Ю. А. Круткова весьма содержательны, но, к сожалению, немногочисленны и поэтому вряд ли смогут облегчить труд чтения этой книги читателю средней подготовки. Внешность издания недурна и цену (40 коп. зол.) можно считать невысокой.

Книга VIII. М. В. Ломоносов. Физико-химические работы. Под редакцией и с примечаниями Б. Н. Меншуткина. Госиздат 1923 г. Цена 70 коп. золотом.

Еще до недавнего времени имя Ломоносова вызывало у нас представление скорее как о поэте, чем о гениальном ученом. Иностранные труды по истории физики и химии, напр., классическая история химии Коппа, никакого упоминания о Ломоносове в себе не содержали. Лишь в начале XX века работы Ломоносова были извлечены из пыли архивов Б. Н. Меншуткиным и почти сразу получили всеобщее признание и оценку. Они появились в знаменитых „Ostwald's Klassiker“ (№ 178 1910 г.) и сразу произвели огромное впечатление на иностранных ученых. Как пример можно привести слова американского химика А. Смита, написанные в 1912 г.: „новооткрытие Ломоносова сразу прибавило химика первой величины и личность удивительной силы к ограниченной галлерее величайших людей мира“.

„Физико-химические работы“ содержат 9 статей, представляющих выборки из диссертаций и речей Л., имеющих наибольший интерес для нашего времени и содержащих его собственные взгляды на излагаемые вопросы. Уже одни заглавия их указывают в некоторых случаях на то, что почти 200 лет тому назад Л. пришел к мыслям, сравнительно недавно высказанным крупнейшими учеными запада. Книжка начинается статьей, озаглавленной „Элементы математической химии“,—первая книга под почти таким же названием вышла лишь в 1909 г. [1]). Почему же Л. в то время, когда в химии господствовал не только грубый эмпиризм, но даже и суеверие, считал возможным озаглавить так свое сочинение (задуманное чрезвычайно широко; напечатанное представляет лишь введение)? Потому, что он, обгоняя на 100—150 лет своих современников, заявляет (§ 17): „Все изменения тел происходят посредством движения“;(§ 22): „А потому изменения эти могут быть объяснены законами механики“; (§ 25): „И так как знание механики предполагает знание математики, то стремящийся к ближайшему изучению химии должен хорошо знать математику“. Иначе говоря, он формулирует уже основы механического толкования химических явлений, в то время когда еще и в области физики царили различные „жидкости“. В этой же работе он вполне ясно определяет понятия, известные теперь нам, как атом и молекула.

Дальнейшее развитие тех же мыслей мы находим в диссертации „О составляющих тела природы нечувствительных физических частичках“ (1742—1743). Здесь основные положения атомной теории формулируются Л. еще с большей ясностью и общностью. Л. подчеркивает, что хотя эти частички и недоступны нашим чувствам, но они вполне реальны и обладают всеми свойствами реальных физических тел: массой, фигурой и т. д. Частичные, т.-е. индивидуальные, качества тела „заключаются в протяжении, силе инерции, фигуре и движении нечувствительных физических частичек“ (§ 72). Они „могут быть объяснены законами механики“ (§ 77). В однородном теле „нечувствительные физические частички имеют во всем образуемом ими теле одинаковые протяжение, фигуру, силу инерции, движение и расположение“ (§ 84). Наконец, самое понятие атома определено необыкновенно ясно: „мы называем физическими монадами нечувствительные физические частички, не разделяющиеся на другие, меньшие“... „фигура физических монад неизменна“ (§§ 90 и 91).

Логическое развитие этих положений привело Л. к созданию механической теории теплоты. Вот § 3 из его „Размышлений о причине теплоты и холода“, который можно без всякого опасения перенести в любой современный учебник физики: „Так как тела могут двигаться двояким движением—общим, при котором все тело меняет постоянно свое место, при чем части его по отношению друг к другу находятся в покое, и внутренним, которое представляется состоящим в изменении положения нечувствительных частей материи; так как нередко не замечается тепла при очень сильном общем движении, и, наоборот, при отсутствии его—большой жар, то очевидно, что тепло состоит во внутреннем движении вещества. Там же находится объяснение явлений диффузии, мало отличающееся от современного (§ 7, стр. 23). Там же Л. вводит еще одно понятие, много лет спустя появившееся в физике,—понятие об абсолютном нуле, т.-е. такой температуре, ниже которой войти невозможно. „Итак, высшая и последняя степень холода состоит в абсолютном прекращении вращательного движения и по необходимости может существовать“ (§ 26). Доказательства против материальной природы тепла, приводимые им, помогают ему правильно разобраться в явлениях окисления,—заслуга, обычно приписываемая Лавуазье. „К телам во время процесса обжигания присоединяется какая-то материя, но, конечно, не та, которая считается свойственной огню, так как окалины, удаленные от огня, даже в величайшие морозы сохраняются излишек веса и не показывают в себе избытка теплоты“ (§ 31, стр. 34).

[1]) Van Laar, „Lehrbuch für mathematische Chemie“.

В „Попытке теории упругой силы воздуха“ (1745 г.) Л. закладывает основы кинетической теории газов, развитой более ста лет спустя Клаузиусом, Максвеллом и Больцманом. Здесь он близок нам даже в терминологии: „частички воздуха должны быть весьма твердыми и не поддающимися какому-либо изменению: поэтому их надо было бы называть атомами“. Рассуждения его мало отличаются от тех, которые встречаются в современных учебниках физики при изложении кинетической теории, напр., он так описывает состояние газа в § 13 (стр. 43): „Отдельные атомы воздуха в нечувствительные промежутки времени сталкиваются с другими, соседними, в беспорядочной взаимности, и в то время, как одни находятся в соприкосновении, другие отскакивают друг от друга и снова сталкиваются с другими, более близкими, снова отскакивают, так что стремятся рассыпаться во все стороны, постоянно отталкиваемые друг от друга такими очень частыми взаимными ударами“.

„Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих“ (1753 г.) является работой метеорологического характера. И тут содержится много интересных мыслей, например, объяснение наступления сильных морозов после оттепелей, явления, которое Л. как северянину было хорошо известно.

Отвращение к „субтильным материям“, которыми в то время любили объяснять самые разнообразные явления, выразилось и в „Слове о происхождении света, новую теорию о цветах представляющем“ (1756), где Л. выступает противником Ньютоновской теории истечения и защищает волновую теорию Гюйгенса, т.-е. опять-таки становится на точку зрения механического истолкования физических явлений. „Без сомнения мы должны принять за причину света зыблющееся его (т.-е. эфира) движение“.

Наконец, в „Рассуждении о твердости и жидкости тел“ Л. достаточно ясно формулирует два основные закона современного естествознания: закон сохранения материи и закон сохранения энергии. Вот его слова: „Но как все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее своею силой другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает“ (§ 4, стр. 65).

Приведенные цитаты дают нам достаточно ясное представление о Ломоносове-теоретике, сумевшем правильно понять и истолковать на много лет раньше других ряд основных физико-химических явлений. Но из двух помещенных в „Классиках“ отрывках из „Курса истинной физической химии“ (1752 г.) и „Опыта физической химии“ видно, что и в постановке опытных исследований, в искусстве задавания природе вопросов Л. был первоклассным мастером. Достаточно сказать, что намеченная им программа экспериментальных исследований, осуществить которую ему самому удалось лишь в ничтожной степени, почти вполне совпадает с теми вопросами, которые разрабатывались физико-химиками с 60—70 г.г. XIX века до настоящего времени. Некоторые из исследований, намеченных Ломоносовым, еще до сих пор не могут считаться выполненными в полном объеме. Самый термин „физическая химия“, настойчивые и постоянные упоминания Л. о тесной связи физики с химией совершенно необычны для XVIII века. Годом рождения физической химии принято считать 1887 г.—первый год издания журнала „Zeitschrift für physicalische chemie“. Старания Л. сделать химию количественной наукой тогда, когда она была „искусством“, чем-то вроде кулинарии высшего порядка, показывают в нем ученого необыкновенного масштаба.

Из интересных примечаний редактора Б. Н. Меншуткина, которому мы обязаны „открытием“ Ломоносова, ясно, что Л., также и как педагог, представлял из себя выдающееся явление. Он не только сопровождал свои

лекции опытами, но заставлял студентов и самих делать опыты в специально для того устроенной лаборатории. Оканчивающие студенты получали от него темы для самостоятельных исследований; напомним, что первая учебная лаборатория была устроена Ю. Либихом лишь в 1825 г.

Всякий интересующийся историей естествознания вообще, а в особенности в России, прочтет эту книжку с несомненным интересом. Внешне книга издана очень недурно, к ней приложен прекрасно выполненный портрет Л., снимок с плана его лаборатории и факсимиле его письма к Эйлеру. Биография и примечания написаны Б. Н. Меншуткиным, ему же принадлежит перевод латинских диссертаций Л. Как уже упоминалось, именно его энергии и трудам мы обязаны тем, что среди величайших ученых мира и основателей научного материализма мы можем назвать Михаила Ломоносова.

Вл. Семенченко.

Новые идеи в физике. Сборник № 8. Строение атома I. Непериодическое издание, выходящее под редакцией академика А. Ф. Иоффе. Издание Товарищества „Образование“, Петроград 1923 г. Цена 70 коп.

Учение о строении атома за 10 лет превратилось из скромного параграфа главы об электроне в целую науку. Поэтому можно считать чрезвычайно удачной мысль посвятить два новых выпуска возродившегося издания „Новые идеи в физике“ именно строению атома. Изучение строения атома шло двумя часто независимыми путями: экспериментальным и теоретическим; и в той и другой области накоплен колоссальный материал. И поэтому редакция сборников отдала один сборник (8) экспериментальным, другой (9)—теоретическим работам.

Первый (8) сборник, посвященный экспериментальным работам, если не считать коротенькой (в 5 стр.) заметки Иоффе о новой модели атома Бора, содержит 3 статьи, посвященные различным частям атома. Как известно, общепринятой теперь является так называемая „нуклеарная“ [1]) модель атома, предложенная в 1913 г. Рэтзэрфордом и теоретически обоснованная в том же году Нильсом Бором. В такой модели можно отличить 3 части: ядро, ближайшие к нему электроны и внешние или „валентные“ электроны, обусловливающие химические и оптические свойства атомов.

Статья П. И. Лукирского содержит результаты экспериментального исследования вопросов, связанных с атомным ядром, статья Н. Я. Селякова—результаты изучения спектров рентгеновских лучей, дающих нам представление о строении и свойствах внутренней электронной оболочки атома, и, наконец, статья Н. Н. Семенова излагает исследования, посвященные внешним электронам.

Начало статьи Лукирского содержит основные факты, приведшие к самому установлению понятия об атомном ядре: опыты Рэдзэрфорда над прохождением α-частиц через различные вещества и законы радиоактивных превращений. Опыты Рэдзэрфорда, как известно, привели к заключению о ничтожных размерах ядра. В то же время Мозли установил изучением фактов из совершенно другой области, что число электронов в атоме, а следовательно, и его собственный положительный заряд равны номеру, указывающему положение элемента в системе Менделеева. Однако явления радиоактивности принуждают нас считать ядро образованием сложным. Эти явления представляют собою самопроизвольное распадение атомного ядра. Распадения эти сопровождаются испусканием лучей 3-х сортов: α—положительно заряжен-

[1]) Более подробное изложение основ нуклеарной теории атома находится в статье Дарвина „Строение атома“, помещенной в № 4 за 1922 г. журн. „Под знаменем марксизма“.

ных атомов гелия, β—свободных электронов и δ—лучи, аналогичные лучам Рентгена. Номер гелия равен двум.

Фаянс и Содди установили весьма важный закон, относящийся к радиоактивным превращениям. Оказывается, что новый элемент, получившийся благодаря испусканию α-частицы, помещается на 2 номера влево в периодической системе, а возникший благодаря потере β-частицы, т.-е. электрона,—на один номер вправо. Но потеря одного электрона не изменяет, или, правильнее, изменяет очень мало, атомный вес элемента, следовательно, возможно существование элементов, обладающих одинаковым атомным весом, но помещающихся в различных местах периодической системы, а потому имеющих различные химические свойства. Ясно, что правильно и обратное: существуют элементы с вполне одинаковыми химическими свойствами, но различными атомными весами; они носят название изотонов.

Мы можем только наблюдать радиоактивные явления: имеющиеся в нашем распоряжении средства воздействия—теплота, электричество, свет—слишком слабы, чтобы не только вызвать, но даже ускорить или замедлить их. И только в недавнее время тому же неутомимому Рэдзэрфорду удалось искусственным образом расщепить некоторые элементы и проникнуть в строение их ядра.

Средство, которым он пользовался для „разбивания атомов", были те же α-частицы, т.-е. атомы гелия, вылетающие из различных радиоактивных элементов. Конечно, размеры реферата не позволяют подробнее изложить опыты Рэдзэрфорда, приходится ограничиться лишь изложением их результатов. Выбрасывание ядер гелия радиоактивными элементами делает несомненным присутствие их в ядрах этих элементов, кроме того, опыты Рэдзэрфорда показали, что ядра некоторых элементов содержат водородные ядра, являющиеся таким образом, как это предполагал еще в начале XIX века Проут, основным материалом в постройке атомного здания. Рэдзэрфорду удалось доказать присутствие ядер водорода в боре, азоте, фторе, натрие, аллюминие и фосфоре. В углероде, кислороде и сере ядра водорода отсутствуют.

Но если атомное ядро любого элемента является аггрегатом ядер гелия или водорода, то атомные веса всех элементов должны быть равны или очень близки к целым числам так, как атомные веса гелия и водорода равны 4 и 1,008. Однако отклонение атомных весов от целых чисел известно уже давно и служило существеннейшим возражением против гипотезы Проута. Единственным выходом из этого положения является признание элементов с нецелыми атомными весами за смесь изотонов. Дж. Дж. Томсон еще давно выработал метод измерения массы отдельных атомов. Принцип этого метода состоит в том, что тонкий пучок летящих атомов подвергается действию сильного электрического и магнитного поля. Отклонение атома от прямолинейного пути зависит от его массы и заряда. Если на пути атомов поставить фотографическую пластинку, то атомы, ударяющиеся в нее, вызовут почернение. Измерение линий, получившихся на фотографической пластинке, и позволяет определить массу атома. Метод этот был значительно усовершенствован учеником Томсона, Астоном. Оказалось, что изотопия является свойством, довольно распространенным не только у радиоактивных, но и обыкновенных элементов. Из наиболее распространенных элементов изотомными оказались: магний, кремний, хлор и бром. Для ртути Астон нашел целых 6 изотонов!

Подобно солнцу, ядро окружено целой системой планет-электронов. Ближайшие к ядру электроны связаны с ним весьма прочно, и удаление их при наших современных экспериментальных средствах невозможно. Все вообще электроны, окружающие атом, подразделяются на группы. Спектры Рентгеновских лучей дают нам представление о процессах перехода электронов из одной группы в другую. Несколько протокольная статья Н. Я. Селякова содержит изложение сведений об этих внутренних электронах. Для понимания фактов, изложенных в первой статье, от читателя не требуется знакомства с моделью Бора, здесь это знакомство необходимо. Статья в сущности и рассматривает экспериментальные результаты с точки зрения и о ношения к Боровской теории. Электроны, кружащиеся том, разделены на группы, при чем некоторые из этих групп делятся на подгруппы. При перескоке электрона из одной группы в другую излучается определенная линия рентгеновского спектра, следовательно эти спектры дают возможность определить число электронных групп в атоме. По теории Бора электроны каждой группы могут вращаться лишь по определенным орбитам, при чем энергия электрона, находящегося на данной орбите, представляет определенную величину. Существуют несколько способов определения этой энергии. Опытные исследования подтверждают общую картину атома, недавно данную Бором, но указывают на то, что она на самом деле, повидимому, является еще более сложной.

Как уже сказано, химические и весьма многие физические свойства атома определяются его внешними, или, как их иногда называют, „валентными" электронами. Относящаяся к этому вопросу статья П. И Семенова начинается изложением работ по вопросу о столкновении электронов, имеющих сравнительно небольшие скорости, с атомами. Такие электроны мы можем легко получить, ускоряя движение вылетающих из накаленной платиновой проволочки электронов электрическим полем определенного напряжения. Электроны, пролетевшие в таком поле данное расстояние, будут обладать энергией, подсчитать которую не представляет никакого затруднения. Столкновения электронов с атомами протекает различно в зависимости от приобретенной ими скорости. Пока скорость электрона не достигла известного предела, столкновение его с атомом протекает, как говорят, „упруго", т.-е. после столкновения изменяется лишь направление, но не величина его скорости, а следовательно, и энергии. Если же энергия электрона достигла известного предела, то столкновение происходит уже „неупруго"— не только направление, но и величина скорости изменяется. Правильнее говоря, вся энергия электрона передается атому. При этом обнаружилось еще следующее замечательное обстоятельство: если энергия электрона превышает тот критический предел, о котором мы только что говорили, то при столкновении теряется только часть энергии, равная этому пределу, избыток же сохраняется. Эта энергия, поглощенная бомбардируемым атомом, вызывает в свою очередь некоторые процессы в нем самом. Именно, при достаточной величине ее, внешний электрон может быть совершенно удален, и атом превратится в ион. Если же энергия летящего электрона недостаточна для того, чтобы совершенно удалить один из электронов атома, то может произойти удаление этого электрона на более далекую орбиту и последующее возвращение его на старую орбиту. Но, по современным воззрениям на строение атома, такой перескок электрона с одной орбиты на другую сопровождается обычно излучением света, следовательно, при неупругом столкновении медленных электронов с атомами возможны не только ионизация, но и излучение. Собственно говоря, ионизация тоже всегда сопровождается излучением (но не обратно), благодаря так называемым процессам рекомбинации. Сущность этого явления заключается в том, что ионы и электроны под влиянием сил взаимного притяжения снова соединяются в нейтральные атомы, выделяя при этом энергию, воспринимаемую нами как световое излучение. Все имеющиеся до сих пор опытные данные подтверждают, что поглощение атомами энергии при этих процессах происходит лишь определенными порциями, „квантами".

Таковы главнейшие опытные факты, на которых покоится современная теория атома. Изложению основ этой теории посвящен 9-ый сборник „Новых идей в физике".

Можно только приветствовать возобновление этого издания, дающего возможность всем начинающим физикам и неспециалистам, интересующимся

этой наукой, с каждым днем вбирающей в себя все новые и новые области, находиться в курсе последних исследований. Имя редактора—А. Ф. Иоффе—вполне гарантирует строгую научность и серьезность сборников.

В. С.

Фридрих Энгельс.—Сила и экономика в образовании Германской империи (Посмертное произведение). Изд. „Красная Новь". Москва 1923 г. Стр. 90.

История Германии по своей сложности превосходит историю всех остальных европейских государств. Книга Ф. Энгельса—блестящая попытка марксистского анализа наиболее интересной и запутанной эпохи объединения Германии после 1848 года, в условиях незаконченной буржуазной революции. В эти годы создавалась Германская империя, в целом сохранившаяся до 1914 г. В эпоху империализма юнкерско-буржуазная Германия шагнула далеко вперед, она вышла из национальных рамок на широкую дорогу мировой политики, но в основных чертах она осталась сложным узором феодализма и капитализма. Вот почему книга Энгельса, кроме чисто-исторического значения, имеет и актуальный интерес в наши дни, когда с Германией связаны судьбы социальной революции.

Книга была написана зимой 1887—1888 г.г., как одна из глав, подготовляемой к печати работы: „Теория насилия". Образование Германской империи должно было служить конкретной иллюстрацией „теории насилия". Мы имеем таким образом дело „с работой незаконченной и не подвергшейся окончательной редакции". Но, несмотря на это, ее значение огромно. Энгельс не ограничивается только острым марксистским анализом положения Германии 1850—1870 г.г.,—он дает не менее интересный анализ Европы в эту эпоху, а отдельные экскурсии в историю Германии бросают часто новый и яркий свет на прошлое страны.

„Делить Германию с заграницей и в первую голову с Францией—вот в чем состояла „немецкая" миссия Пруссии, начиная с 1740 г.",—так метко характеризует Ф. Энгельс „великую" политику центрального германского государства. Пруссия стала центральным государством не случайно. „За исключением Саксонии, в Германии не было ни одного государства, промышленность которого по степени развития хотя бы приближалась к прусской. Только постепенно центр тяжести переносится в Пруссию. Вместе с развитием прусской промышленности „Роттеки и Вельккеры конституционного Юга были оттеснены на задний план Кампгаузенами, Ганземанами и Мильде прусского Севера, адвокаты и профессора—купцами и фабрикантами". Так создавались предпосылки революции и та роль, какую в ней играла Пруссия. „Безумный год" не пропал даром. Он показал буржуазии, „что с прежней летаргической сонливостью теперь пора покончить раз-на-всегда". Вместе с притоком золота из Калифорнии и Австралии начался промышленный расцвет. В этом было то новое, что принес 1848-й год. Мартовская революция, этот классический пример незаконченной буржуазной революции, дала Австрии и Пруссии хотя и конституционный, но по существу старый образ правления, а вместе с тем послужила исходным пунктом капиталистического расцвета Германии. Правда, буржуазия на завтра после революции становится аполитичной, она, как пишет Энгельс, ругает себя: „Собаки мы, собаки!". Но не исчезает импульс их политического оживления: несоответствие между развитием производительных сил и государственной раздробленностью страны. Объединение Германии „вытекало из непосредственных интересов дела, настоятельной потребности практичного купца и промышленника в том, чтобы был выметен весь исторически изжитый провинциальный хлам". Страна задыхалась от пережитков прошлого, „через каждые несколько миль новое вексельное право, новые условия занятия ремеслом..., новые деньги, новые меры и вес, а зачастую даже двух и трех родов в одном и том же государстве". К этому следует прибавить, что германских промышленников третировали во всех государствах Европы. Да и „сами немецкие посланники третировались за границей, как чистильщики сапог"... Объединение стало острой необходимостью. Но оно могло быть создано лишь в результате борьбы. Внутри Германии—с отдельными князьями, во вне—с Францией, Россией и т. д., которые были заинтересованы в раздробленности страны. Тремя путями могло быть достигнуто объединение, путем ревелюции снизу, через Австрию и, наконец, во главе с Пруссией. Но после 1848-го года возможность революции снизу была исключена. Революция могла наиболее радикально разрешить вопрос, но именно это и не было желательно для правящих классов. Австрия была символом реакции. ей было чуждо все германское буржуазно-либеральное движение. Влагычество Австрии в Германии могло быть результатом лишь поражения Пруссии и полной победы абсолютизма. Эта возможность противоречила интересам буржуазии Пруссии. Оставалась таким образом одна перспектива: Пруссия станет центром объединения, Бисмарк—его вождем. Какой класс мог стать во главе объединения? Юнкера, помещики—мощный класс прошлого—не могли быть решающим фактором, но без них всякое объединение не было возможным. Буржуазия должна была быть вождем революции, но выросший бок-о-бок с ней пролетариат делал национал-либералов ручными. Крестьянство и бюргерство были осуждены на пассивное принятие всякого решения. Пролетариат был пока классом будущего. Вот почему в Пруссии правящая клика дала Бисмарка, который „кровью и железом" объединил страну. Характеристике Бисмарка посвящены самые блестящие страницы книги. „Бисмарк—это Луи-Наполеон, перешитый из французского авантюриста—претендента на престол в прусского деревенского юнкера и студента-корпоранта". Луи Наполеон „уничтожил политическую власть буржуазии, но лишь для того, чтобы спасти ее классовое господство". Бисмарку, этому германскому Наполеону, „буржуазия указала цель, Луи-Наполеон—путь к цели. Бисмарку осталась роль исполнителя", но при этом у Бисмарка „исполнение желаний буржуазии хотя и шло сильным темпом, но избранный для этого путь не был путем либеральной буржуазии". Бисмарку свойственно упрямство и ограниченность юнкера, и в этом его сила. Ф. Энгельс дает прекрасную характеристику „железного канцлера": „Сила воли никогда не покидала его; скорее она переходила у него в грубое насилие и в этом прежде всего кроется тайна его успехов. Все правящие классы Германии—и юнкерство, и буржуазия—в такой степени растеряли последние крохи энергии, в „просвященной" Германии отсутствие воли стало таким обычным явлением, что единственный человек среди них, еще обладавший волей, именно поэтому стал для них величайшим человеком и тираном над всеми"... „Железный канцлер" приступил к объединению. Он начал с Шлезвиг-Голштинии; победа над нею создала чисто-переходное состояние, которое должно было „порождать конфликт за конфликтом" с Австрией. Второй этап—была борьба с Австрией. Война 1866 г. была,—пишет Энгельс,—революцией, но „половинчатой революцией". Бисмарк удовлетворился лишь аннексией четырех ничтожных государств. Франция должна была получить вознаграждение, но из „компенсаций ничего не вышло. Бисмарк знал, что это означает в будущем войну с Францией; но этого-то ему и нужно было". Победа 1866 г. означала, вместе с тем, победу и над собственной буржуазией. Бисмарк победил ее, выполняя юнкерскими руками задачи буржуазии. Нужна была теперь лишь значительная война, которая закрепила бы и завершила бисмарковскую политику объединения. Франко-прусскую войну готовили обе стороны, германский и французский Луи-Наполеон. Франция потерпела поражение. Но Париж не был побежден: „Ни один немецкий солдат не ступил ногой в парижскую ратушу... Получилась картина, словно новоиспеченный германский император обнажает голову перед живыми парижскими революционерами, как его покойный брат обнажал ее перед трупами мартов-

ских бойцов в Берлине, а вся немецкая армия стоит позади него и делает на-караул".

Но Бисмарк аннексировал Эльзас и Лотарингию и совершил „свой первый и колоссальный промах". Это был первый самостоятельный шаг его гения. Присоединение Эльзаса и Лотарингии имело крупное стратегическое значение. Но эта аннексия стала угрозой мира. Жители присоединенных территорий остались врагами Германии, потому что воспоминания о французской революции, французская свобода бок-о-бок с юнкерским самогом Германии служили препятствием для онемечения провинций.

Германия была объединена, следовало приступить к организации империи. Здесь-то и проявилась юнкерская ограниченность Бисмарка. Он мог заложить основы буржуазного государства, и тогда он действовал бы прогрессивно, он мог сохранить старо-прусское государство, и тогда он содействовал бы реакции; он мог, наконец, иметь в виду интересы своей власти, и тогда его политика была бы бонапартистской. По последнему пути Бисмарк пошел. Единственной осью вращения —пишет Энгельс,—в государстве стал имперский канцлер. „Конституция была словно на Бисмарка „шита". Были удовлетворены самые существенные экономические требования буржуазии, но поставлены преграды ее политическим притязаниям. Все дело Бисмарка сводилось к тому, чтобы „уничтожить самые зазорные остатки феодализма и в то же время, в сущности, оставить все по возможности по-старому".. Энгельс формулирует реформы Бисмарка так: „Феодальные привилегии были отняты у индивидуума, но связанная с ними полнота власти была передана всему классу".

Юнкеры сохранили все свои права. Подобное государство, продукт бонапартизма дало в итоге: „в лучшем случае мир, худший, чем война; но может дать и мировую войну". Марксистский прогноз дает Энгельсу дар предвидения, он пишет: „Хаос внутри, грозный призрак войны у ворот",— таков баланс имперской политики Бисмарка... Альтернатива мира, установленного бисмарковским государством,—мировая война"...

Только пролетариат „доведет борьбу до конца", разрушит государство Бисмарка,—пишет Энгельс. Блестящая книга Ф. Энгельса должна быть прочитана и проработана нашей молодой рабочей аудиторией.

Ц. Фридланд.

Роза Люксембург.—Коалиционная политика или классовая борьба? Изд. „Красная Новь". 1923 г. Стр. 118.

Настоящая книжка есть сборник статей Р. Люксембург (за исключением 1-й) в „Neue Zeit" в период 1900—1901 г.г., посвященных вступлению Мильерана в радикально-буржуазное правительство. Хотя 2-я группа статей касается непосредственно социалистического движения во Франции, но, поскольку тактические проблемы в нем вращались тогда вокруг этого основного факта,—вся книжка приобретает известную цельность и законченность [1]). Эти статьи имеют крупнейший исторический (и не только исторический) интерес. В них впервые и в систематической, развернутой форме была дана критика практического оппортунизма. Роза Люксембург выступила впервые на арену международного рабочего движения, как

[1]) К большому сожалению русское издательство совершило ту же досадную оплошность, которая имела место у немецкого. Оно не включило 5-ую статью Розы Люксем ург из серии „Социалистический кризис во Франции", которая дает ответ на самый главный и принципиальный вопрос: закономерности и необходимости политической коалиции буржуазии и пролетариата. Эта статья была помещена в том же томе (1900—1901 г., т. I) „Neue Zeit", стр. 676–688. Мы будем пользоваться и непереведенной статей.

теоретик революционного марксизма, как ярый апологет революционной, классовой, непримиримой практики.

Некоторый диссонанс вносит только 1-я статья, помеченная июлем 1899 г. В ней, как совершенно правильно отметил т. Роттштейн, есть кое-какие моменты, сходные с будущей „центристской" резолюцией Парижского международного конгресса „о захвате политической власти пролетариатом", признающей допустимость вступления социалиста в парламент в исключительных случаях. Насколько туманна здесь позиция Люксембург видно хотя бы из того, что она на протяжении 10 строк дает два разных аргумента за допустимость вхождения в буржуазное правительство: „Представители пролетариата лишь при одном условии могут вступить в буржуазное правительство, не изменяя своему долгу, а именно, если они вступают в такое правительство с целью овладеть им и превратить его в правительство господствующего рабочего класса" [1]). Против такой формулировки не мог бы возразить ничего и современный коммунист. Но тут же сразу она дает другой аргумент, крайне шаткий и половинчатый. „Нет сомнения, что в процессе развития, или вернее упадка капиталистического о-ва могут наступать моменты, когда окончательное овладение властью для представителей пролетариата еще невозможно, но участие их в буржуазном правительстве оказывается необходимым; это бывает тогда, когда на карте стоит свобода страны или демократические завоевания вроде республики, а буржуазное правительство настолько уже скомпрометировано и дезорганизовано, что оно в состоянии без поддержки представителей пролетариата вести за собой народ" [2]). 1-я часть аргумента слаба так же, как и 2-я. Как случаен этот взгляд у Люксембург показывают последние строки этой же статьи: „С.-д. по существу предначертана в буржуазном строе роль оппозиционной партии; в качестве же правящей она может выступить лишь на развалинах буржуазного общества" (14 стр., курсив автора). Статья была написана в июле 1899 г., т.-е. тогда, когда Мильеран только что вступил в правительство. Достаточно было пары месяцев его „практики", чтобы взгляды Люксембург стали тверды и непримиримы.

Вторая статья направлена против немецкого ревизиониста Фольмара, горячо поддерживавшего тактику Мильерана. Вся статья посвящена вопросу о том, имел ли право Мильеран входить в правительство без санкции партии.

Но главный интерес представляют последующие статьи. В них Люксембург разбивает следующие аргументы Жореса и К° за вступление в правительство Мильерана: 1) необходимость обороны республики, 2) возможность проведения социальных реформ в интересах рабочего класса и, наконец, 3) общий принцип, по которому развитие капиталистического общества в социалистическое должно пройти через переходную стадию, в которой политическая власть находится одновременно в руках буржуазии и пролетариата, внешним выражением чего служит участие социалистов в правительстве" (3-ий ответ не помещен, как уже было указано, в сборнике статей).

Начнем с 1-го. „Республика в опасности! Поэтому было необходимо, чтобы социалист стал буржуазным министром торговли. Республика в опасности! Поэтому социалист должен был оставаться в министерстве и после расстрела бастующих рабочих на острове Мартинике и в Шалоне. Республ-

[1]) См. стр. 13—14 (курсив наш).
[2]) Стр. 14 курсив наш.

лика в опасности! Вследствие этого нужно было отклонить анкету, касающуюся этой бойни, отвергнуть парламентское расследование колониальных зверств, принять закон об амнистии" (23 стр.)—так начинает Люксембург свое возражение на 1-й аргумент. В дальнейшем она выясняет, что по существу никакой реальной опасности республике не угрожало. „Для серьезного политического акта, для низложения республики не хватало в сущности всего (у „антиреспубликанцев". *Н. Л.*) внутренней спайки, организации, программы действий, а в первую голову общего внутреннего развития общественных условий" (29 стр. Курсив наш). Она превосходно показывает, что классовых врагов у буржуазной республики в сущности нет, а „в основе восстания высшего командного состава лежало таким образом стремление отвоевать себе независимость в отношении республиканской гражданской власти, а отнюдь не желание отдать эту независимость целиком в руки монархии" (курсив наш, 31 стр.). В блестящей форме вскрывает автор пустоту этого „бунта на коленях": „Вышеобрисованное положение естественно породило опереточный характер мнимо-монархического выступления, свирепый чернильный бой на страницах печати, оглушительный шум антисемитских хулиганов, скопища и восторженный рев перед редакциями националистических, и звон разбиваемых стекол в редакциях дрейфусистских газет, нападения на ни в чем не повинных прохожих... наконец, попытка золотой молодежи избить президента во время скачек и все же среди этой насыщенной электричеством, возбуждающе действующей на нервы атмосферы ни единого серьезного политического акта в осуществлении государственного переворота" (31 стр.). Но с другой стороны, Люксембург вскрывает полную беспомощность „в защите республики" нового радикального правительства. „Если бы оборона республики зависела от кабинета Вальдека Руссо, то республики давно бы уже не существовало. Оперетте монархического переворота соответствовала оперетта республиканской обороны" (курсив наш, 32 стр.). Подводя итоги деятельности правительства в деле борьбы с врагами республики, она дает уничтожающую ей оценку, осуждая поступок Жореса, ибо „гора родила мышь": „Для того, чтобы радикальное министерство Вальдека Руссо в течение 19 месяцев не предпринимало ничего, ровнехонько ничего, ни малейшей реорганизации военного суда, ни малейшего сокращения отбывания воинской повинности, ни единого решительного шага против монархистов в армии, суде и органах исполнительной власти, ни одного коренного мероприятия против духовенства; для того, чтобы оно, застыв в позе, изображающей бесстрашие, непреклонность и незыблемость — классической позе мещанина на высоте его политического позора—после ряда увертюр, в конце концов заявило, что республика не в состоянии разделаться с бандой военных мошенников и что необходимо их просто оставить в покое — для этого потребовалось сотрудничество социалистов в министерстве" (курсив наш, 36 стр.). „Таким образом надежды, возложенные на правительство, не оправдались. Перед фракцией Жореса стала теперь дилемма; или признаться в своем разочаровании, констатировать нецелесообразность участия Мильерана в пр-ве и потребовать его выхода из него, или она должна была делать вид, будто она довольна политикой кабинета, считает ее осуществлением своих чаяний и сообразно этому понижает свои требования и чаяния в соответствии с постепенно сокращающейся до нуля деятельностью правительства. Жорес и его друзья пошли последним путем" (38 стр.). Люксембург подвергает уничтожающей критике этот второй путь. Она считает, что он сводит на-нет все те заслуги, которые были у фракции Жореса в начале дрейфусовской кампании. Этот новый путь прямо противоположен первоначальному: „Раньше стремились спасти республику, организовав защиту ей в виде правительства, теперь стремятся спасти правительство, отказываясь от защиты республики" (43 стр., курсив наш). Новый путь Жореса вместе с тем показал, что в тактике Жореса не самостоятельные политические стремления соц. партии являются постоянным элементом, а объединение с радикалами — переменным, а наоборот — союз с буржуазной демократией образует постоянный, прочный элемент, а те или иные политические стремления—случайный (стр. 64, курсив наш). Цепляясь за буржуазное министерство, фракция Жореса тем самым закрыла себе все три пути критики, имеющиеся в тактическом арсенале социалистов против буржуазных партий: 1) оказание на них давления со стороны массы избирателей, 2) разоблачение правительства перед лицом всей страны и оказание на него давления общественного мнения и 3) сплочение вокруг себя во все возрастающей степени народных масс своей критикой внутри и вне палаты. Войдя и оставаясь в правительстве, оно уже не могло критиковать его, приходя к необходимости подчеркивать не разделяющие от буржуазных групп моменты, а общие. Участие в правительстве связало социалистов и принудило к отказу от основной задачи: политического просвещения и воспитания масс. Наконец, оно сделало пустыми все их фразы в палате, ибо правительство с ними не считалось [1]).

Подводя итоги своим возражениям на 1-й аргумент, Люксембург говорит: „Социалисты, старающиеся удержать мелко-буржуазных демократов от оппозиционного поведения, и буржуазные демократы, уличающие социалистов в ползании на брюхе перед правительством—таково глубочайшее унижение, когда-либо постигавшее социалистов, и одновременно конечный результат участия социалистов в правительстве" (48—49 стр., курсив наш).

В следующей статье „Социальные реформы Мильерана"—Люксембург разбирает 2-й аргумент жоресистов. Анализируя один закон за другим, она вскрывает иллюзорность их положительных сторон для пролетариата и реальность ряда стремлений и ограничений для последнего. Провозглашая закон о 10-ти часовом рабочем дне [2]), который войдет в силу через... 4 года, Мильеран вводит уже сейчас удлинение детского рабочего времени. Закон о профсоюзах провозглашает якобы расширение их прав и свободы действий, рядом других мер „незаметно превращается из мнимого расширения и гарантирования в ограничение рабочего права коалиции" (63 стр., курсив автора). Закон о принудительности стачек так построен, что он ведет по существу... к окончательной отмене стачек. „Новая реформа означает не только распыление (профессионального единства) по отдельным ячейкам мастерской, но также отмену экономической борьбы в рамках самой мастерской. Основной функцией профсоюза остаются теперь выборы в камеру труда, единственной функцией стачки—созыв камеры труда для третейского разбирательства и вся экономическая классовая борьба превращается... в гражданский процесс" (67 стр.). Подводя итоги этому социал-реформаторству, Люксембург говорит: „Таким образом надежда при помощи

[1]) Крайне интересно, что почти в таких же выражениях оценивал Бебель на магдебургском партейтаге 1911 г. результаты политических блоков с буржуазией.

„Существует политический закон, что всюду, где правые и левые идут вместе, левые теряют, а правые выигрывают... Раз я вступаю в дружественные политические отношения с партией, по существу своему чуждой мне, то я по необходимости должен направлять свою тактику таким образом, чтобы не нарушать союза; я уже не могу более беспощадно критиковать, я не могу больше принципиально бороться, ибо этим я оскорбляю своего союзника; я вынужден молчать, на многое закрывать глаза, многое оправдать, чего нельзя оправдать, многое затушевать..! и т. д. (Курсив Бебеля).

[2]) Его действительную сущность Люксембург характеризует так: „Закон, осуществление которого зависит от исхода борьбы неведомых грядущих правительств является во всяком случае векселем, выданным на будущий банк" (59 стр., курсив наш).

министра-социалиста вызвать невиданный расцвет социального реформаторства—с самого начала была утопией и игнорированием конкретной обстановки. Даже больше. Министр-социалист, порождая необоснованность иллюзии и чаяния, этим самым может напротив лишь затормозить нормальное развитие социальных реформ, ибо главным рычагом, толкающим вперед социальную политику господствующих классов, служит беспощадная критика (курсив автора) со стороны социалистических партий" (70 стр.). И поэтому вывод ясен и беспощаден: участие Мильерана „не только не открывает новой эры социальных реформ во Франции, но на самом деле означает прекращение борьбы пролетариата за реформы раньше, чем она началась" (73 стр.). „Практических результатов рабочие могут ожидать скорее от буржуазных партий, чем „от рабочих представителей", которые отличаются от буржуазных политиков только тем, что они при этом болтают еще о социализме... Пять лет экспериментов в этой области и французский пролетариат оказался деморализован до мозга костей, стал орудием в руках буржуазных карьеристов, социал-реформаторов и людей, спекулирующих на „цезаризме" (84 стр., курсив наш). На последний аргумент Роза Люксембург дала ответ в своей статье „Der Fall Millerand und [redacted] teien"[1]) (Мильерановский случай и социалист. парт[redacted] альные уроки должно вынести социалистическое [redacted] новского опыта и каковы главнейшие итоги этой [redacted]

Социалисты, призванные организовать пролет[redacted] классовую партию и повести его на борьбу против[redacted] сов, превращают его в придаток (Anhängsel) к[redacted] Коалиционная политика полна противоречий: „Сод[redacted] летариата, как средство освобождения его, и по[redacted] (Zusammenkettung) с буржуазными партиями, как[redacted] буржуазии—разве не бросается в глаза внутреннее[redacted] тики" (там же). Люксембург утверждает, что в со[redacted] алист не может не вести буржуазную политику: „В[redacted] он вообще не может вести другой политики, кроме[redacted] этот министр даже стал проводить все требован[redacted] граммы, рассчитанные на современное государств[redacted] (nicht im mindesten) не перестал бы быть бурж[redacted] мое большее он служил бы своей деятельностью [redacted] денциям буржуазного развития. Но мало того, в современном правительстве министры связаны не только с буржуазным общественным строем в его целом, но и с временными господствующими интересами групп и категорий, он является рабом не только буржуазного развития, но и буржуазной реакции" (Seite 679, курсив везде Люксембург). Роза Люксембург опровергает далее ссылку Жореса на то место из „Коммунистического Манифеста", где говорится о поддержке коммунистов любого революционного движения буржуазии. Она указывает, что там дело шло о создании буржуазной власти, о поддержке подымающегося класса, „политическая победа которого над реакцией была экономической необходимостью" (Seite 681). Теперь отношения глубоко отличны. Теперь буржуазия вместе с феодальной реакцией. Теперь стержнем классовых отношений является не борьба феодалов и буржуазии, а буржуазии и пролетариата. Поэтому теперь не может быть речи о коалиции и поддержки буржуазии. „Превращая социалистический министериализм из исключительной меры в нормальное средство борьбы рабочего класса (Жорес), отрекается (verleugnet) от основных принципов с.-д-ии" (Seite 676, курсив наш).

* * *

[1]) Хотя она и не помещена в сборнике статей, мы все же дадим ее изложение в интересах цельности.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 10

ОКТЯБРЬ 1923

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

министра-социалиста вызвать невиданный расцвет социального реформаторства—с самого начала была утопией и игнорированием конкретной обстановки. Даже больше. Министр-социалист, порождая необоснованность иллюзии и чаяния, этим самым может напротив лишь затормозить нормальное развитие социальных реформ, ибо главным рычагом, толкающим вперед социальную политику господствующих классов, служит беспощадная критика (курсив автора) со стороны социалистических партий" (70 стр.). И поэтому вывод ясен и беспощаден: участие Мильерана „не только не открывает новой эры социальных реформ во Франции, но на самом деле означает прекращение борьбы пролетариата за реформы раньше, чем она началась" (73 стр.). „Практических результатов рабочие могут ожидать скорее от буржуазных партий, чем „от рабочих представителей", которые отличаются от буржуазных политиков только тем, что они при этом болтают еще о социализме... Пять лет экспериментов в этой области и французский пролетариат оказался деморализован до мозга костей, стал орудием в руках буржуазных карьеристов, социал-реформаторов и людей, спекулирующих на „цезаризме" (84 стр., курсив наш). На последний аргумент Роза Люксембург дала ответ в своей статье „Der Fall Millerand und die sozialistischen Parteien"[1]) (Мильерановский случай и социалист. партии). Какие же принципиальные уроки должно вынести социалистическое движение после Мильерановского опыта и каковы главнейшие итоги этой эпопеи?

Социалисты, призванные организовать пролетариат в самостоятельную классовую партию и повести его на борьбу против всех буржуазных классов, превращают его в придаток (Anhängsel) к буржуазии" (Seite 677). Коалиционная политика полна противоречий: „Содействие в угнетении пролетариата, как средство освобождения его, и политическое сожительство (Zusammenkettung) с буржуазными партиями, как средство борьбы против буржуазии—разве не бросается в глаза внутреннее противоречие этой политики" (там же). Люксембург утверждает, что в современных условиях социалист не может не вести буржуазную политику: „В современном обществе он вообще не может вести другой политики, кроме буржуазной", и если бы этот министр даже стал проводить все требования социалистической программы, рассчитанные на современное государство, то и тогда он ничуть (nicht im mindesten) не перестал бы быть буржуазным министром. Самое большее он служил бы своей деятельностью прогрессивным тенденциям буржуазного развития. Но мало того, в современном правительстве министры связаны не только с буржуазным общественным строем в его целом, но и с временными господствующими интересами групп и категорий; он является рабом не только буржуазного развития, но и буржуазной реакции" (Seite 679, курсив везде Люксембург). Роза Люксембург опровергает далее ссылку Жореса на то место из „Коммунистического Манифеста", где говорится о поддержке коммунистов любого революционного движения буржуазии. Она указывает, что там дело шло о создании буржуазной власти, о поддержке подымающегося класса, „политическая победа которого над реакцией была экономической необходимостью" (Seite 681). Теперь отношения глубоко отличны. Теперь буржуазия вместе с феодальной реакцией. Теперь стержнем классовых отношений является не борьба феодалов и буржуазии, а буржуазии и пролетариата. Поэтому теперь не может быть речи о коалиции и поддержки буржуазии. „Превращая социалистический министериализм из исключительной меры в нормальное средство борьбы рабочего класса (Жорес), отрекается (verleugnet) от основных принципов с.-д-ии" (Seite 676, курсив наш).

* * *

[1]) Хотя она и не помещена в сборнике статей, мы все же дадим ее изложение в интересах цельности.

Как известно мильерановская эпопея вызвала крупнейшие трения в социалистическом движении Франции. В этой борьбе фракций Люксембург целиком была на стороне революционных элементов франц. социал. партии—гэдистов и бланкистов Прежде всего, Люксембург против объединения этих фракций „Объединение с право-социалистическим французским крылом было бы теперь брачным слиянием с хаосом" (стр. 82). „При (современных) обстоятельствах объединиться со сторонниками министерского социализма значило бы принимать на себя ответственность за их политику и одновременно обезоружить себя с ними. Другими словами, это значило бы: поставить на карту во Франции судьбы социализма и республики" (стр. 84). Помимо чисто принципиальных возражений, у Розы Люксембург были и мотивы организационного характера (период после 1904—1905 г.г. развития французского социализма вполне оправдал эти мотивы). „При слиянии с этим разложившимся социализмом при данных обстоятельствах старые с.-д. организации не имели бы ни малейшей возможности отстоять в объединенной партии социалистические принципы. Прежде всего сторонники Жореса составляют большинство... Верх взяли бы в объединенной партии все эти Иваны, не помнящие родства" (83 стр., курсив наш). Она за единство тех социалистических групп, у которых общее понимание средств борьбы. Поэтому она приветствует объединение фракции гэдистов, бланкистов (лидер Вальян) и коммунистического альянса и в то же время приветствует раскол на объединенном съезде, созываемом жоресистами. Последним она дает уничтожающую характеристику, называя их пестрым сбродом, где есть и анархисты, и сторонники парламентского кретинизма, полу-социалисты, полу-радикалы и т. д. и т. д. Левое же крыло—„это основное ядро франц. социализма, это—самые лучшие, вышколенные, организованные и испытанные многолетней борьбой силы" (92 стр.). В немецкой статье, на которую мы указывали, она показывает, какую громадную работу в революционно-марксистском духе проделала партия Гэда-Лафарга в течение 1880—1900 г.г.

Последняя статья „Конец социал. кризиса во Франции" подводит итоги всей эпохи мильеранизма. Люксембург дает блестящую характеристику сущности оппортунизма и в частности французского: „Это настоящее банкротство, политика крохоборства, от случая к случаю, построенная исключительно на парламентских комбинациях данного момента, на погоне за политическим успехом, в котором по-очередно в жертву приносится одно за другим, а в конечном счете не остается ничего, кроме похмелья, губительного продвижения по пути отречения, где нет никакой остановки, совершенно беспринципного качания вправо и влево". В итоге мы имеем тот факт, что жоресизм зашел в тупик. „В процессе последней эволюции на службе у министериализма, он собственно исчерпал свою политическую роль и завершил свою политическую эволюцию. Перед ним не стоит уже больше никаких задач" (108). А с другой стороны, три года мильерановщины дали социал. партии „коллекцию совсем истасканных парламентариев и журналистов, по-очередно выступавших за и против, голосовавших и писавших так и этак, обещавших все, чтобы не выполнить ничего, утерявших всякую внутреннюю стойкость и не имеющих уже ни одного чистого места на своем политическом щите" (117 стр.) Заканчивая последнюю статью она вставляет эту эпоху в следующие исторические рамки: „3-хлетний период мильеранизма во Франции, по нашему мнению, является столь же важной вехой в истории международного рабочего движения, как в другом смысле—10 недель Парижской Коммуны 1871 г.". Беглый обзор книги, без излишних комментариев, надеемся, покажет читателю, сколь ценен реферируемый сборник.

Н. Ленснер.

Издатель: Кн-ство „Материалист". Отв. редактор: В. Тэр.

Печатается и в скором времени выйдет в свет

Ив. Книжник.

ЧТО ЧИТАТЬ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

коммунистической и марксистской литературы

1917 — 1923 г.г.

ПОСОБИЯ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ, ЛЕКТОРОВ; УЧИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ МАРКСИСТСКИХ КРУЖКОВ И ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ.

ИЗДАНИЕ 2-ое ЗНАЧИТЕЛЬНО ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.

Часть издания выпущена будет специально для пользования **библиотекарей, лекторов, пропагандистов** и т. д. с прокладкой чистых листов между страницами — для внесения дополнений и заметок.

ПОДПИСКА

на библиотечное издание принимается только до 1-го октября.

РАБОЧЕ-КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРИБОЙ“

Петроград, Пр. 25 Октября, 52.